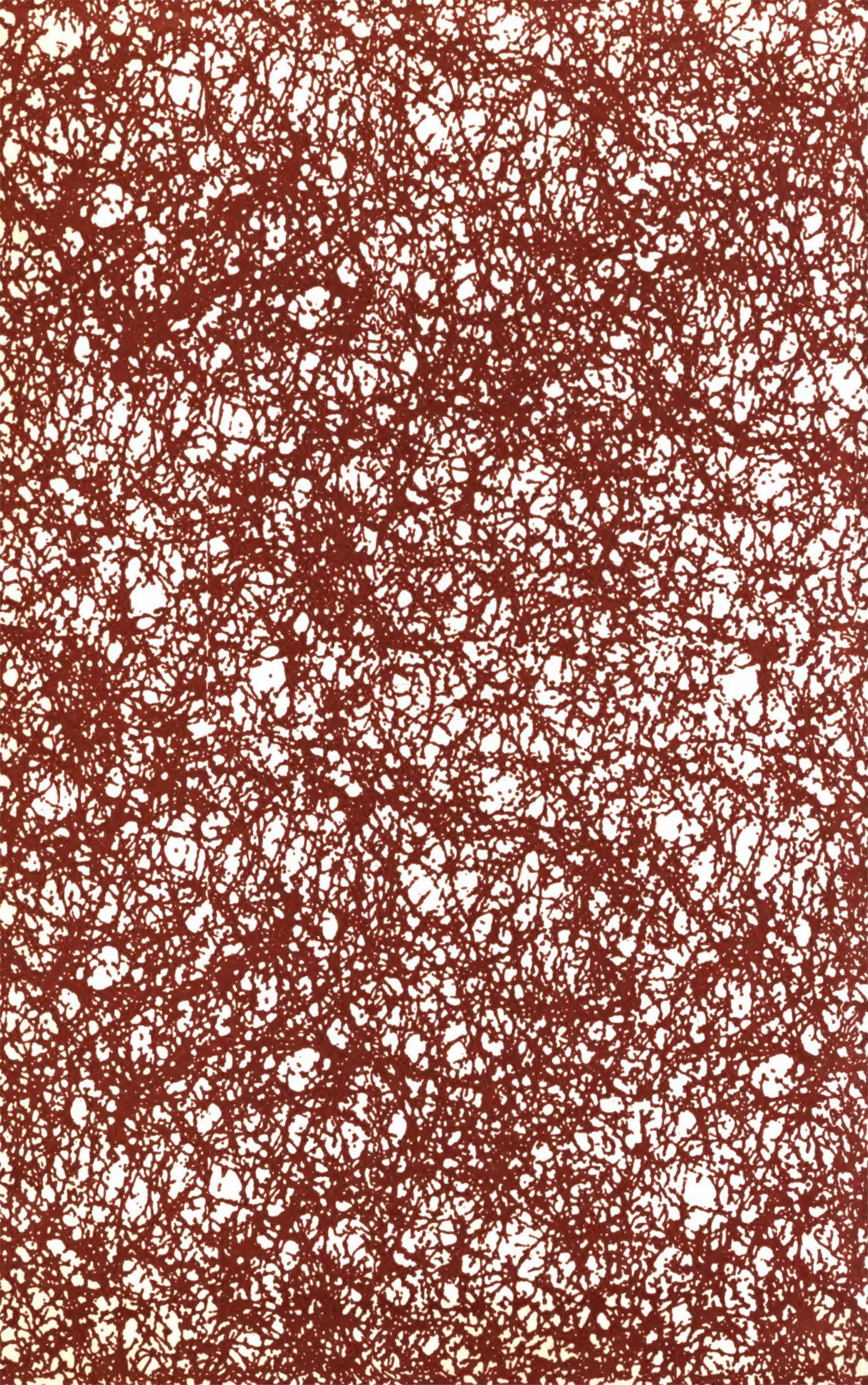
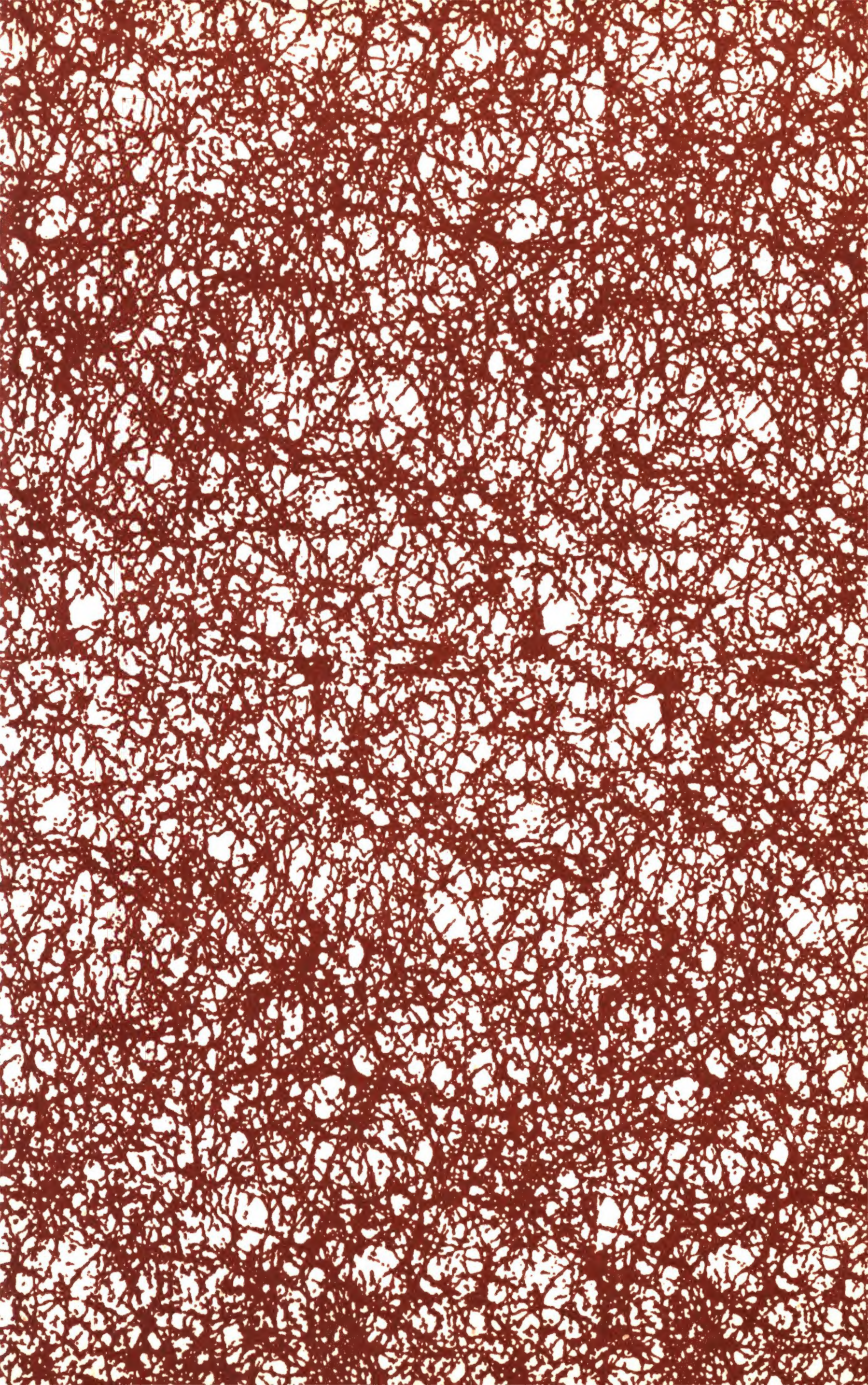
СМОКОВНИЦА





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЭЛЬЧИН

СМОКОВНИЦА

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Авторизованный перевод с азербайджанского

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА • 1981

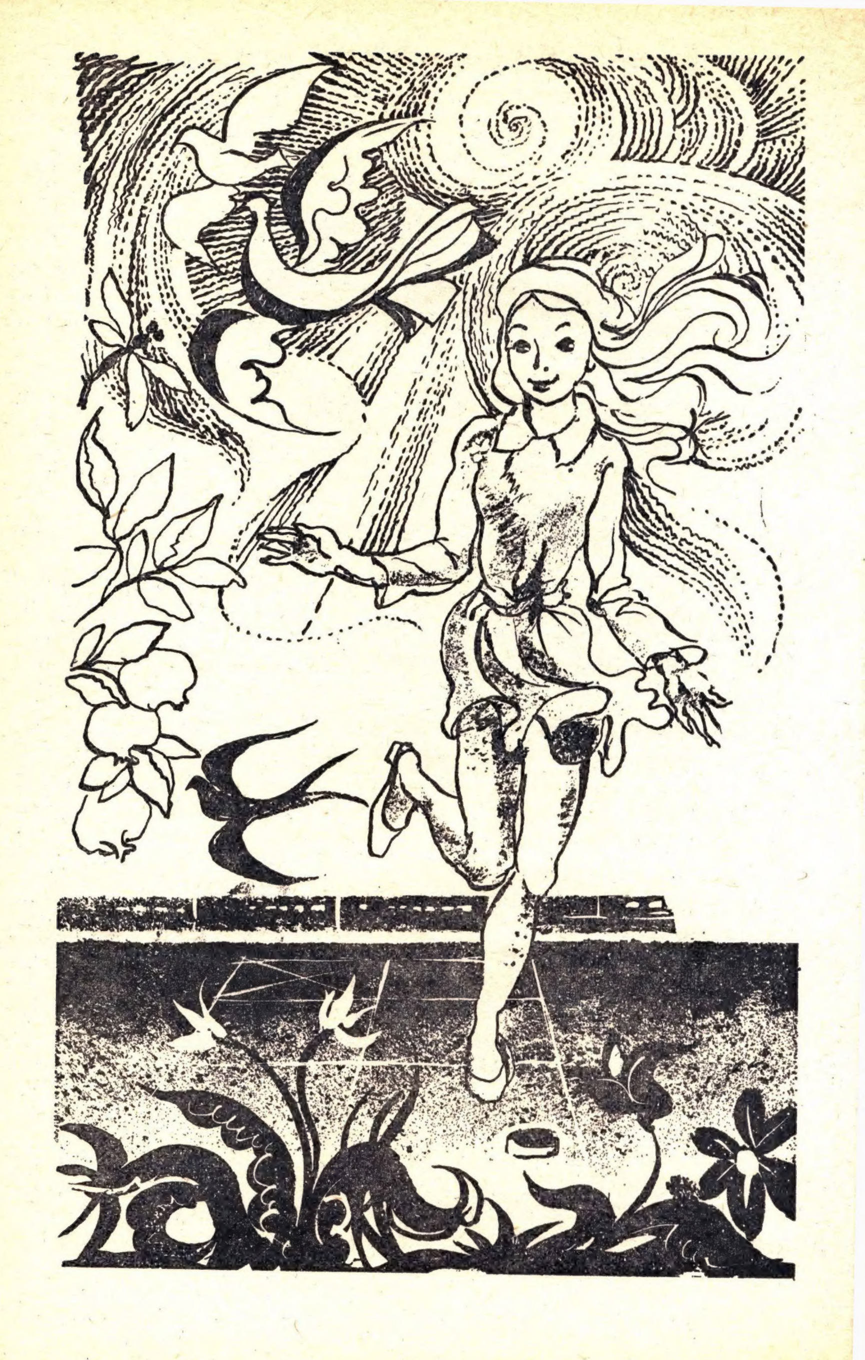
С (Азерб.) 2
Э 53

Художник К. МИСТАКИДИ

Э $\frac{70302-031}{074(02)-81}$ 444—81 (подписное)



Эльчин



В СНЕГУ

Памяти Новруза Джуварлинского

Только-только начался рассвет, а Керим-киши осторожно, на цыпочках уже прошел к детям в спальню и сквозь окно, залепленное снегом, поглядел на улицу.

В сумерках ничего не было видно, кроме снега, мело еще сильнее, чем вчера,— был снег, был вой метели, да изредка неизвестно откуда пробивалось дребезжание музыки — это Рахиль Хаимовна, соседка, заводила у себя довоенный патефон, как всегда.

Керим-киши смотрел на летящий снег, слушал завывание метели. «Неужели это никогда не кончится?» — подумал он с отчаянием. Потом так же тихо, стараясь не шаркать по-стариковски ногами, вышел в коридор, прошел в кухню и уже через кухонное окно поглядел во двор. Двор тоже был весь в снегу, и, кроме светящегося наискосок окна Рахили Хаимовны, ничего больше не было видно.

Всю свою жизнь он знал этот маленький двор, такой же, как многие старые бакинские дворы, которые летом похожи на круглые пятачки-острова на асфальте, где посередине растут два тутовых дерева, а вокруг стоят такие же старые маленькие дома, одноэтажные или двухэтажные.

Во дворе мело немного потише, чем на улице, и звуки музыки здесь были, конечно, куда слышнее. Постоянная эта музыка по утрам вовсе не раздражала Керима-киши, совсем наоборот, она успокаивала: значит, и старая Рахиль Хаимовна тоже пока жива-здорова.

Керим-киши ладонью протер стекло. Большая грубая ладонь была как деревянная, и скрип был такой, словно он провел по стеклу доской, а не ладонью.

— Доброе утро,— торопливо сказал у него за спиной Ахмед, заглядывая в дверь кухни.

Керим-киши обернулся, но ничего не ответил, а только посмотрел на сына — озябшего, с полотенцем на шее,— и тот виновато отвел глаза, пожал с сожалением плечами и, на ходу причесывая пальцами свои совсем седые волосы, пошел по коридору дальше, к умывальнику.

Получилось, что именно Ахмед удержал вчера Керима-киши дома, клятвенно уверяя, что завтра, мол, метель утихнет, погода наладится, и тогда — пожалуйста! — поезжай куда только хочешь!..

Но, действительно, откуда было Ахмеду знать, что завтра, то есть сегодня, начнется такое?.. Наверно, и автобусы не ходят, и троллейбусы... И уроки в школе, должно быть, тоже отменят.

Подумав о школе и детях, Керим-киши, несмотря на всю досаду и беспокойство, немного порадовался, губы его под закрученными кверху совершенно белыми усами чуть дрогнули и поползли в стороны. Выходит, дети смогут поспать подольше.

Дети-школьники были, понятно, внуки Керима-киши. Вообще-то внуков было пятеро, но старшую они уже, слава богу, выдали замуж; она сама и ее молодой муж были нефтяниками; следующий по старшинству внук учился в институте в Одессе, а вот младшие — трое — все еще ходили в школу. Эти пятеро были дети Ахмеда... У Гейбата не было детей. Как один появился на свет, так один и ушел, не оставив после себя никого, не вернулся с войны. Навсегда остался таким, как на висящей над комодом фотографии...

Музыка уже кончилась, и был слышен теперь только вой метели, и еще где-то далеко-далеко плакала как будто собака. Этот лай собаки совсем испортил ему настроение, и он мысленно выругался, проклиная самого себя.

Жена Ахмеда, Фазиля, вошла в кухню и — тоже виновато — сказала:

— Доброе утро.

Быстро зажгла газ, поставила на огонь чайник и торопливо, чтобы не торчать перед глазами явно расстроенного свекра, вышла.

Керим-киши не ответил невестке, но потом сам себя упрекнул — напрасно, ведь невестка совсем не виновата.

Когда они уже сидели в комнате за завтраком, Ахмед озабоченно сказал жене, что не знает, как доберется до работы — автобусы не ходят. Потом добавил, что электрички наверняка тоже не ходят, стоят на Сабунчинском вокзале, потому что дорога заметена снегом.

Услышав эти слова, Керим-киши отставил стакан с недопитым чаем и встал. Прошел в кухню и снова посмотрел во двор: метель действительно усилилась.

Вот уже скоро пятнадцать лет, как, уйдя на пенсию, он каждый день или, в крайнем случае, через день, летом, осенью, зимой и весной, ездил на старую дачу в Бильгя. Обрабатывал виноградник, ухаживал за инжиром, за гранатовыми деревьями, сажал огород, цветы, сооружал навесы — в общем, делал все, что нужно. Но он не просто работал, а, как бы сказать, дружил с этим старым садом в Бильгя. Позавчера он тоже был на даче, надел Набрану на шею цепь, привязал к конуре, чтобы не мотался по двору как неприкаянный,— разве позавчера мог кто-нибудь представить, что начнется такое?..

Керим-киши прошел в коридорчик и наткнулся на Ахмеда, который, уже в пальто и шапке, пытался открыть наружную дверь, но та не открывалась.

Квартира Керима-киши была на первом этаже, здесь жил еще дед Керима; старая дверь осела, открывалась туго, теперь еще ветер намел снаружи сугроб. Наконец дверь чуточку приоткрылась, и Ахмед протиснулся на крыльцо. И тут же ветер так рванул, что даже в коридорчик нанесло снега, словно это не в Баку, а за Полярным кругом.

Керим-киши вздохнул и вытащил из-за старого сундука лопату, подошел к двери и, ощущая всем телом холод и снежный ветер, протянул лопату сыну.

Когда Ахмед, очистив крыльцо, снова вошел в дом, растирая лицо посиневшими руками, Керим-киши молча взял лопату и поставил за сундук.

— Отец,— примирительно сказал ему Ахмед,— отец, я бы сам поехал, но пойми...

Керим-киши не дал ему продолжить:

— Ладно, ладно, отправляйся на свою работу.

У Фазили, которая заглядывала в коридорчик, просветлело лицо — наконец старик заговорил!.. И Ахмед улыбнулся:

— Хорошо, я пошел, но...

— Не выйдет он, не выйдет, не беспокойся,— уверила его Фазиля.— Чтоб ей пусто было, такой погоде! — И посмотрела умоляюще на Керима-киши; в глазах ее было: ай, Керим-киши, ну что ты на нас сердишься, а?..

Керим-киши не ответил, только бросил на невестку сердитый взгляд и ушел к себе. Ведь на самом деле он сердился вовсе не на них, а на свою старость.

— Доброе утро, дедушка,— приоткрывая дверь в его комнату, сказал заспанный Аяз.— Скажешь маме, чтобы она пустила меня во двор, а?

— Иди, иди, умойся сначала.

И Аяз тихонько закрыл дверь. Теперь ему тоже стало известно, что у деда отвратительное настроение.

А метель, видно, совсем разгулялась, потому что иногда завывало так, что стены дома дрожали, и казалось, ветер вот-вот сорвет с места и совсем унесет этот старый дом. От каждого порыва Керим-киши вздрагивал, потом сам себя за это ругал, потому что это, считай, тоже от старости. И тогда он стал думать о весне — на апшеронских дачах тогда расцветают вишни, и гранатовые деревья выпускают яркие, цвета хны, листочки. Начинает зеленеть инжир, а привитая алыча еще с ноготок, и листики винограда — новенькие-новенькие, а от воробьиного щебетанья кружится голова! Весной ветер усыпает деревянный пол веранды желтой сосновой пыльцой, и утром, как выйдешь на веранду, а потом вернешься в комнату, на полу остаются отчетливые следы...

И Керим-киши словно опять увидел эти следы, и среди них отпечатки голых маленьких ножек Аяза, его крохотных пальчиков,— увидел их и улыбнулся. Он теперь чувствовал — как ему казалось — даже запах этой пыльцы, а потом к этому запаху примешался запах нефти. Точно так, как в те далекие дни — в первые дни мая пятьдесят лет назад.

Это была та самая памятная весна, когда пятая скважина дала наконец фонтан и Керим вместе со всеми

нефтяниками Баилова и Биби-Эйбата пришел на митинг, чтобы отпраздновать рождение нового нефтяного промысла: в небольшой бухточке на Каспии нашли нефть, и бухту засыпали землей и камнями, которые перетаскивали на арбах и фургонах, везли на верблюдах. Строили с помощью лома, лопаты и тачки. Ровно пятьдесят лет назад, когда Керим-киши был тридцатидвухлетним молодым человеком с закрученными усами и тело у него было литым, как железный лом, который он держал в руках...

Снова где-то залаяла собака, и этот собачий лай был еле слышен сквозь вой метели, и Керим-киши нахмурился: ему уже начинают слышаться звуки, чудиться запахи, сердце его сжимается от жалости к самому себе!.. Он разозлился — мужчина не должен так размякать...

Он поднес ладонь к лицу, провел по небритой щеке, и, словно ожидая этого, в дверь постучала Рахиль Хаимовна и крикнула тоненьким голосом:

— Керим Билалович! Керим Билалович!

Рахиль Хаимовна была единственным на всей земле человеком, который называл его Керимом Билаловичем, и, несмотря на то, что он был знаком с этой женщиной более двадцати пяти лет, каждый раз такое обращение казалось Кериму-киши необычным: уста[1] Керим — это совсем другое дело! Или просто «уста». Ну, или как теперь вот по-стариковски: Керим-киши.

Сначала Керим-киши подумал, что ослышался. Но, когда вой метели на минуту яростно ворвался в коридор и снова, уже в коридоре, зазвучал тонкий голос Рахили Хаимовны, он понял, что эта старая женщина и в такую жуткую погоду все-таки пришла его брить.

Рахиль Хаимовна сначала пожаловалась Фазиле на пургу, потом вошла в комнату.

— Что же это будет?.. Такой снег, Керим Билалович! Может, конец света? — Но, зная неразговорчивость Керима-киши, она не стала дожидаться ответа — пришел или не пришел конец света, а потерла замерзшие ладони и, открыв мокрую от растаявшего снега сумку, достала и разложила на столе бритву, кисточку и мыльный порошок.

Каждый раз, когда высохшие пальцы Рахили Хаимовны касались лица Керима-киши, он рассматривал в

---

[1] Уста — мастер.

стоящем перед ним зеркале лицо этой старой женщины, смотрел так, чтобы Рахиль Хаимовна не заметила; видел уменьшившиеся, выцветшие глаза и думал, что все равно эта сильно постаревшая, но с острым зрением женщина должна и будет жить еще долго.

Сегодня высохшие руки Рахили Хаимовны были к тому же холодными, и, когда эти холодные пальцы коснулись лица Керима-киши, он уже не осмелился заглянуть в глаза женщине, заметил свою несмелость и снова рассердился на себя.

Рахиль Хаимовна с обычной сосредоточенностью намылила лицо Керима-киши и начала брить. С тех пор как она вышла на пенсию — около двадцати лет назад,— она каждую неделю приходила к ним и брила Керима-киши. Накануне она тщательно крахмалила и гладила белые салфетки, правила бритву, проверяла, на месте ли одеколон, мыло и пудра.

Рахиль Хаимовна попала в Баку в последний год войны, приехала одна-одинешенька к своей единственной родственнице Изабелле Соломоновне, жившей в том же дворе, что и Керим-киши. Однажды, когда две одинокие женщины беседовали ночью в своей маленькой комнатке, разговор зашел, как всегда, о прежней мирной жизни, о будущем, о разных людях, и тогда в слабом свете керосиновой лампы, с трудом освещавшей помещение, Изабелла Соломоновна сказала несколько слов о душевности молчаливого Керима-киши. Вот эти слова и сохранились в памяти Рахили Хаимовны.

Конечно, Керим-киши ничего не знал об этом, но получилось так, что именно он устроил Рахиль Хаимовну на работу — нашел ей место в одной из парикмахерских на Байлове. Рахиль Хаимовна никогда в жизни не работала парикмахером, но с первого дня все приняли ее за вполне умелого мастера, потому что она освоилась очень быстро. Изабелла Соломоновна умерла уже лет двадцать назад, и все эти годы Рахиль Хаимовна жила совсем одна.

Рахиль Хаимовна научилась разговаривать по-азербайджански, с Керимом-киши она всегда говорила по-азербайджански, и сейчас, снова взбивая пену на его жестком лице, сказала:

— Керим Билалович, вы одного типа человек, а Шнайдер был другого типа. Но Шнайдер тоже был очень симпатичный человек.

Шнайдер был мужем Рахили Хаимовны, его вместе с их единственным шестнадцатилетним сыном Давидом фашисты расстреляли в Киеве во время войны. Керим-киши знал это, и еще он знал, что имя-отчество Шнайдера были Рувим Эфраимович и был он известный в Киеве портной.

Некоторое время они занимались каждый своим делом, то есть Рахиль Хаимовна сосредоточенно брила Керима-киши, а Керим-киши терпеливо слушал, как шуршат его жесткие волосы под бритвой, и думал о никогда не виденном им сыне Рахили Хаимовны Давиде, потом начал думать о своем сыне Гейбате и подумал, что ни Гейбат не знал Давида, ни Давид — Гейбата, а вот прошло столько лет, и старый мужчина, глядя на морщинистые, со вздувшимися венами руки старой женщины, взбивающей мыльную пену, думает о них обоих.

Снова ветер ударил в стену дома, и Кериму-киши вспомнился жаркий день четыре или пять лет назад, когда он с детьми ездил в Набрань и привез оттуда щенка овчарки; маленький щенок весело бежал за детьми и лаял. Дети назвали щенка Набран.

Конечно, Рахиль Хаимовна ничего не знала о голодной собаке, оставшейся на привязи в Бильгя; она улыбнулась вдруг, и от этого на ее пожелтевшем, как пальцы у курильщика, лице прибавилось морщин.

— Изабелла Соломоновна хотела выдать меня замуж. Я ведь была очень симпатичной. Но я сказала: где ты найдешь для меня Шнайдера? Кто даст мне моего Шнайдера?

В другое время Керим-киши сказал бы несколько шутливых слов, потому что, когда Рахиль Хаимовна приехала к Изабелле Соломоновне, ей было далеко за пятьдесят, но он не пошутил и подумал, что и ему Зибейду никто не сможет вернуть. Подумал и опять разозлился на себя за то, что так размяк, и нетерпеливо заерзал на стуле.

Рахиль Хаимовна, хотя и была сейчас вся в воспоминаниях о Шнайдере, провела по подбородку Керима-киши так и не согревшимися, холодными пальцами и сказала:

— Еще остались волосы. Не вставайте пока.

Через некоторое время Рахиль Хаимовна закончила работу и, опять окунувшись в метель, пошла через двор

к себе домой, но долго еще ее слова «Не вставайте пока» звучали в ушах Керима-киши, и он подумал, что Рахиль Хаимовна, наверно, единственный в мире парикмахер, у которого остался один-единственный клиент.

А еще через какое-то время снова послышались далеко-далеко слабые звуки довоенной патефонной пластинки.

Весь этот долгий день Керим-киши ни с кем не разговаривал, только вечером, глядя, как бушует метель за окном, сказал громко самому себе:

— Я совершил грех.

И Фазиля, и дети, и с трудом добравшийся с работы Ахмед не решались заговаривать с Керимом-киши, поэтому у всех на сердце была тяжесть и все искренне мечтали, чтобы завтра погода наладилась и чтобы старик наконец перестал хмуриться, повеселел. Один только Керим-киши знал, что, во-первых, погода не наладится, а во-вторых, наладится она или не наладится, но если и завтра он ничего не сможет сделать, с Набраном все будет кончено. Никто ведь не знает, что он привязан, что он на короткой цепи.

Ночью метель не утихла, и, лежа в постели, прислушиваясь к вою ветра на улице, Керим-киши снова думал о саде, о море в Бильгя, и — что удивительно! — он вспомнил вдруг большую утку, которую подстрелил сорок лет назад.

Большая утка все время садилась на песчаный берег в Бильгя, и каждый раз, когда уста Керим приближался к ней, она взлетала и снова садилась на песок в двадцати шагах от него. Один раз, два раза, три раза... Как будто сама говорила: уста Керим, пойди в дом, возьми ружье и убей меня. Уста Керим взял дома ружье и совершенно без всякой надежды вернулся на берег, думая, что утка наверняка улетела. Но утка не улетела, она словно ждала уста с ружьем. И уста одним выстрелом уложил ее на месте.

Керим-киши припомнил тот день совершенно ясно: это был конец апреля, было воскресенье, и еще он вспомнил, что Зибейда сварила из этой утки шорпу.

Керим-киши подстрелил в своей жизни много уток, много всякой другой птицы и теперь никак не мог понять, отчего именно эта утка припомнилась ему так отчетливо и почему утка была совсем одна, почему она не улетала, почему не боялась его? Тут ему послышался

звук выстрела, и он, незаметно задремавший под одеялом, вздрогнул.

Когда рано утром Керим-киши, с трудом приоткрыв наружную дверь, выбрался во двор, ветер так ударил ему в лицо, что Керим-киши отшатнулся и спиной прикрыл дверь. Некоторое время он стоял на крыльце, прижавшись к двери и прислушиваясь к звукам внутри дома, но ничего не услышал — никто, наверно, не проснулся.

Керим-киши поднял воротник старой шубы, выставил вперед левый локоть и, стараясь идти боком, прошел через ворота на улицу.

Было еще совсем темно, и на улице никого и ничего не было, кроме снега и воющих вихрей метели. Мороз накинулся сразу на худое длинное тело Керима-киши, и он почувствовал его резкое дыхание, а потом знакомый запах нефти и понял, что это пахнет его шуба.

Давно, очень давно Керим-киши не надевал этот бараний тулуп, с тех времен, когда ранним утром выходил из дома на работу, садился в автобус и вылезал из автобуса возле Бухты.

В этот час в Бухте весь промысел засыпан снегом, но все равно отовсюду из-под снега пробивается запах нефти; Керим-киши знал это. А в старом запахе нефти, исходящем из тулупа,— лишь воспоминание о былом. Керим-киши не ускорил шаг, а пошел размеренной, спокойной походкой, и под закрученными усами, вчера так тщательно подстриженными Рахилью Хаимовной, дрогнули губы.

Левой рукой он заслонял лицо от ветра, а в правой держал большой и тяжелый сверток.

У трамвайной остановки, напротив садика у Пятиэтажки, Керим-киши остановился. Трамвая не было, рельсы были заметены снегом. Втянув голову в воротник тулупа, сквозь бьющие по лицу большие хлопья он разглядел в саду у Пятиэтажки сломанные от тяжести снега и погнутые деревья. Как будто это было кладбище деревьев, и теперь здесь хозяйничали только ветер и снег.

Керим-киши стукнул себя рукой по худому бедру, прикрытому тулупом.

— Ух ты!..— сказал он. Он огорчился, но объяснил себе, что в гибели деревьев не виноваты старость, слабость или «размякание»,— просто деревья, как и люди,



у них есть своя сопротивляемость, и иногда она тоже кончается.

Он снова заслонил лицо свободной рукой и зашагал к Сабунчинскому вокзалу. Перед глазами все еще стояли поломанные деревья. Потом он подумал о деревьях в Бильгя, тех, что вырастил сам и хотел оставить внукам. Дача Керима-киши находилась в низине, там не должно быть такого ветра — это хорошо, но вот что плохо: гранат и инжир, наверное, побьет морозом. Персикам и абрикосам обильный снег только на пользу, но к чему такая польза, погибнут гранаты, пусть уж и персики пропадут совсем...

На Сабунчинском вокзале было малолюдно, и вокзал изнутри напоминал пустую мечеть. Звук электрички как



будто внес в эту пустоту жизнь и тепло. Керим-киши вошел в вагон, положил сверток на пол, и поезд тронулся.

Вагон качался, сильно трясло, и Керим-киши, глядя на заиндевевшее окно, вспомнил, как Ахмед говорил вчера, будто электрички не ходят. Он улыбнулся, но тут же нахмурился, рассердился на себя за то, что никому не сказал о своей поездке в Бильгя, а главное — за то, что так постарел, ослаб, что и сам это видит, думает об этом и сердце его стучит: «Увы! Увы! Увы!..»

Керим-киши почувствовал, что уже дремлет, что все его тощее, согревшееся тело погружается в сон, и он принялся растирать замерзшие руки. Но снова появились перед глазами сломанные пополам деревья, потом подстреленная когда-то утка, а потом он ощутил у себя на

лице холодные пальцы Рахили Хаимовны и вдруг подумал, что это, видно, его последняя зима.

Когда он сходил с электрички, ветер хлестал так сильно, словно кругом рушился мир...

Автобусы не ходили, и Керим-киши, снова загородив лицо рукой, зашагал в сторону Каспия. До метели здесь была проселочная дорога, слева стояли дачи, справа — оливковые деревья, среди которых высились сосны. Но сейчас не было ни проселочной дороги, ни дач, ни деревьев, а только снег и все срывающий ветер, и этот ветер не давал Кериму-киши открыть глаза. Он уже еле волочил ноги.

Внезапно он почувствовал, что, кроме снега, ногам его еще что-то мешает, путается у него в ногах. Это была маленькая собачонка, чью конуру, наверно, занесло снегом. Керим-киши хотел было остановиться, развернуть сверток, в котором были остатки вчерашнего обеда, кости и колбаса. Но понял, что на это уже не хватит сил, и продолжал двигаться дальше. Собака не отставала — ее манили запахи свертка, запахи человека...

На даче у Керима-киши было огромное абрикосовое дерево; под ним, он говорил всегда, можно накрыть стол для ста человек, и обычно он издалека видел это дерево. Теперь, сквозь завесу снега, Керим-киши не столько увидел, сколько почувствовал, что вот с этого места, пожалуй, уже видно это огромное дерево,— значит, близко. И тут показалось ему, что в ногах у него вертится вовсе не один пес, а два...

Собаки кружили вокруг него и, не останавливаясь, двигались вместе с человеком неизвестно куда.

Наконец Керим-киши нащупал железные ворота. Калитку замело, и он, собрав все силы, начал незанятой рукой отгребать снег. Ему казалось, что собаки помогают тоже, передними лапами разгребают сугроб.

Когда, открыв калитку, он вошел во двор, у него была только одна мысль: вход в конуру Набрана не со стороны Каспия, и ветер, может быть, не насыпал туда столько снега.

— Набран! — позвал он, прислушался и услышал тихий собачий визг. И хотя Керим-киши не чуял уже ни рук, ни ног, ни собственного тела и ничего больше не видел, он думал все же, что это, если не мерещится, действительно скулит Набран, и еще: что долгие эти дни Набран, видно, ждал его...

Все, что было потом, было совсем как во сне.

Ему казалось, что псы, которые раньше путались у него под ногами, забились, дрожа, к Набрану в конуру, и он, с трудом развернув сверток, достал им пищу.

Потом он на мгновение словно очнулся, потому что совершенно ясно услышал рядом голос Ахмеда: «Отец! Отец!..»

И больше он не слышал ничего.

...Врач отошел от постели больного, посмотрел на Аяза, потом на его сестричку и старшего брата, потом на Ахмеда, на Фазилю, на стоявшую в дверях Рахиль Хаимовну и снова обернулся, взглянул на лицо Керима-киши, утонувшее в мягкой подушке.

— Пневмония,— сказал он.

Ахмед смотрел, не отрываясь, на беспомощного отца, на лицо с закрытыми глазами, и в сердце его стучало: «Отец, отец, мой отец!»

И если бы Керим-киши смог сейчас увидеть в зеркале глаза Рахили Хаимовны, он понял бы, что старая женщина плачет. Потому что несчастен тот парикмахер, от которого уходит его последний и единственный клиент.

...Ну, а что до погоды, то через два дня в Баку прекратился снегопад. Ветер утих, и выглянуло солнце, и даже трудно было себе представить, что всего только два дня назад такой огромный пес, как Набран, оставшись в конуре, скулил от холода и страха.

МОТОЦИКЛ ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК

— Пап, а горы курят?

— Нет, курят только люди.

— Неправда! И обезьяны курят, я сам видел по телевизору.

— Ну, если ты видел... Обезьяна сама курить не может, ее кто-нибудь научил.

— Кто?

— Человек.

— А кто научил курить горы?

— Что ты мелешь? Где ты видел, чтобы горы курили?

— А вон! — И Толик протянул руку, показывая на Кавказский хребет.

Действительно, горы курили. Они славно так попыхивали облачками, пуская их кольцами в небо.

— Видишь, папа?

«Теперь он будет твердить, что горы курят, и от него не отделаешься»,— подумал я.

— Пап, ты видишь?

«Теперь он стал называть меня папой. Раньше называл «ата» [1]. Я его тоже недавно переделал в Толика. Настоящее имя его Тебриз. Впрочем, не все ли равно — Тебриз или Толик? Что меняется от того, что человеку дают другое имя?»

Я тут же поймал себя на том, что философствую. Что ж, это от безделья. Толик развлекается, а я скучаю. А когда скучно, начинаешь философствовать.

— ...Пап, ты видишь?

«Вот пристал! Если я сейчас скажу «вижу», он не отстанет. Он спросит, а как горы научились курить, где у них рот и какие они курят сигареты».

— Давай покатаемся на лодке,— сказал я ему.— Сегодня тихая погода. Мы возьмем лодку и погребем вволю.

— Давай! Давай! — закричал Толик. Он сразу забыл про горы.

Озеро было близко, в двух шагах. Мы уже подходили к нему, как Толик вдруг остановился.

— Пап!

— Что?

— А мама говорила, что на озеро ходить нельзя.

«Ну вот, Сурея уехала, а запреты ее остались. И сама она смотрит на меня глазами Толика, так похожими на глаза ее матери Мушкиназ-ханум. Смотрит и ждет ответа».

— Мы маме не скажем. Она не узнает.

«Конечно, она узнает. Толик проговорится. И тогда посыплются упреки: ты подрываешь мой авторитет, ты плохо воспитываешь ребенка. Ты учишь его лгать». В заключение Сурея скажет: «И все это потому, что ты циник».

«Боже, это я-то циник! Дорогой товарищ Сабир Меликов! Дорогой кандидат искусствоведения! Отныне тебе придется подписывать свои статьи новым именем — С. Циник. Надо бы сказать об этом Сурее. Но вряд ли это покажется ей остроумным. Поэтому я лучше промолчу, когда она приедет».

---

[1] Ата — отец.

На берегу озера стоял киоск проката. Я оставил там свои часы и получил взамен два весла.

Я посадил Толика, сел сам и оттолкнул лодку от причала. Она тихо заскользила по гладкой воде. Как давно я не греб! Мы уже неделю живем в Кисловодске, а я еще не брал в руки весел.

Когда-то, когда мы приезжали сюда с отцом, я греб каждый день. Я не вылезал из лодки. Толика еще не было на свете, и я увлекался культуризмом, но из этого ничего не вышло. Неужели было время, когда Толика не было? А настанет время, когда меня не будет, а потом не станет и Толика...

Я даже присвистнул от неожиданности этой мысли.

— Папа, ты забыл, что мама говорила: не свисти!

— Да... помню, Толик.

— А почему ты свистишь?

— Пардон, больше не буду.

Я сказал это и стал ждать, что Толик спросит, что такое «пардон». Но он не спросил. Наверное, я объяснял ему это когда-нибудь.

— Пап, а это что?

Толик показывал на стоящие на берегу деревянные зонты-грибки. «Если я ему сейчас скажу, что люди боятся солнца и прячутся под грибками, он спросит, а почему они боятся. А если отвечу, что солнце жжет, последует вопрос, почему жжет, и т. д».

— Толик, ты хочешь купаться?

Глаза его загорелись, но тут же погасли. Он вспомнил: мама сказала «нельзя».

Мы познакомились с Суреей в Кисловодске. Она жила с родителями в автопансионате, на берегу озера; наша семья снимала комнату в городе. Я приходил на озеро кататься на лодке и купаться. Сурея была тогда высокая, стройная, ее большие голубые глаза смотрели таинственно. Впрочем, глаза у нее и сейчас большие и голубые. С тех пор я каждый свой отпуск провожу в автопансионате, месяц законный, а полмесяца без сохранения содержания. Когда-нибудь на стене этого пансионата повесят доску: «Здесь в течение шести лет ежегодно отдыхал выдающийся искусствовед Сабир Меликов». И ниже даты рождения и смерти (1937—19..) Но почему тысяча девятьсот? Может, я умру в двадцать первом веке?

Обычно мы приезжаем сюда с родителями Суреи,

У ее отца есть «Москвич», и он везет нас сюда своим ходом. На этот раз мы приехали втроем: я, Сурея и Толик. Отец и мать Суреи остались в Баку — их младший сын Демир поступает в институт. Мои в Бузовнах на даче.

Я вспомнил, какую послал Сурее телеграмму, и мне стало не по себе. Глупо острить, когда у человека горе. Утром от Суреи пришла телеграмма: «Долетела благополучно. Здесь ужасно. Послезавтра буду там. Целую вас. Жду вашего ответа. Сура-мама». «Сура» предназначалось мне, «мама» — Толику. Но я Толику ничего не сказал. Зачем рассказывать ребенку о смерти? Умерла тетя Фира, Фирангиз... Что я отвечу Толику, если он спросит: «Что такое «умерла»?»

А телеграмму я дал действительно глупую: «Тот же голос, тот же бас. В пансионате тот же Басс».

Иосиф Самойлович Басс — бессменный директор пансионата. С тех пор как я открыл глаза, я помню этого Басса. Невысокий, рыжий, он с той же улыбкой, с теми же унылыми движениями, с той же надеждой в глазах встречает и провожает отдыхающих.

Сурея прочтет телеграмму и скажет: циник. Она скажет это про себя, потому что обо мне она говорит только с собой.

Глупо, глупо, глупо...

Я взглянул на руку. Кожа под часами была белой-белой. Вся рука загорела, а от часов остался след. Потом и он загорит. Если в киоске проката вдруг потеряют мои часы, след загорит, и будет казаться, что часов не было. А останется ли след от Фирангиз? Чем заполнится место, оставленное ею в этом мире? Ничем! Миру нет дела до исчезновения Фирангиз. Он даже не почувствует пустоты: ее место заполнится водой, воздухом, солнцем. И солнце будет светить по-прежнему, как будто не было Фирангиз. Почему?

— Пап, что это такое?

Толик снова показывал на грибки на берегу.

— Иди ко мне, погребем вместе,— сказал я ему.

Он хитро так посмотрел на меня, давая понять, что его не проведешь. «Я знаю, что ты уходишь от ответа»,— говорил его взгляд. Потом он ухватился за мою руку и перебрался ко мне. Мы стали грести вместе.

Деревянные грибки на берегу этого искусственного озера стояли в слишком строгом порядке. Их симметрия казалась ненатуральной на фоне гор. «Это все равно, как

если б Гачаг Наби[1] взял портфель и пошел в издательство,— подумал я.— Гачаг Наби — Кавказский хребет, а портфель — квадрат этих искусственных грибков».

Однажды, кажется, это было в прошлом году, я пошутил таким же образом. Мы гуляли в парке и остановились у водопада. Это был маленький искусственный водопад. Речку перегородили, и он лился жидкой струей, поблескивая на солнце. «Смотри, как красиво!» — сказала Сурея. Я пожал плечами. «Это похоже на Кероглу, который взял зонтик и спрятался от дождя»,— сказал я.

Сурея рассердилась: «Вечно ты недоволен! Все тебе не нравится! Мы целый год ждем этих дней, готовимся, копим деньги, а тебе хоть бы что. Ты и в отпуске такой же, как дома».— «Но я не могу радоваться тому, что мне не нравится. Я не могу естественно восхищаться тем, что неестественно».— «Заладил: естественно, неестественно! Все это у тебя слова. Ты и простой речкой не можешь восхититься».— «А что ты хочешь? Чтоб я подогревал себя? Чтоб искусственно восторгался самой природой?»

— Пап, давай я перейду на другой бок! — сказал Толик.

Я подхватил его и перенес к другому веслу. Какой он легкий! Сколько я ни проделывал фокусов, чтобы заставить его есть, он не поправляется. Дома это обычно вызывает смех. Смеется даже Сурея. Я кукарекаю, кувыркаюсь, скашиваю глаза и прошу: «Толик, съешь еще ложечку...» Сурея говорит, что мне бы не писать о театре, а играть в нем.

Когда в такие минуты к нам заходила Фирангиз, она тоже смеялась и говорила Сурее: «Все думают, что твой муж сухарь, а он совсем не такой. Посмотри! Это просто цирк, не надо ходить на Олега Попова».

Больше я не услышу смеха Фирангиз. Никто уже не засмеется так, как она, и никто не сравнит меня с Олегом Поповым.

Ее нет. Она умерла.

Вот и я так когда-нибудь уже не буду грести, не буду вспоминать о своих ссорах с Суреей, не буду сравнивать Кавказский хребет с Гачаг Наби. А потом и Толик не будет грести, а потом и сын Толика, и, может, внук его, который уже не будет знать моего имени...

---

[1] Гачаг Наби — легендарный азербайджанский национальный герой.

— Пап, ты опять свистишь?

— Прости, Толик.

Впереди виднелся мост.

— Давай проплывем под этим мостом! — сказал я.

Толик улыбнулся. Улыбку, как и глаза, он взял у Мушкиназ-ханум. Интересно, что возьмет его сын у меня?

Когда вчера пришла телеграмма от Мушкиназ-ханум, Сурея сразу же заказала телефонный разговор с Баку. По телефону Мушкиназ-ханум сказала, что Фиру задавил автобус. Он прямо смял ее, нашу бедную Фирангиз. Потом она сказала, что в Баку очень жарко и завтра у Демира первый экзамен.

Сурея едва вышла из будки. Я должен был поддержать ее, чтобы она не упала. Кроме того, я боялся испугать Толика. Ночью она улетела на похороны.

Фира училась с Суреей в одном классе. Они вместе закончили школу и вместе поступили в один институт — медицинский. Там они учились в одной группе. И на работу их направили в одно место. Я забыл, как называется этот институт,— институт онкологии, рентгенологии и радиологии? Толик точнее знает его название.

Фире, как и Сурее, было двадцать девять. Мы с ней ладили: она предпочитала меня Олегу Попову, и я обещал, когда Толик подрастет, сосватать ее за Толика. Нельзя же оставаться старой девой.

Сурея ругала меня, что я слишком грубо шучу с Фирой. Но Фира не обижалась, я знаю.

Она не вышла замуж не потому, что не была красива. Просто не было человека, которого бы она любила. Она сама мне говорила об этом. Когда об этом говорит красивая женщина, ей можно верить. Я верил Фире, хотя иногда мне казалось, что она тайно любит кого-то. Как-то я сказал ей: «У тебя есть тайный возлюбленный». Она покраснела, но тут же свела все к шутке: «Ты боишься за Толика? Пока он вырастет, я разлюблю своего возлюбленного».

Может быть, Фира любила меня?

— Пап, не свисти!

— Ой, прости, пожалуйста.

Я посмотрел на часы, но часов на руке не было, белел только след от них. Сейчас мы вернемся, я снова надену часы, и белый след закроется.

Но место, оставленное Фирангиз, еще долго будет пустым.

Слева по борту появилась лодка. На веслах сидела женщина в красивом купальнике. Она и сама была хороша. Портил ее листок на носу, который она приклеила, чтобы спастись от солнца. Мне этот листок напомнил фиговый лист Аполлона (только у Аполлона прикрыт срам, а здесь — нос). Я засмеялся: мне понравилось это сравнение.

Женщина поняла мой смех по-своему. Ее зеленые глаза весело подмигнули мне. «Ишь ты!» — подумал я. Но тут из-за моего плеча показался Толик. Взгляд женщины сразу посуровел. Она резко отвернулась и налегла на весла. Ее лодка ушла вперед.

— Ты боишься, что я утону? Почему ты меня так крепко держишь? Ты боишься, чтоб я не упал в воду?

Когда Толик был маленьким, я думал, что он будет композитором. Потом он заговорил, и я решил, что его призвание — литература. Теперь я вижу, что он родился преподавателем логики.

Он прав: я боюсь. Если он упадет в воду и утонет, я умру. Я не смогу жить. Но чего я больше боюсь: того, что умрет Толик, или умру я?

Фира была смелая девушка, она не могла полюбить меня. Ее идеалом мог стать только смелый человек, не такой, как я. Но откуда я знаю, смелый я или нет? Был ли в моей жизни случай, когда б я мог это проверить? Так что, может, я и смелый, и Фира могла полюбить меня.

Но зачем я все время спрашиваю, любила она меня или не любила? Переживал бы я больше, чем сейчас? И переживаю ли я вообще ее смерть? Ведь переживать и сожалеть не одно и то же.

К тому же еще вопрос: была ли Фира смелой? Может, я идеализирую ее. Все мы одинаковы, только стараемся казаться разными.

Нет, нет, Фира не казалась — она была.

Сурея не раз жаловалась ей на меня. Часто она делала это при мне. И как-то Фира ей возразила: «Ты не знаешь Сабира. Он не так уж плох. Внутри его живет другой человек. Он потенциально существует, и его надо лишь подтолкнуть».

Фира говорила о себе. Это в ней жил такой человек, и его не все видели. Я видел, и он мне был дороже того

человека, которого видели все. Он-то и был смелым, этот другой человек.

А во мне, кроме меня, никого нет. Я — одновариантный, однозначный, одноэкземплярный Сабир.

— Папа,— сказал Толик,— если б у нас был мотоцикл, было бы здорово.

Утром, гуляя, мы проходили мимо универмага, и Толик потащил меня к витрине. За стеклом на подставке стоял новенький ярко-красный мотоцикл. Он весь сверкал никелированными частями. Толик не мог оторвать от него глаз. Мы простояли у витрины полчаса и потом всю дорогу говорили о мотоцикле.

— Пап, а ты водил мотоцикл? — спрашивал Толик.

— Нет, я водил трехколесный велосипед.

— А тебе кто его подарил, дед?

— Да. Я ездил на нем по балкону, потому что бабушка не пускала меня во двор.

— Сколько тебе было лет?

— Я учился тогда в первом классе.

Но и позже я не любил техники. Отец Суреи водил «Москвич», но я не испытывал к «Москвичу» никакого интереса. Я приезжал на нем в пансионат, уезжал обратно, и все. Остальное меня не волновало.

Из-за этого «Москвича» мы и стали ездить в Кисловодск. Нынче «Москвич» остался в Баку, но мы все равно приехали. Выручил Иосиф Самойлович Басс, а точнее, коньяк «Гек-Гель». В обмен на две бутылки мы получили прекрасный двухместный домик. Правда, он временный, но что поделаешь? И к тому же на будущий год мы снова приедем сюда и снова поселимся в этом домике.

Тот же голос, тот же бас.
В пансионате тот же Басс...

Как все это приелось! Неужели я осужден каждое лето видеть одно и то же? Одни и те же дома, одни и те же лица: дворника Лени, администратора Жени, буфетчика Сергея, охранника Фомы Герасимовича. И конечно, Иосифа Самойловича Басса. Неужто я до конца дней обречен кататься на этом озере, смотреть на эти горы, ходить по этим улицам? Я уже тысячу раз ходил по ним. Впрочем, и ничто другое меня не влечет. Так почему же я об этом думаю?

Всюду эти «почему»!

Когда Фира и Сурея были студентками, они вечно ссорились. Фира заходила за Суреей по пути в институт. Институт в двух кварталах от нашего (я говорю «нашего», потому что с тех пор, как мы поженились, я живу у Суреи) дома. Но Фира всякий раз избирала новый путь. «Куда ты меня тянешь? — сердилась Сурея.— Мы опоздаем!» — «Я задыхаюсь, когда вижу одно и то же!» — отвечала Фира. Она готова была обойти весь город, только бы не попасть на знакомую улицу.

— Я устал,— сказал Толик.— Я ненавижу твое озеро, потому что ты все время молчишь.

— А о чем мне говорить?

— Расскажи сказку.

— Может, рассказать про Джыртдан?

— А кто это — Джыртдан?

— Никто.

— Расскажи про Снегурочку.

— Ладно, но я потом расскажу, а сейчас поехали, надо сдать лодку.

Я спешил. Мне хотелось скорей получить часы и надеть их на руку. Белый след от ремешка раздражал меня. Если часы пропадут, то чем я закрою его?

Лодка ткнулась носом в причал. Я высадил Толика, прикрепил лодку цепью и направился к киоску проката. Часы были на месте. Я надел их на руку и подумал: «Вот и все. И хватит об этом».

— Пап, ты расскажешь сказку?

— Пойдем погуляем в парке,— сказал я Толику.— А потом поужинаем.

— Нет, сначала на «Фантомаса»!

— А ужин?

— Сначала — «Фантомас»!

Мы подошли к автобусной остановке. На остановке стояла очередь.

— Кто последний? — спросил я.

— Пап, а ты знаешь, как Фантомас смеется: «га-га-га»...

— Не «га-га-га»,— сказал я, делая страшное лицо,— а «ха-ха-ха»...

Люди в очереди стали оглядываться. «Вот, уже оглядываются,— подумал я.— Скоро начнут аплодировать». Мне захотелось поклониться им и сказать: «Благодарю за внимание».

Я всегда так делал, когда кормил Толика, и Фира

аплодировала мне. «Не понимаю, почему тебя считают пресным,— сказала она как-то.— Ты не пресный, ты скорей... безразличный».

Я запомнил это слово. Целую ночь я ворочался тогда возле Суреи и не мог заснуть. Так, значит, я безразличный? Фира попала в точку.

Наверное, это оттого, что у меня нет мечты. Большой мечты, высокой. О чем я мечтаю?

Во-первых, чтоб скорей вернулась Сурея. Толик томится без нее, а я томлюсь с Толиком. Во-вторых, чтоб на следующий год мы вновь приехали сюда. Я хоть и ворчу, но мне тут неплохо. Я целый день валяю дурака и ни о чем не думаю. Ни о чем не думать — особое блаженство. Это похоже на состояние человека, который выпил несколько бутылок вина. Он пьет весь день вино и не пьянеет. Какой-то сладкий полусон, идиллия бездумья. Но я, кажется, впал в пафос.

К остановке подкатил автобус. Очередь, толкаясь, погрузилась в него. Влезли и мы с Толиком.

— Ну что теперь? — сказал я.

— Теперь возьми билет.

Я порылся в кармане и нашел пятнадцатикопеечную монету. Кондукторша (она оказалась интересной блондинкой) дала мне пять копеек сдачи. Новенький пятак блестел как золото.

— Дай мне! — попросил Толик.

«Итак, две мечты у меня уже есть. А третья? — Я пошарил в памяти.— Есть и третья. Третья моя мечта — быстрей защитить докторскую диссертацию. Надоело слышать «кандидат искусствоведения Меликов». Хочется слышать «доктор Меликов». Кроме того, прибавят зарплату, и Сурея перестанет меня пилить.

Нет, за такие мечты Фира бы не полюбила меня.

Представляю, что у них там сейчас делается! У Фиры три сестры, и все ее моложе. Но она самая красивая. Самая красивая и одна незамужем. И мама у нее хорошая, Бике-хала. Она так вкусно готовит душбере и кутабы.

Отца у Фиры нет. Я не знаю, куда делся Фирин отец — погиб ли на фронте, или еще где. Мы никогда не говорили с ней об этом. Семь лет я почти каждый день видел Фиру и не догадался спросить.

— Пап, мы идем на «Фантомаса»?

— Да, да, Толик, идем.

...Когда начался фильм, я вдруг вспомнил одну вечеринку у Гаджи. Мы были тогда студентами. У Гаджи была удобная квартира — большая и пустая. Отец его все время находился в разъездах, а мать в Гаджи души не чаяла.

Мы веселились, пели, танцевали. Все было как на всех вечеринках. Неожиданно Гаджи встал и попросил внимания. Он сказал, что хочет, чтобы каждый объявил свою мечту, самую заветную. Пусть каждый подумает и скажет.

Мы стали думать. Когда очередь дошла до меня, я еще не знал ответа.

«Ну, а у тебя какая, Сабир, мечта?» — спросил Гаджи.

«Моя самая заветная мечта,— сымпровизировал я,— чтобы сбылись все ваши мечты».

Получилось хорошо. Все зааплодировали. Гаджи обнял меня. Он был растроган. И остальные растрогались. Меня поздравляли: «У тебя самая благородная мечта!»

Я потом стыдился своей неискренности. Я мучился оттого, что у меня нет мечты. Сколько я ни искал в себе, я не мог найти ничего подходящего.

Почему у меня нет мечты? Потому что я безразличный? Или потому, что я знаю, что мы все умрем?

Мои размышления прервал смех Фантомаса.

— Ух ты! — восхитился Толик.

Потом он успокоился и зашептал мне на ухо:

— Видишь, папа, он смеется так, как я.

Месяца полтора назад я встретил Гаджи на улице. Он торопился на футбол. «Пойдем! Есть лишний билет! «Нефтчи» — «Динамо» (Киев)».— «Спасибо, Гаджи, я посмотрю по телевизору». Он посмотрел мне в глаза: «Ты что? Закис? Откуда у тебя такая апатия?»

Слово это так и вонзилось в меня. «Апатия,— подумал я.— Апатия и безразличие. Гаджи как будто подслушал, что мне сказала Фира».

Я разозлился тогда на него, но злиться было нечего, Гаджи был прав.

Но почему? Почему? Почему?

Я сижу в зале, смотрю на экран и повторяю: «Почему? Почему? Почему?» Лучше бы я наблюдал за мимикой Луи де Фюнеса.

Толик громко засмеялся.

«Если б я мог смеяться, как Толик!» Это, кстати, моя

четвертая мечта. Если б я мог так простодушно радоваться жизни, я был бы счастлив. Но я не могу. Я сразу заглядываю в конец и спрашиваю: а какой в этом смысл? Я ищу смысла в большом и малом — даже в собственном смехе.

Знаешь что, друг мой, пока еще кандидат искусствоведения, сиди и не рыпайся. Были и до тебя умные люди и не ответили на эти вопросы. Сколько они ни ломали голову, все равно им пришлось умереть.

О том же мне говорил Кемаль Аджалсыз. Как-то — это было осенью — мы задержались на работе. За окном лил дождь, серое небо не обещало никакого просвета. «Грустно»,— сказал я. Аджалсыз покачал головой: «Что ты хочешь, юноша? Осень».— «Да, но что-то уж очень грустно».

Мы еще посидели немного, а потом Аджалсыз сказал: «Хочешь, я тебя избавлю от этого настроения? Скажи «да», и ты найдешь алтарь, перед которым не устанешь молиться».— «Что вы мне предлагаете?»

И Аджалсыз вынул из своего выцветшего портфеля бутылку «Московской».

«Нет,— сказал я.— Это не по мне. Я терпеть не могу водки. И вообще у меня семья, сын Тебриз».

Надо сказать, что Кемаль — горький пьяница. Но зато псевдоним у него Аджалсыз [1].

Моя пятая мечта — вырастить Толика.

Толик об этом не знает. Он смотрит «Фантомаса» и смеется. А я твержу себе: Толик-Тебриз. Толик-Тебриз. Что я имел в виду, когда дал ему имя этого города?

Было бы здорово сейчас явиться на почту, заказать разговор с Баку и позвонить Гаджи. И без всяких околичностей спросить его: помнишь ту вечеринку? Помнишь, как ты просил нас поделиться своею мечтой? У меня есть мечта. У меня не одна мечта, а целых пять.

Он, наверное, решит, что я пьян, и спросит: «Что ты имеешь в виду?»

«Значит, ты не помнишь, значит, все, что вы говорили тогда,— ложь, и у вас не было мечты, вы ее придумали?!»

«Бог с тобой,— скажет Гаджи.— О чем ты?»

«Вот видишь, ты забыл. Ты забыл, как я сказал: моя мечта — чтоб сбылись ваши мечты! Я вас обманул, но и вы меня обманули. И нечего спрашивать: «Откуда у тебя

---

[1] Аджалсыз — бессмертный.

апатия?» Чем ты отличаешься от меня? Тем, что смотришь футбол на стадионе, а я — по телевизору? И это дает тебе основания для оптимизма?»

Фира считала меня безразличным, но я мог заменить ей Олега Попова. Значит, было во мне что-то. Значит, есть во мне другой человек, иначе стал бы я спрашивать: «Почему? Почему? Почему?» Стал бы я бить себя в грудь и говорить: я плохой?

Впрочем, завтра, может быть, я этого не скажу. Не каждый день умирает Фирангиз... Завтра все уляжется, и я опять стану самим собой — кандидатом Сабиром Меликовым, постояльцем пансионата Иосифа Басса.

Я понимаю, что все зависит от меня самого. Моя судьба — в моих руках. Но это громкие слова, и если в сердце нет желания, то и руки беспомощны. Они безвольно повисают вдоль тела.

...В зале вспыхнул свет.

— Жалко,— сказал Толик.— Посмотреть бы еще раз.— И он взглянул на меня.

— Нет, на сегодня хватит.

Мы вышли из кинотеатра и побрели по улице.

«А смешной все-таки псевдоним у этого Кемаля,— вспомнил я.— Не псевдоним, а протест: я в смерть не верю — где оборвется, так и оборвется. Он протестует хотя бы этим. Фира — она однажды видела Аджалсыза у Толика на дне рождения — говорила, что ему бы надо взять псевдоним «Аладжсыз»[1]. Какой он Аджалсыз, он Аладжсыз!»

Фира тоже была беспомощной и оттого умерла. Все мы беспомощны перед смертью. Но я начинаю повторяться... Как в сказке о белом бычке: ты безразличен, а почему ты безразличен, и как не быть безразличным, и чем это кончится. Каждый раз я упираюсь лбом в этот конец, и все начинается сызнова.

— Пап, ты куда так спешишь?

Я и не заметил, что прибавил шагу. Наверное, это оттого, что мысли мои буксуют и я движением хочу вырваться из застоя.

А Толику скучно. В кино он смеялся, прыгал, закрывал глаза от страха. А теперь он молчит.

«Если б я мог скучать, как Толик!..» Это моя шестая мечта. Шестая и последняя, больше у меня нет. И все они

---

[1] Аладжсыз — беспомощный.

не стоят и копейки. Разве кроме мечты вырастить Толика. Но и это не мечта, а инстинкт. И животное беспокоится о своем детеныше.

Научусь я скучать, как Толик, или не научусь, не все ли равно. Ну и научусь, ну и что?

Мы проходили мимо универмага.

— Смотри — стоит! — И Толик потянул меня к витрине.

Мотоцикл действительно стоял на месте. Он ничуть не потускнел за то время, пока мы его не видели. Он так же сверкал, был так же нов, наряден и вызывающ. Казалось, он говорил прохожим: «Купите меня! Ну купите!»

Толик так и прилип к стеклу. Он долго смотрел на мотоцикл, оборачивался, смотрел на меня и опять на мотоцикл.

— Пап, купим?

— Ты шутишь, Толик.

Но он не шутил. Его глаза смотрели на меня серьезно и с надеждой.

— Толик, но на что мы его купим? Где у нас деньги?

Он протянул мне кулачок и разжал пальцы:

— Вот.

В руке у Толика лежала новенькая пятикопеечная монета.

— На этот пятак?

Все деньги, которые мы взяли на отпуск, лежали в моем боковом кармане. И их вполне хватило бы на то, чтоб купить мотоцикл. Может, так и сделать, подумал я, пойти и купить? А там будь что будет. Если я сейчас это сделаю, я, может быть, что-то изменю в своей жизни.

Толик смотрел на меня и ждал.

А если Сурея начнет ругаться, я скажу: «Оставь». А если за этим последуют еще какие-нибудь события (например, разрыв), пусть. Значит, так должно было быть.

Пока я объяснял себе это, старая мысль вылезла снова и спросила: «А зачем? Что это может изменить? Фира умерла, и теперь в этом нет ни-ка-ко-го смысла».

Я взял у Толика монету, и мы вошли в универмаг. Я заплатил в кассу рубль пятьдесят восемь копеек и купил игрушечный мотоцикл.

Толик повертел его безразлично в руках:

— А почему ты не купил настоящий?

— Вырастешь — куплю.
— А сейчас?
— Сейчас ты маленький.
— Ты купи себе!
— Ты же знаешь, я не умею водить мотоцикл.
— Почему?
— Меня не учили... и вообще я не хочу, не люблю ездить на мотоцикле.
— Пап, научись!
— Нет, Толик, уже поздно.
И мы снова вышли на улицу.
Когда мы уже подходили к пансионату, Толик сказал:
— А я буду водить мотоцикл.
Так я и не накормил его сегодня ужином. Дай бог, чтоб Сурея не узнала: достанется мне на орехи.
Вот и знакомые домики.

Тот же голос, тот же бас.
В пансионате тот же Басс...

Сколько лет я возвращаюсь сюда одной и той же дорогой! Конечно, если б я купил мотоцикл, я мог бы подъехать на мотоцикле. Но какая разница? Дорога-то все равно одна: идешь ли по ней пешком или едешь на чем-нибудь.

ОТЧАЯНИЕ ЛИСЫ

1. ТОСКА ПО СНЕЖНОЙ ПРОГУЛКЕ

Говорят, лиса попадает в капкан потому, что слишком много знает. Но эта Лиса знала еще больше и все равно никак, ну никак не попадалась в капкан! Хитрая была, изворотливая, чертовски ловкая...

А лес был роскошный, живописный, на склоне горы. И дуб здесь рос, и граб, и груша, и орех-фундук. Водились в лесу косули и олени, аисты строили гнезда, растили в них птенцов.

Одна молодая и красивая Аистиха свила себе уютное гнездо в ветвях старого дуба, и трое хорошеньких аистят только-только вылупились из яиц. По утрам Аистиха улетала искать корм для своих детей, а возвращаясь, кормила птенцов и даже не предполагала, что эта же-

стокая Лиса уже приметила ее трех хорошеньких деток.

И вот однажды утром, когда Аистиха улетела опять, Лиса раздобыла огромную пилу и приволокла ее к дубу. Облизнувшись, она посмотрела вверх, на щебечущих в гнезде беспокойных аистят, и, отложив пилу, уселась под деревом поджидать Аистиху-маму.

Много ли прошло времени, мало ли, но вот Аистиха, отыскав корм, полетела назад, села в гнездо и хотела уже начать кормить своих птенцов, как вдруг увидела, что под дубом стоит Лиса и, подняв пилу, собирается пилить толстый ствол. У Аистихи сердце ушло в пятки, она вытянула вниз шею и спросила:

— Лисонька, что это ты такое делаешь?..

На что бесстыжая Лиса ответила:

— Дерево пилю.

Бедняжка Аистиха в ужасе захлопала крыльями и вылетела из гнезда.

— Зачем?! — закричала она.— Ну зачем, Лисонька?!.

Жестокая Лиса, прищурясь, поглядела на нее.

— А тебе-то что? Этот лес мне от дедушки достался. Спилю дерево, отнесу его на базар, продам и куплю себе курицу.

Бедняжка Аистиха, ну откуда ж ей знать, что для того, чтобы спилить старый дуб, у Лисы сил не хватит?!. Аистиха горько заплакала и начала умолять:

— Пощади нас, Лисонька! Если ты спилишь дерево, что мы будем делать? Гнездо мое разрушится, Лисонька!

Лиса, сощурясь, опять посмотрела вверх, на Аистиху, и предложила:

— А ты отдай мне одного птенца, и я не спилю дерево. А не то спилю.

— Ну чтоб ты сгорела, Лиса! — Эти слова вырвались, правда, не у мамы Аистихи, а у Самаи́ (причем совершенно искренне).

...Новую пьесу о бессовестной Лисе и несчастной Аистихе ставил Бакинский детский театр, и Самая́ в этом спектакле, к сожалению, должна была играть роль Лисы.

Поэтому теперь, глубокой ночью, сидя на диване, поджав ноги и ежась от холода, она учила неприятную, попросту отвратительную роль.

Зима в этом году была ранняя и холодная, не успели еще ивы сбросить листья, как пошел снег, и то ли еще

будет... А в комнатах — холод, батареи греются плохо. Самаӣ высказала вслух все, что она думает об истопнике Мамедали, и снова принялась перечитывать роль.

Сколько ни лила слез Аистиха, сколько ни молила о пощаде, жестокая Лиса не отказывалась от своего гнусного намерения, и все тут.

Перед безнадежным горем, как говорят, и чародей бессилен — у Аистихи не было иного выхода: закрыв глаза, умирая от горя, она схватила клювом одного из птенцов и кинула его Лисе. Аистиха уже не соображала, что делает...

А Лиса стиснула птенчика зубами и, вертя пушистым хвостом, удалилась, и еще долго-долго слышался вдалеке жалобный писк несчастного аистенка.

— Джан-джан!..[1] — это опять сказала Самаӣ и, невольно вскочив с дивана, прошла в другую комнату, к мирно посапывающей во сне Фатьме, как будто надо было удостовериться, что Фатьме не грозит никакая Лиса, а удостоверившись, она вернулась к дивану, но учить роль уже совсем расхотелось.

Самаӣ положила руку на все еще не нагревшуюся как следует батарею и опять произнесла, но мысленно, несколько слов в адрес истопника Мамедали и подошла к окну.

На улице шел такой снег — ужас, ничего не было видно, кроме снега и редких освещенных окон. Самаӣ смотрела на эти падающие хлопья снега, смотрела, и в сердце ее кольнуло,— она вспомнила одно желание, которое осталось в далеком прошлом, почти детское свое желание, которое так и не исполнилось никогда...

Это было очень давно, Фатьмы еще на свете не существовало, а она сама была такой же хорошенькой девочкой-подростком, как Фатьма. Она представляла себе тогда: снежная ночь, белые хлопья падают, и она идет с самым близким, самым дорогим на земле человеком, идет по бакинским ночным улицам, по ночному парку, идет по приморскому бульвару, и нет никого во всем мире, кроме них двоих: Самаӣ и этого, неведомого ей, будущего возлюбленного... А кругом падает снег, спит Баку, и только пять-шесть окон с разных концов светят им во тьме...

За окном действительно стало светлее — это прошел

---

[1] Здесь возглас сочувствия.

троллейбус, наверно, последний, в парк, и Самае представилось теперь, что она на вокзале, что она провожает кого-то, очень близкого ей, родного человека, провожает в командировку, далеко...

Без сомнения, в то время, когда Фатьмы еще не было на свете, а она, Самая, была такой же хорошенькой, маленькой девчушкой, как Фатьма, и смотрела из окон их старого дома на падающий снег, ее ждала — в будущем!..— снежная прогулка, а на сцене ее ждали Дездемона, Луиза и Гюльтекин[1]... Она еще с тех лет выучила наизусть песенку Офелии, и эта песня тоже ждала ее на сцене... Ей, конечно, тогда не приходило в голову, что наступит время, и в такую вот зимнюю ночь она будет зубрить роль Лисы, изобретая тысячу уловок, чтобы заставить плакать Аистиху,— ведь в то время она еще не понимала, что не все могут быть Дездемонами, кому-то нужно играть и Лису, да и роль Лисы тоже требует бессонных ночей и требует, конечно, таланта. В то время она не знала, что Станиславский говорил: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры...

Конечно, лучше, если бы на свете вообще не было ни Лисы, ни ее пилы, а были бы всюду только одни аисты и джейраны, цветы, деревья и травы. Подумав об этом, Самая усмехнулась, глядя из окна на падающий снег, потому что говорят ведь, что без шакалов леса не бывает.

К тому же, это бесспорно, одним из таких шакалов — и не при Фатьме об этом говорить — был ее, Самаи, бывший возлюбленный, то есть иначе — отец Фатьмы. Потому, что сначала, один или два месяца, он был самый любимый, потом — три или четыре месяца — полулюбимый, а потом вообще превратился в шакала, так как был, оказывается, шакалом с незапамятных времен, со времен даже Навуходоносора или даже еще раньше!.. И как только это его шакальство открылось ей полностью, Самая взяла Фатьму и ушла.

Тогда Фатьме было два года, теперь Фатьме исполнилось уже пятнадцать, а ведь прежде Самае и в голову не приходило, что раньше Дездемоны, Луизы и Гюльтекин ее ожидает в будущем хорошенькая Фатьма, такая Фатьма, которая сделает ее самым счастливым челове-

---

[1] Героиня трагедии «Айдын» известного азербайджанского драматурга Джафара Джабарлы.

ком на свете, и рядом с этим счастьем померкнет, пожалуй, станет незначительной и тоска по снежной прогулке, и тоска по Дездемоне, Луизе и Гюльтекин...

Самайі протянула руку к батарее — батарея уже была горячая, и в комнате вроде стало потеплее. А ведь если в такую зимнюю ночь в комнате становится тепло, то человек, пожалуй, перестает тосковать и ему больше не приходят в голову плохие мысли...

Самайі прошла в спальню и осторожно поправила одеяло Фатьмы, сползающее на пол. Потом, раздевшись, быстро легла в постель, с головой закуталась в одеяло и подумала про себя: Аистиха вернулась в свое гнездо, и ребенок ее при ней. Потом ей вспомнилась Лиса, потом опять отец Фатьмы и тот день, когда она впервые разрешила шестилетней Фатьме погулять с отцом. Собственно, она даже сама организовала эту прогулку: ведь как бы там ни было, каким бы он ни был, а он отец ребенка!.. В тот день Фатьма впервые в жизни, не считая того времени, когда «гуляла» в коляске, вышла погулять с отцом, и первый ее вопрос, когда вернулась домой, был:

— Мама, мой папа, правда, инженер?

«Да уж куда там «инженер»! Бездельник, каких мало, днем с огнем такого будешь искать, не найдешь!» Все это, понятно, сказала Самайі в душе, а вслух, совершенно естественно, подтвердила:

— Конечно. А что такое?

И Фатьма пояснила ей, очень серьезно:

— А сказали «дурак».

У Самайі глаза полезли на лоб.

— Что?!

И Фатьма начала ей рассказывать:

— Сказали — дурак... Он со мной разговаривал, а сам смотрел на какую-то чужую тетю. А потом как будто почесал голову, а сам обернулся и посмотрел вслед тете, а потом тетя повернулась и сказала: «Дурак!»

«Пепел на голову такому мужчине! С ребенком рядом и то не мог удержаться!.. Негодяй». Это тоже, естественно, Самайі произнесла в душе, но все-таки очень ей стало стыдно перед Фатьмой, и именно поэтому она накричала на дочку:

— Больше никогда не смей говорить таких слов! Нельзя говорить такое об отце!

С тех пор много прошло времени, много раз выпадал снег, и много раз всходило солнце. Теперь Фатьма виде-

лась с отцом раз или два в год, причем без всякой охоты. С одной стороны, это было хорошо, а с другой — конечно, плохо. Хорошо потому, что с таким паршивым человеком чем меньше будешь видеться, тем больше выиграешь. А плохо... Ну, почему так должно быть, почему у такой хорошенькой Фатьмы отец должен быть шакал?!. И почему в такую зимнюю ночь...

Ну, раз дело дошло до «почему», тогда все. Тогда уже надо думать, почему никогда, ни разу не была спета песенка Офелии, и снова переживать — молча! — страдания Гюльтекин... И тогда надо задуматься над своей судьбой, а не только над судьбой Дездемоны. И снова не спать до утра, а только думать, думать и думать. До утра думать. А утром в театре репетиция «Лисы и аистят».

Самая́ в темноте посмотрела в ту сторону, где посапывала тихонько Фатьма, потом завернулась в одеяло еще плотнее, еще тесней и наконец зевнула, и подумала — а ведь Фатьма какая хитрая, с первого раза в шакале разглядела шакальство... И даже рассмеялась, потом повернулась на другой бок.

Давно над собственным горем научилась смеяться Самая́.

2. РАДОСТЬ СЕРЕБРИСТОГО ДНЯ

После непогоды бывали иногда у Самаи́, не часто, но все-таки бывали, серебристые дни, как она их называла. И этот день был одним из таких, серебристых.

Самая́ шла домой из театра и с радостью в сердце от такого чудесного дня думала о своей Фатьме.

У Фатьмы была новая подруга, звали ее Гюнай, причем девчонки так подружились — водой не разольешь, каждый день вместе.

Прошлым летом Самаѐ дали наконец новую квартиру, и Фатьма перешла в новую школу, училась теперь в восьмом классе в школе рядом. Гюнай была в том же классе, и дружба девчонок очень нравилась Самаѐ. Прежде всего, конечно, потому, что Гюнай действительно воспитанная и умная девочка. Во-вторых, потому, что мать у Гюнай была доктором наук, да и отец ее был похож, что называется, на благородного человека... То есть Гюнай была девочкой из хорошей, как это говорится, семьи, тем более — с папой и с мамой. Фатьма уже далеко не ребенок, и теперь очень многое зависит от

среды. Так получилось, что при живом отце (что за наказание!) Фатьма выросла без отца, но ведь она, Самая́, все эти годы так старалась, чтобы девочка ну совершенно не чувствовала ни в чем никакой разницы между их маленькой семьей и хорошими семьями, где абсолютно все в порядке...

В общем, сейчас Самая́ делала все, что могла,— по праздникам звонила и поздравляла мать Гюнай, каждый раз передавала с Гюнай приветы домашним. Конечно, можно было ближе познакомиться с матерью Гюнай, но для этого не было времени, да и случай подходящий не подворачивался.

Самая́ шла с репетиции «Лисы и аистят», думала обо всем этом, шагая по скрипящему под ногами снегу, и улыбалась. Потому что вдруг представила себе, что рядом с ней идет хорошенькая пятнадцатилетняя девочка, но это не Фатьма, а она сама — пятнадцатилетняя и беззаботная Самая́...

Просто вот таким серебристым был сегодняшний день.

Снег только что перестал сыпать, и солнце так ярко блестело на лежащем снегу — на крышах, на балконах, на деревьях, как будто в Баку действительно выпал серебряный снег.

Вот интересно — сколько бы ни было ветреных или дождливых, жарких, пыльных или просто обычных, самых обычных дней, ни один из них сам по себе в памяти у Самаи́ не остался. Горькие были события или хорошие — они, конечно, в памяти остались, а сами дни, когда случались события, нет. А вот такие серебристые дни в Баку никогда из памяти не исчезнут!

Самаѐ казалось, что она помнит каждый такой день в своей жизни, и у каждого, пожалуй, был свой настрой. Однажды в такой вот серебристый день она, возвращаясь с репетиции, подумала: пусть, Дездемона, конечно, уже недосягаема, ее время уже прошло, но ведь Гертруда-то еще впереди, и леди Макбет еще впереди, и мамаша Кураж еще впереди!..

И вдруг ей так захотелось, чтобы и Фатьма всегда помнила эти серебристые дни, никогда, никогда их не забывала. И еще — чтобы больше было у Фатьмы таких дней, но чтобы не имели они привкуса ни тоски, ни сожаления, а были только очень радостными...

Конечно, Фатьма даже не подозревала о подобных

мыслях у своей разумной матери, и когда пришла Самая́ домой, то увидела, что дочка ее стоит перед трюмо и ей совершенно безразлично, какой день за окном, потому что она обеспокоена красными маленькими прыщами, усеявшими все ее лицо: она давила их пальцами, раскровянила себе щеки, а особенно лоб.

Фатьма сказала плачущим и очень злым голосом:

— Что это, мама, видишь, прыщи какие-то!.. Прямо стыдно...

После великолепного снежного воздуха Самая́ не могла сразу проникнуться глубоко таким горем Фатьмы и улыбнулась:

— Ничего, это пройдет,— сказала она.— Только не трогай руками.

— Да не проходят! Еще больше становится с каждым днем.

— Ну что ты на меня злишься, не я же их делаю, Фатьма...— Самая́ снова улыбнулась и подошла к дочке, обняла ее и потерлась своим холодным от мороза лицом о нежную щеку девочки.

— И имя же ты мне дала: Фатьма. Мне все говорят Фатьма-нене[1]! Как будто не могла ты придумать какое-нибудь имя покрасивей.

— Да кто тебя так называет? — Самая́ опять не смогла сдержать улыбку.— Но ведь, по правде говоря, ты и есть Фатьма-нене. Я тебя назвала именем моей мамы, как ты знаешь,— твоей бабушки.

— Очень мне было нужно.— Рассерженная больше, наверно, из-за прыщей, чем из-за имени, Фатьма тут же ушла в спальню.

Хорошо, что имя Самая́ не такое уж «старушечье», и если вдруг когда-нибудь Фатьма назовет свою дочь Самаёй, то будет не так уж стыдно. Самая́, улыбаясь, сняла пальто и, вешая его на вешалку в передней, сказала:

— Премьера спектакля девятого декабря.

Фатьма спросила из спальни:

— Это какого спектакля?

— «Лиса и аистята». Девятое декабря как раз суббота. Я принесу билеты и для папы и мамы Гюнай, пусть посмотрят.

Фатьма, как будто испугавшись чего-то, быстро вышла в переднюю.

---

[1] Нене — бабушка.

— «Лиса и аистята»?..

— Да. Это хорошо, что суббота. Мама у Гюнай как раз свободна.

Фатьма стояла перед матерью, но не говорила ничего, потом потрогала воротник своего платья.

— Зачем ты теребишь? — Самая́ осторожно погладила ее пальцы.

— Ничего... Тогда, знаешь, мама...— Фатьма не знала, как сказать.— Тогда, знаешь, давай я сначала разведаю, а?

И Самая́ увидела вдруг в глубине ее черных блестящих глаз какой-то страх или смятение, и это маленькой, но все равно иголкой кольнуло ее сердце, полное радости прекрасного дня.

Самая́ сказала:

— Ну что ж, произведи разведку. Ты же у меня разведчица, дочка!..— И, смеясь, она потрепала черные волосы Фатьмы.

3. ПРЕМЬЕРА

В те времена Фатьма была еще совсем маленькой, и каждая премьера была для Фатьмы настоящим праздником. Она начинала готовиться к премьере за несколько дней, днем и ночью она думала только о спектакле. Это было время, когда Фатьма в детском саду и во дворе так хвасталась, просто ужас: вон ту Козу играет моя мама, Шенгюлю, Шюнгюлю, Менгюлю [1] — их кормит моя мама, Волку распарывает брюхо своими рогами — моя мама!

Однажды Самая́ играла Зайца, и вот, когда Лиса пришла, чтобы его съесть (ох уж эти Лисы!), Фатьма так заплакала, что все в зале, позабыв о стонах и страданиях Зайца, начали смеяться над рыданиями Фатьмы, и Самая́ (в лапах у Лисы) подумала: разве можно смеяться над рыданиями?

Это было время, когда Фатьма еще говорила «плихожу» вместо «прихожу» и «плоходит» вместо «проходит», и даже в голову не могла прийти мысль, что наступит день, когда эта пухленькая девчурка будет страдать из-за прыщей на щеках.

Самая́ подумала об этом и улыбнулась. Хорошо, что

---

[1] Персонажи-козлята из детской сказки.

режиссер не заметил улыбки, он встал и, жестикулируя как обычно, крикнул:

— Самая́-ханум, требуйте, требуйте с большей страстностью! Здесь нужно больше эмоционального воздействия!

— Хорошо,— сказала Самая́ и подумала: «Как же можно с еще большей страстностью требовать у бедняги Аистихи второго птенца? Лиса-то лисой, а человек всегда остается человеком» (в общем, ей опять пришли в голову детские мысли...).

Сегодня была последняя репетиция «Лисы и аистят», завтра, то есть седьмого декабря,— общественный просмотр, а еще через день — премьера.

Лиса с пилой под мышкой снова уселась под дубом и опять потребовала у Аистихи птенца. Несчастная Аистиха, рыдая, умоляла, чтобы Лиса не пилила дуб. Но злодейка Лиса не хотела сжалиться.

— А мне-то что! Лес достался мне от деда! Какое дерево хочу, то и спилю. Или отдай мне птенца, или я спилю дерево, отнесу, продам на базаре, куплю себе курицу и хорошенько позавтракаю.

— Самая́-ханум! Вы же опытная актриса! Сколько раз вам говорить, чтобы вы требовали с еще большей страстностью! Ведь вы Лиса! Жестокая! Хищница! Видите, как искренне плачет Аистиха?

Самая́ подумала — а что ей, несчастной, остается? Только плакать. Подумала и на этот раз действительно с жестокостью Лисы потребовала у Аистихи второго птенца.

— Вот так неплохо,— и режиссер вздохнул.

Давно не шел снег, с балконов все счистили, а на крышах и на деревьях снег почернел от дыма, и Самая́ вечером у себя дома, стоя у окна, долго смотрела, как брызгает грязь из-под колес троллейбусов и автомашин.

— Тебе когда-нибудь хотелось,— спросила она вдруг Фатьму, не поворачиваясь,— выйти ночью погулять по улицам, когда снег только выпал и все кругом белым-бело? — Она спросила и опомнилась, испугавшись собственных слов: ведь так можно затронуть самые, как говорится, тайные струны в душе Фатьмы, которых никому нельзя трогать. И она виновато посмотрела на дочь.

Фатьма сидела за столом, готовила уроки на завтра и тоже подняла на нее глаза.

— Прямо уж гулять. У меня, ты знаешь, сапожки — только и гулять по снегу!

Самая сначала даже не поняла ничего, но потом сообразила, что это речь идет о сапожках Фатьмы.

— А что,— спросила она озабоченно,— с твоими сапожками? Протекают?

— Да не протекают, но они детские. Все носят модные, и только я в детских сапожках и в детском пальтишке.

Самая хотела было возразить, что они вовсе не детские, но промолчала. За окном шел по лужам автобус, и она вспомнила снова свежий снег несколько дней назад, даже почувствовала его запах. Фатьма уже очень выросла, а она стареет; почему снег так быстро превращается... И прервала себя — очень это «умный» вопрос.

— Я тебе куплю такие сапожки,— пообещала она,— что все рты раскроют.

— Да? — У Фатьмы лицо просияло, и она даже взглянула на свои ноги под столом — как будто уже надела эти новые сапожки.

Самая, улыбаясь, сказала:

— Завтра я тебе принесу билеты, отдашь их Гюнай, пригласишь от моего имени ее родителей.

Фатьма вспомнила про «Лису и аистят» и откровенно расстроилась:

— Правда, всего два дня осталось до девятого... Мама, ты опять будешь,— спросила она,— в костюме Лисы?

— Да, конечно! — И как будто назло кому-то, Самая громко начала ей описывать: — Такой роскошный костюм для Лисы сшили — просто прелесть! Хвост такой пушистый, загляденье! Вот такой величины! — Она развела в стороны руки и показала длину лисьего хвоста, потом посмотрела на дочь и замолчала.

Наконец Фатьма подняла на нее глаза.

— Зачем тебе, мама, зачем тебе их приглашать? — Она умоляюще посмотрела на мать и добавила: — Они в жизни в театры не ходят. Не любят они театр. Я ни разу не слышала, чтобы они говорили о театре...

Самая приложила руку к лицу, как будто у нее болел зуб, потом поняла последние слова дочери: родители Гюнай просто не способны оценить искусство,— и улыбнулась.

— Ну что ж, не любят и не надо.

У Фатьмы словно огромная гора свалилась с плеч.

— Ну да, мама! Правильно.

А девятого декабря с самого раннего утра опять повалил снег, и весь город был снова засыпан свежим белым снегом.

Самая́ уже давно забыла, какая у нее по счету премьера, но просто никогда в день ее премьеры не шел такой снег.

Поэтому с радостным ожиданием в сердце она пришла в театр, выслушала последние наставления режиссера, последние просьбы автора, получила у администратора билеты, заказанные несколько дней назад для Фатьмы и Гюнай, вернулась домой и увидела, что Фатьма принарядилась и ждет ее, стоит у окна, смотрит на улицу, на белый, сверкающий снег.

— Какой снег, а! — сказала Самая́.

— Да, очень красиво, мама.

И Самая́ улыбнулась:

— Вот тебе билеты для тебя и Гюнай.

Фатьма взяла билеты, повертела в руках, как будто видела их впервые в жизни, и сказала:

— Знаешь, мама... Гюнай хотела сегодня в кино пойти. Мама, ты знаешь...

И Самая́ поняла, что сейчас в этот зимний снежный вечер, когда стоит она перед своей дочкой, красавицей Фатьмой, сейчас главная ее задача в жизни — взять себя в руки. Однажды в спектакле она играла Медвежонка, и этот Медвежонок, когда ему было очень плохо, всегда говорил себе: «Возьми себя в руки, Медвежонок! Медвежонок, возьми себя в руки!»

— Ну что ж, пусть идет в кино. И ты, если хочешь, пойди с ней.

— Правда?— Фатьма не знала, что делать от радости.— Правда? — Потом кинулась — ребенок есть ребенок! — к матери, поцеловала ее в одну щеку, в другую, торопливо сняла с вешалки в коридоре пальто и, одеваясь перед трюмо, сказала: — Завтра я сама приду тебя смотреть, одна. Я знаю, ты сыграешь замечательно, в газетах похвалят...

И снова, что-то вспомнив, она обернулась к Самае́:

— Мама, а в газете дадут фотографию?

Самая́ улыбнулась:

— Откуда мне знать?

И Фатьма отвела глаза.

— Не знаю, почему не дают в газетах твой портрет вот так, в своем платье. Пусть так дадут, а?..

— Хорошо,— сказала Самая́,— я не позволю, чтоб меня фотографировали в костюме Лисы.— Она разрешила и это последнее сомнение дочери — больше никто не узнает, что мать Фатьмы играет Лису, потом так же будет с Зайцем, и с Козой, и с Джейраном...

— Правда, не позволишь?!.— Фатьма снова бросилась к матери и расцеловала ее — она была совсем счастлива! — Ну у кого есть такая мама, а! — гордо сказала она и сама себе ответила: — Ни у кого!

В этот зимний снежный день спектакль прошел очень хорошо.

В лес прилетела старая добрая Ворона и раскрыла Аистихе козни Лисы, она растолковала ей, что Лиса не может спилить такой толстый дуб.

И, когда Лиса пришла требовать третьего, последнего, аистенка, Аистиха с Вороной накинулись на нее, и Лиса, вертя своим пушистым огромным хвостом, в таком страхе бросилась вон из леса, что все зрители — и дети, и взрослые, пришедшие с детьми,— зааплодировали; в зале поднялся шум, и все засмеялись, а режиссер и автор были очень довольны.

Потом занавес снова открылся, и Лиса, и Аистиха, и ее птенцы, и старая Ворона — все вышли на авансцену.

Самая́ поклонилась зрителям, помахивая огромным пушистым хвостом.

Она знала, что на улице сейчас падает снег, она чувствовала запах снега, и ей вдруг показалось, что в зале сидят Фатьма и Гюнай, и мать и отец Гюнай, и она сыграла не Лису, а Гертруду.

Самая́ посмотрела в зал и поклонилась на этот раз только им.

Зрители были довольны — козни Лисы раскрылись. А сердце Самай́ пронзила боль, отчаянье, как будто только что она сыграла не Лису, а Аистиху.

Сердце Самай́ пронзили боль и отчаянье, но напрасно, это совершенно зря, потому что лес на склоне горы был опять таким же живописным, и снова аисты здесь вили гнезда, выводили птенцов.

И опять появилась молодая Аистиха, и снова Лиса с

пилой под мышкой уселась под деревом — Лисе захотелось мяса аистят.

Так ты их и съешь, Лисонька!..

И снова Аистиха с мудрой старой Вороной чуть не выклевали Лисе глаза.

А Лиса в таком страхе убежала из леса, что больше она уже никогда не сможет вредить аистам.

Потому что аисты уже знали, что такое Лиса — они узнали ее хитрости, ее трусость и изворотливость.

И опять был все тот же живописный лес, и Аистиха растила своих птенцов, они расправляли крылья и летели, они перелетали через моря, они бродили по городам и странам, они видели леса, они вили гнезда, сами выводили птенцов и растили их...

ХОДЯТ ПО ЗЕМЛЕ ПОЕЗДА...

Много было на свете поездов: «Баку — Москва» и «Баку — Новороссийск», «Харьков — Баку» и «Баку — Одесса», «Махачкала — Баку»... А как только начиналось лето, появлялись летние поезда: «Баку — Кисловодск» и «Баку —Сочи».

Во всех вагонах было полно людей, и люди были разные, по-разному одетые. Были даже совсем черные, были желтые-желтые, и все они тоже проезжали в поездах мимо селения, где жил Абили.

А еще чаще проезжали мимо цистерны с нефтью или платформы с бревнами, с большими досками; платформы с грузовиками, с тракторами, с легковыми автомашинами, и Абили, зажмурившись, представлял себе, как снуют туда и сюда по ни разу не виденным бакинским улицам эти новенькие, блестящие автомобили...

Поезда шли из огромных далеких городов, и в этих далеких городах никто, конечно, не знал, что есть на свете крохотное селение у подножия горы и что в этом крохотном селении живет паренек по имени Абили, который каждый день провожает поезда глазами.

Абили думал об этом. Но еще он думал, что ведь все эти вещи, которые перевозят поезда, делали где-то, грузили, посылали друг другу самые разные и тоже незнакомые друг другу люди, и поэтому ему казалось иногда, что вместе с тракторами и комбайнами поезда перевозят от одних людей к другим их тайны. Чужие люди теперь

уже думают друг о друге, как думает он о тех, кто живет в огромных далеких городах...

А поезда действительно приходили иной раз как будто из сказочного мира.

Однажды, например, в жаркий летний день Абили увидел в поезде настоящих слонов, настоящих жирафов: они ехали в клетках на открытых платформах, ехали настоящие львы, настоящие тигры. Абили сообразил, хотя и не сразу, что это поездом «Киев — Баку» едет в Баку из Киева цирк, и под стук колес проходящего мимо состава словно увидел, прижмурив глаза, этих жирафов, этих слонов, этих львов и тигров в бакинском цирке, увидел клоунов в больших башмаках, с огромными часами, с огромными наклеенными носами; услышал шум и смех нарядно одетых детей, всегда проезжающих мимо в поездах.

Абили никогда не бывал в цирке и вообще видел мало, но он много читал. Поэтому он знал, что слоны живут в Индии и живут в Африке, что в цирке выступают клоуны, костюмы у них бывают очень большими и спадают, и поэтому все смеются — все это он знал, читал в попавших ему в руки газетах или в журналах, в разных книгах или вычитал из учебников.

Правда, зажмурившись, Абили мог представить себе все, что хотел, но и то правда, что Абили сам понимал: настоящее должно быть куда интереснее, чем выдуманное...

Селение, где жил Абили, было в полукилометре от железной дороги. Почти все двенадцать месяцев здесь шли дожди и плыли с гор туманы, и сквозь эти туманы и дожди днем и ночью мимо селения, стоящего под самой горой, шли поезда.

По ночам шум поездов наполнял все дома, и Абили, лежавший в постели, постланной прямо на полу, словно видел сквозь стенку длинный проносящийся мимо поезд.

А утром, пригнав корову в стадо, а овец и баранов — в отару деревенского пастуха Ильдрыма, стреножив на зеленой лужайке за домом гнедого коня и почистив сарай, Абили шел в школу. Потом, вернувшись из школы и приготовив уроки, он спускался к железной дороге, шел рядом с рельсами до тех пор, пока селение у подножия горы совсем не пропадало из виду. Тогда он садился в зарослях клевера, под алычовым деревом, кото-

рые росли здесь на каждом шагу, и смотрел на мелькающие мимо вагоны и цистерны.

Абили так натренировался, что успевал мгновенно прочесть надпись на зеленом вагоне, разглядеть людей, их внешность и одежду...

В детстве, когда он босой, без шапки скакал вприпрыжку вдоль полотна, ни о чем не задумываясь, он запоминал, конечно, в первую очередь только сверстников. Абили видел этих ребят во всем красном, или во всем зеленом, или в розовом, и эти ребята казались ему такими далекими, как будто жили они в совершенно другом, в особенном мире.

Однажды один из поездов «Баку — Ростов» неожиданно остановился перед самым селением. Он простоял здесь ровно четыре часа. Говорили, впереди что-то произошло неладное с путями. За эти четыре часа в селе не осталось ни одного яйца, ни одной курицы, ни сыра, ни мяса — все хотели обязательно что-нибудь продать едущим в поезде, на деревьях даже яблок и груш не осталось, не осталось алычи и абрикосов.

Пока все деревенские были заняты торговлей, Абили стоял в стороне и смотрел на детей из поезда, играющих на ровной площадке у подножия горы. Иногда они пробегали мимо прямо перед его носом, и Абили чувствовал запах вспотевших разгоряченных тел. Этот запах немного напоминал ему запах деревенской парикмахерской дяди Гафара, а также запах печенья, пряников или завернутых в бумажку конфет, которые в кои-то веки привозил из Баку отец; такой вот запах у ребят из больших городов.

Вдруг перед Абили остановилась девочка в розовых туфельках и в розовых чулочках, в розовом пальто и в розовой шапочке, с ярко-розовыми щеками. Она удивленно посмотрела на его ноги в калошах и шерстяных чулках, на бумазейные шаровары, посмотрела на яблоки, оттопыривающие карманы пиджака, на старую отцовскую папаху и спросила:

— А как тебя зовут?

Никогда еще в жизни у Абили так не падало сердце в груди. Никогда еще в жизни Абили не был вот так растерян. Наконец он ответил еле слышно:

— Абили.

Розовая девочка переспросила изумленно:

— Как?

И Абили повторил:

— Абили.

Розовая девочка еще постояла секунду, изумленно глядя на него, потом умчалась так быстро, словно Абили хотел ее проглотить.

Но Абили не обиделся. Абили уже понимал, что так будет. Розовая девочка — розовая, а Абили — в грязи и навозе. Да и откуда знать Розовой девочке, что настоящее имя Абили — Абульфат, это мать с отцом называют его ласково А-би-ли, потому что очень его любят. Нет, Абили не обиделся, он обиделся на другое.

Розовая девочка показывала издали на него Зеленым, Желтым, Красным девочкам и смеялась, и Зеленые, Желтые, Красные девочки тоже смотрели на Абили и смеялись. Было понятно, что девочки смеются над тем, как выглядит Абили, но он и на это не обиделся. Он давно понимал, что расстояние между ним и далекими большими городами, нет, вернее, между ним и живущими в этих городах Зелеными, Желтыми, Красными, Розовыми детьми не просто расстояние — это совсем другая даль. Потому что, когда он впервые открыл глаза, он увидел не город, а вот эту гору, по утрам он отводил корову в стадо, по вечерам забирал баранов из отары Илдрыма и приводил их домой, утром и вечером он глядел вслед поездам, а по ночам видел эти поезда во сне — со слонами, с тиграми и с детишками... Нет, Абили не обиделся из-за насмешек, он обиделся на другое.

Розовая девочка мелом нарисовала линии на земле, оглянулась по сторонам: она нетерпеливо искала что-то, но не нашла и достала из кармана розового пальто какой-то плоский предмет, посмотрела и положила себе под ноги. Затем начала скакать, как кузнечик, на одной ножке, толкая через линии эту плоскую штуку.

Потом мамы и папы из окон вагонов стали звать детей. Розовая девочка подняла эту плоскую вещицу, которую толкала ногой, оглядела со всех сторон, вздохнула и, кинув ее на землю, помчалась к поезду.

А через некоторое время поезд ушел, и наступила обычная для этих мест тишина. Деревенские люди, продавшие то, что хотели продать, вернулись в село с непроданными остатками, и Абили, засунув руки в карманы бумажных шаровар, медленно подошел к тому месту, где только что перескакивала через нарисованные линии Розовая девочка. Эта плоская штука, которую Ро-

зовая девочка толкала ногой, лежала тут же, Абили — руки в карманах — все смотрел на эту плоскую вещицу, потом ему стало грустно, и он наклонился, поднял ее с земли, затем осторожно сорвал с нее грязную, запачканную обертку.

В летние дни из районного центра приезжала в село автолавка. Она стояла несколько дней под большой ивой на берегу арыка, и шофер-продавец Имаш продавал сельчанам ситец и бумазею, полотенца и одеяла, стаканы и тарелки, пиво и — потихоньку — водку, а также бублики, монпансье и шоколад. Шоколадки были обернуты в золотую бумагу, а сверху — еще одна бумажка, на ней нарисованы лиса, или ворона, или петух. Когда после долгих уговоров отец с матерью покупали Абили шоколадку, он аккуратненько разворачивал эти бумажки, долго рассматривал их со всех сторон, а вечером, разгладив между страницами книги, прятал на груди или в папахе и с удовольствием, не спеша откусывал от плитки маленькие кусочки. Это был маленький праздник — праздник шоколада.

И вот теперь плитка шоколада, который продавали не в автолавке Имаша, а в больших городах, была в руках Абили, и это был тот самый плоский предмет, что подталкивала ногой, перескакивая через линии, Розовая девочка...

Вот тут-то и рассердился Абили на Розовую девочку, очень на нее обиделся...

Абили долго думал, что ему делать с этим шоколадом. Хотел отнести его сироте Сафтару, но потом стало неприятно — почему это Сафтар должен есть то, что кинула Розовая девочка себе под ноги?

Именно тогда Абили и сделал открытие: сирота Сафтар из их селения ничуть не хуже, а может, и лучше живущих в больших городах разноцветных детей.

Потом он положил шоколадку на камень, чтобы птицы ее заметили, и пожелал, чтобы скорей наступило лето, Имаш поставит свою автолавку под ивой на берегу арыка, он купит у Имаша шоколад и съест его.

Через два-три года после этой шоколадной истории с Розовой девочкой, когда Абили, сдав все экзамены на пятерки, перешел в восьмой класс, произошло удивительное событие.

Стояли последние дни осени, дул сильный ветер, было очень сыро. В это осеннее утро Абили, проснув-

шись, посмотрел из окна своей комнаты на серый склон горы, на пожухлые кусты ежевики, на голые абрикосовые и алычовые деревья, и вдруг вся эта сырость и ветер, вся эта серость и увядание сжали ему сердце. Ему стало так одиноко, как будто он долгие годы жил в чужих для него краях...

С таким ощущением в сердце он вышел во двор. В конюшне неохотно почистил коня, потом, вскочив на него, отправился поить его к арыку в верхней части селения. На берегу арыка, сидя на спине жеребца, он взглянул, как обычно, на горы, на свое маленькое село с дымящимися печными трубами, на черную гриву коня, который, вытянув шею, цедил воду. Потом Абили поднял голову и, часто моргая из-за моросящего дождя, посмотрел в серое небо, и ему захотелось, чтобы пришла весна. Он больше не хотел чувствовать одно лишь безлюдье этих гор и заброшенность крохотного своего селенья...

И тут Абили услышал, как вдалеке идет поезд. Он пришпорил пятками коня и поскакал вниз.

Но, когда Абили добрался до железной дороги, перед ним мелькнули только два последних вагона. Абили сидел на неоседланном своем коне и долго смотрел вслед и вдруг понял, что именно этот поезд увез с собой его, Абили, сердце. Увез далеко, в большой мир, в далекий город... Абили понял это и, соскочив с коня, виновато посмотрел на свое село у подножия горы.

Маленькое село у подножия горы не знало об этом и как ни в чем не бывало дымило печными трубами.

Абили погладил ладонью круп своего коня.

— Такие вот дела,— сказал он ему тихо.

А потом пришло лето, и однажды Абили, лежа на траве у железнодорожного полотна, думал печально и совсем уже как взрослый о том, что годы тоже, как поезда, приходят и уходят — и уже становятся невидимыми.

Потом, как всегда, показался поезд, замелькали мимо вагоны, и девушка в одном из вагонов вытряхнула из салфетки мусор: пустую бутылку, бумагу, яичную скорлупу, огрызки помидоров... и книжку.

Книга перевернулась в воздухе и упала в пяти шагах от Абили. Когда поезд промчался, Абили встал и поднял книгу.

Обложки не было, а на первой, когда-то чистой, без названия странице, теперь измятой, со следами от ста-

канов и пятнами помидорного сока, было наискосок синими чернилами очень старательно написано:

Я не Пушкин, не Крылов,
Не могу писать стихов.
Но пишу тебе три слова:
Живи, учись и будь здорова!

Вечно твой Руфат

Абили поднял глаза и посмотрел вслед поезду и подумал, что этому Руфату никогда бы в голову не пришло, что книга, которую он подарил девушке, подписав стихами, однажды в таком вот виде попадет в руки парня по имени Абили...

Абили вспомнил девочку из поезда, которую видел несколько лет назад, и понял, что эту неизвестную ему книгу вместе с яичной скорлупой и мятыми помидорами выкинула из окна вагона все та же Розовая девочка.

Абили уже вырос и знал, что на свете много самых разных Розовых девочек... Как, впрочем, и самых разных Розовых мальчиков.

Пришло время, и Абили закончил школу и таким же летним днем сел в колхозный «ГАЗ-51», приехал в Баку. Он сдал приемные экзамены в университет и получил все пятерки, и потом стало известно, что его вместе с двумя другими ребятами решили послать учиться в Московский университет, и первый раз в своей жизни Абили сел наконец в поезд; это был поезд «Баку — Москва»; долго ли, коротко ли шел этот поезд по ущельям, через холмы, через равнины, но наконец он приблизился к маленькому селению у подножия горы...

Абили стоял у окна вагона и глядел, как мелькают среди деревьев черепичные крыши у подножия горы, и вдруг он сделал для себя открытие, что тот поезд, три года назад увез совсем не его сердце. А его сердце — вот оно! — оно остается здесь...

И он понял, что всю свою жизнь он будет помнить эти места, эти дожди и туманы — они ему будут сниться. И все, что он сделает потом когда-нибудь в будущей жизни, имеет далекое начало — маленькое село у подножия горы. И может быть, он никогда от этого не освободится...

А вдруг — да нет, и как такое в голову может прий-

ти?! — в другое время маленькое селение у подножия горы покажется ему далеким или совсем чужим и совсем для него ненужным? Потому что многое ведь на свете, как поезда, проходит. Проходит...

ГОЛУБОЙ, ОРАНЖЕВЫЙ...

Снова прокричал петух и Гашам-киши[1] с кувшином для омовения спустился во двор, но, увидев, что опять моросит, да еще и холодно, поднялся в комнату, накинул на плечи шинель, оставшуюся с войны, длинно зевнул и, все еще поеживаясь от холода, направился в конец двора.

В этом году осень пришла поздно, но уж пришла так пришла — неделю погода не прояснялась, все моросило и моросило, и сегодня, кажется, будет то же самое: нет чтобы хоть один хороший ливень — и дело с концом.

Гашам-киши вытер о камень перед уборной свои калоши и потянул на себя деревянную дверь. Дверь со скрипом отворилась и так же со скрипом захлопнулась.

Айна-арвад[2] выглянула во двор с балкона и тут же отпрянула назад, в комнату. Глаза бы на такую погоду не глядели.

Но в этот час в доме был еще один человек, которому были нипочем и запоздавшая осень, и нудный дождь, потому что человек этот — Аллахверди — сладко спал себе под теплым одеялом и видел сон. Видел, будто стоит он в новом костюме, при галстуке перед районной парикмахерской, а на голове у него шапка с тремя кисточками и с раздвоенным козырьком, точь-в-точь как у кинооператора, что из города приехал. Все смотрят во все глаза на Аллахверди и на эту его странную шапку. Аллахверди и сам во сне посмеивается над своей шапкой, но в то же время и гордится ею. Вдруг видит: отец идет с базара прямо к нему. И спрашивает, как обычно, очень громко: «Что это у тебя на голове?»

Не успел Аллахверди рот открыть, как отец закричал:

— Эй, Аллахверди, уже полдня прошло!

Аллахверди напрягся, уж так ему хотелось остаться

---

[1] Киши — мужчина.
[2] Арвад — женщина.

в райцентре, но это было невозможно, потому что голос отца раздавался над самым ухом, хотя кричал он с балкона:

— Эй, Аллахверди! Вставай!

Не открывая глаз, Аллахверди потянулся на постели и лениво спросил:

— Ну, в чем дело?

Конечно, он и сам отлично знал, в чем дело: надо было встать, как всегда, за два часа до начала уроков, вывести жеребца из стойла, поехать к арыку, напоить коня, потом вернуться, отвести корову Гызыл в стадо, потом дров наколоть, потом съесть парочку лавашей с сыром, запивая горячим молоком, и пойти в школу — все это было ему известно и все надоело так же, как осенняя сырость и слякоть.

Но ничего, уже скоро, очень скоро он поедет в Баку поступать в институт: вот придет и уйдет зима, потом весна, а там уже и лето — экзамен за экзаменом, а потом прости-прощай серый жеребец, прощай корова Гызыл, прощай колун с грабовым топорищем...

А Гашам-киши все надрывался:

— Аллахверди! Ну где ты там?

— Встаю, встаю!..— Аллахверди откинул одеяло, сел на постели, поглядел на стадо оленей, вытканное на толстом ковре, под своими большими ступнями, и, помаргивая, начал одеваться. Глаза у него слипались.

Гашам-киши вывел корову из хлева и поставил под балконом. Вслед за нею потащился и теленок.

Аллахверди тем временем умывался, вернее, смачивал глаза холодной водой из рукомойника. Посмотрел на теленка и пожалел его: за что бедному такое — из теплого хлева — да в это промозглое утро?

Гашам-киши отогнал теленка, а мать Аллахверди, Айна-арвад, зажав меж колен подойник, принялась доить корову.

Аллахверди медленно спустился во двор, не глядя на отца с матерью, вошел в хлев, повозился, отвязывая серого жеребца, и за уздечку вытянул его оттуда, потом, открыв ворота, забрался на неоседланного коня, который не хуже человека представлял себе всю последовательность действий: каждое утро ездили они на водопой.

Мелик, который вместе с Аллахверди учился в десятом классе сельской школы, тоже, как обычно зевая, сидел верхом на гнедой кобыле, и гнедая кобыла не торо-

пясь пила из арыка, и пятнистый стригунок пил с ней рядом. Первое, что сообщил Мелик, увидев Аллахверди,— это что заболел Сафтар-муаллим и на урок не придет.

— Да? — сказал еще не совсем пришедший в себя Аллахверди и подумал, что у Сафтара-муаллима, конечно, опять ревматизм разыгрался в такую паршивую погоду.— Ревматизм, что ли?

Мелик зевал не переставая.

— Да,— ответил он.

Сафтар-муаллим был соседом Мелика по двору, он преподавал физику, и как раз сегодня первый урок физика; значит, можно не спешить.

Гнедая кобыла, напившись, подняла голову, мудро так посмотрела на айвовые деревья, что росли неподалеку, и потянулась к недавно зазеленевшей по краям арыка осенней траве. Мелик дернул за уздечку.

— Джафар едет в район,— сказал он.— К вечеру кино привезет.

— Да? — еле выдавил из себя Аллахверди, скулы ему сводила зевота.

Джафар, старший брат Мелика, был киномехаником. Раз в два или три дня привозил он из райцентра фильмы и показывал их в клубе. Молодежь очень уважала киномеханика Джафара, но вот приехал в село кинооператор из Баку в этой самой диковинной шапке, и сразу стало ясно, кто слон, а кто верблюд, потому что одно дело — поехать в район и привезти оттуда фильм, какой дадут, и совсем другое дело, когда берешь кинокамеру в руки, приставляешь ее к глазу и начинаешь сам снимать фильм.

Этот кинооператор уже четыре дня, как приехал из Баку и остановился у Салмана-киши, что жил через три дома от Аллахверди. Четыре дня как приехал, а снять ничего не мог, погода, говорит, плохая, надо, чтобы солнце вышло.

Аллахверди представил себе странную шапку этого кинооператора, вспомнил свой предутренний сон и подумал, что в последнее время ужасно глупые сны ему снятся.

Когда Аллахверди вернулся к себе во двор, Айна-арвад уже развела огонь в печке под балконом и кипятила в медном казане молоко.

Гашам-киши выносил на лопате навоз из хлева.

Аллахверди соскочил с серого жеребца, завел его в хлев и принялся расчесывать коня железной скребницей.

Гашам-киши насыпал в ясли несколько горстей просеянного ячменя, перемешал его с соломой, потом отобрал у Аллахверди скребницу.

— Дров наколи,— сказал он.

Аллахверди вышел из хлева, набрал охапку дров из поленницы под балконом и бросил их на землю возле толстого пня. Орудуя колуном с грабовым топорищем, он быстро разогрелся и даже взмок немного.

Отдуваясь, сказал отцу, присевшему на лестницу:

— Сафтар-муаллим опять заболел, у нас первого урока не будет.

Гашам-киши закурил папиросу на голодный желудок, поглядел на теленка, тыкающегося в коровье вымя, и промолвил:

— Опять ревматизм?

— Да,— Аллахверди со звоном расколол дубовое полено и подумал: вот жизнь в деревне, все наперед известно, все знают, что у кого болит.

Правда, Аллахверди, можно сказать, и не жил другой жизнью, то есть когда он ездил с отцом в Баку, то ни разу не задерживался у дяди больше чем на два-три дня, а что такое два-три дня? Может, поэтому Аллахверди, возвращаясь, скучал по городу, и бывало, целыми днями жил там в своем воображении: по утрам заходил в кофейни, ел сосиски, днем шел на стадион и смотрел футбол, вечером выходил гулять на бульвар, прохаживался среди незнакомых людей.

Ведь это просто чудо — каждый день видеть новых людей. Что может быть лучше? Целый день на улицах, в магазинах, в скверах видеть людей, которых до сих пор ни разу не видел?

Прежде, три-четыре года назад, шоссе из Баку проходило мимо села, где жил Аллахверди. Аллахверди и все деревенские ребята просиживали у дороги часами, наблюдая за машинами из Баку и в Баку.

Если вдруг машина останавливалась возле них и шофер, высунув голову, что-нибудь спрашивал — куда ведет эта дорога? как называется это село? сколько километров до такого-то места? — ребята старательно, перебивая друг друга, отвечали, объясняли. Если же, бывало, понадобится что-нибудь, скажем, шофер просил

принести воды для радиатора, все ребята бежали со всех ног за водой, вырывая друг у друга из рук резиновое ведро из разрезанной старой камеры, все ребята бежали, все, кроме Аллахверди.

Аллахверди как сидел на обочине, так и оставался сидеть; он пристально разглядывал людей в машине, а потом ночью видел сны, разные сны: вот он сам едет в «Москвиче», сам наливает чай из термоса, откидывается на сиденье, улыбается.

А три-четыре года назад провели новую дорогу, и эта новая дорога не огибала село, где жил Аллахверди, а шла прямо к райцентру. Ребята больше не собирались у обочины, незачем стало.

Аллахверди принес дрова, подкинул в печь несколько поленьев, и Гашам-киши, бросив в огонь окурок, сказал:

— Отведи корову в стадо.

Гашам-киши любил распоряжаться, и это почти всегда раздражало Аллахверди. Ну хоть бы отец что-нибудь повеселее придумал. Каждый день был для Аллахверди точь-в-точь похожим на предыдущий.

Айна-арвад придержала теленка, обняв его за шею, Аллахверди же вывел корову из ворот и погнал ее вниз по дороге в колхозное стадо. И снова вспомнил он свой последний сон и снова удивился, с чего бы он в этом сне, напялив на голову шапку кинооператора, стоял перед парикмахерской в райцентре?

Когда Аллахверди задавал себе какой-нибудь вопрос, то никогда не останавливался на середине: он размышлял до тех пор, пока не находил ясного ответа.

И теперь, не обращая внимания на сельчан, тоже погонявших своих коров в стадо, он немного порассуждал и пришел к выводу: странная шапка оказалась у него на голове потому, что он не смотрел на нее, как другие, с издевкой, в глубине души он даже с завистью смотрел на эту шапку.

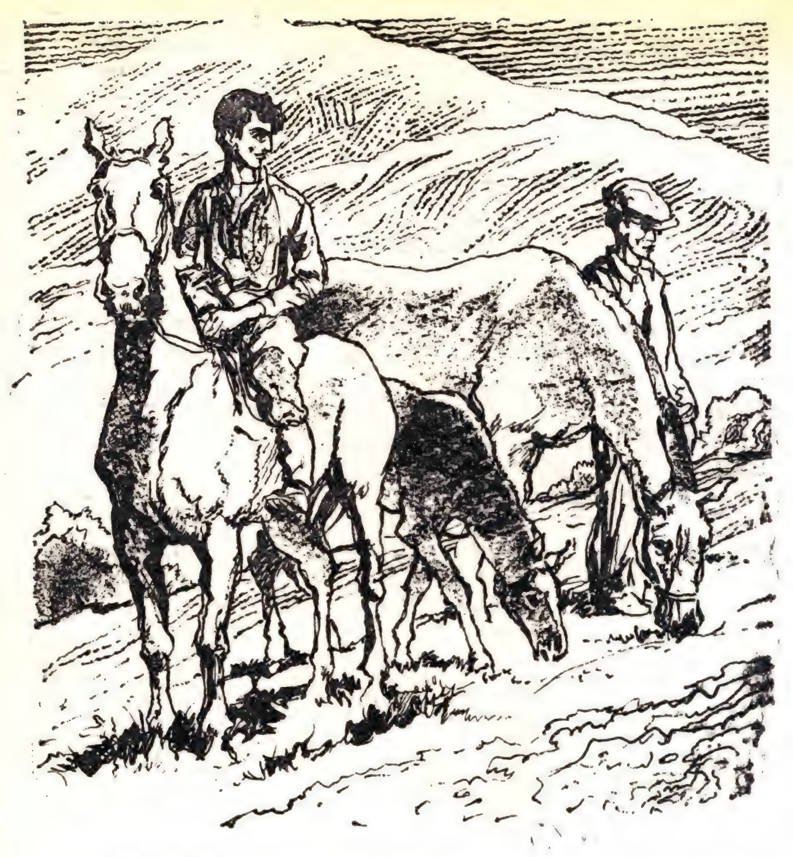
Осознав это, Аллахверди поморщился и задал себе новый вопрос: ну хорошо, а почему все-таки он завидовал-то?

Его позвали сзади:

— Эй, Аллахверди!

Аллахверди обернулся и взглянул на старого Салмана-киши, который догонял его вместе со своим буйволом.

— Чего?



— С тобой учится дочка Шукюра?

Немного помедлив, Аллахверди ответил:

— Да.

Салман-киши глубоко затянулся дымом из своей трубки.

— Ее в кино будут снимать,— сообщил он.

Аллахверди не поверил своим ушам:

— Что?

— В кино ее будут снимать. Надир будет снимать. Говорит, уж очень подходит она для кино.

Надир — это был тот самый кинооператор в странной шапке, он дружил в Баку с сыном Салмана-киши и поэтому, когда приехал в село, остановился в его доме. Салман-киши произносил имя гостя с гордостью.



Аллахверди подумал, что кинооператор вряд ли будет шутить с Салман-киши, но неужели то, что он сказал,— правда?

— То есть как это в кино будет снимать?

— Дочка Шукюра возьмет на плечо кувшин с водой и будет идти от родника, а Надир будет снимать с нее кино,— объяснил Салман-киши, снова глубоко затянулся дымом из своей трубки и повторил: — Надир говорит, очень подходит она для кино...— Салман-киши покрутил головой и усмехнулся.

Аллахверди отлично понял, что хотел он сказать этой усмешкой: вот, мол, чудаки эти горожане, в целом селе не могут найти подходящую девушку,— ну кому может понравиться тощая, долговязая дочь Шукюра?

Девушку, которую Салман-киши называл «дочкой Шукюра», звали Садаф, и она с самого первого класса и до сих пор училась вместе с Аллахверди. Раньше, в детстве, они ходили в школу в соседнюю деревню, а потом и у них в селе построили сразу десятилетку.

Садаф не была отличницей, не была красавицей, скорее даже какая-то несуразная, что ли, была Садаф, и, услышав такое известие, Аллахверди никак не мог в него поверить; он с трудом удержался, чтобы не переспросить старика.

Да, с трудом сдержал себя Аллахверди, чтобы не спросить еще что-нибудь у Салмана-киши.

Дело было в том, что Садаф помирала за Аллахверди, то есть влюбилась она в Аллахверди, но никто об этом не знал, это только Аллахверди знал, потому что в один из летних дней Садаф вручила ему письмо, и, прочитав это письмо, Аллахверди никому его не показал.

Погоняя корову, Аллахверди раздумывал над этой новостью и уже не дрожал от холода: думал он, думал, и постепенно его охватило самое настоящее волнение, и даже сердце как будто сжалось. Почему? — он и сам не знал.

А в ушах звучали слова Салмана-киши: «Говорят, очень подходит она для кино». Вернее, Аллахверди сейчас как будто слышал самого кинооператора: «Очень фотогеничная девушка». Потому что, как он представлял, чаще всего кинооператоры произносят два слова: «фотогенично» или «нефотогенично».

Мало того, еще этот кинооператор как бы говорил Аллахверди прямо в ухо: «Если бы она жила в городе, ее бы все время снимали в кино, эту Садаф».

И Аллахверди разглядывал возникшую перед его мысленным взором Садаф, ее смуглое лицо, длинные, как у аиста, ноги — и ничего не понимал.

Когда Аллахверди вернулся домой, Гашам-киши уже открыл дверь курятника, выпустил во двор кур, цыплят, индюшек и теперь, достав из подвала бутылку с машинным маслом, смазывал дверные петли уборной, чтобы не скрипели.

Айна-арвад возилась под балконом с самоваром.

Поднявшись в дом, Аллахверди вытер полотенцем намокшие под моросящим дождем волосы и несколько раз встряхнулся всем телом, как кошка или собака, потом повесил полотенце на гвоздик около умывальника и,

перегнувшись через балкон, сердито сказал матери, стоявшей возле самовара:

— Надень на самовар трубу, все глаза выело!..

Гашам-киши хмуро посмотрел на сына, и Аллахверди, ничего больше не промолвив, вошел в комнату и открыл дверцу шкафа, где лежали его книжки и тетради. Тут он вдруг вспомнил, что в школу сегодня торопиться не надо, и покачал головой в некотором недоумении. Потом вытянул самый нижний ящик и с самого дна, из-под кучи бумаг, извлек спрятанное письмо.

Это был вчетверо сложенный листок из тетрадки в клеточку. Аллахверди раскрыл его и прочитал про себя:

«Аллахверди, я пишу тебе это письмо. Аллахверди, я в жизни еще никому не писала писем, это мое первое письмо. Аллахверди, как прочтешь это письмо, никому не говори ничего, порви его и сожги, пусть станет пеплом. Я и сама сгораю, превращаюсь в пепел, Аллахверди. Куда ни смотрю, везде вижу тебя. И во сне все время тебя вижу. Совсем я не в себе, Аллахверди. Вдруг тебе покажется, что я всем ребятам пишу письма. Нет, Аллахверди, только тебе, только тебе. Если судьба мне улыбнется и мы с тобой поговорим, я все тебе скажу. Снова я плачу, Аллахверди. Напиши мне ответ.

Я все время думаю о любви и смерти.
Без тебя нет жизни, милый Аллахверди.

Не смейся надо мной. Никому ничего не говори, Аллахверди, а то меня засмеют. И письмо сожги.

Садаф».

В предпоследней строчке несколько букв расплылось, но прочесть было можно. Сначала Аллахверди подумал, что Садаф капнула на листок из чайной ложки, что это просто вода, но дни шли, и он в конце концов поверил в то, что Садаф и вправду плакала.

Аллахверди спрашивал себя, замечал ли он до этого что-нибудь такое насчет Садаф? Ну, она иной раз посматривала на него как-то странно. И еще, бывало, Садаф краснела, когда они попадались друг другу навстречу в школьном коридоре, но Аллахверди никогда бы не подумал, что дело зашло так далеко.

Он не написал никакого ответа, но и письмо не сжег, поносил его несколько дней в кармане, не зная, что с ним делать, потом положил в ящик на самый низ.

Когда они в первый раз случайно встретились после этого письма, Аллахверди сделал вид, будто ничего не случилось, Садаф прятала глаза и ни о чем не спрашивала. С того дня они, можно сказать, и не разговаривали. Мало того, Аллахверди стал понемногу злиться на нее и пришел к выводу, что Садаф ужасно глупая.

Какое-во время Аллахверди ходил злой, но однажды, когда он уже лег в постель, а заснуть почему-то не мог, как-то так получилось, что он встал, открыл ящик, вытащил письмо Садаф и прочитал один раз, потом другой, третий... Удивительно, что оно больше не сердило Аллахверди, наоборот, вроде даже начало нравиться. Он испытывал какое-то беспокойство, но беспокойство это не тяготило его. И еще ему было почему-то грустно. Вернее, хорошо и грустно. И неудобно — потому что, не обращая на Садаф внимания, он получал от ее письма такое странное удовольствие.

И в дальнейшем Аллахверди доставал иногда из ящика вчетверо сложенный листок, снова его читал...

Айна-арвад крикнула Аллахверди с балкона, чтобы он шел завтракать, и Аллахверди, торопливо спрятав письмо Садаф в нижнем ящике, вышел из комнаты.

Уже не моросило, но небо было по-прежнему серым.

Вот взошло бы солнце, кинооператор приставил бы к глазу свой сверкающий никелем аппарат и стал бы снимать Садаф на ленту, и весь мир смотрел бы, как Садаф несет воду из родника, и никто бы не знал, что эта девушка сходит с ума по Аллахверди.

Как оказалось, в классе уже все знали, что Садаф будет сниматься в кино. Да и вообще только об этой новости и говорили. Один Аллахверди молчал.

А потом пришла Садаф, и, увидев ее, ребята даже слегка растерялись. Садаф была в новом платье, веселая, ну только крыльев ей не хватало, чтобы взлететь. На нее накинулись с вопросами, что да как. А Садаф, не слишком смущаясь, довольно громко рассказывала, как вчера к ним приходил кинооператор да как говорил с ее отцом и взял у него согласие, чтобы снять Садаф в кино.

Рассказывая, она иногда посматривала на Аллахверди, сидевшего за партой с таким видом, будто ему все нипочем, искоса посматривала, и ему казалось, она сно-

ва глазами повторяет слова, написанные в письме, но уже не так жалобно, нет, а с некоторым вызовом.

Второй урок был тригонометрия, и, как только прозвенел звонок, в класс вошла Гюльсум-муаллима.

Аллахверди, один из самых высоких в классе, сидел на последней парте первого ряда. Садаф — во втором ряду, в середине.

Гюльсум-муаллима проводила урок, но Аллахверди не слышал ее и словно ни о чем не думал. Потом он поймал себя на том, что не отрываясь смотрит на Садаф.

У Садаф были черные глаза, черные волосы, толстые такие косы, все, как обычно, и только платье новое. Но Аллахверди будто видел впервые и эти глаза, и эти косы. Садаф была худенькой, да, но полногрудой. Она была смуглянка, Садаф, и Аллахверди не мог оторвать глаз от этого смуглого лица и злился на себя, не хотел смотреть на это лицо и глядел во все глаза.

Аллахверди, напрягаясь, вспоминал их ссоры в детстве, их походы в школу, всякие смешные случаи и никак не мог поверить, что эта девушка перед его глазами та Садаф, которой он мог сказать в любое время что угодно и даже приказать.

А потом у Аллахверди мелькнула мысль, от которой он стал сам не свой: ему вдруг показалось, что то письмо, что лежит у него в нижнем ящике шкафа, не Садаф писала; не Садаф, смущаясь, протягивала ему это письмо, а совсем другая девушка, из другого класса. Сейчас Аллахверди уже ни за что бы не поверил, что именно слезинка размыла синие буквы в письме.

Аллахверди с трудом отвел взгляд от Садаф, хотел было прислушаться к теореме, которую объясняла Гюльсум-муаллима, но ничего из этого не вышло, и он снова уставился на Садаф и только теперь понял, что и Садаф смотрит на него, и тогда он оторвался от созерцания смуглого лица девушки и устремил глаза на черную доску, исписанную формулами.

Аллахверди смотрел на формулы, выведенные на доске учительницей, слушал, что она говорила, и всем своим существом ощущал на себе взгляды Садаф. Наконец, не выдержав, он посмотрел на девушку, и теперь уже она отвела от Аллахверди глаза на доску.

Аллахверди чувствовал, как пылает его лицо.

Наступила перемена, и на перемене снова все собрались вокруг Садаф, и Садаф снова принялась рассказы-

вать. За всю жизнь никогда не говорила она столько, и никогда еще не выслушивали ее с таким восторгом.

Так прошли уроки, одна за другой прошли перемены.

Снова начало моросить, потом дождик вроде кончился, потом снова заморосило, и весь день Аллахверди не находил себе места. Вернувшись из школы, Аллахверди целый вечер просидел в комнате, не выходя во двор.

У Гашама-киши было дело в райцентре, и он уехал туда на сером жеребце.

Айна-арвад перебирала на балконе фасоль.

Аллахверди же смотрел в окно на серую осень. Склон горы, видимый из окна, сплошь порос айвой, и на каждом айвовом дереве сидела стая скворцов. Они кричали на разные голоса, и непонятно было, то ли приветствуют они эту серую осень, то ли осуждают.

Внизу, на косогоре, стоял дом Салмана-киши, и вдруг Аллахверди разозлился на старика. Ни с того ни с сего. А потом вдруг забыл о нем.

Аллахверди не мог ни читать, ни готовить уроки, не хотелось ему и выйти погулять по селу. Он как бы наблюдал себя со стороны, и ему казалось, что он уже больше не прежний Аллахверди. Почему ему так казалось, почему так думалось — в этом он не отдавал себе отчета. Было совершенно ясно, что его зовут, как и прежде, Аллахверди и это его голова, и руки, и ноги, только вот было непонятно, отчего же с тем же именем, головой, руками и ногами он уже не прежний Аллахверди.

Он отвел взгляд от серой осени и встал с тахты, подошел к маленькому шкафчику, выдвинул нижний ящик и достал из кучи бумаг письмо Садаф, однако не раскрыл его и не прочитал, потому что внезапно обнаружил, что все написанное на вчетверо сложенном листке он знает наизусть.

Аллахверди даже и не подозревал, что он так заучил это письмо.

Когда ночью Аллахверди ложился в постель, ему казалось, что он не уснет до утра, но заснул Аллахверди, заснул и впервые увидел цветной сон.

Рассвет только начинался.

Было столько красок, Аллахверди в жизни не видел таких сочетаний — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

И что самое странное, эти краски еще и серебрились, сверкали.

И Аллахверди был среди этих красок.

Они словно окутывали всего Аллахверди, словно текли по его телу.

Аллахверди знал, что это сон, и еще он знал, что этот сон — Садаф.

Самой Садаф не было, но Аллахверди знал, что эти краски — ради Садаф, а может быть, даже все эти краски и есть сама Садаф.

И снова послышался голос Гашама-киши:

— Эй, Аллахверди, уже полдень на дворе, вставай!

Аллахверди хотя и видел сон, но будто предчувствовал, что вот сейчас раздастся этот голос и боялся, боялся, что краски вдруг исчезнут — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

— Эй, Аллахверди!

Аллахверди открыл глаза, и на несколько мгновений эти краски заполнили всю комнату, но они уже не искрились, а потом все разом исчезли.

— Ну, где ты там?

— Встаю!..

Когда Аллахверди спустился во двор, Айна-арвад доила корову. Корова опять стояла под балконом, потому что снова шел мелкий дождь.

Моросило, но эта сырость вовсе не раздражала Аллахверди, когда он выводил из хлева серого жеребца. Гашам-киши удивленно посмотрел на сына — у вечно заспанного, обычно угрюмого с утра Аллахверди сейчас было явно хорошее настроение.

Гнедая кобыла Мелика опять пила воду из арыка, а пегий жеребенок пил рядом с ней.

— Чего ты вчера в кино не пришел? — спросил Мелик, зевая.

Только сейчас Аллахверди припомнил, что Джафар вчера должен был показывать кино, а он почему-то совсем забыл об этом и не пошел в клуб, и Аллахверди нисколько не расстроился из-за своей забывчивости, потому что, кроме этой серой измороси, окутавшей все вокруг, у Аллахверди был свой мир, и этот мир был такой необыкновенный, так искрились краски — голубая, оранжевая, светло-зеленая...

Когда Аллахверди прискакал на сером жеребце обратно во двор, Гашам-киши снова удивленно посмотрел на сына и на этот раз решил, что в жизни Аллахверди что-то произошло, что-то такое случилось, Гашам-киши ясно это почувствовал.

Аллахверди, конечно, понятия не имел, о чем думает отец, он вывел корову со двора и погнал в стадо.

Аллахверди шагал по проселочной дороге вниз и, вопреки обыкновению, что-то насвистывал, какую-то мелодию, которая, по-видимому, звучала в нем с самого утра.

Позади раздался кашель, и Аллахверди, обернувшись, увидел, что это Салман-киши, дымя трубкой, гонит своего буйвола.

Салман-киши как будто ждал того момента, когда Аллахверди обернется.

— Ну и погода! — громко сказал он.— Из-за этой проклятой погоды,— тут Салман-киши хлопнул себя мокрой ладонью по шее и выдохнул теплый клуб дыма,— Надир собрался и уехал!

Аллахверди замер с широко открытыми глазами. А потом будто со стороны услышал свой тихий голос:

— А кино он снимать не будет?

— Ты что, не понимаешь или притворяешься? В такую погоду разве можно кино снимать? — Салман-киши махнул рукой и прибавил важно: — Надир поедет в другой район. Говорит: «Не могу же я здесь сидеть целый месяц, ждать, когда солнце выйдет...»

Аллахверди не спросил у старика: «А Садаф?»

Аллахверди ничего не спросил, все и так было ясно: этой дождливой осенью вырастет отличная трава на корм скоту, но Садаф уже не будет сниматься в кино, не пойдет она от родника с кувшином на плече.

Аллахверди увидел Садаф, ее поникшую голову, ее грустное лицо, она совсем растерялась, и Аллахверди с трудом удержался от того, чтобы не нагрубить Салману-киши прямо в лицо, чтобы не обругать его гостя.

Аллахверди понимал, надо что-то сказать Садаф, надо обязательно утешить ее, но сделать это будет очень трудно. Очень трудно, потому что Аллахверди теперь ужасно стеснялся Садаф.

А что, если ей письмо написать, и хорошо бы в этом письме было что-то от того цветного сна? Только где он возьмет такие искрящиеся краски — голубую, оранжевую, светло-зеленую?.. Да и хватит ли храбрости отдать Садаф это письмо?

Потом он подумал, что напишет Садаф из Баку, когда поступит там в институт, но сразу понял, что поехать в Баку будет теперь очень трудно, очень тяжело это будет, потому что Садаф останется здесь.

НАПРОТИВ СТАРОЙ МЕЧЕТИ

А потом опять начало моросить, и он, прислонившись к забору старой мечети, поднял воротник пиджака. Вдруг ему и вправду захотелось закурить, но он не стал доставать сигареты — их было всего две,— их он выкурит там. На живот ему сильно давили книги, вернее, одна — «География», и две общие тетради, засунутые за пояс под пиджаком, давили так, что трудно было дышать. И он опять чуть отпустил пояс.

Ветер подул сильнее, а когда ветер расходится, стоять тут не дай бог. Ему показалось, что усач сейчас высунет голову в окошко минарета и закричит: «Опять пришел? Отираешься тут!» А он не растеряется: «А тебе что, это твоего отца вотчина, что ли?» Усач станет ему угрожать: «Вот спущусь сейчас, мать твоя плакать будет». А он скажет ему: «Если ты мужчина, спускайся». Усач не может спуститься, потому что он без обеих ног. Он видел его однажды случайно на улице — усач об этом не знает. Пусть лучше не знает, не расстраивается лишний раз, хотя он страшный зануда.

Но окошко оставалось пустым.

Вот уже три месяца, как эту мечеть отдали под обувную фабрику. Раньше было хорошо — в ней помещалось тихое управление глухонемых. Но глухонемые переехали в новое здание, вместо них появились сапожники и посадили этого усача у окна, как аллаха на небе.

«Здорово похолодало,— подумал он,— в этом году так еще не было, наверное, снег пойдет». Пальто он оставил у Вовки; оно было модное, отец из Москвы привез два месяца назад, но ему не хотелось в этом пальто приходить к Санубар. Он даже подумал, хорошо бы купить телогрейку и приходить к Санубар в телогрейке, но потом отказался от этой мысли — слишком уж выглядело бы по-детски.

Ужас, как рано зимой темнеет, еще нет пяти часов, а уже темно. Усач зажег свет в минарете — окошко вверху похоже на глаз: как будто одноглазый дракон смотрит в мир. У Санубар тоже, должно быть, зажгли свет, отсюда-то не видно — и шторы на окнах плотные, да и свет неяркий. И в классе зажгли свет. Сейчас урок географии, ее преподает завуч. Завуч стоит лицом к классу, спиной к карте, вызывает по одному. И кто бы что ни показывал на карте — это Коста-Рика, это Дарданеллы, это я не

знаю что,— он тут же видит, как будто у него на затылке глаза.

Завуч, безусловно, и ему влепил бы двойку — попробуй потом исправь. Но он не из-за двойки удрал с урока. Книга и теперь у него за поясом, он мог бы подготовиться на предыдущих уроках. География была четвертой, а ему достаточно один раз прочесть, чтобы все запомнить. Он из-за Санубар сбежал, из-за Санубар.

После первого урока они сбежали вместе с Вовкой: когда приближалась география, у Вовки начинали трястись поджилки. Сначала они пошли к Вовке домой (у них в это время никого не бывает), потом, сняв пальто, он отправился к Санубар.

Теперь он стоит возле ее дома и ждет, когда мать Санубар выйдет на улицу. Но та все не выходит и не выходит.

Мать у Санубар проводница. Через каждые два дня она уезжает в поездку, и тогда он приходит сюда.

Ради Санубар он стоит в нагоняющей тоску ранней темноте, на ветру, у этого одноглазого минарета. Никто в мире не знает об этом, только он и Санубар, больше никто-никто, он никому не скажет.

Вышла. Наконец-то вышла из ворот мать Санубар!

Прижимаясь к ограде мечети, он немного поднялся вверх, завернул за угол и остановился. Вслед за матерью из ворот вышел мужчина, и они, о чем-то переговариваясь, пошли по улице вниз.

Выждав, он перебежал мощенную булыжником мостовую и вошел в ворота. От деревянных ступеней, поднимающихся на пол-этажа, знакомо тянуло пылью, известью, и у него потеплело в груди. Согнутым пальцем он тихонько постучал в дверь.

Из-за двери раздался ее голос:

— Входи, я не заперла.

Санубар сидела на своем обычном месте — в углу дивана, сидела в своей обычной позе — поджав ноги.

Ее тонкие пальцы перебирали кисти шали, которую она накинула поверх лавсановой юбки. Как и раньше, перед Санубар на табуретке стояла маленькая коптящая керосинка,— ее запах и тепло наполняли комнату. Всегда, когда он думал об этой комнате, он вспоминал не эту плотную штору на окне, не этот прямоугольный стол посреди комнаты, не выгоревший кофейного цвета диван, не старый немецкий радиоприемник в углу, он прежде

всего ощущал запах и тепло керосинки, которые сберегали их счастье, их тайну, их любовь.

— Ты опять ждал за углом? — Кошачьи глаза Санубар весело взглянули на него снизу.

— Нет, я только что подошел.

Санубар улыбнулась и протянула руки над керосинкой.

— Грейся!

Он подставил ладони к огню.

— Горячо? — Санубар взяла его пальцы в свои, потянула к себе: — Да иди же!..

Он опустился на ковер, и она прижала его голову к своей груди, погладила по жестким волосам, потом поцеловала в губы. Он тут же встал, потому что в такие минуты к горлу его подступал комок, и он боялся, что заплачет.

— С кем вышла из дому твоя мать? — спросил он, чтобы справиться с собой.

— А, это Агагусейн!..

— Агагусейн?

— Да, наш родственник. Вожатый трамвая...

— Зачем он приходил к вам?

— Откуда я знаю? — Санубар пожала плечами.— Уже третий раз приходит.

Имя Агагусейн ему не понравилось, оно звучало чуждо в этой маленькой комнате.

...Он решил, что сядет сейчас рядом с Санубар, положит ей руку на плечо, просунет другую руку под кроличью безрукавку, бумажный свитер с высоким воротом и бумазейную кофточку и будет ласкать ее грудь.

Он хотел уже снять пиджак, как вдруг вспомнил про книжки за поясом. Жаль, не догадался оставить их у Вовки. А здесь вытаскивать книжки и тетрадки нельзя: вдруг Санубар увидит учебник географии — на учебнике написано: «Для восьмого класса», а она-то думает, что он учится в девятом.

Они познакомились, когда в школьном дворе покупали кутабы. Санубар училась в азербайджанской школе, а он — в русской. Школы были в смежных зданиях, а двор был общий. Тогда у Санубар не хватило мелочи. Он дал ей эту мелочь, а через несколько дней, увидев его во дворе, она вернула деньги.

Санубар не была красива и одевалась как деревенщина. Ему даже в голову не пришло, что эта девочка,

покупавшая кутабы, станет его первой любовью. Правда, за полтора года до этого он влюбился в женщину, жившую по соседству. Когда эта женщина появлялась на балконе, он подолгу смотрел на нее. Но это прошло, потому что было ненастоящее,— он понял это потом, когда они в первый раз остались вдвоем с Санубар.

Сначала они просто здоровались, потом однажды вышли вместе. Как-то так получилось, что он проводил Санубар до дому. Она позвала его к себе, сказав, что дома никого нет, и он поднялся сюда, сам не зная как.

Тогда он впервые увидел глаза Санубар, увидел их близко и понял, что они кошачьи. Он сказал ей, что учится в десятом классе и что ему восемнадцать лет. Потом Санубар узнала, что он наврал, но, что он учится в восьмом, она не подозревала.

Ей самой было уже семнадцать. Всегда, когда он думал о ней, он чувствовал себя виноватым: рано или поздно Санубар узнает, что она старше его. Правда, это уже не будет иметь большого значения, ибо к тому времени они поженятся.

— Почему ты не снимешь пиджак?

— Я пойду, у меня дела.— Он сказал первое, что пришло в голову: на самом деле он мог остаться тут до вечера.

— Какие у тебя дела? Пойдешь с мамой в гости?

Ей, кажется, опять хочется унизить его, но он сегодня не смутился, как в прошлые вечера, этот вечер ему дороже, чем все предыдущие,— он так чувствует, а почему, и сам не знает.

— А что он у вас делает, этот Агагусейн?

— Откуда я знаю? — Санубар закусила нижнюю губу и сжалась так, как будто ей стало холодно.— Кажется, мама выходит за него замуж.

— Твоя мама?

— А что?

У Санубар никого не было, кроме матери. Он ни разу не разговаривал с нею, даже не видел ее близко, но почему-то она ему не нравилась.

— То есть как это выходит замуж?

— А ты не знаешь, что такое выходить замуж?

Он испугался: если мать Санубар выйдет замуж, что будет с их встречами? Агагусейн останется здесь, в этой маленькой комнате, в их комнате?

— Да нет, у него есть своя хибара, он получил квар-

тиру в новом доме,— сказала, будто подслушав его мысли, Санубар.

Санубар все знает. Она догадывается о его желаниях, чувствует, какой разговор ему не нравится, какой ее поступок ему по душе. Он еще только про себя напевает какую-нибудь мелодию, она уже выводит ее своим тонким голоском.

Санубар снова погладила его жесткие черные волосы, как будто сказала: не бойся, я никуда отсюда не уйду.

Он был готов стоять на коленях всю жизнь, был готов, забыв дом, школу, ребят, никуда не ходить, ничего не делать, пусть только эти пальцы всегда гладят его волосы, пусть он чувствует тепло этой груди, пусть всегда слышит биение ее сердца.

Он положил руку ей на плечо. Санубар взяла другую его руку, просунула под бумазейную кофту к себе на грудь.

Всегда, когда рука его касалась груди Санубар, сердце у него падало, он замирал, в горле пересыхало, начинали дрожать руки, все тело. Он с трудом успокаивался.

Она была худенькая, он чувствовал своей крупной ладонью ее хрупкие ребра, но груди у нее были полные, не вмещались в горсть, они были как два резиновых мяча.

— Осторожно жми, медведь! — Кошачьи глаза Санубар смеялись, и, когда Санубар смеялась, он считал, что это любовь.

Он хотел думать о Санубар, как о любой другой женщине. Он никогда не пытался увидеть ее обнаженной или сделать с ней что-нибудь такое. Он по нескольку раз смотрел фильмы, в которых показывали обнаженных женщин, но никогда не ставил на их место Санубар. Иногда во сне он видел ее обнаженной, но, просыпаясь, уходил от этих мыслей и старался думать о футболе, о фильмах, которые снимет.

Он опасался, что расплачется, если Санубар еще раз прижмет его голову к своей груди. Он боялся этого, боялся, что она заметит его состояние и начнет смеяться («Ей-богу, ты ребенок!»), но в глубине души, в самой далекой ее глубине, которой и сам страшился, понимал, что хотя это и ребячество, но то, что он готов расплакаться,— самое лучшее в их отношениях. Санубар тоже знала это, но иногда ей хотелось подразнить его — она вдруг прижималась к нему, ласкалась и спрашивала: «Ну, что же ты боишься? Ну?»

Она слегка играла с ним.

— Ребенок, чистый ребенок! Не может быть, чтобы тебе было семнадцать! Ты здоровый, но я знаю, тебе четырнадцать. И ты бреешься каждый день, чтобы щетина росла!

— Мне двенадцать! — отвечал он обычно, но сейчас чувствовал, что заводится, и еще потому заводится, что откуда-то ему в мысли лезло имя Агагусейн. Он вытащил руку из-под бумазейной кофточки.— Мне даже одиннадцать.

— Ладно, ладно, не вешай нос.— Санубар схватила его за нос.— Правда, твой отец большой человек?

Он не знал, что ей ответить. Еще давно, в начале их отношений, он хотел сочинить трагическую историю об отце, но не сочинил, потому что не хотел лгать Санубар о чем бы то ни было, кроме своего возраста. Отец был режиссером в театре, и ему казалось, что, если Санубар узнает, станет смеяться.

— Если он большой человек, почему тебе пальто не купит? — подзадоривала она.

— Я пошел,— сказал он, вставая.

Санубар ухватила его за руку.

— Не обижайся. Не уходи.

— Дело есть.

— Ну посиди. Я больше не буду, клянусь.

Он наклонился, поднял шаль, упавшую на ковер, и решил, что действительно надо немного посидеть. Он очень удивился, что Санубар умоляет его так по-детски. Он даже подумал, что, если сейчас уйдет, она осиротеет в этой маленькой комнате.

Он сел на диван.

— Ты мой единственный! Кроме тебя, у меня никого нет.— Санубар прижалась к нему, обхватила руками его шею и поцеловала в щеку.

— Ну ладно, хватит.— Он снова представил себя мужчиной, единственной опорой Санубар, и отечески покровительственно поцеловал ее волосы. Запах этих волос всегда опьянял его, в это мгновение он становился самым сентиментальным человеком на свете.

Он достал из кармана сигарету и, наклонившись к керосинке, прикурил — в этой комнате он всегда прикуривал только так. Он не любил сигарет и знал, что никогда не станет настоящим курильщиком, но в этой комнате иногда возникали такие ситуации, когда он не знал, что

ему сказать, что сделать, и в эти минуты он закуривал.

Санубар и впрямь вела себя очень странно. Иногда она отодвигалась, смотрела на него так, будто впервые видела, потом опять прижималась.

Он еще раз поцеловал ее волосы и сказал:

— Когда мы поженимся, мы всегда будем вдвоем в этой комнате.

Он действительно так думал и верил в это. В сущности, он уже сейчас считал себя гостем в своем доме. В детстве он хотел стать кинорежиссером: после окончания школы он поехал бы в Москву и поступил в Институт кинематографии. Но теперь он решил, что уже не поедет в Москву, а останется в Баку, начнет работать где-нибудь,— очень возможно, станет шофером, потому что умеет водить машину. Раньше его смущала лишь одна деталь: а где будет жить мать Санубар? А теперь, раз она сама уходит, все устраивается.

— Мы ничего не тронем в этой комнате, все останется как есть.

Вдруг Санубар вырвалась из его рук и закричала:

— Будь проклята эта комната! Мне противна эта комната! Хватит с меня этой комнаты! Плевала я на эту комнату!

Он не мог себе представить, что Санубар так ненавидит эту комнату — их комнату. Но за что? Ему стало жаль Санубар, и он снова захотел поцеловать ее волосы.

— Не трогай меня! Оставь меня! Он на десять лет моложе мамы! А я что буду делать? Что я буду делать, оставшись одна в четырех стенах?

То есть как одна в четырех стенах? А он?

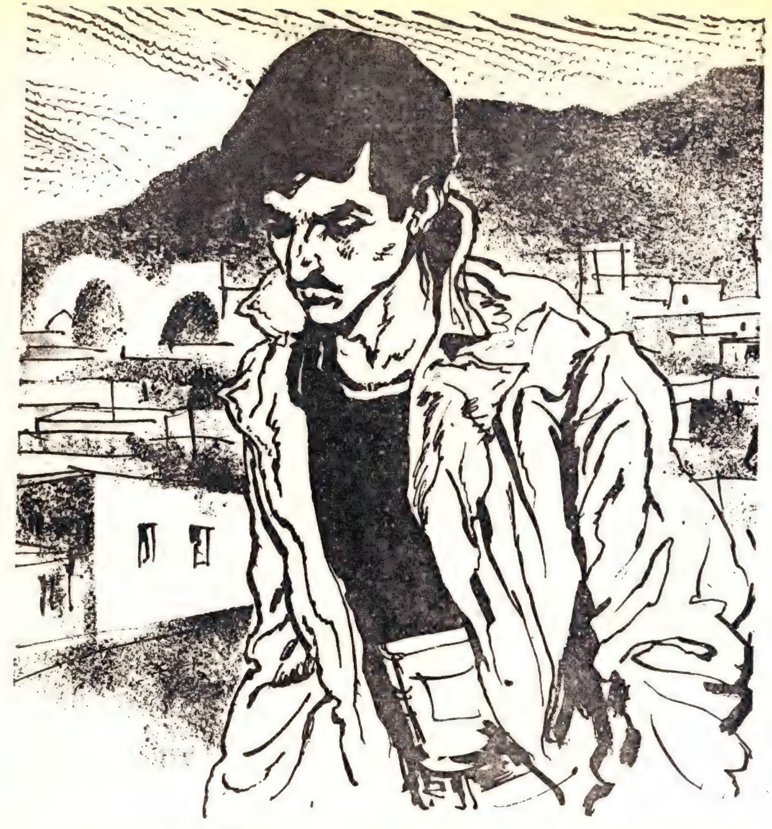
Он встал и пошел к двери. Санубар бросилась за ним.

— Не уходи, я больше ничего не скажу, я говорю неправду, просто так говорю, не уходи, я не хочу оставаться одна, я не хочу оставаться здесь одна, не уходи!

Он боялся, что не выдержит и останется. Выкинув сигарету, он сбежал по ступеням.

Шел мокрый снег. Его туфли скользили по булыжникам, он чуть не упал, но продолжал идти посередине улицы. Это было в высшей степени кинематографично, если смотреть оттуда, где стояла сейчас Санубар.

Он опять стал самым несчастным человеком на свете, он вновь думал о бессмысленности жизни, о том, что никто его не понимает. Ну почему он не родился в девят-



надцатом веке, почему не появился на свет в Древнем Риме?

Спускаясь вниз по улице, он вдруг снова вспомнил запах и тепло керосинки, но это воспоминание не тронуло его: «Что я буду делать одна в четырех стенах?» Она сказала: «Одна»!

Позади раздался резкий гудок машины. Водитель высунулся и закричал:

— Жить надоело, что ли?

Он быстро поднялся на тротуар, не успев даже ответить — машина была уже далеко, и эта машина вдруг развеяла его грустные мысли, и он опять испугался, что сейчас повернется и пойдет к Санубар, а Санубар взглянет на него своими кошачьими глазами и скажет: «Ты же ушел!»



Он шел к Вовке, чтобы взять свое пальто, но все время думал о Санубар, о том, что еще не видел ее такой и не мог понять, отчего в ней столько ненависти к своей комнате? Значит, все эти пять месяцев она ненавидела эту комнату, их комнату?..

Теперь она сидит там одна перед зажженной керосинкой, и ноги поджала под себя, как обычно, и шаль у нее на коленях, и тонкими пальцами она перебирает бахрому шали. Лицо у нее побледнело, губы дрожат, и все из-за этой маленькой комнаты — почему, ну почему же?

Он понял, что должен вернуться.

Свет в окне старой мечети уже не горел. Усача, наверное, спустили вниз, и он уехал на своей коляске. Сидит теперь дома со своими детьми и обедает. А может, у него и вовсе детей нет?

Он постучал в дверь.

— Входи. Я не заперла.

Он покраснел. Санубар знала, что он вернется.

Он стоял у дверей комнаты, желая что-то сказать, но не мог, и от этого еще больше смущался.

— Иди сюда,— он никогда не слышал такого голоса Санубар.

Он виновато подошел к дивану, сел рядом с нею, и Санубар обняла его.

Он почувствовал, что Санубар плачет.

— Что случилось?

Она заплакала еще громче. Она всхлипывала, тело ее сотрясалось.

Сроду никто так не плакал рядом с ним. Он начал целовать ее волосы, чувствуя, что на этот раз вряд ли удержится от слез.

— Что с тобой? Что случилось? — повторял он.

Санубар не отвечала. Она охватила его голову и стала целовать, ее соленые слезы размазывались по его лицу.

— У меня никого нет, кроме тебя! Никого, кроме тебя! Ты будешь приходить ко мне каждый день! Чтобы не было без тебя ни одного дня! Ты мой единственный! — Вдруг Санубар оттолкнула его.— Хочешь, я сейчас стану твоей?

Он сначала не понял.

— Ну, хочешь?

Он поднялся и подошел к окну.

— Ты совсем спятила!

Он отвел штору, посмотрел через дорогу на мечеть. Ему показалось, что кто-то стоит, прислонившись к забору, и смотрит на это окно, а потом он понял, что это он сам.

— Совсем спятила,— повторил он и понял, что не может повернуться к Санубар.— Что это с тобой, а?

Санубар неслышно подошла и обняла его за плечи.

— Ничего со мной не случилось. Я хочу, чтобы ты был моим. Хочу, чтобы ты всегда был моим. Хочу, чтобы ты никогда не оставлял меня одну. Я боюсь оставаться одна. Боюсь оставаться...

— Почему ты одна? — говорил он.— А я кто? Кто же я?

Санубар как будто ждала этих слов. Снова стала целовать его лицо.

— Ты всегда будешь со мной! — Она высвободилась из его объятий и взглянула на него мокрыми от слез глазами.

— Конечно!

— Ты никогда в жизни не допустишь, чтобы я осталась одна?

— Конечно!

— Ты будешь приходить ко мне каждый день! Я всегда буду сидеть и ждать тебя!

Она потянула его к дивану, усадила рядом, взяла его руку и прижала к груди. У него опять упало сердце, перехватило дыхание! Санубар была так бледна и дрожала, что ему показалось, что она может сейчас умереть...

Так они сидели, прижавшись друг к другу. Потом она вдруг спросила:

— Когда ты думаешь, ты думаешь по-русски?

— И по-русски, и по-азербайджански.

— Нет, ты всегда по-русски думаешь, я знаю, говоришь по-азербайджански, но думаешь по-русски.— Санубар рассмеялась.— Когда я читаю по-русски, я понимаю с трудом. Ты будешь читать романы по-русски, а потом по-азербайджански мне рассказывать, да?

— Ты странная!

— Будешь рассказывать, да?

— Буду.

— Хочешь, приготовлю тебе что-нибудь поесть?

Он ничего не ел с утра, но только теперь осознал, что голоден. Слова Санубар прозвучали странно: такое он слышал только от матери: «Что ты будешь есть, скажи, я приготовлю». Он понял, что иногда думал о Санубар как о матери, впрочем, не иногда, а всегда. Эта мысль поразила его.

«Сейчас я тебе приготовлю».

Санубар вытащила из-под подоконника коробку с картошкой, выбрала оттуда несколько картофелин, две головки лука, быстро все почистила и порезала и, налив в сковородку подсолнечного масла, поставила на огонь. Скоро вся комната заполнилась шипением.

Он достал вторую сигарету, наклонился к керосинке и прикурил от огня. Глубоко вдыхая дым и глядя на Санубар, хлопочущую над сковородкой, он почувство-

вал себя счастливым. Он встал, поболтался по комнате — их комнате! — остановился возле керосинки и провел губами по волосам Санубар.

Он лежал на кровати, заложив руки за голову. В соседней комнате раздавался храп отца. И мать уже спала, и брат, и бабушка, а он не мог заснуть. Только он закрывал глаза, как появлялась Санубар. Она жарила картошку на подсолнечном масле и иногда взглядывала на него. Никогда еще их встреча не была такой нежной. И Санубар, наверное, лежит сейчас на диване, завернувшись в свое цветастое одеяло, и думает о нем.

Они никогда не говорили о своей будущей совместной жизни. Если он заводил разговор об этом, Санубар начинала смеяться, и он тут же менял тему. А сегодня она первая спросила его:

— Ты рано будешь приходить с работы?

Он сначала не понял, но потом радостно закивал: «Конечно! Конечно!»

— Я заранее поставлю воду, и, когда ты придешь, она будет уже готова,— говорила Санубар.— И мы будем мыть тебе голову, и я подам тебе чистое полотенце...

Он все кивал: слов у него не хватало.

— А если ты простудишься, я поставлю тебе банки...

...Утром в школе ребята сказали, что завуч видел их вчера на первом уроке — его и Вовку. Вовка ужасно перепугался, а он не обратил внимания на это сообщение: ему теперь было все равно, он ничего не боялся, он только ждал, когда пройдут два дня и мать Санубар вновь отправится в поездку.

Дома мама спросила его:

— Что с тобой, ты какой-то не такой?!

И он, глядя ей в лицо, сказал:

— А что со мной может случиться?

Он никогда не ходил в школу Санубар. Обычно они встречались во дворе и, поговорив, расходились. Они ни разу не прошлись по улице вместе, они даже в кино не ходили. Однажды Санубар сказала:

— Я знаю, ты стыдишься меня, стыдишься показываться со мной на людях. Я тебе не пара.

И он покраснел.

Позже он много раз приглашал ее, но она отказыва-

лась. «Давай лучше посидим здесь,— говорила Санубар,— нам и здесь хорошо».

Сегодня он прождал ее в школьном дворе полдня, но она не пришла.

...Как только мать Санубар вышла из ворот, он, прижимаясь к забору мечети, скользнул за угол и остановился. Из окошка минарета свесилась голова усача:

— Ну что, опять пришел?

Вместо ответа он почему-то помахал усачу рукой: все в порядке, мол, добрый день. Усач сначала не понял, но потом помахал тоже: «Добрый день», улыбнулся понимающе и исчез.

В три скачка он преодолел улицу и вот уже запыхавшийся стоял у дверей Санубар. Постучал. Никто не ответил. Он опять постучал — так, как у них было условлено. Ни звука. Тогда он решился надавить на дверь и увидел, что она не заперта.

...Санубар стояла посреди комнаты, на ней было зеленое платье, которого он никогда не видел. Оно блестело и переливалось так, как будто вот-вот загорится. И лицо Санубар сияло. Она оглаживала складки платья и любовалась собой в зеркале. Он заметил, что табуретка уже не стоит перед диваном и куда-то исчезла керосинка. Да и вся комната была непохожа на их комнату — она стала чужой, и так же по-чужому пахло в ней свежевымытым полом.

— Где ты пропадал два дня?!

У него упало сердце. Он понял, что что-то произошло, и это что-то связано с его жизнью, и что оно плохое. Как только он вошел в комнату, он почувствовал это.

Санубар взялась за подол платья и закружилась по комнате.

— Я замуж выхожу, знаешь... Оказывается, Агагусейн ради меня приходил! Сейчас мы обручимся, а летом, когда я закончу школу, поженимся!..

— И ты... ты радуешься? — Он и сам не понял, что спросил; какой-то совершенно чужой был голос.

— Я замуж выхожу, дурачок! Вчера мы были в кино. Знаешь, какое чудное было кино! Парень попадает под машину, у него отрезают обе ноги. Его любимая сначала этого не знает. Она думает, будто парень ей изменил, потом...

Он не слышал, что она говорила... Он знал, что стоит в комнате Санубар, что Санубар говорит ему что-то, но, что она говорит, он не понимал.

— Скоро он опять придет, и мы опять пойдем в кино. Я больше не буду сидеть дома одна. Теперь, как только я захочу, мы пойдем в кино. А завтра пойдем смотреть его квартиру. Это в новом доме, его построили для работников трамвайного парка. И ванная там есть... Ой, что с тобой? Ты плачешь?..

Он больше не мог сдерживаться и закрыл глаза рукой. Он понимал, что это позор, но ничего не мог с собой поделать.

— Перестань... Ну перестань же. Ты совсем ребенок, ей-богу, ребенок! Я даже не думала, что ты такой ребенок...— Санубар все говорила и говорила, гладя его по руке, и говорила искренне.— Ну, хватит... Хочешь, я тебя опять поцелую? Ну, перестань, перестань... Мы же еще увидимся. Ты будешь учиться, закончишь школу, поступишь в институт, потом окончишь институт, и тогда мы с тобой встретимся. Через десять лет мы опять встретимся с тобой. Через десять лет ты будешь совсем взрослый мужчина...

Не смея взглянуть ей в лицо, он повернулся, спотыкаясь, прошел через прихожую, дрожащими пальцами отодвинул задвижку...

Он на некоторое время задержался в темном подъезде — в эту минуту он стыдился себя и хотел побыть в темноте. Потом, достав сигарету, закурил, сильно затянулся, наполнив грудь дымом,— на мгновение у него круги пошли перед глазами, потом кинул сигарету на пол, растер ее ногой и вышел на улицу.

Он спускался вниз по улице, засунув руки в карманы. Сверху раздался голос усача: «Уже уходишь?»

Он обернулся и посмотрел вверх — усач улыбнулся ему: мол, делай свое дело. Он помахал усачу, ему стало легче.

Через десять лет... Что ж, через десять лет он действительно, может, встретится с Санубар, но через десять лет уже не так будет выглядеть эта улица и эта маленькая комната, а может, вообще ее больше не будет.

И если через десять лет его губы коснутся волос Санубар, сердце его не будет таять, и он уже сейчас тосковал оттого, что так произойдет. Через десять лет, уви-

девшись с Санубар, он поздоровается и пройдет мимо. А вспомнив прошлое, может быть, улыбнется и посмотрит на нее свысока.

И ему вдруг показалось, что он уже стал старше на десять лет.

Много разных дум приходило ему в голову, чтобы все их передумать, он хотел пойти на бульвар и посидеть там на одной из одиноких скамеек, но вспомнил, что завтра опять география, надо хорошенько подготовиться — с завучем шутки плохи.

Выкинув из кармана сигареты (вечерами мама просматривала карманы), он направился к Вовке, чтобы взять пальто и пойти домой.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ БАЛАДАДАША

На Апшероне прямо на берегу моря стояло селение. Над этим селением сияло солнце и так палило, так жгло, что все попрятались по домам.

Разумеется, кроме одноэтажных и двухэтажных домов, а также дворов, огороженных деревянным частоколом или каменным забором, кроме почерневших гроздьев винограда, красных плодов граната, инжирных, тутовых деревьев, кроме палящего солнца, было еще море, и теперь мелкие волны его мягко накатывались на прибрежный песок.

В селе и в самом деле вроде никого не было, кроме Балададаша; Балададаш сидел под тутовым деревом у обочины межколхозного шоссе и как будто внимания не обращал на страшную полуденную жару; небольшая тень от дерева когда еще передвинулась с того места, где он сидел, но Балададаш не пересаживался, так и дремал на солнцепеке, так и сидел в своей трикотажной полосатой рубашке, в мятых парусиновых штанах и в сандалиях на босу ногу. Еще обязательно надо сказать, что на голове у него красовалась огромная кепка, и время от времени капли пота скатывались из-под этой кепки по худому лицу Балададаша.

Проехала, погромыхивая, грузовая машина с полными пивными бочками, и Балададаш открыл глаза, покрасневшие от бессонной ночи, проведенной в борьбе с комарами, посмотрел вслед машине, потом, прищурившись, глянул на солнце, на убежавшую от него тень ту-

тового дерева, но и тут не двинулся с места. Зевнул только.

Из-за каменного забора показалась голова мальчика. Увидев Балададаша, мальчик исчез, но в ту же минуту открылась маленькая калитка в голубых дворовых воротах, и мальчик направился к Балададашу; в одной руке у него был бутерброд, в другой — деревяшка; он подошел к Балададашу, остановился, откусил от бутерброда и протянул деревяшку:

— Обстругай мне палку, да!..

Балададаш промолчал. Мальчик откусил еще кусок и произнес невнятно:

— Ну, обстругай, да!..

Снова ни звука в ответ. Продолжая жевать, мальчик опять попросил:

— Ладно, да...

Балададаш, прищурившись, поглядел на мальчика, будто видел его впервые, и сказал:

— Отстань от меня!

Мальчик наконец прожевал кусок и заговорил быстро:

— Когда Ахмедагу забирали в армию, ты разве не сказал, что будешь вместо него палки для лапты строгать?

Балададаш промолчал.

— Вчера от Ахмедаги пришло письмо,— продолжал мальчик,— спрашивает: «А Балададаш строгает тебе палочки?» И еще пишет: «Передай от меня пламенный привет Балададашу». Клянусь! Пламенный привет!

Опять Балададаш ничего не ответил. Он сунул руку в карман, достал пачку «Авроры», вытащил сигарету и заложил ее за ухо, пачку снова сунул в карман и уже теперь полез другой рукой в другой карман, достал оттуда складной нож, раскрыл, проверил на ногте остроту лезвия и сказал:

— Давай сюда.

Мальчик поспешно протянул ему деревяшку. Балададаш взял ее, оглядел со всех сторон и начал строгать.

Снова открылась калитка ворот напротив, вышла женщина и позвала мальчика, стоявшего рядом с Балададашем:

— Аганаджаф, ай, Аганаджаф!

Аганаджаф обернулся к матери:

— Чего?

— Пойди посиди с детьми, я иду на базар.

Аганаджаф посмотрел на мать, потом на Балададаша и, сунув в рот последний кусок бутерброда, сказал:

— Как кончишь, позови, я приду возьму, да?

Балададаш продолжал работу, как будто и не слышал ничего.

Аганаджаф побежал во двор. Женщина, проходя мимо Балададаша, замедлила шаги.

— Как дела, Балададаш, как мама?

— Хорошо,— ответил Балададаш, не поднимая головы.

— Когда тебе в армию?

— Осенью.

— Дай бог! Ахмедага там на курсы поступил.

Балададаш поднял голову и посмотрел на женщину.

— И я поступлю.

— Дай бог!

Женщина пошла дальше, а Балададаш занялся деревяшкой и вдруг закричал ей вслед:

— Передайте Ахмедаге мой привет, пламенный. Напишите: «Желает тебе Балададаш здоровья!»

Женщина, улыбаясь, покачала головой.

— Спасибо, напишем, большое спасибо,— сказала она и исчезла за углом.

И снова было палящее солнце над безлюдным селением, и был еще Балададаш, сидящий под тутовым деревом и сосредоточенно строгавший деревяшку.

И еще было море, не так уж далеко оно сливалось с небом.

Небо чистое-чистое, море спокойное, тихое, поэтому и казалось, будто не было никогда в мире ни дождя, ни бури, ни урагана, ни вообще ничего такого.

Сначала послышался звук мотора, потом показался грузовик, проехал мимо Балададаша и затормозил шагах в двадцати.

В кузове машины было полно матрасов, одеял, деревянные табуретки, большой платяной шкаф, стол, в общем, было ясно, что кто-то переезжает.

Водитель выключил мотор, спрыгнул на землю, огляделся по сторонам и сказал:

— Да, это здесь.

Полная женщина с трудом вылезла из кабины и долго смотрела на море.

— Дай бог Мураду здоровья,— промолвила она.— В чудном месте снял он дачу.

Водитель достал из кармана ключ, отомкнул висящий на воротах большой замок и заглянул во двор. Инжирные, айвовые и гранатовые деревья затеняли маленький уютный дворик. Позади одноэтажного дома был виноградник, и рядом с ним — деревянный навес, и сейчас в тени этого навеса распевало пять-шесть скворцов.

Полная женщина некоторое время стояла в дверях.

— Севиль, милая, а ведь здесь чудесно! — Женщина оглянулась и немного растерянно посмотрела на шофера.

Шофер поискал вокруг глазами и сказал:

— Ничего не понимаю...

Между тем женщина обошла машину.

— Севиль! Где ты, Севиль?

— Сева-ханум! — крикнул шофер, поднялся на цыпочки и заглянул в кузов.

Балададаш, давно уже усердно стругавший деревяшку под тутовым деревом, поднял голову, глянул в сторону грузовика и снова склонился над своей работой.

Полная женщина, задыхаясь, подбежала к шоферу:

— А вдруг ребенок выпал из машины по дороге, а?

Шофер заметался, заглянул в кузов, а женщина уже кричала с надрывом:

— Севиль! Севиль!

Вдруг раздался девичий голосок:

— Что, мамочка?

Полная женщина выпучила глаза на водителя. Тот пожал плечами и на этот раз, нагнувшись, заглянул под машину.

Женщина снова крикнула:

— Севиль!

И тут с шумом распахнулась дверца большого платяного шкафа в кузове машины, и показалась стройненькая улыбающаяся девушка в белом платье, совсем незагорелая, с каштановыми волосами.

Полная женщина прижала руки к груди.

— Все твои шуточки... Сердце чуть не разорвалось,— сказала она и улыбнулась.

А шофер будто только сейчас понял, что стоит под палящим солнцем, достал из кармана большой платок и вытер пот с лица.

Севиль, словно пинг-понговый шарик, перелетела через борт машины, и не сводивший с нее глаз Балададаш

сразу почувствовал, что его бросило в жар. Он поднялся с места и теперь уже пересел в тень.

Севиль заглянула во двор и захлопала в ладоши:

— Ой! Какая красота! Просто прелесть!..

Полная женщина еще раз оглядела уютный дворик, где им предстояло провести лето, и еще раз улыбнулась — она была рада и за себя и за дочку.

— Ладно, давай разберем вещи, надо устраиваться.

Водитель опустил борт машины и принялся перетаскивать вещи в дом. Севиль и ее мать переносили сумки, всякую мелочь. Иногда полная женщина сердито посматривала на Балададаша, сидевшего как ни в чем не бывало под тутовым деревом. Мол, не видишь, люди приехали, вместо того чтобы помочь, отдыхаешь в тени.

Балададаш чувствовал на себе недовольные взгляды полной женщины и шофера, который работал в прилипшей к телу белой рубашке, но Балададаш был Балададашем, он никому, даже отцу своему, не позволял собой распоряжаться, предпочитал делать то, что считал нужным.

Полная женщина запыхалась, хотя ей, наверно, не так уж и вредна была эта физическая нагрузка. А Севиль щебеча, как птичка, подбегала, хватала книжку или маленький узелок, относила в дом и снова возвращалась.

Наконец шофер начал двигать в кузове старый платяной шкаф. Тут полная женщина не выдержала и сказала Балададашу:

— Эй, парень, помоги немного, не видишь, мы из сил выбиваемся?

Балададаш поднял голову, посмотрел на полную женщину и спросил:

— Это вы мне?

— Да... А кому же?

Балададаш смерил ее взглядом и произнес:

— Привезли бы с собой еще и носильщика.

Полная женщина открыла рот, шофер гневно обернулся к Балададашу, хотел что-то сказать, но в это время стоявшая в дверях Севиль прыснула, глядя на Балададаша, и шофер промолчал.

Балададаш внимательно посмотрел на Севиль из-под огромного козырька своей огромной кепки, потом, опустив на землю деревяшку, встал, сложил ножик и, отря-

хивая сзади парусиновые штаны, медленно направился к машине.

Севиль с веселым недоумением посмотрела на кепку, украшавшую голову Балададаша в такую жару, на сигарету за ухом и снова прыснула.

Балададаш искоса глянул на девушку и, не обращая больше на нее внимания, встал спиной к машине и поднял руки.

Водитель сначала колебался, потому что шкаф был очень большой, а парень на вид не очень сильный, но уверенность Балададаша передавалась и ему, и он, кряхтя, взгромоздил шкаф Балададашу на спину.

Поддерживая шкаф руками, Балададаш устоял, однако в глазах у него потемнело, а в голове пронеслась мысль, что, если он сейчас же не выскочит из-под этого груза, не видать ему ни армии, ни курсов, куда поступил Ахмедага.

Шкаф съехал со спины Балададаша и с грохотом ударился об асфальтовый тротуар.

Увидев, что Балададаш цел и невредим, Севиль громко расхохоталась, и ее смех будто пробудил ото сна полную женщину:

— Вахсей-ей!..

Балададаш посмотрел сначала на опрокинувшийся шкаф, на расколовшуюся дверцу, потом на Севиль и промолвил:

— Ничего, починим.

— Что починим,— тихо сказала мать Севиль,— что починим? Ты только посмотри, что ты натворил!

Севиль снова расхохоталась.

Шофер остолбенело глядел сверху на Балададаша, губы его беззвучно шевелились.

А Балададаш отвел глаза от шкафа, снова посмотрел на Севиль и вдруг понял, что эта девушка, которую он впервые увидел всего полчаса назад, очень родной и близкий ему человек; это чувство пронзило его всего, и ему вдруг показалось, что он в море, что его обнимают ласковые морские волны, а найти второго такого человека, который, как Балададаш, чувствовал, ощущал, любил бы море, было довольно трудно.

Так началась первая любовь Балададаша, и первый день этой любви завершился историей со шкафом. Балададаш сначала отряхнул сзади свои парусиновые брюки, потом как ни в чем не бывало повернулся и уда-

лился так медленно и беспечно, как умел ходить один только Балададаш.

В этот час, кроме рыб, в море плавал только Балададаш; рыб не было видно, а голова Балададаша чернела на поверхности воды, пропадала, появлялась; Балададаш плыл так бесшумно, что спокойствие моря оставалось спокойствием и безмолвие — безмолвием.

Балададаш перевернулся на спину и увидел голубое небо, вернее, голубые глаза белолицей девушки с каштановыми волосами. Звали ее Севиль.

Эта насмешливая девушка сидела сейчас под большим инжировым деревом в своем новом дворе, но она больше не смеялась. Пропустив пальцы обеих рук сквозь каштановые волосы на затылке, она устремила свои огромные глаза в небо; она смотрела в небо и читала стихи:

Как прощались, страстно клялись
В верности любви...
Вместе тайн приобщались,
Пели соловьи...
Взял гитару на прощанье
И из струн исторг
Все признанья, обещанья,
Всей души восторг...
Да, тоска заполонила,
Порвалась струна...
Не звала б, да не манила
Дальняя страна!
Вспоминай же, ради бога,
Вспоминай меня,
Как седой туман из лога
Встанет до плетня...

Потом она раскинула руки, потянулась и только тогда увидела Балададаша, который влез на забор. Она сначала немного смутилась, а потом спросила:

— Ты тоже любишь стихи?

— А почему бы и нет?

— Много знаешь наизусть?

Балададаш кивнул.

— Да ну? — Севиль вскочила с места. Она будто не поверила ему.— Почитай хоть что-нибудь.

— А что, здесь школа, что ли?..

Конечно, Балададаш знал кое-какие стихи, но Балададаш знал и то, что ни одно из этих стихотворений не-

достойно Севиль, ну то есть это не те стихи, которые можно прочитать ей сейчас, в эту минуту; Балададаш знал также, что с девушкой, которая просто так, глядя в чистое небо, читает стихи, надо разговаривать тонко, ласково и очень умно, но все дело в том, что он, Балададаш, тонко и ласково и еще к тому же очень умно разговаривать не умел.

В сущности, Балададаш осознал это только сейчас, только сейчас понял, что он, закончивший школу в свои восемнадцать лет, известный мастер по строганию палочек для лапты, не способен разговаривать с девушкой тонко и ласково, вкрапливая в беседу очень умные слова.

Да, конечно, Балададаш чувствовал, что девушка, находившаяся всего в десяти метрах от забора, на котором он сидит, на самом деле очень далека от его мира, но в самой глубине своей души Балададаш чувствовал также и то, что в один из дней на берегу моря, звездной летней ночью, к тому же прохладной ночью, это расстояние может сильно сократиться и даже вовсе исчезнуть, и эта красивая девушка может приласкать его, как это делают теплые морские волны, и поцеловать в губы.

И Балададаш явственно ощутил на губах этот поцелуй, вздрогнул и посмотрел на девушку виновато.

Понятно, что Севиль ничего не знала о мыслях Балададаша, она была совершенно не в курсе того, что несколько секунд назад целовала его худое, смуглое лицо. Севиль рассматривала огромную кепку на голове Балададаша, и Балададаш понял, как это плохо, что он сейчас не прочитал ей стихов.

На террасе мать Севиль готовила зеленую фасоль. Повернувшись к плите, чтобы зажечь газ, она увидела на заборе Балададаша.

— Эй, ты что там делаешь? — крикнула она.— Ты зачем туда забрался?!

Балададаш спрыгнул вниз, отряхнул свои парусиновые брюки и, загребая носками сандалий песок, побрел по улице между заборами.

Мать Севиль залила фасоль сырыми яйцами и, сильно уменьшив огонь, стала натирать на терке чеснок. Внезапно со скрипом открылись деревянные ворота, Балададаш пыхтя внес два полных ведра воды и поставил их посреди двора.

Мать Севиль удивленно смотрела на Балададаша,

Балададаш тоже смотрел на нее некоторое время, а потом сказал:

— Шолларская. Вот принес вам. Пользуйтесь.

— Иди, детка, иди,— сказала полная женщина.— Никто ничего у тебя не просит, иди, пожалуйста, по своим делам...

Балададаш, у которого из-под огромной теплой кепки катились по лицу струйки пота, повернулся и хотел было уйти со двора вместе с ведрами.

Его остановил голос матери Севиль:

— Это правда шолларская вода?

Балададаш замедлил шаги и, повернув голову, сказал:

— Клянусь кепкой, шолларская, не верите?

Мать Севиль будто не расслышала:

— Что?

Балададаш поставил ведра на землю, хлопнул рукой по огромному козырьку.

— Э-э, клянусь кепкой, шолларская вода, зачем не веришь?

Вдруг Севиль выглянула из комнаты во двор.

— Как, как? — спросила она.— Клянусь кепкой?..— и залилась, захохотала.

Балададаш не понял, над чем Севиль смеется сейчас; вообще-то ему нравилось, как она смеялась — но при чем тут кепка? — нет, не мог он на нее сердиться.

— Ну хорошо, раз принес, давай сюда, но больше не утруждай себя, пожалуйста,— сказала полная женщина.

Балададаш втащил ведра на веранду и вылил воду в большой жестяной бак. В это время у ворот остановился красный «Москвич», просигналил. Мать Севиль засуетилась.

— Мурад приехал! Сева, Мурад приехал!

Севиль выскочила из комнаты. Мать, забыв про Балададаша, тоже спустилась во двор, вытирая мокрые руки полотенцем.

Мурад оказался высоким человеком лет тридцати, с красивым приветливым лицом. Когда он вылез из машины и пошел по двору, излучая спокойную силу и уверенность, все вокруг как бы изменилось. Непонятно почему.

— Ну, что? — спросил Мурад.— Как вы тут разместились?

— Отлично,— сказала Севиль и повисла у Мурада

на руке; если бы матери не было рядом, она бы повисла у него на шее.

И мать Севиль это почувствовала и промолвила растерянно:

— Очень хорошо здесь... Просто чудесно...

Мурад огляделся по сторонам и, было заметно, остался доволен всем окружающим.

— В городе такая жара,— сообщил он,— дышать невозможно.

Севиль заглянула ему в глаза.

— Ты не устал? — сказала она, сказала так, что мать снова как будто растерялась; девушка откровенно вешалась Мураду на шею.

В этот момент никто и не думал, есть на свете человек по имени Балададаш или нет, но, когда этот всеми забытый Балададаш с пустыми ведрами в руках хотел пройти мимо, Мурад спросил:

— А это кто такой?

Севиль посмотрела на Балададаша — у него из-под кепки стекали по лицу струйки пота — и рассмеялась.

— Он принес нам два ведра шолларской воды,— объяснила мать Севиль.

А Севиль все смеялась. Балададаш остановился и посмотрел на Севиль. Балададашу было все равно, что рядом с этой девушкой стоит мужчина, лицо которого нисколько не портили черные усы, и у этого мужчины есть новенький красный «Москвич», и ему может не понравиться, что Балададаш уставился на его девушку; Балададашу просто хотелось смотреть в эти внезапно ставшие такими близкими голубые глаза, смотреть на эти каштановые волосы, белое лицо. И он смотрел.

Мурад вытащил из кармана металлический рубль и протянул Балададашу:

— Держи.

Балададаш отвел глаза от каштановых волос, голубых глаз, белого лица и посмотрел на этот рубль.

В другое время, конечно, Балададаш выругался бы или запустил этой монетой в небо, в общем, сделал бы что-нибудь такое... Но дело-то было в том, что в этот момент Балададаш совсем растерялся, потому что в эту минуту рядом с ним стояла красивая девушка, которая умела, глядя в чистое небо, читать прекрасные стихи, и теперь эта девушка смотрела на металлический рубль.

Мать Севиль сказала:

— Он просто так принес, знаешь, Мурад, бесплатно.

Мурад улыбнулся.

— Ничего, пусть пойдет выпьет пива, прохладится.

Балададаш молча вышел со двора с пустыми ведрами в руках.

Сзади послышался голос Мурада:

— Не мало?

А потом эта самая голубоглазая, белолицая, с каштановыми волосами девушка снова громко рассмеялась.

Было две луны: одна в небе, а другая в море, а та луна, что была в море, плясала на мелких волнах. Балададаш сидел на берегу.

На всем берегу не было никого, кроме Балададаша, который давно уже глаз не отрывал от луны в море.

Наконец Балададаш поднялся на ноги, отряхнул свои парусиновые брюки и медленно мимо скал пошел от берега к селению.

Из дома Аганаджафа слышалась громкая музыка: Гадир Рустамов пел «Сона бюльбюль», и Балададаш под эту музыку влез на каменный забор, окружающий двор Севиль, и из темноты стал смотреть на освещенную веранду.

Севиль, ее мать и Мурад сидели за хантахтой на веранде и пили чай.

— Ради бога, веди машину осторожно,— говорила мать Севиль.— Мое сердце будет рядом с тобой. И телефона тут нет, чтобы ты позвонил, когда доберешься до города.

Мурад улыбнулся:

— Да я и так осторожно езжу. Не беспокойтесь.

— А ты оставайся здесь,— сказала Севиль.

— Неудобно,— после паузы ответил Мурад.

— Скорее бы сыграть вашу свадьбу,— вздохнула мать.

Балададаш спрыгнул с забора и безмолвно, отряхнув парусиновые брюки, удалился от двора Севиль.

Снова был полдень, и снова было очень жарко. Только на берегу и в море народу было много — суббота.

Балададаш только что вышел из воды; длинные, чуть не до колен, черные трусы облепили его худые бедра.

Аганаджаф подошел к нему, ковыряя песок оструганной палочкой.

— А мы получили сегодня письмо от Ахмедаги. Он тебе привет передает. Говорит, пусть приезжает ко мне в Амурскую область. Говорит, тут на курсы поступит хорошие. А оттуда, говорит, очень даже можно в Военную академию попасть. А я сегодня же ответил ему, что Балададаш хорошо строгает мне палки. А мама написала, Балададаш шлет тебе пламенный привет.

— Тебе-то что? — вдруг заговорил Балададаш.— Тебе все равно!..— Потом растянулся на песке и, прищурившись, поглядел на солнце.

Мальчик никак не ждал от Балададаша таких слов и осторожно отвел от него глаза. Потом, показывая на красный «Москвич», едущий к берегу, сказал:

— Управляющий едет.

— Кто? — спросил Балададаш.

— Управляющий, да,— ответил Аганаджаф.

— Кто это — управляющий?

— А вон, в том красном «Москвиче».

Балададаш приподнялся на локте.

— У нас новая соседка,— продолжал мальчик.— А это ее жених. Они на лето сюда приехали, а осенью уедут. Ее мать говорит, это управляющий, да. Знаешь, сколько весит ее мать? Сама она такая красивая, а мать, наверно, сто кило весит.

Балададаш, приподнявшись на локте, смотрел на Севиль и Мурада.

Каштановые волосы Севиль рассыпались по белым плечам. Голые ноги Севиль, ее босые ступни легко касались песка. Здоровый, мускулистый Мурад бросился в воду, увлекая за собой Севиль, и они поплыли прочь от берега в открытое море.

Балададаш был в море, и в море, кроме Балададаша и Севиль, никого не было. Севиль лежала на воде на руках Балададаша. Балададаш смотрел на белое лицо Севиль, на распластавшиеся по поверхности воды каштановые пряди, на улыбающиеся и шепчущие стихи губы.

Это продолжалось долго, а потом Севиль протянула руку, и погладила его лицо, и приложила ладонь к его губам. Балададаш целовал эту ладонь, соленую от морской воды, целовал и смотрел вдаль.

Темно-голубая линия горизонта была границей этого морского счастья.

Балададаш наклонился к лежащей у него на руках Севиль и начал целовать ее каштановые пряди и море.

— Кизяк есть для сада, не хочешь?

Балададаш отвел глаза от моря и посмотрел на старика, сидящего в тележке, которую привез облезлый ишак.

— Кизяк, говорю, для сада не нужен?

Балададаш удивился, откуда вдруг возник этот старик, снова посмотрел на море, но там уже не было ни Севиль, ни ее каштановых волос. Он встал, отряхнул свои парусиновые брюки и, ничего не сказав старику, ждущему ответа, удалился в сторону селения от уже пустынного берега.

А тележка, скрипя колесами, продолжала путь по сумеречному берегу Апшерона.

Было уже совсем темно, когда Балададаш залез на каменный забор и увидел ярко освещенную веранду дома Севиль. Девушка сидела одна в соломенном кресле, в руках у нее была книга.

Внезапно Севиль отвела глаза от книги, пристально посмотрела в темноту, в ту сторону, где сидел на заборе Балададаш, и сказала:

— Ты опять залез на забор?

Сердце у Балададаша оборвалось и упало на землю — никогда прежде с Балададашем такого не случалось.

— Я же знаю, ты на заборе сидишь,— сказала Севиль.— И вчера там сидел. Думаешь, не знаю? Вот скажу Мураду, знаешь, что он с тобой сделает?

Балададаш молчал. Только лягушки квакали — к дождю, наверно. И еще кузнечики стрекотали — громко, на все селение. Из дома какая-то музыка слышалась — наверно, по телевизору кино показывали и мать смотрела.

А Севиль снова заговорила:

— Не понимаю, чего ты хочешь? Разве я тебе пара? Ты только посмотри в зеркало на свою кепку... Ой, не могу... С нее на Луну можно летать...— И Севиль захохотала.

Из комнаты выглянула мать:

— С кем это ты разговариваешь?

— Ни с кем. Сама с собой.— Севиль снова рассмеялась.— Нельзя, что ли?..

Балададаш понял, что пора спуститься на землю, и уходить отсюда, и больше никогда не забираться на этот забор. Балададаш хорошо понял все, но руки и ноги его словно отнялись, в том-то и дело, что они совсем перестали его слушаться...

Севиль больше не смеялась. Крикнула зло:

— Так и будешь там торчать? Хочешь, чтобы я из-за тебя сидела в комнате, в духоте?

Севиль встала, пошла в комнату и захлопнула за собой дверь.

Балададаш еще некоторое время слушал лягушек и кузнечиков, потом наконец слез с забора.

На этот раз он забыл отряхнуть сзади свои парусиновые штаны.

До селения было далеко, и Балададаш, засунув обе руки в карманы, шагал под палящим солнцем прямо по середине шоссе.

Сзади подъехал к нему красный «Москвич», остановился, и Мурад, выглянув из окошка, сказал:

— Садись, подвезу.

Балададаш посмотрел на красный «Москвич», потом на селение вдалеке, покопался в карманах, потом подошел к машине и сел рядом с Мурадом.

Красный «Москвич» продолжал путь.

Не отрывая взгляда от дороги, Мурад спросил:

— Учишься?

Балададаш уселся поудобнее, будто в том, что он ехал в легковой машине, не было ничего особенного, и ответил:

— Уже не учусь. Кончил школу.

— И не работаешь?

— Осенью в армию уезжаю. Вернусь, потом начну работать.

— В армию? — усмехнулся Мурад.— Сам, что ли, туда хочешь.

— Да, сам.— Балададаш так посмотрел на Мурада, что тому стало бы не по себе, не гляди он в этот момент на дорогу.

Мурад сказал:

— Тебе хорошо, парень холостой, можешь ехать хоть на край света. Гулять каждый день с новой девушкой.— Потом протянул руку, открыл ящичек в машине и достал маленькую коробочку.

В коробочке лежали золотые серьги.

Мурад продолжал:

— Мне бы твои заботы. Вот к свадьбе готовиться надо. Одних подарков сколько. А ведь еще...— Он не договорил, вытащил серьги, положил их в нагрудный кармашек рубашки и протянул Балададашу пустую коробочку.— Возьми на всякий случай, красивая коробочка. А то, когда преподносишь подарок в коробочке, думают, что ты хочешь похвастать, сколько денег потратил. Цена на коробке всегда указывается.

Балададаш молча взял коробочку, а потом произнес:

— Останови здесь, я выйду!

Красный «Москвич» остановился у въезда в селение, там, где начиналась песчаная тропка, ведущая к морю. Балададаш вышел из машины, сунул руку в карман, достал три двадцатикопеечные монеты и, бросив их по одной на сиденье, сказал:

— Это за то, что подвез. Большое спасибо,— захлопнул дверцу и, отряхивая сзади свои парусиновые штаны, зашагал к морю.

Мурад что-то кричал ему вслед, но Балададаш не оглянулся.

Он шел и шел по песчаной тропке, а потом бросил коробочку на песок и так поддал ее ногой, что коробочка взвилась на седьмое небо. Куда она упала — неизвестно.

На бегу срывая с себя кепку-аэродром, полосатую трикотажную рубашку, парусиновые брюки и сандалии, Балададаш помчался к морю, и вот он уже лег на воду, раскинулся на мелких волнах и посмотрел на небо: небо было голубым и огромным, и в эту минуту это огромное небо, как море, принадлежало ему одному.

Вот так и закончилась история с первой любовью Балададаша, и эту любовную историю он вспомнил только один раз — в поезде, который вез его в Амурскую область, вспомнил и ощутил на губах вкус мокрой каштановой пряди.

ШУШУ ТУМАН ОКУТАЛ

Шуша — 1800 Дилижан — 1258
Давос — 1560 Абастуман — 1200
Теберда — 1300 Кисловодск — 1000

Доска перед Шушинским санаторием — высота над уровнем моря горных курортов

Шушу туман окутал,
В сердце мое надежда пришла —
Все горести-беды
Из груди моей выгоняющая пришла.

Из «Душевной тетради» местного шушинского поэта Хусаметдина Аловлу[1]

Мелодия кеманчи, рожденная длинным смычком хромого Дадаша, звучала сегодня как-то особенно в прозрачном вечернем воздухе шушинского санатория; в этой мелодии было что-то от светлого журчания родников, от мягких прикосновений цветов и трав, отдаленного звона цикад; большая голова хромого Дадаша на длинной, как у жирафа, шее раскачивалась в такт движениям его руки, а в печальных черных глазах с длинными ресницами отражалось, как в зеркале, все то, о чем пела кеманча.

Мелодия кеманчи, разливавшаяся в этот августовский вечер по двору шушинского санатория, затронула и чувствительные струны сердца Хусаметдина Аловлу, и он впервые в своей жизни принялся сочинять стихи на русском языке, глядя при этом на голубоглазую Марусю Никифорову. Маруся смотрела куда-то мимо Хусаметдина Аловлу, а он задержал взгляд на ее плечах, покрытых белым шерстяным платком с вывязанными цветами, на ее полных, таких белых руках, которые она сложила на груди; он был поражен в самое сердце, так и родилось это четверостишие.

С последним звуком кеманчи хромого Дадаша Хусаметдин Аловлу, попросив слова у затейника Садыха-муаллима, ведущего культурно-массовую работу среди отдыхающих, вышел на середину площадки и, не сводя глаз с Маруси Никифоровой, прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

---

[1] Аловлу — огненный.

Но Марусины глаза были устремлены все так же не туда, куда бы хотелось Хусаметдину Аловлу. Слушая кеманчу хромого Дадаша, она думала о том, что ее младшая сестра Василиса, впервые в жизни поехавшая на тамбовский базар продать урожай с приусадебного участка, не сможет сделать все как следует: вдруг Василису обманут, обведут вокруг пальца или еще что случится, сама Маруся тоже первый раз в жизни рискнула отправиться в столь далекое путешествие, вот от всех этих мыслей и были так далеко голубые глаза Маруси Никифоровой.

Конечно, Хусаметдин Аловлу, выпускник финансового училища в Агдаме, а ныне счетовод шушинского колхоза «Халфали», отдыхающий этим августом в санатории и без памяти влюбившийся в эту чистенькую, аккуратную, беленькую, как хлопок, Марусю Никифорову, не мог угадать, о чем думает девушка, и вот, испытывая большое удовольствие от собственного творения, он еще раз прочитал:

Я тебя люблю,
Очень хорошо!
За тебя умру,
Очень хорошо!

— У этого болвана других слов будто и нет: «Очень хорошо, очень хорошо...» — передразнила сидевшая на балконе с вязаньем Гюлендам-нене; чтобы лучше увидеть, что происходит на танцплощадке, она приподняла рукой очки, потом, улыбнувшись Джаванширу, спросила: — А чего же ты, баласы [1], не идешь на танцы?

Хусаметдин Аловлу убрался наконец с середины танцплощадки, аккордеон Гюльмамеда заиграл свое знаменитое танго, и люди начали танцевать, постепенно заполняя площадку; отдыхавшие в санатории девушки танцевали друг с другом, местные парни, каждый вечер приходившие в санаторий, также образовывали пары, и вот тут-то, под множеством завистливых взглядов, Хусаметдин Аловлу приблизился к Марусе и, слегка поклонившись, пригласил ее на танец. Марусины голубые глаза наконец-то обратились на Хусаметдина Аловлу, и она приняла приглашение смуглого парня с черными усиками; он был чуть ниже ее ростом.

---

[1] Баласы — малыш, детка.

— Ой, не могу! — сказала Гюлендам-нене и, смеясь, покачала головой.— Комедия! — Она еще раз взглянула с балкона вниз и снова спросила у Джаваншира: — Что ж ты не идешь танцевать, э? Не дорос еще? — Гюлендам-нене любила иногда пошутить, поддеть внука: он же обычно не лез за словом в карман и отвечал ей тем же, но в этот августовский вечер в шушинском санатории Джаваншир почему-то разозлился на бабушку.

— Хватит! — сказал он.— Хватит уже...— Потом пошел в комнату и, как был, в брюках, сел на кровать, потом откинулся на подушку и заложил руки за голову. Все его такие прекрасные планы относительно лета полетели ко всем чертям; была бы его воля, Джаваншир не сидел бы сейчас с бабушкой в шушинском санатории и не пил бы простоквашу, а был бы в Москве с Акшином и Орханом; Акшина, правда, тоже не отпустили, а Орхан поехал и теперь со своим приятелем Фазилем разгуливает себе по улице Горького. Прошлым летом, закончив первый курс университета, он хотел поехать куда-нибудь один как взрослый, ему не разрешили, сказали — пока рано, в будущем году поедешь, в общем, прошел год, он перешел на третий курс, но когда, еще во время летней сессии, он снова завел речь об этом, отец с матерью опять стали его отговаривать, потом мать заплакала, отец разозлился, короче, его одного опять не пустили. И теперь, лежа на кровати в шушинском санатории и вспоминая все это, Джаваншир вдруг снова пережил тот вечер; он вспомнил, как заплакал во время разговора о поездке в Москву, когда отец и мать уперлись, как говорится, сунули ноги в один башмак и сказали «нет». Даже теперь он покраснел от стыда, снова представив себе, как он, уже третьекурсник, не сумев сдержаться, заплакал как маленький и, плача, кричал: «До каких пор я буду для вас ребенком? Что вы все меня за руку водите?» Что и говорить, хорошего мало во всей этой истории. Некоторое время после этого Джаваншир почти не разговаривал ни с отцом, ни с матерью, да и они, в свою очередь, глаза отводили, потом отец предложил: пусть Джаваншир один поедет в Шушу, в санаторий, у них на работе была путевка, а Джаваншир сначала сказал, что никуда он не поедет, что все лето пробудет на даче в Бузовнах, но, подумав день-другой, решил, что Шуша все же лучше, чем Бузовны, и согласился; после этого отец с матерью стали его упрашивать,

мол, возьми с собой и бабушку, пусть поедет отдохнет в Шуше старая женщина, устала тут всех обслуживать, ты уже, машаллах[1], взрослый мужчина, повези ее с собой в Шушу. «Возьми меня с собой, Джаваншир, родной, возьми меня в Шушу, повидаю те места, десять лет я там не была, кто знает, увижу ли еще раз Шушу, будет судьба или нет...» — говорила Гюлендам-нене, но Джаваншир хорошо понимал, что, по существу, не он везет бабушку, а бабушка везет его; бабушку специально приставляют к нему для безопасности, боятся его одного отпускать, как же, «он жизни еще не знает», не понимают еще того, что он уже познал жизнь с лица и с изнанки, ведь для того, чтобы познать жизнь, не обязательно прожить сто пятьдесят лет... Привести бы домой какую-нибудь из тех, что не промах-нахалка, и сказать: я ребенок, что же делать, но вот моя жена, прошу любить и жаловать...

Через три дня Джаванширу исполнялось девятнадцать лет.

В то время, когда Джаваншир вот так мстил своим домашним в своем воображении, раздался стук в дверь, вошла Дурдане и, увидев лежащего на кровати Джаваншира, постояла немного в растерянности, потом, запинаясь, проговорила:

— Бабушка прислала меня попросить у вас иголку с ниткой.

Дурдане тоже приехала в санаторий с бабушкой и теперь придумала маленькую хитрость: нашла какую-то оторвавшуюся пуговицу и, зная, что у бабушки иголок нет, забыла она их, сказала ей, что, наверное, у Гюлендам-нене есть, пойду, мол, попрошу...

Дурдане недавно исполнилось восемнадцать лет.

Джаваншир сел на кровати и позвал Гюлендам-нене с балкона:

— Бабушка!

Хусаметдин Аловлу, не удержавшись, снова вышел на середину танцплощадки и снова прочитал свое стихотворение.

— Валлах[2], этот парень, кажется, совсем спятил,— сказала Гюлендам-нене.— «Очень хорошо, очень хорошо»...— Потом обернулась, увидела Дурдане и, легко

---

[1] Машаллах — не сглазить.
[2] Валлах — ей-богу.

поднявшись, вошла в комнату: — Проходи, пожалуйста, дочка, добрый вечер, садись.

— Нет, большое спасибо,— сказала Дурдане.— Бабушка послала меня за иголкой с ниткой.

— Да? Сейчас...— Потом, пошарив взглядом по столу и тумбочке, Гюлендам-нене вдруг спросила: — Джаваншир, баласы, ты не брал нитки с иголками?

В то же мгновение лицо Джаваншира словно вспыхнуло:

— Иголки-нитки... я иголки-нитки беру в руки?

Дурдане, тоже покраснев, сказала:

— Если нет, ничего...

Гюлендам-нене взяла свою непонятно как уцелевшую со времен Ноя сумочку.

— Сейчас... сейчас,— долго рылась в ней и наконец достала иголку с ниткой и, протянув Дурдане, улыбнулась.— Возьми, милая, возьми... Этот наш Джаваншир ужасно злой!

Джаваншир хотел сказать бабушке: «Знай свое место, ей, арвад», но при Дурдане не сказал, еще и потому не сказал, что Дурдане, по-видимому, серьезно отнеслась к словам Гюлендам-нене; бросив на Джаваншира испуганный взгляд, она пробормотала:

— Извините...— и торопливо вышла из комнаты.

— А-а-а... Девочка не сказала даже, черная нитка нужна или белая...— Тут Гюлендам-нене встретилась глазами с Джаванширом: — Ну а ты что же нос повесил, мой маленький? Во дворе люди поют-пляшут, а ты сидишь тут, нахохлился...

Джаваншир смерил бабушку взглядом.

— Да что с тобой говорить, э?! — сказал он и поднялся с кровати.

Уже три дня, как они приехали в шушинский санаторий, и все эти три дня Джаваншир думал о своей неудавшейся жизни, думал о том, что никто его не понимает и вряд ли когда поймет, о том, что все в этом мире ему уже давно известно. В общем, грустные мысли одолевали Джаваншира; в такие минуты он часто незаметно для самого себя начинал придумывать другую, воображаемую жизнь: то он был прожигателем жизни и завсегдатаем ресторанов, и никто не знал, что этот кутила — человек, постигший мир; то он видел себя этаким демоном, одиноко и молча бродящим среди людей, а все люди, в том числе девушки и женщины, пытаются отгадать, ка-

кая тайна скрыта в его сердце, но никто никогда не сможет открыть эту тайну... Никто... Но все же иногда в видениях Джаваншира возникал образ одинокой прекрасной женщины, такой же мудрой, как Джаваншир, может быть, она даже немного старше его; Джаванширу казалось, что он видит ее высокую, стройную фигуру, тонкое лицо с мягкими, всепонимающими глазами; да, только такая женщина могла бы понять Джаваншира.

Кеманча хромого Дадаша опять заливалась, на этот раз было очевидно, что она говорила о любви, о тайне ее возникновения, о мучительной тоске и радости, и снова голова хромого Дадаша сопровождала движения смычка, наклоняясь то влево, то вправо, а его большие черные глаза смотрели прямо перед собой, как будто видели все, о чем пела кеманча. Люди на танцплощадке слушали кеманчу хромого Дадаша, здесь был и Хусаметдин Аловлу, и на этот раз голубые глаза Маруси Никифоровой смотрели на Хусаметдина Аловлу с симпатией и еще с каким-то другим, странным и довольно сильным чувством, которое пока еще самой Марусе испытывать не доводилось, но которое было так совместимо с прекрасными горами и чистым, прозрачным воздухом Шуши, и пока кеманча пела о любви, выражение глаз Маруси Никифоровой становилось все более определенным.

Джаваншир хмурый вышел из подъезда своего корпуса; он все еще сердился на бабушку. Прошелся по тутовой аллее, немного остыл и вдруг подумал, что вот ведь странное дело: порой при бабушке — не при отце, не при матери, не при других пожилых людях — он никогда, надо сказать, очень редко, действительно чувствовал себя ребенком, верил ее лукавым глазам: эй, ты, кого ты обманываешь? Не задавайся, не строй из себя взрослого, ты еще жизни не отведал, это еще все впереди, мой маленький.

Выходя во двор, он краешком глаза заметил, что Дурдане стоит на своем балконе и вроде бы смотрит, что делается на танцплощадке. Зная, что не этим заняты ее глаза и мысли, что именно для того, чтобы увидеть его, Джаваншира, она и торчит на балконе, Джаваншир упорно делал вид, что это ему безразлично, и попросту не замечал Дурдане, даже не здоровался; вот уж кто и в самом деле ребенок, так это, конечно, Дурдане.

Она училась в университете на курс младше Джаван-

шира и в прошлом году, когда только начались занятия, вдруг подошла к Джаванширу в университетском коридоре.

— Вас Джаваншир зовут? — спросила она.

Джаваншир ответил:

— Да, Джаваншир,— а про себя удивился, откуда его знает эта невысокая темноглазая черноволосая девушка; потом, через несколько дней, Джаваншир наконец вспомнил, что три года назад, летом, был он в Кисловодске вместе с родителями, и жили они на одной улице с этой девочкой, ну, эта девочка вроде повзрослела, но, кажется, не слишком...

Этот разговор, если его можно так назвать, и был единственным за все время их знакомства; сначала Дурдане здоровалась с Джаванширом, и Джаваншир небрежным кивком ей отвечал; потом она, наверное, обиделась, перестала здороваться, но каждый раз при встрече с Джаванширом мягкие темные глаза ее оживали и как бы ждали продолжения того единственного разговора, но Джаваншир проходил мимо.

Вчера во время завтрака Гюлендам-нене спросила у Джаваншира:

— Что это за девушка смотрит на нас?

Джаваншир поднял голову и увидел, что через столик от них сидит Дурдане рядом с пожилой женщиной; наверно, она только что приехала, подумал Джаваншир и невольно поздоровался с Дурдане, и похоже было, что это приветствие Джаваншира сделало Дурдане счастливой, так засияли вдруг ее глаза, сразу и лицо похорошело. Пожилая женщина рядом с Дурдане посмотрела сначала на девушку с некоторым удивлением, потом перевела глаза на Джаваншира и тоже поздоровалась с ним и с Гюлендам-нене.

— Кто же эта девушка, а, баласы? — спросила тогда Гюлендам-нене.

Джаваншир привычно поморщился, буркнул:

— Кто ее знает? — и склонился над тарелкой с вермишелью.

А Гюлендам-нене сказала на этот раз не шутя:

— Ну, конечно, откуда тебе их знать? Дома тоже сидеть невозможно из-за этих паршивок.

В Баку действительно девушки часто звонили и просили к телефону Джаваншира, а он и правда не знал ни одну из них, то есть, может, и узнал бы в лицо, если б

увидел; наверно, это были девушки из университета или десятиклассницы, живущие по соседству; Джаваншир не знал, какая из девушек звонит ему, а они со смехом говорили, что хотели бы с ним познакомиться, что он симпатичный парень, но слишком уж серьезный; Джаваншир с ними не разговаривал, просто вешал трубку, эти девушки не могли его интересовать. Джаваншир снова поднял глаза на Дурдане, и ему почему-то показалось, что слово «паршивки» к этой девушке не подходит, и, что было самое странное, Гюлендам-нене, как будто прочитав его мысли, произнесла:

— Об этой девушке я не говорю...

В полдень Гюлендам-нене сообщила Джаванширу, что эту девушку зовут Дурдане, она тоже с бабушкой приехала в шушинский санаторий, отца в отпуск не пустили, мать осталась с отцом в Баку, а у бабушки Дурдане мужское имя — Бахлул. Бахлул-арвад.

Аккордеон Гюльмамеда снова заиграл свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу снова пригласил на танец Марусю Никифорову, и снова стали танцевать друг с другом девушки, приехавшие в санаторий, и друг с другом — местные парни.

Скоро этот обыкновенный, а для кого и особенный вечер в шушинском санатории подойдет к своему концу: поднимется в санаторий из шушинского дома отдыха малый оркестр Муслима-кларнетиста в составе его самого, зурначи Анушевана да Мелике, играющего на нагаре[1], и начнется последний танец под мелодию Гусейна из иранского фильма «Европейская невеста»; как всегда не удержавшись, выйдет на середину площадки местная знаменитость — Мать-героиня, толстая сверх всякой меры Сафура-арвад, отдыхающая в санатории, и этим завершится рабочий день массовика Садыха-муаллима.

Диетолог Искандер Абышов все еще в белом халате подошел к танцплощадке и очень серьезно взирал на Садыха-муаллима, стоящего в центре и, ввиду опоздания кларнетиста Муслима, развлекавшего публику фокусами: помахав целой газетой, он затем разорвал ее на куски, собрал обрывки в горсти, достал из рукава другую газету, а обрывки первой должен был под прикрытием новой газеты незаметно спрятать в карман; этот фокус он показывал часто и, как всегда, один-два обрывка

[1] Нагара — ударный инструмент.

разорванной газеты не попали в карман, а упали на землю, и Садых-муаллим переминался с ноги на ногу, пытаясь наступить на них так, чтобы никто не заметил.

Диетолог Искандер Абышов не раз видел этот фокус, но каждый раз искренне удивлялся.

— Молодец, Садых-муаллим! — сказал он и взглянул на Джаваншира, стоявшего рядом.

Искандер Абышов уже год работал в шушинском санатории после окончания медицинского техникума в Баку и за этот год снискал небывалое уважение; не только медицинские сестры, фельдшеры, все — от шеф-повара Кязима-киши до официантки Парандзем — обращались к Искандеру Абышову не иначе как «доктор». Среднего роста, с аккуратно зачесанными назад курчавыми волосами и двумя родинками на щеке, он всегда был в накрахмаленном белоснежном халате и белой рубашке с черным галстуком, заколотым булавкой с маленьким стеклышком. Регулярно перед завтраком, обедом и ужином он устраивал проверку на кухне, пробовал все блюда и частенько бывал недоволен: морковь перепарена, гуляш недодержан, чем приводил в трепет Кязима-киши. В столовой, прохаживаясь между столиками, он смотрел на лица отдыхающих, определяя, нравится ли им еда, некоторым давал советы. «Тыква — лекарство против воспаления желчного пузыря; ешьте больше моркови, в ней много витамина А, чрезвычайно полезен чай из шиповника, это сплошной витамин С», — говорил он. «Витамины не менее нужны человеку, чем свежий воздух» — это было его любимым высказыванием, и Гюлендам-нене говорила про Искандера Абышова: «Парень-витамин», и еще она говорила, что этот «парень-витамин» похож на парикмахера в белом халате, но это было мнение только Гюлендам-нене.

Но вот и Муслим со своим оркестром спешит — почти вбежал во двор санатория. Музыканты достали инструменты, расположились в центре площадки, и кларнет Муслима, поднявшись до самой высокой ноты и затем опустившись до самой низкой, повел за собой мелодию, окрыляемую зурной и нагарой Мелика, и Сафура-арвад со всеми своими орденами и медалями, снова не удержавшись, вышла на середину и с удовольствием начала танцевать.

Солнце уже село, быстро стало темнеть, появлялись звезды; и тоже, как звезды, загорелись огоньки машин

на далеких поворотах дороги Моллы Насреддина, видимой в такие ясные вечера из санатория; в хорошую погоду Шуша со всех сторон бывала окружена звездами, звездами в небе и огнями внизу — в селах Мухетер, Шише, Кешиш, в далеком Степанакерте; в теплые ясные вечера как бы исчезало расстояние между небом и горами, между человеком и небом.

Джаваншир вынул из кармана сигарету, закурил, а потом вдруг обратился ко все еще стоявшему рядом с ним Искандеру Абышову:

— Пойдем с тобой куда-нибудь, выпьем вина.

— Вина? — Искандер Абышов искренне удивился.

— Ну да. А что тут такого? Выпьем немного сухого вина.— И Джаваншир взял Искандера Абышова под руку.— Пошли...

Предложение Джаваншира было настолько неожиданным, что диетолог даже не мог решить сразу — принять его или нет, потом, подумав, сказал:

— Ну ладно, стакан сухого вина можно. Даже профессор Герасимов рекомендует выпивать стакан сухого вина на ночь. Профессор Герасимов говорит, что...

— Правильно говорит профессор Герасимов. Пошли.

— Я пойду сниму халат.

Тут только Джаваншир заметил этот халат на Искандере Абышове и сказал:

— Жду.

Когда Сафура-арвад наконец устала танцевать, Муслим торопливо разобрал кларнет, сунул его в футляр,— сегодня вечером у базаркома Фати было обрезание сына, и Муслим со своими музыкантами торопился теперь к базаркому, который устраивал по этому поводу праздник, Садых-муаллим пожелал всем спокойной ночи, затем повторил это еще раз, уже по-русски, и люди постепенно по двое, по трое начали расходиться: сегодня киномеханик Ахверди должен был показывать индийский фильм «Бобби»; кто вышел в город, кто отправился в Эримгельды, кто в сторону Джедырской равнины.

Хусаметдин Аловлу подошел к Марусе Никифоровой, рядом с которой стояла ее подруга Людмила, и пригласил девушек в театр. Людмила многозначительно посмотрела на Марусю, а Маруся слегка покраснела, потом улыбнулась, и приглашение Хусаметдина Аловлу было принято.

Ожидая Искандера Абышова, Джаваншир с удивле-

нием размышлял о своем внезапном желании выпить: ведь он очень плохо воспринимал спиртное; что тут поделаешь — тошнило его; наверно, дело было в том, что эти темные кусты и деревья с электрической подсветкой, эти как будто ненастоящие звезды, этот стрекот кузнечиков в наступившей тишине стали раздражать Джаваншира; ему показалось, что Шуша — это не та Шуша, та Шуша осталась далеко-далеко, там, в детстве, когда Джаваншир двенадцатилетним мальчиком собирал здесь, на месте этого санатория, ежевику, играл в футбол с местными ребятами, ходил с ними за малиной, чуть не до самого Исабулага, на спор залезал в темный страшный подвал сгоревшей мечети,— теперь была совсем другая Шуша, а та, что была раньше, пропала, исчезла, давным-давно исчезла и больше никогда не вернется...

Искандер Абышов сказал:

— Я готов.— И Джаваншир, еще не вполне очнувшийся от своих воспоминаний, даже не узнал его, да и в самом деле Искандер Абышов в костюме без халата был как будто и не Искандер Абышов, а совсем другой человек.

Когда они выходили со двора шушинского санатория, Искандер Абышов сказал:

— Ты только посмотри, как она на тебя уставилась...

— Кто?

— Вон та девушка,— Искандер Абышов кивком головы показал на балкон, где стояла Дурдане.

«Вот как,— подумал про себя Джаваншир,— оказывается, этот парень интересуется не только калориями и витаминами», и вдруг, сам не понимая, как это получилось, Джаваншир снисходительно так усмехнулся: мол, кто я и кто эта девушка? Нашел, с кем меня равнять... И что удивительно — Искандер Абышов понял эту усмешку Джаваншира в том же смысле; спускаясь по дорожке, ведущей из санатория в город, он сказал:

— Конечно, у тебя небось тысяча таких есть...

— Ты не представляешь, как они мне надоели...— Джаваншир произнес эти слова и задумался. Что его дернуло за язык, зачем он играет в эту игру с Искандером Абышовым, да пусть даже и не с Искандером Абышовым?

Заведующий шашлычной Абульфат, одновременно повар, буфетчик и официант, весивший сто двадцать восемь килограммов, принес два шампура с шашлыком из мо-

лочного барашка, зелень, овечий сыр, армянские маринованные овощи и две бутылки вина. Искандер Абышов произнес:

— Две бутылки много.

— Почему много? — спросил Джаваншир и, перевернув поставленные перед ними донышком стаканы из толстого стекла, наполнил их вином.— Твое здоровье,— сказал он и одним духом опорожнил свой стакан.

Искандер Абышов даже побледнел, удивляясь на такую удаль: он хотел и свой стакан так же точно опрокинуть, но поперхнулся и сумел выпить только половину.

Выпитое вино немедленно подействовало на Искандера Абышова, он порозовел и так разговорился, как будто до этого всю жизнь молчал. Сказал, что хотел бы жениться, да нет подходящей девушки, как нет и квартиры; в горсовете обещали в этом году дать, но в старом доме он не хочет, хочет в новом доме и чтобы были все удобства; как получит квартиру, так и маму сюда поселит, переведет из Сабирабада, а потом и женится, но вот беда, ни одна девушка не приглянулась; в прошлом месяце он получил любовную записку без подписи, долго гадал, от кого бы это, думал, вдруг это от библиотекарши санатория Наргиз, но если это Наргиз написала, то очень жаль, потому что какая-то она странная, эта Наргиз, вертится все время под носом у Искандера Абышова, к чему бы это, а любить ее Искандер Абышов пока никак не может; впрочем, аллах ведает, может, и полюбит когда-нибудь Наргиз, но одно знает точно Искандер Абышов, что девушка эта будет местная, шушинская, потому что шушинские девушки славятся своим здоровьем, но нет пока еще никого на примете, и вообще Искандер Абышов просто не представляет себе, как бы он подошел к какой-нибудь девушке и познакомился с ней, то есть теоретически он, конечно, допускает такую возможность, только вот... Искандер Абышов говорил и говорил без умолку; Джаваншир как будто уже перестал его слушать, сам Джаваншир не произнес ни слова, только иной раз кивал головой да легонько так усмехался, давая понять, что все эти переживания Искандера Абышова ничто по сравнению с его, Джаваншира, жизненным опытом, при этом Джаваншир прекрасно понимал, что поступает нехорошо... Но вот ведь что: если бы Искандер Абышов не увидел в глазах Джаваншира этого превосходства, которое он считал совершенно естественным, он не был

бы таким откровенным, именно из-за этой всепонимающей усмешки Джаваншира Искандера Абышова и прорвало...

Между тем Абульфат, двигающийся между столиками с легкостью, неожиданной для его ста двадцати восьми килограммов, подвижный, как ртуть, Абульфат, бегающий к буфету, наливающий водку, нарезающий зелень, колдующий над мангалом, этот Абульфат возник вдруг перед столиком, где сидели Искандер Абышов с Джаванширом, и, обращаясь к Джаванширу, спросил:

— Еще по шампуру на брата, свет моих очей?

Джаваншир посмотрел на Искандера Абышова, и тот сказал:

— Больше не могу. Все!

Джаваншир снова улыбнулся так понимающе, снисходительно и опять поймал себя на том, что поступает нехорошо... Взяв у Джаваншира деньги за два шампура шашлыка, две бутылки вина, зелень, сыр, маринованные овощи, Абульфат, не считая, сунул бумажки в карман и сказал:

— Дай аллах достаток! — потом прямо тут же забрал со стола вторую запечатанную бутылку вина, отнес ее в буфет.

Джаваншир с Искандером Абышовым вышли в парк, и Искандер Абышов, не в силах остановиться, все говорил и говорил о своих планах на будущее, говорил о дружбе, о любви, о том, что нет у него настоящего друга, да и товарищей нет, что дни проходят тоскливо, неинтересно, один день похож на другой, а Джаваншир то ли от выпитого вина, то ли еще от чего настолько вошел в свою роль, что и впрямь стал ощущать свое превосходство перед Искандером Абышовым: вот он, Джаваншир, гуляет сейчас в шушинском парке, дышит чистым шушинским воздухом, отдыхает от городской жизни и от всяких похождений, главным образом любовных...

В парке было темновато, безлюдно, в лунном свете чернели стволы деревьев, и только возле здания театра в верхней части парка горели огни. Агдамский театр, прибывший в Шушу на гастроли, сегодня показывал премьеру любовной драмы одного из агдамских драматургов «Когда танцуют втроем».

В это время Хусаметдин Аловлу, Маруся Никифорова и ее подруга Людмила сидели в зале и смотрели на сцену. Хусаметдин Аловлу, правда, часто переводил взгляд

со сцены на Марусю, сидевшую рядом, он не смел даже прикоснуться плечом или нечаянно задеть локтем девушку; только время от времени он угощал Марусю и Людмилу ирисками, купленными в театральном буфете (этот буфет был филиалом шашлычной Абульфата), и тихонько переводил на русский язык речи героев. Когда же актер, изображая драму несчастной любви, заметался по сцене, Маруся Никифорова не смогла удержаться от слез и достала платочек.

И как раз в этот момент Искандер Абышов сказал Джаванширу:

— Ты только посмотри! Вах!

Шагах в десяти на пересечении аллей показалась высокая стройная женщина в темном костюме и шляпе с широкими полями. Походка ее была до того легкой и мягкой и в то же время неспешной, что Джаваншир сразу нашел бездну вкуса и соразмерности в каждом ее движении. Несмотря на некоторую воздушность, все у этой женщины было на месте, и она проплывала мимо них в лунном свете, делая, как показалось Джаванширу, великое одолжение шушинскому парку и вообще всей Шуше; она как бы бросала вызов дикой, неупорядоченной красоте этих мест.

— Бывают же такие женщины, о аллах! — тихонько сказал Искандер Абышов, сказал и посмотрел на Джаваншира, странно так посмотрел, будто побуждая его, такого опытного человека, к каким-то действиям.

И тогда, совершенно неожиданно для себя самого, Джаваншир ускорил шаги, приблизился к этой женщине и произнес:

— Извините...

Женщина посмотрела на Джаваншира, и только теперь он понял, что сделал, что совершил, в горле у него внезапно пересохло, и уже каким-то не своим голосом он повторил:

— Извините...

Женщина была очень красива, хотя ей, наверно, было около сорока, и удивительно было то, что возраст свой она и не стремилась скрыть, была только слегка подкрашена, аромат каких-то тонких духов был еле уловим.

И перед этой красотой и естественностью Джаваншир показался себе самым уродливым и глупым человеком на свете.

Искандер Абышов смотрел на них глазами, полными счастливого изумления и тоски. Еще бы! Этот знакомый ему парень, который всего минуту назад шел рядом с ним, пил вместе с ним вино в шашлычной Абульфата, уже, как видно, познакомился с этой прекрасной женщиной, с этим неземным существом, совершенно недосягаемым для него, Искандера Абышова.

Женщина еще раз скользнула взглядом по лицу Джаваншира, и Джаваншир сразу почувствовал, что она видит его насквозь, понимает всю глупость его положения, страшную глупость. Чувствуя, что краснеет до корней волос, Джаваншир все же выдавил из себя:

— Скажите, пожалуйста... Вы не знаете, где здесь театр?

На этот раз незнакомка внимательно посмотрела на Джаваншира, она будто пыталась как следует разглядеть в лунном свете лицо этого длинного молодого нахала, и Джаванширу показалось, что сейчас эта женщина надает ему пощечин обеими руками, с грубостью, совсем ей не подобающей, но, как ни странно, женщина плавно повела своей красивой рукой в сторону театра и произнесла:

— Вон там...

Мягкий голос ее прозвучал очень тепло и очень приветливо, и это сразу ободрило Джаваншира. Некоторое время они молча шли рядом. Сердце Джаваншира уже билось не так сильно, однако он еще не вполне пришел в себя, к тому же он усиленно искал тему для продолжения разговора, но все казалось ему банальным и глупым, и он страшно злился на самого себя — зачем он затеял все это?

А сзади шел Искандер Абышов.

Вдруг женщина сказала:

— Ваш товарищ вас ждет...

И снова слова ее прозвучали очень мягко, Джаванширу даже показалось, что ласково; он удивлялся, как это она, ни разу не оглянувшись, заметила Искандера Абышова, и сказал первое, что пришло в голову:

— Ничего...— и тут же снова залился краской.

Так они дошли до здания театра. Джаваншир от досады на свое косноязычие не мог даже смотреть на свою спутницу, он готов был просто убежать куда-нибудь, спрятаться в какую-нибудь нору от стыда, но сзади шел Искандер Абышов... На досках для афиши висели напи-

санные от руки объявления о спектаклях, и, взглянув на них, женщина сказала:

— О-о-о, у них даже «Клеопатра» в репертуаре.

При этом она слегка усмехнулась, и усмешка, не совсем, конечно, но немного походила на усмешку Джаваншира, когда он сегодня разыгрывал свою роль перед Искандером Абышовым.

— Надо будет посмотреть...— продолжала она. Потом внезапно спросила у Джаваншира тоном учительницы: — А вы смотрели «Клеопатру»? — этим вопросом она застигла Джаваншира врасплох, и, торопливо застегивая в свете фонаря верхнюю пуговицу на рубашке, он ответил, как ученик, не выучивший урок:

— Нет, не смотрел.

Они отошли от афиши, и тут — странное дело — женщина стала вдруг разговаривать как бы сама с собой, теперь Джаваншир уже мог смотреть на нее,— так красиво слетали слова с ее слегка подкрашенных губ, и эти слова как будто доносились из того, другого мира, в который Джаваншир обычно уносился в своих мечтах, лежа на кровати и глядя в потолок, и постепенно ему стало казаться, что эти слова — такое естественное дополнение, даже не дополнение, а как бы просто часть этой теплой августовской ночи.

А говорила она о том, что все в мире непрочно, все уходит в никуда, и чувства, мысли человеческие, страсти — все, все это ничто, только искусство способно остановить бег времени, оно не увядает, оно вечно, и потому вечны чувства, мысли человеческие, страсти, запечатленные мастером.

Джаваншир понимал, что он должен сейчас поддержать разговор, сказать тоже что-нибудь в этом духе, но все слова вдруг куда-то исчезли, он ощущал мучительную тоску и не мог произнести ни слова. Тем не менее выяснилось, что женщина — бакинка, что по профессии она — архитектор, а сейчас отдыхает в шушинском доме отдыха, в Шуше она не впервые, очень любит эти места, скучает без них, буквально влюблена в шушинские ханский дворец и мечеть, а какова крепостная ограда — ведь это же само совершенство, и как расположены все здания, как хорошо вписываются в окружающий ландшафт; поистине древние архитекторы лучше нас понимали, что здание должно дополнять природу, а не противоречить

ей, а теперь такую вот очевидную мысль приходится отстаивать на ученых заседаниях.

Джаваншир только кивал головой, соглашаясь со всем, что говорила эта женщина, иногда, правда, вставлял что-нибудь вроде «конечно» или «верно». Других добавлений он сделать не смог, и все это время, пока они прогуливались по темным аллеям шушинского парка, Искандер Абышов сопровождал их сзади. И что удивительно, ему совсем не было скучно, не то чтоб он слушал речи прекрасной незнакомки: он шел на таком расстоянии, что ничего разобрать не мог, а просто почему-то чувствовал и себя героем сегодняшнего вечера.

Джаванширу давно хотелось узнать имя женщины, но он никак не мог заставить себя произнести эти простые три слова, ему казалось, что эти слова так не подходят к этой фантастической, немыслимой ночной прогулке. Наконец, пересилив себя, он все-таки произнес их; оказалось, что женщину зовут Медина-ханум, тогда и Джаваншир представился, а затем Медина-ханум спросила Джаваншира:

— А вы где работаете?

Этот вопрос снова привел в замешательство начавшего было успокаиваться Джаваншира: Джаваншир не предполагал, что выглядит таким взрослым, и, снова покраснев, он ответил неопределенно:

— Я филолог. В университете...

— Преподаете?

«Что это? Она издевается?» — подумал Джаваншир.

— Нет... Я — аспирант...— сказал он и посмотрел на Медину-ханум как кролик на удава; он был уверен, что сейчас она громко расхохочется, а вслед затем и Искандер Абышов просто умрет от смеха. Но, к удивлению Джаваншира, ничего этого не произошло, просто Медина-ханум длинно так произнесла:

— А-а-а... Тогда у вас все еще впереди...

Джаваншир, потупившись, переживал эту неприятную минуту и молчал.

А Искандер Абышов по-прежнему следовал за ним в некотором отдалении и по-прежнему совсем не чувствовал себя лишним, и, как видно, напрасно, потому что между Джаванширом и Мединой-ханум произошел такой короткий разговор:

— Ну что ж, я должна возвращаться...

— Позвольте я вас провожу?

— Но ведь вас ждет товарищ?
— А он мне не товарищ...
— Тогда скажите ему, чтоб не ходил за нами.
Последнюю фразу Медина-ханум произнесла с некоторым раздражением.
Джаваншир сначала не понял, почему у него вдруг вырвалось такое, почему при этой женщине он отрицал свои приятельские отношения с Искандером Абышовым, но ведь, с одной стороны, они действительно не были товарищами: ведь Джаваншир только сегодня вечером с ним познакомился; а с другой стороны, почему все-таки то, что он отрекся от Искандера Абышова, вдруг показалось Джаванширу предательством, впрочем, он внял словам Медины-ханум, отстал от нее и, подождав, когда с ним поравняется Искандер Абышов, сказал:
— Ты, пожалуй, иди... Мы еще погуляем...
Искандер Абышов заморгал глазами, затем будто что-то уяснил для себя и, сказав: «Есть!» — повернулся и исчез в темноте.
Медина-ханум опять говорила о своей привязанности именно к Шуше; ей было с чем сравнивать: Теберда, Дилижан, Абастуман, Кисловодск, Сочи, Карловы Вары, Золотые Пески, Ницца; но нигде, считала Медина-ханум, нет такого воздуха, как в Шуше, только в Шуше, говорила она, чувствуешь всю полноту настоящего отдыха, забываешь обо всех заботах и печалях, снова радуешься жизни. И душа очищается и становится восприимчивой к новым, не испытанным еще чувствам...
Джаваншир шел, слушая Медину-ханум, и уже не смущался, как прежде, хотя, конечно, это было просто уму непостижимо, что именно он, Джаваншир, не во сне, а наяву идет с такой женщиной и слушает такие ее признания...
Когда они дошли до ворот шушинского дома отдыха, было уже около одиннадцати. Медина-ханум, протянув Джаванширу руку, сказала:
— До свидания. Спокойной ночи.
При свете электрической лампочки, висящей над воротами шушинского дома отдыха, голубые глаза Медины-ханум выражали приязнь и приветливость, кажется, они еще о чем-то говорили, и теплая тонкая рука Медины-ханум подтверждала то, о чем говорили ее глаза.
Джаваншир понимал, чувствовал, что надо что-то сказать, обязательно надо сказать или сделать нечто та-

кое, от чего исчезает запрятанная в глубине ее глаз едва различимая ирония... И вот, призвав на помощь все свое мужество, с отчаянием в голосе он спросил:

— Завтра увидимся?

Медина-ханум улыбнулась с той же приветливостью и приязнью.

— Увидимся.

Они условились, что завтра в семь часов вечера (когда хромой Дадаш во дворе санатория начнет настраивать струны своей кеманчи) они встретятся в тутовнике (это место предложила сама Медина-ханум), и после этого Медина-ханум, вытащив руку из большой ладони Джаваншира, вошла в калитку своего дома отдыха.

Джаваншир немного постоял перед воротами, думая о собственной глупости, неловкости и в то же время продолжая ощущать своей ладонью теплоту, ласковость руки Медины-ханум. Потом закурил и, пройдя по темным, вымощенным толстыми плитами улицам Шуши, стал подниматься к своему санаторию.

И тут как раз кончилась драма «Когда танцуют втроем», и Маруся Никифорова, Людмила и Хусаметдин Аловлу вышли из театра, находясь под впечатлением этой драмы.

Джаваншир, гуляя с Мединой-ханум, не осмелился даже закурить сигарету.

Такие вот дела.

Завтра так не будет.

Когда Джаваншир вошел во двор санатория, свет горел только у Гюлендам-нене, и на балконах никого не было, не считая Дурдане; накинув на плечи шерстяной жакет, она, дрожа от холода, стояла на своем посту.

Джаваншир добрался до кровати, разделся, лег... Всю ночь он был с Мединой-ханум, всю ночь они с Мединой-ханум бродили по шушинскому парку. Находясь между сном и явью, Джаваншир видел светло-голубые глаза Медины-ханум, слышал ее мягкий голос, ощущал аромат ее духов, чувствовал пожатие ее руки, но все, кажется, чего-то не хватало, он испытывал какое-то беспокойство, и только уже под утро Джаваншир понял внезапно, чего же ему все-таки недоставало,— оказывается, раздающихся позади шагов Искандера Абышова.



— С чего бы это ты так вырядился, баласы? К добру ли?

Джаваншир искоса посмотрел на Гюлендам-нене.

Надвигался вечер, скоро Садых-муаллим, выйдя на середину танцплощадки во дворе санатория, улыбнется отдыхающим, а потом заговорит, зальется кеманча хромого Дадаша, потом аккордеон Гюльмамеда заиграет свое знаменитое танго, и Хусаметдин Аловлу под завистливыми взглядами местных парней пригласит Марусю Никифорову танцевать.

Этот день пролетел очень быстро.

Когда утром Гюлендам-нене с Джаванширом спустились в столовую, Искандер Абышов в своем чистейшем, накрахмаленном и выутюженном халате будто только их

и ждал; он уделил им особенное внимание, поздоровался с Джаванширом с особым почтением, да и потом часто поглядывал в их сторону, а когда Гюлендам-нене, съев утренний люля-кебаб, не тронула положенный рядом с люля-кебабом испеченный помидор, Искандер Абышов подошел к их столику.

— Простите,— сказал он.— Если бы вы только знали, от чего вы отказываетесь!

Гюлендам-нене поглядела сначала на печеный помидор, потом — на сдвинутые брови Искандера Абышова.

— А от чего? — спросила она.

Искандер Абышов сказал:

— Вы не представляете, сколько в нем витаминов!

Гюлендам-нене снова уставилась в свою тарелку, доводы Искандера Абышова как будто подействовали на старуху, и она опять взялась за вилку.

Искандер Абышов, конечно, был этим очень доволен.

После завтрака Дурдане по просьбе своей бабушки пришла в комнату Джаваншира за ножницами, потом она принесла ножницы обратно; спускаясь днем в столовую на обед, она столкнулась с Джаванширом лицом к лицу, поздоровалась, и Джаваншир на этот раз отдал себе отчет в том, что эта девушка при встречах с ним совершенно теряется и краснеет.

— Послушай, баласы, что ты так косо на меня смотришь, а? Опять придешь в двенадцатом часу ночи? — Гюлендам-нене, сидя на кровати, глядела на Джаваншира поверх очков и улыбалась, привычно подтрунивая над внуком.

Джаваншир стоял перед зеркалом и причесывал, укладывал свои длинные волосы. Он посмотрел на Гюлендам-нене в зеркало и сказал:

— Сегодня, может, и совсем не приду...

И тут произошло нечто вроде чуда: Гюлендам-нене не рассмеялась, не стала издеваться над его словами, она почему-то сразу ему поверила, даже всхлипнула вдруг:

— Джаваншир...

— Ну что, что — Джаваншир?

Дурдане стояла на балконе, и ее глаза, полные скрытой тревоги, долго провожали Джаваншира.

Он подошел к условленному месту на полчаса раньше срока.

В тутовнике были не одни только тутовые деревья,

здесь возвышались и шушинские дикие яблони, и дикие черешни, а на поляне, усыпанной цветами, росли кусты шиповника, ежевики; эти места хорошо запомнились Джаванширу: сколько раз играл он тут в детстве, а однажды удивился, что шиповник в этих местах, может быть, единственное растение, которое сначала покрывается листьями, а уже потом зацветает.

Когда-то, кажется, очень давно, Джаваншир с матерью, отцом и бабушкой каждое лето приезжали в Шушу, жили тут все лето, и, огибая тутовые деревья, Джаваншир снова вспомнил те далекие детские годы: как они, мальчишки, набивали подолы маек дикими яблоками, еще неспелыми синими сливами; и все эти дикие яблоки, синие сливы они ели до оскомины, до полного онемения губ, и все никак не могли остановиться, а потом еще перемазывались с ног до головы красным соком дикой черешни.

Солнце понемногу склонялось к закату; в ожидании предстоящего вечера, предстоящей ночи Джаваншир чувствовал себя свободно, но не очень спокойно, хотя уже поверил в себя: ведь больше не было необходимости притворяться ни при Искандере Абышове, ни при ком другом. Джаваншир должен быть самим собой, потому что он тот самый Джаваншир, который познакомился с Мединой-ханум и сейчас ее ждет.

Он как следует подготовился для сегодняшней встречи, он больше не будет молчать, набравши в рот воды, теперь уж он знает, что скажет Медине-ханум, и, бродя по тутовнику, Джаваншир повторял про себя слова, которые он ей скажет. Да, прогуливаясь с Мединой-ханум под этими тутовыми и грушевыми деревьями, между стволами дикой яблони, дикой черешни, сливы, среди кустов шиповника и ежевики, Джаваншир завоюет уважение и любовь этой необыкновенной женщины, кто знает, чем все это кончится, может быть, даже и поженятся они с Мединой-ханум...

Джаваншир часто поглядывал вниз, на тянущуюся от шушинского дома отдыха тропинку.

Джаваншир сначала почувствовал появление Медины-ханум, как будто по этим цветам, по этим кустам и деревьям пробежал очень легкий, очень нежный ветерок, потом Джаваншир посмотрел в сторону дома отдыха и увидел поднимающуюся по тропинке Медину-ханум.

Медина-ханум еще издалека неспешно помахала ему рукой, сердечно приветствуя Джаваншира, а он внезапно почувствовал себя недостойным этой приветливости, этого расположения, ему опять показалось, что он — ничто перед этой женщиной, самим воплощением приветливости и в то же время радостной вольности и свободы.

Медина-ханум сегодня была в светлом широком платье, и это со вкусом сшитое светлое и широкое платье тоже, казалось, говорило о радости, вольности и свободе; Медина-ханум была без шляпы, длинные золотистые волосы Медины-ханум рассыпались по ее плечам, груди, и эти золотистые волосы тоже, казалось, чуть не кричали сейчас о радости, вольности и свободе; все это вместе было предназначено Джаванширу — Джаваншир должен был, обязан был в это поверить...

В глубине души, в самой глубине он боялся: вдруг Медина-ханум не придет на свидание с ним.

Медина-ханум пожала руку Джаваншира, и пожатие это было таким сердечным, таким искренним и радостным, а потом Джаваншир с Мединой-ханум стали прогуливаться рядышком под деревьями среди цветов, и опять заготовленные, только что повторяемые про себя слова вылетели из головы Джаваншира, и он в который уже раз удивился, что нашла в нем, глупце, верзиле, эта прекрасная, умная женщина, за что такое счастье такому ничтожеству, как он? А самым странным было то, что Джаваншир внезапно почувствовал: те детские годы, которые прошли вот здесь, в Шуше, под тутовыми деревьями, вовсе не были в такой уж дали, это было как будто вчера; это ощущение потрясло Джаваншира, и он некоторое время даже не слышал, о чем говорит Медина-ханум, затем, не попросив у нее разрешения, дрожащими руками достал и закурил сигарету, потом подумал, что нужно было бы предложить сигарету и Медине-ханум, и вообще сейчас надо было бы взять Медину-ханум под руку, сказать ей что-нибудь интересное или хотя бы что-нибудь особенное.

Какая прекрасная была погода, какой красивый ожидался закат, каким долгим был этот день; Медина-ханум на отдых всегда ездила одна, может быть, это эгоистично; конечно, такое наслаждение красотой, такое острое ощущение красоты не всегда сочетаются с альтруизмом, не правда ли? Ощущать, чувствовать красоту, наслаж-

даться красотой разве само по себе не эгоизм? Видимо, эгоизм — в природе человека, избавиться от него, совсем избавиться — невозможно, а может быть, и не надо? По существу, и чувство одиночества тоже приводит к эгоизму, вот что ужасно, что плохо, вот тут нужно обязательно думать о других, чувствовать других, не замыкаться в одиночестве, в такое время надо уметь разделять радость других; конечно, одиночество порой преследует человека так, что от него невозможно убежать, этот бич двадцатого столетия редко оставляет человека в покое...

После всех этих слов, размышлений, признаний Медина-ханум как ни в чем не бывало, очень просто, очень естественно взяла Джаваншира под руку и, на мгновение прижавшись к нему, спросила:

— Куда мы пойдем?

Конечно, Джаваншир не ожидал такого вопроса и застыл в недоумении; внезапно ему вспомнился Искандер Абышов, вспомнилась стипендия в кармане, и он неожиданно для себя сказал:

— Пойдемте в парк... в шашлычную...

Медина-ханум посмотрела на Джаваншира с некоторым недоумением.

— Вы проголодались?

Джаваншир почувствовал, что краснеет, и, чтобы Медина-ханум этого не заметила, нарочно поднес руку ко лбу; на мгновение перед его глазами появился стодвадцативосьмикилограммовый Абульфат; в нос Джаванширу ударил запах шашлыка, запах водки в шашлычной Абульфата, и он изумился, как ему могла прийти в голову такая идиотская мысль — здесь, среди цветов, рядом с этой прекрасной женщиной.

— Нет... не проголодался...— промолвил Джаваншир.— Просто так сказал...

Медина-ханум снова взглянула на Джаваншира, потом, будто внезапно обнаружив то, что искала давно, сказала едва ли заговорщицки, тихонько, со скрытой радостью в голосе:

— Знаете что... Давайте пойдем ко мне. Я в комнате одна, никого больше нет...

Джаваншир не поверил своим ушам.

— Из моего окна и закат виден,— продолжала Медина-ханум.— Вместе полюбуемся...

Слова Медины-ханум о закате прозвучали, пожалуй, не очень естественно.

Они спускались по тропинке, ведущей в дом отдыха.

Они направлялись в комнату Медины-ханум, и, кроме Медины-ханум и его, Джаваншира, в этой комнате никого не будет.

Джаванширу очень хотелось хотя бы пять минут побыть одному, прийти в себя.

Внизу виднелись двух- и трехэтажные корпуса шушинского Дома отдыха, постепенно свет загорался в окнах.

Джаваншир сказал:

— Пойду куплю коньяк...

Медина-ханум ответила:

— Не нужно... У меня есть коньяк...

Все это прозвучало так, будто они и в самом деле были заговорщиками.

Медина-ханум держала Джаваншира за руку, тропинка круто шла вниз, и, чтобы не споткнуться о камень, не поскользнуться на траве, Медина-ханум прижималась к Джаванширу.

У Джаваншира совсем в горле пересохло, и он не мог понять, почему — от радости ли, от робости...

Медина-ханум остановилась у алычового дерева, дальше начиналась асфальтовая дорожка.

— Вместе нам заходить неудобно,— сказала она.— Все-таки Шуша — это Шуша, не Карловы Вары.— Она улыбнулась.— Видите вон то крайнее двухэтажное здание, слева самое первое окно — мое, на втором этаже... Видите?

Джаваншир ответил:

— Да, вижу...

Медина-ханум сказала:

— Давайте сначала пойду я, а потом вы — через пять-шесть минут... Дверь я оставлю открытой...— Медина-ханум опять улыбнулась.— Хорошо? — спросила она.

Джаваншир ответил:

— Да...

Медина-ханум отпустила руку Джаваншира, повернулась и пошла вниз по асфальтовой дорожке.

Когда Медина-ханум убирала руку, ее горячие пальцы скользнули по голому запястью Джаваншира; это прикосновение было таким жгучим, что Джаваншир вздрогнул.

Но вот задул прохладный ветерок, охлаждая запястье Джаваншира.

Задул прохладный ветерок, заходило ярко-красное солнце.

Кузнечики заводили свою вечернюю стрекотню, время от времени слышалось откуда-то кваканье лягушек.

Дождь пойдет?

Внезапно Джаванширу показалось, что он давно уже тоскует по дождю; ливня жаждала его душа, чтобы страшно загремел гром, засверкала молния, чтобы все вокруг содрогнулось; Джаваншир всем телом ощутил тугие струи сильного дождя.

Солнце закатилось, край неба постепенно бледнел.

В окне Медины-ханум загорелся свет.

Джаваншир, прислонившись к алычовому дереву, смотрел на освещенное окно и сейчас был на сто процентов уверен, что, когда он войдет в эту комнату, Медина-ханум встретит его уже в красивом длинном халате и, когда Медина-ханум сядет на диван, в просвете между полами халата будут видны ее ноги.

Самым скверным, самым страшным было то, что ноги Медины-ханум сейчас вовсе не возвещали Джаванширу о каком-то волшебном мире, о каких-то неземных наслаждениях,— эти стройные, красивые ноги были несовместимы со страшной тоской по дождю, по ливню в сердце Джаваншира...

Конечно, он понимал, что так делать нельзя, что это — не по-мужски, это мальчишество, совершенное мальчишество, однако ноги, собственные ноги не слушались Джаваншира: они уносили его прочь от этой тропинки, от этого алычового дерева и, что самое главное, от этого света в окне; они уносили Джаваншира куда-то совсем в другое место.

Джаваншир, сойдя с тропинки, пошел по траве и сам не заметил, как шушинский дом отдыха остался позади, осталось позади зовущее, ждущее окно; его совсем не стало видно, когда он поднялся в полной темноте на Кругозор в нижней части Шуши.

На Кругозоре никого не было. Звезды не светили. Горели только огоньки сел, расположенных в межгорьях, словно очень далекие созвездия. Джаваншир ощутил, почувствовал близость этой дали, свет этих сел как будто приносил тепло.

Джаваншир сидел на скале лицом к лицу с горами, ему было тепло от света далеких сел. Поворачивая голову, он следил за огоньками машин на петляющей по

склонам дороге Моллы Насреддина. В какой-то момент ему показалось, что он как будто не один, кто-то дышит рядом, причем какой-то знакомый ему человек.

Здесь было очень тихо, только едва слышно журчала речка Дашалты, текущая по дну ущелья. А на той стороне возвышалась отвесная скала Хезне. Она была совсем как живая, эта скала, она дышала, слышала, видела и молчала.

Если в мире была вот эта скала Хезне, если слышалось журчание реки Дашалты, если вот так согревали огоньки далеких сел, то почему Искандер Абышов был недоволен своей жизнью и почему он говорил об однообразии дней?

Потом вдруг ударила молния, полил дождь, а через некоторое, весьма малое, время этот шушинский ливень прекратился так же внезапно, как внезапно и начался.

В глубине души, в самой сокровенной глубине Джаваншир не боялся, что вдруг Медина-ханум не придет к нему на свидание,— Джаваншир не хотел, чтобы Медина-ханум пришла. Он не отдавал себе в этом отчета, но это было так.

Потом постепенно наплыл туман, огоньки напротив сначала расплылись в этом тумане, потом совсем исчезли, исчезла и скала Хезне, и Джаванширу показалось, что наступил завтрашний день, день его рождения, и одна девушка, милая, стеснительная девушка поздравляет его: она принесла испеченный ею самой очень любимый Джаванширом яблочный пирог, она считает Джаваншира самым храбрым человеком на свете, гордится тем, что Джаваншир ничего не боится, ни перед чем не отступает, и это действительно так; эта юная девушка, эта милая стеснительная девушка больше ничего не говорит; страшно смущаясь, краснея, она заставляет себя поцеловать Джаваншира в щеку, и этот легкий поцелуй как бы приподнимает Джаваншира над землей; теперь он может смотреть всем прямо в глаза, потому что Джаваншир любим, потому что Джаваншир — опора, потому что Джаваншир — защита, и Джаваншир в этом окутавшем все вокруг тумане ясно увидел глаза, лицо, волосы Дурдане...

А музыкантам во дворе шушинского санатория играть не пришлось,— Шушу туман окутал, но, перед тем как Садых-муаллим пожелал отдыхающим спокойной ночи,

Хусаметдин Аловлу попросил у него разрешения, вышел на середину танцплощадки и прочитал свое новое стихотворение, написанное сегодня:

Ты опять приедешь,
Очень хорошо!
Навсегда приедешь,
Очень хорошо!

Эти строки Хусаметдина Аловлу были по душе Марусе Никифоровой, она слушала самое прекрасное в мире стихотворение.

А в это время Искандер Абышов, стоя в белом халате в дверях библиотеки шушинского санатория, поглядывал на библиотекаршу Наргиз и думал: интересно, кто же ему отправил любовное письмо без подписи? Неужели все-таки Наргиз?

ПОЕЗД. ПИКАССО. ЛАТУР. 1968

Муж Мелеке-ханум и угрожал мне, и умолял меня о чем-то молча, взглядом, и при всем том у него был жалкий вид. Особенно когда проводница попросила провожающих выйти из вагона. Он поцеловал жену в щеку, сказал ей, чтобы позвонила ему тотчас по приезде в Москву и рассказала, как прошла дорога. И целовал он ее, и говорил он с ней, но все как-то выходило так, будто обращался он ко мне, а не к ней. Конечно, я мог бы немедленно успокоить его, например, сказать ему: «Не волнуйся, дорогой друг, я ручаюсь, что ничего плохого не случится с твоей женой в дороге»,— и прибавить про себя: «Потому что твоя жена меня совершенно не волнует»; или же мог сказать ему: «Ни о чем таком и не думай, хотя мы в купе одни, а дорога длинная,— будь спокоен!»; и прибавить про себя: «И спокойной тебе ночи, если, конечно, сам ты будешь спать один!» Все это я мог сказать ему, но не сказал. Я промолчал. Это была маленькая месть за его косые взгляды в мою сторону. Как справедливо кто-то заметил, на свете нет ничего хуже такой тревоги...

Когда поезд тронулся, Мелеке-ханум высунула руку в окно и помахала, муж тоже махал ей, но смотрел только на меня. Воистину нет ничего хуже такой тревоги! А потом пришла проводница и, собирая наши билеты, окину-

ла профессиональным взглядом меня и Мелеке-ханум: мол, дело ясное!

Сначала вышел я — и Мелеке-ханум переоделась, потом вышла она — и я переоделся. После чего мы оба уселись в купе и стали пристально рассматривать вечернюю панораму зимнего Апшерона, где смотреть, как известно, не на что.

Снова появилась проводница, чтобы собрать с нас по рублю за постель и спросить, будем ли мы пить чай. Мы оба ответили, что будем. Я достал из кармана пальто свежий номер еженедельной бакинской газеты «Адабийят ве инджесенет»[1] и перелистал. Газетчики успели дать сообщение об открывающемся в Москве Международном симпозиуме искусствоведов, о предстоящих там наших с Мелеке-ханум докладах. В газете было все, не хватало только фотографии: я и Мелеке-ханум на фоне грозных и тоскливых взглядов ее мужа!

Мелеке-ханум спросила меня:

— Вы читаете сатирические стихи?

Я ответил, что да, это очень интересно!

Мелеке-ханум сказала:

— У вас чай остынет.

Как будто она хозяйка дома и угощает гостя! Я ответил:

— Спасибо, я сейчас выпью.

Мелеке-ханум не выносит самолета — у нее сердце. Я тоже не летаю самолетом. И не потому, что боюсь, просто я не получаю от полета никакого удовольствия. Правда, я ни разу и не летал, но уверен, что это так.

Мелеке-ханум улыбнулась и сказала:

— Не знаю, говорил ли вам кто-нибудь о том, что вы очень замкнутый человек!

— Вы не поверите, как я люблю болтать,— ответил я.

— Нет,— говорит она,— поверю, потому что мы уже столько лет с вами вместе работаем, а разговоры наши, если записать их на магнитофонную ленту, не составят и двадцати метров: здравствуйте — здравствуйте, до свидания — до свидания...

Я мог бы, конечно, ответить ей: «Дорогая Мелеке-ханум, а о чем же мне с вами говорить? Наш разговор, если бы он и состоялся, оказался бы пустым, бессмысленным. Я ведь считаю вас совершеннейшей мещанкой, хотя

---

[1] «Адабийят ве инджесенет» — «Литература и искусство».

и не знаю о вас ничего, просто я так вас чувствую. Мы с вами чужие люди, и настолько чужие, что двадцать магнитофонных метров для нас — это даже много!» Я мог ей это все сказать, но, конечно, не сказал ничего, потому что любые слова — уже разговор, а у меня нет никакой потребности в разговоре с Мелеке-ханум. Впрочем, так же, как и с Сафурой-ханум, как и с Самедом, Меликом, Санубар, Керимом, двоюродным братом Бейдаром, двоюродной сестрой Мединой и т. д. и т. п.

Самый лучший собеседник у человека — он сам. Человека может хорошо понять только один человек — он сам. Это мое убеждение, и обосновано оно всем опытом моей сорокадвухлетней жизни.

Мелеке-ханум отвернулась к окну и сказала:

— Вам, конечно, виднее, но, по-моему, такая замкнутость ни к чему.

Я опять не ответил ей, хотя на этот раз мне пришлось сказать себе: «Спокойно, дорогой, не надо нервничать».

Проводница вошла в купе и спросила:

— Еще чаю?

— Нет,— ответили мы,— нам не надо.

Проводница извинилась и сказала, что больше не будет нас беспокоить, после чего тихо, как заговорщица, закрыла за собою дверь.

Мелеке-ханум снова уставилась в темноту за окном, а я — в газету «Адабийят ве инджесенет». Возможно, Мелеке-ханум рассматривала в окне свои собственные мысли, поскольку ничего другого увидеть в темноте было нельзя. Однако со времен Адама и Евы самая прозрачная вещь в мире — это, по-моему, как раз мысли Мелеке-ханум и всех прочих мелеке-ханум. Сквозь такие мысли очень хорошо видно, потому что их попросту нет.

Продолжая смотреть в окно, Мелеке-ханум тихо сказала:

— Наверно, не случайно в вагоне люди рассказывают друг другу обо всем. Наверно, этот мрак за окном, это безостановочное движение, этот вечный перестук колес побуждает нас к откровенности. Дорога увозит человека в одиночество, а люди бегут от него, от этого одиночества.

И тут Мелеке-ханум взглянула на меня.

Конечно, я мог снова не ответить ей, потому что дорога — с ее мраком за окном, безостановочным движе-

нием и перестуком колес — не увозила меня ни в какое одиночество. А если бы и увозила, то я бы не сопротивлялся. Я не боюсь одиночества. Когда человек остается наедине с самим собой, мне это нравится. Ведь я — самый лучший собеседник для себя. Никто не поймет меня лучше, чем я сам. Впрочем, и я не пойму другого человека так, как он поймет себя сам. Одиночество — условие подлинно человеческой жизни. Жаль, что не все это понимают...

Вот что я должен был бы ответить Мелеке-ханум. Но я заметил в ее взгляде какую-то иронию, вроде бы она жалела меня. Это уже не в первый раз. Когда-то именно так смотрели на меня и Сафура-ханум, и Самед, и Мелик, и Санубар, и Керим, и двоюродный брат Бейдар, и двоюродная сестра Медина. Многие смотрят на меня так. Сначала это меня расстраивает — всего лишь на мгновение, только на одно мгновение, а потом у меня появляется какое-то желание мести, однако до сих пор я всегда подавлял в себе и обиду, и порождаемое ею желание отомстить, потому что я знал: я прав. Я это знал, и этого было довольно.

Но вот теперь, в вагоне, под этим взглядом Мелеке-ханум я не смог преодолеть ни обиды, ни желания отомстить и — сам не знаю зачем — рассказал ей о самом странном происшествии в моей жизни, о чем я никогда и никому не рассказывал. Может быть, мне просто захотелось ей на удивление продлить ту двадцатиметровую магнитофонную ленту?

— Вы помните в подробностях офорт Пикассо «Трапеза бедняков», а?

— Да,— ответила она, не удивившись.— Я помню. Это Пикассо «голубого периода». Мужчина и женщина сидят в кабачке, в углу. Перед ними пустая тарелка, два стакана, бутылка. Левая рука мужчины лежит на плече женщины, а правой он касается ее руки. Они задумчиво смотрят в разные стороны.

Мелеке-ханум смотрела на меня тем же неприятным, как бы жалеющим взглядом: ну и как, помню я «Трапезу бедняков», а?

Я не стал отвечать на ее чересчур выразительный взгляд, просто сказал, что у нее отличная память.

— Совершенно верно,— сказал я,— именно об этом произведении я и хочу вам рассказать кое-что.

Однажды, это было в начале сентября, я был у себя,

в своей квартире, и наводил порядок в накопившихся бумагах. Среди них я неожиданно обнаружил репродукцию этого офорта, бог знает когда купленную и уж давно не попадавшуюся мне на глаза. Бегло взглянув на нее, я открыл ящик письменного стола и положил офорт туда.

В тот день я еще долго возился и очень устал. Наконец я лег спать и как-то вдруг вновь увидел перед собой «Трапезу бедняков». Сначала я всматривался в картину, размышлял о ней. Потом решил прогнать наваждение и заснуть. Но не смог. Картина упрямо стояла передо мной. Я закрывал и открывал глаза, переворачивался с боку на бок — все равно этот мужчина, эта женщина маячили у меня перед глазами. Я вскочил с постели, умылся, вышел на балкон подышать свежим воздухом — напрасно! Образы с офорта чуть ли не ходили по квартире вместе со мной. Я так и не заснул ни на минуту в ту ночь. И с этого дня начались мои страдания.

Эти две фигуры преследовали меня своими пристальными взглядами в любое время суток, где бы я ни был — на службе, на улице, в кино, во время концерта. Везде и всегда. Меня убивало, что они сидят рядом — и в то же время так далеки друг от друга. Мне казалось, что убогая еда на столе перед ними убивает их любовь. Еще недавно они были близкими и дорогими друг другу, но теперь пропитались равнодушием ко всему, и особенно друг к другу. И если жирный коммерсант, который наверняка сидит в каком-то другом углу кабачка, подмигнет женщине, она пойдет за ним, чтобы заработать несколько франков, не испытывая никаких чувств, не волнуясь, равнодушно. А мужчина, обнаружив, что ее уже нет рядом, лишь попросит гарсона принести ему в долг дешевого вина, от которого можно все-таки опьянеть настолько, чтобы, положа голову на стол, плакать равнодушными слезами.

Эти мысли не давали мне покоя, особенно когда я садился за накрытый к обеду стол. Я чувствовал, что каждым глотком и куском предаю этих двух людей, переставших быть для меня всего лишь картиной. Они уже существовали реально, и каждый свой поступок, вплоть до таких мелочей, как покупки на базаре, поездки на такси и т. д., я соотносил с ними, их бытом, и мое благополучие казалось мне преступлением против них. Жизнь стала невыносимой.

Сколько я мог выдержать это двойное бремя: жизни

своей и жизни их? Что-то должно было случиться, но это приближающееся что-то пугало меня. И я боялся тем сильнее, чем определеннее приближалась развязка. Я не мог предвидеть, что же именно случится, и от этого незнания мне становилось не по себе, нараставший страх мешал думать и работать.

Однажды, это было в ночь на двадцать третье сентября, я лежал в постели, никак не мог уснуть, в голову лезли какие-то глупые фантазии. Вот, думал я, потолок сейчас разломится, как хлеб, надвое — и с неба через трещину спустится большая корзина. Раз! — и я уже в корзине. Куда-то несет, куда-то уносит меня навсегда, в какую-то пустоту. Кто же меня преследует, кто подгоняет? Взгляды мужчины и женщины с офорта Пикассо! Они смотрят в разные стороны, и это разрывает меня... Впрочем, дело не в фантазии. Просто мне стало ясно в эту ночь: однажды явившись, образы Пикассо уже не позволят мне жить по-прежнему, жить так, как я жил.

Я встал и зажег настольную лампу. Без десяти три. Прошел в ванную, умылся. Хотелось смыть с себя бессмысленные переживания. Все это нервы, я слишком много работаю, все скоро придет в норму. Однако самовнушение не помогало — я сам себе верил не до конца.

Раздался звонок в дверь. Еще раз. В три часа ночи. Я спросил:

«Кто там?»

Знакомый голос ответил:

«Откройте, это я».

Я открыл. Передо мной стоял высокий, очень худой мужчина. Я наверняка знал его, но не мог припомнить. На голове у него был небрежно надетый котелок, на шее — шарф, заправленный в глубокий вырез куртки. Было похоже, что он артист, и все это как-то оправдывало его появление в середине ночи.

«Можно, мосье?»

«Пожалуйста».

Я услышал в его вопросе что-то странное, но сразу не понял что. Мы прошли в комнату. Я предложил ему сесть, он сел, и тут я осознал, кто передо мной: мужчина из «Трапезы бедняков».

Меня прошиб холодный пот.

Я смотрел на него во все глаза. В голове у меня творился хаос. Я не мог мыслить логически, ибо не в состоянии был мыслить вообще. Мужчина протянул мне свою

тощую — кожа да кости — руку с неестественно удлиненными пальцами.

«Правда, мы еще незнакомы, но уже знаем друг друга. Меня зовут Этьен Раснер».

Прикосновение его руки привело меня в себя. Это была рука обыкновенного человека. Существо с такой рукой не могло быть привидением. Я почувствовал и тепло, и волнение, и страдание — словом, руку! Это успокоило меня.

Он снял котелок, провел ладонью по острым скулам. Голос у него оказался грудной, низкий и немного сиплый.

«Мосье, извините меня за то, что я ворвался к вам... Я сейчас в таком положении...»

Он говорил с трудом, ломая удлиненные пальцы, волнуясь:

«Вы не знаете, мосье, но... но Тереза уходит от меня навсегда!.. Она не говорит этого, она, может быть, сама еще не понимает, но я чувствую, мосье. Я с ужасом предвижу...»

Я не спросил у него, кто такая Тереза. Это было ясно.

«Мы познакомились с семьей Пикассо в цирке Медрано. Я акробат. Вернее, бывший! — Он приподнял левую руку, и глаза его налились ненавистью.— Эта проклятая рука сломалась! И работе пришел конец. Вы этого не заметили, ведь мосье Пикассо положил ее на Терезино плечо».

Этьен Раснер улыбнулся какому-то своему воспоминанию и замолчал, продолжая глядеть на сломанную свою руку.

Я не сомневался в его реальности. Не плод больной фантазии, не сон — передо мной сидит собственной персоной мосье Раснер. Его существование так же достоверно, как и мое, как и то, что мы с вами сейчас в поезде, который мчится в Москву.

Я заметил, что руки Этьена нервно сцеплены, как в начале разговора. Что-то внутри у него закипало, причиняло ему страдания, не выливаясь в слова. Чтобы прервать это утомительное молчание, я спросил:

«Откуда вы знаете азербайджанский язык?»

Он удивился.

«Я не знаю никакого языка, кроме французского».

Теперь удивился я:

«Но вы же говорите на моем языке!»

«Я говорю на своем, мосье».

«А я... я говорю на каком?!»

«И вы говорите, мосье, на французском!»

Он удивился, и ответы его звучали искренне. Но это означало, что, употребляя разные языки, мы слышим друг друга на своем, на родном, языке, на том единственном, на котором могли услышать. Это не казалось мне чудом, хотя у нас не было переводчика. Это было просто условием нашего неожиданного общения.

«Какой же сейчас год, мосье Раснер?»

«Сентябрь 1904-го, мосье».

Остальные вопросы были излишни, но я все же задал еще один:

«И мы с вами, конечно, в Париже?»

«А где же, мосье?»

Этьен Раснер дышал сентябрем 1904 года, он сидел у меня и беседовал со мной ночью, но в Париже. Для меня же все оставалось по-прежнему: сентябрь 1968 года, Баку, моя квартира. Расстояние во времени и пространстве, по-видимому, не могло помешать нашей встрече, поскольку свела нас внутренняя потребность и еще что-то, что нелегко определяется словами.

Мой гость никак не мог успокоиться, говорить ему было явно трудно, но ведь он пришел для того, чтобы сказать мне нечто важное.

«Мосье, не сердитесь, что я пришел ночью, разбудил вас... Я не знаю, что делать... Я не смогу жить без Терезы, а она удаляется от меня, ускользает против моей воли... Пока она еще со мной, но я вижу... Ее уводит от меня жизнь, мосье... Поймите меня правильно и не думайте о ней дурно... Ей тяжело, ей все уже безразлично, желания умерли или умирают... Она уходит и от себя самой, изменяет себе, не сознавая этого... А все моя сломанная рука!»

Я слушал Этьена с таким чувством, как будто он наконец объяснил мне то, что я уже смутно мучительно предвидел. Он обращался ко мне за помощью, но ведь я уже давно хотел помочь им, только не знал — как, мучаясь и своим бессилием, и желанием встречи. И вот теперь встреча состоялась, я мог протянуть ему руку друга...

«Это временный кризис, мосье, но он может развести нас навсегда. И Тереза уже не будет Терезой никогда, от нее это уже не зависит...»

Да, встреча состоялась, я мог протянуть свою руку и пожать руку Этьена. Но что еще? Пройдет несколько минут, и он вернется, уйдет в свое время, в свой Париж, в свою беду. А я останусь в своей квартире, в своем Баку и еще сильнее стану мучиться сознанием невыполненного долга. Долга?! Это слово поразило меня, как последняя надежда утопающего. Я вспомнил, что в ящике моего рабочего стола лежат деньги, отложенные для покупки телевизора «Электрон-2»,— четыреста с чем-то рублей. Это был выход — дать Этьену в долг, если он согласится. Если согласится... Он не сможет вернуть... Но ведь он не знает этого. Ему кажется, что мы с ним в Париже, на улице сентябрь 1904 года. Он не знает никакого Баку, ему просто не дожить до 1968 года — года нашей встречи... Значит, я должен его в каком-то смысле обмануть? Но иного выхода я не сумел найти.

Я достал деньги и протянул Этьену:

«Вернете, когда сможете, хорошо?»

«Вы меня плохо знаете, мосье... И мосье Пикассо, который еще молод, ему всего двадцать три года, и он недавно приехал из Испании,— он тоже знает нас очень мало... И все-таки я возьму у вас деньги... Ради Терезы... Я верну вам этот долг... По-моему, можно позволить себе взять деньги у друга, не чувствуя себя нищим. Как вы считаете?»

Я согласно кивнул головой. Я не мог сказать ни слова. Я ждал, когда он наконец взглянет на деньги и... Он бросил на мои рубли беглый взгляд и положил их в карман. Вне всякого сомнения, он увидел и положил франки.

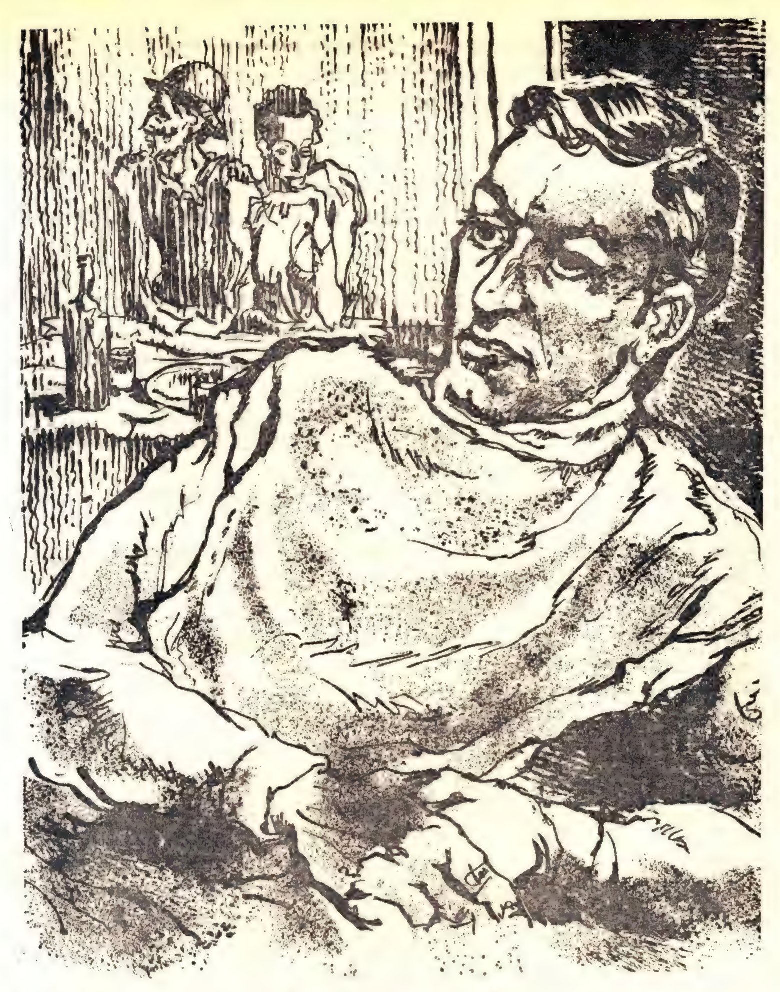
Мы пожали друг другу руки, он надел свой котелок и вышел. Я закрыл за ним входную дверь, потом снова распахнул — Этьена не было. Он ушел через мою дверь в свой город, а передо мной была площадка лестницы, по которой я каждое утро спускаюсь на улицу моего города...

Я вернулся в комнату, лег на кровать в чем был и задумался об Этьене... В сущности, я его совершенно не знаю, он прав. Возможно, он не такой уж гордый человек, каким показался мне, не такой уж чуткий, не такой страдающий. Возможно, он гораздо больше виноват перед Терезой, чем кажется... И тогда деньги, полученные от меня, ничем не помогут ни ему, ни ей... Впрочем, если бы он не пришел ко мне, а я простым усилием воли



изгнал бы из своего сердца и его и ее, я бы успокоился, не изменил бы себе...

Я встал, подошел к столу, взял в руки «Трапезу бедняков», и... у меня перехватило дыхание: Этьен и Тереза казались счастливейшими людьми в мире, они сидели обнявшись, они смотрели друг на друга, они любили друг друга, улыбались друг другу... А вот трапеза их попрежнему была трапезой бедняков. Да не в курятине же дело, не в том смысл офорта, не в том суть жизни, черт возьми.



Этот изменившийся рисунок Пикассо есть только у меня, больше нигде и ни у кого. Его изменил не Пикассо, а мы: Этьен — тем, что пришел ко мне, а я — тем, что ждал и принял его как друга. Возьмите любую репродукцию «Трапезы бедняков» — они обычны, необычна только та, что хранится у меня. Единственная в мире!

...Знаете, Мелеке-ханум, я ведь никому не рассказывал об этом случае. Какой смысл? Все равно никто не поверит. Самый близкий друг у человека — это он сам.

Это я самый лучший собеседник — он все поймет... Так что двадцать метров магнитофонной ленты наших с вами служебных разговоров — это для меня не так уж и мало, поверьте, Мелеке-ханум. Я знаю, в глубине души и вы мне не верите,— жаль, что я не взял с собой репродукции! Вот вернемся в Баку — обязательно покажу...

Поезд равномерно потряхивало на стыках рельсов.

Мелеке-ханум прошептала:

— Я вам верю...

Сказано это было с таким чувством, что я пристально посмотрел ей в глаза. В них отражалось внутреннее потрясение, но какое-то свое, тайное, это не было только впечатлением от моего рассказа.

— Я верю... Даже если не покажете... Вы... помните, конечно, картину Латура «Святой Себастьян»,— Себастьяна оплакивает святая Ирина?

Я, как бы почувствовав что-то странное, сказал:

— Да, помню.

Я действительно помнил эту картину: четыре женские фигуры, склоненные над телом обнаженного мужчины, пронзенного стрелою,— в темноте ночи, освещенные только одинокой свечой.

— Вы помните, в какой неудобной позе лежит на земле Себастьян? Его положение так неестественно... И эта неестественность так мучительна... Вы помните?.. Теперь... теперь на моей репродукции это не так... Я вытащила стрелу из тела Себастьяна! Вот она!

Дрожащими от волнения руками Мелеке-ханум торопливо открыла свою дорожную сумку и достала оттуда стрелу сантиметров в десять. Это была хотя и маленькая, но настоящая стрела. Стрела, вынутая из тела святого Себастьяна,— я почувствовал ее подлинность всем своим существом!

— Я тоже страдала, как и вы. С тех пор как я увидела репродукцию этой картины, я не находила себе места. Я... Скорченное в муке тело Себастьяна все время стояло у меня перед глазами. Однажды ночью я встала с постели и, сама не знаю как, взяла в руки эту репродукцию и вытащила стрелу... Теперь на моей репродукции Себастьян не так измучен, и тело его не так скорчено в муке, нет даже следа от стрелы... Я до сих пор тоже никому не рассказывала об этом. А стрелу эту я всегда ношу с собой. Боюсь, увидит муж, а я не смогу ему объяснить так, чтобы он поверил. И выбросить стрелу не

могу,— мне кажется, я предам тогда что-то самое высокое, самое святое в моей жизни...

Мелеке-ханум положила стрелу в сумку и, взволнованная, вышла из купе.

Я же был спокоен, у меня не стучало сердце, не темнело в глазах, не выступал холодный пот, только голова у меня раскалывалась; мне казалось, что она сейчас разлетится на куски.

Почему нам кажется, что лучший собеседник, самый близкий и родной человек — это мы сами?

Почему Мелеке-ханум носит с собой эту стрелу, боится, что муж увидит, а она не сможет ему объяснить, почему? Может быть, с ним произошел такой же невероятный случай и он тоже никому о нем не рассказывает?

Пройдут дни, месяцы, годы, Мелеке-ханум надоест таскать с собой эту стрелу, она выкинет ее в мусорный ящик. Она совершит предательство, потому что она никому не может ее показать. Почему?

Я не знаю, скоро ли Мелеке-ханум вернулась в купе, потому что я поднялся на свою верхнюю полку и впервые после долгого времени заснул сном праведника.

ИЗМЕНЕНИЕ

Наш дом походит на корабль,
В такие дни...
а комната — на каюту.

Фикрет Садыг

Конечно, об этом странном происшествии можно было бы и не писать — настолько оно невероятно. Но разве не знаменательна большая странность сама по себе? Иногда нам кажется, что дни наши текут уж очень обыкновенно, нет никакой разницы между вчера и сегодня, а на самом деле только это предположение и делает их похожими, и мы почему-то не торопимся его опровергать.

Если вы помните, вечером 6 апреля 1968 года в Баку хлынул ливень, хотя днем погода была очень ясная и теплая, весенняя. Некоторым этот день запомнился потому, что незадолго до дождя закончился второй тур тридцатого первенства страны по футболу, и «Нефтчи» в игре с «Черноморцем» провел в ворота команды одесситов четыре безответных мяча.

К сожалению, двадцативосьмилетний композитор С. Гайыблы не был футбольным болельщиком, к сожалению — потому что царившая в этот день в среде болельщиков радостная атмосфера больших надежд нисколько на него не подействовала, а вот сильный дождь, пошедший не ко времени, почему-то повергнуть его в уныние.

Молодой композитор С. Гайыблы, проснувшись в этот день утром, и не предполагал, что вечером и особенно ночью того же дня он будет в таком подавленном настроении. Впрочем, это не было для него таким уж сюрпризом. По-видимому, на людей, считающих себя одинокими, резкие изменения погоды влияют больше, чем на супружеские пары.

В шестнадцатиметровой квартире С. Гайыблы, что в новом семиэтажном доме на углу улиц В. и С., не было пианино, и каждый раз, когда хотелось поработать, он был вынужден идти в клуб маляров и садиться за инструмент, сиротливо стоящий за перегородкой. Клуб маляров находился на улице Хагани, и расстояние между ним и домом, где жил С. Гайыблы, то равнялось расстоянию от Земли до Луны или еще больше — двум-трем световым годам, то одному мигу,— это зависело от желания С. Гайыблы работать. А желание работать, как известно, зависит от целого ряда причин — мы не будем их перечислять,— хотя и говорят, что работать можно всюду и всегда.

С. Гайыблы занимал должность в клубе маляров: он был руководителем коллектива художественной самодеятельности и раз в неделю, по вторникам, занимался с малярами, то есть раз в неделю, во вторник, он бывал в еще более подавленном настроении, потому что там был такой заместитель заведующего клубом, который не давал ему дышать. Он говорил: «Слушай, дорогой, ну что ты там сочиняешь? Иногда по радио передают: драм-ба-ба-бам, драм-баба, бам,— где же плач нашей кеманчи, где стоны нашего тара, где гром нашего нагара?» Много чего еще он говорил, да притом с таким жаром! Старался, чтобы коллектив самодеятельности маляров не подпал под вредное влияние приверженцев моды без роду без племени, а таковым в его глазах и был молодой композитор С. Гайыблы.

И поэтому для творческих занятий С. Гайыблы обычно приходил в клуб поздно вечером, когда там уже никого не было, кроме сторожа. Этот сторож был заядлый

курильщик, каждый раз он просил у С. Гайыблы одну сигарету при встрече, а другую при прощании — как закон.

В этот день по дороге в клуб С. Гайыблы вдруг подумал, что у сторожа, конечно, всегда есть что курить; сигарету же, полученную от него, сторож считает своей законной добычей, а по какому, спрашивается, праву? Когда он, поздоровавшись, вошел внутрь и сторож, как обычно, попросил у него сигарету, С. Гайыблы в ответ развел руками. Сторож как будто не поверил своим глазам, он улыбнулся и высказался в том смысле, что очень хочется закурить. Тогда С. Гайыблы сказал, что сигарет у него нет, потом достал из кармана пачку «Авроры», неторопливо закурил и поднялся по лестнице, сам немало удивляясь своему поведению.

Он сел за пианино, но даже не поднял крышку. Уставился в потолок, докурил сигарету до конца. Ему захотелось вдруг, чтобы сейчас он вот так же сидел в самолете, летел под облаками, потом над облаками, потом разбился бы самолет...

Конечно, он мог бы сейчас заставить себя побренчать на пианино, но он никогда не заставлял себя работать насильно, хотя бы потому, что из этого никогда ничего путного не получалось.

Молодой композитор С. Гайыблы снова закурил и принялся шагать взад-вперед за перегородкой; странно, в одну сторону оказалось двадцать три шага, обратно — тридцать один, хотя шаги вроде бы одинаковые. Вообще весь этот день его преследовали странности. Утром, едва проснувшись, он побежал в газетный киоск на углу, купил заказанный им еще вчера номер «Бакинского рабочего», быстро поднялся в комнату и достал из ящика стола тринадцать лотерейных билетов. Он специально купил чертову дюжину, пытаясь уверить себя, что далек от всяческих предрассудков, хотя это само по себе тоже было предрассудком. Он внимательно проверил билеты, как обычно, ничего не выиграл, разорвал все тринадцать штук и выбросил в мусорное ведро на кухне. Он совершенно точно помнил, что разорвал лотерейные билеты и выбросил их в мусорное ведро на кухне. Потом он позавтракал и вышел в город. В полдень зашел в издательство «Азернешр» — там печатали его первую книжку, состоявшую из трех миниатюрных фортепианных пьес,— потом, проходя мимо нового универ-

мага, вспомнил, что надо купить аэрозоль,— кажется, у него появились клопы. Он полез в нагрудный карман, чтобы достать бумажник и посмотреть, сможет ли он сегодня купить аэрозоль. В бумажнике лежали... тринадцать новеньких лотерейных билетов... Он вытащил их — они были такие новенькие, хрустящие, как будто до них еще никто не дотрагивался. Это напоминало ему лампу Аладдина. В детстве, да и в студенческие годы эта лампа иногда ему снилась.

С. Гайыблы вошел в центральную сберегательную кассу номер 3538, около нового универмага, и вспомнил вдруг старую, видавшую виды рекламу, висевшую в свое время на здании напротив консерватории:

Граждане, храните деньги
в сберегательной кассе.
Это надежно, выгодно, удобно.

А как можно хранить то, чего нет? Об этом реклама молчала.

Он поднялся по лестнице, подошел к висевшей на стене таблице выигрышей. Снова проверил свои лотерейные билеты. Билет серии 13910 номер 191 выиграл один рубль; если бы номер был на две цифры больше, он выиграл бы золотые наручные часы «Луч». Конечно, сто шестьдесят рублей были бы более кстати, но ничего не поделаешь. Он пошел и получил в кассе свой рубль. Краешек у этого рубля был надорван и подклеен папиросной бумагой. Он положил его в карман и вышел не из сберегательной кассы, а из касы [1] (в детстве у него был друг, он говорил: есть каса — чаша с бозбашем [2], а есть сберегательная касса, но каса — всегда лучше).

И опять в одну сторону — двадцать три шага, а обратно — тридцать один.

Он в последний раз посмотрел на пианино и спустился вниз. Проходя мимо сторожа, он услышал вместо обычной просьбы о папиросе жалобные слова о том, что все его обижают и даже издеваются, а ведь сторож тоже человек.

Шел такой сильный дождь, просто кошмар!

Молодой композитор С. Гайыблы, подняв воротник

---

[1] Каса — чаша.
[2] Бозбаш — национальное блюдо.

пиджака, поспешил домой, пробираясь вдоль стен зданий; какая бы ни была погода, он никогда не ездил ни в троллейбусе, ни в трамвае, ни в автобусе; это был как бы протест против монотонности — тот же маршрут, те же остановки, хотя сам этот протест, в свою очередь, стал тоже монотонным.

Квартира у С. Гайыблы была угловая, а в такие вот дождливые, ветреные вечера, особенно же ночи, завывания ветра казались еще более несносными, чем на улице. Над С. Гайыблы на седьмом этаже жил молодой поэт Фархад Хошбахт [1]. У него была такая же однокомнатная квартира, как у С. Гайыблы, только он еще был главой семейства, и поэтому С. Гайыблы про себя называл его не Фархад Хошбахт, а Фархад Бедбахт [2]; он называл его так вовсе не потому, что он был плохой поэт,— Фархад Бедбахт был отличный поэт. Да, так вот, этот Фархад Бедбахт называл свою комнату каютой, и теперь С. Гайыблы на всех парах мчался в свою каюту.

Все в комнате было как обычно: тот же радиоприемник марки «Ригонда», те же фотографии У. Гаджибекова и И. Стравинского на стене, те же окно и балконная дверь.

Радио рассказывало детям сказку, а в конце пожелало им сладкого сна. Потом начался концерт; какой-то новый певец пел «Земинхара» из «Шур» [3]. С. Гайыблы выключил радио.

Дождь хлестал в окно, вода пробивалась сквозь щели в рамах и капала на паркет. Фархад Хошбахт, нет, Фархад Бедбахт напихал между рамами ваты и советовал С. Гайыблы сделать то же самое.

Ветер на улице завывал так, что казалось, еще немного — и полная тарелка гогала [4] упадет со стола. Гогал прислала ему из деревни мать к новруз-байраму; теперь все превратилось в сухари. Было бы неплохо, если бы разбилась тарелка, и тогда он выбросил бы этот гогал,— до каких пор он будет стоять на столе?

И вообще между рамами ничего класть не надо, а вот уши ватой заложить не мешало бы.

Над головой слышались звуки шагов Фархада Бед-

---

[1] Хошбахт — счастливый.
[2] Бедбахт — несчастный.
[3] «Шур» — азербайджанский мугам, народное пение.
[4] Гогал — колобок.

бахта; вот громила, ведь стены дрожат — такой здоровый парень. Ну и что, все равно он Фархад Бедбахт, а не Фархад Хошбахт. Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Надо было еще, как обычно, сварить кофе и выпить его без сахара, и тогда все будет как всегда, и те же мысли придут в голову, хочет он этого или нет.

Поеживаясь от холода, он прошел на кухню, зажег газ, поставил чайник,— воду С. Гайыблы наливал утром, когда она шла.

«Надо же, какая холодная стоит весна»,— подумал С. Гайыблы и посмотрел на пол, покрытый линолеумом цвета кофе. Возле мусорного ящика лежал... разорванный лотерейный билет.

Молодой композитор С. Гайыблы нагнулся, поднял лотерейный билет с пола, потом ногой открыл шкафчик под раковиной: все остальные лотерейные билеты, разорванные пополам, лежали в мусорном ведре. Потом он прошел за перегородку и из внутреннего кармана пиджака достал бумажник: рубль с подклеенным краешком лежал там.

У него пропала всякая охота пить свой традиционный кофе без сахара, и он, вопреки обыкновению, потушил газ под чайником.

Снова стены задрожали от шагов Фархада Бедбахта; он тоже прошел из комнаты на кухню, потом начал что-то колотить, бог знает что он там мастерил. У Фархада Бедбахта все время возникали какие-то фантастические планы: то он собирался использовать под комнату часть лестничной площадки, то вознамерился превратить балкон в детскую, то хотел в потолке комнаты пробить люк на чердак, поставить лестницу и там, на чердаке, сделать себе еще одну комнату. Но все эти планы оставались планами, и молодой композитор С. Гайыблы прекрасно знал, что так оно всегда и будет, потому что, если бы это было не так, Фархад Хошбахт не был бы Фархадом Бедбахтом. Так подумал С. Гайыблы и вышел на балкон. Во всем доме только его балкон был пуст и свободен; там не было ни пустых бутылок, ни раскладушки, ни петуха или курицы, привязанных за ногу к железным завитушкам балконной ограды; ни веревки для сушки белья,— в общем, абсолютно ничего. Беспредметность, пустота.

Закурив сигарету, С. Гайыблы облокотился на пе-

рила. Дождь был очень сильный, и, если бы над его балконом не было балкона Фархада Бедбахта, его бы унесло потоком воды, но и дождь этот, и вся эта картина были чересчур обычными, и вид большого черного каменного здания, составляющий две трети панорамы, открывающейся с балкона, и серые силуэты одинаковых зданий, вновь отстроенных в верхней части города, и мелкие домишки, и старая мечеть, в которой размещалась мастерская по ремонту обуви.

И так же, как обычно, приподняв занавеску, смотрела на балкон С. Гайыблы девушка, жившая напротив, на третьем этаже большого кирпичного дома. Это тоже был один из примеров проявления монотонности этой ночи, как и звуки шагов Фархада Бедбахта. Потом девушка опустила занавеску, будто застеснялась, как всегда. Вот уже ровно два года она так стесняется, и ничего не происходит. Через десять минут она снова приподнимет занавеску и уставится на балкон С. Гайыблы.

С. Гайыблы выбросил сигарету, прошел в комнату, лег на диван и посмотрел на четвертую страницу купленного утром «Бакинского рабочего»: под лотерейной таблицей было сообщение о погоде; там было написано, что вечером ожидается умеренный северный ветер, температура воздуха будет плюс пятнадцать-шестнадцать градусов. Подобные противоречия уже не производили на него никакого впечатления, потому что они стали таким же обычным явлением, как и противоречия между псевдонимом Фархада Хошбахта и его жизнью.

Отбросив газету, он уставился в потолок, но почему-то перед его взором появился манящий к себе тротуар. На тротуар, например, можно упасть с балкона вниз головой, и, падая, можно громко закричать, а можно и не кричать, а так и падать все время, заглатывая, как Пантагрюэль, эту монотонную ночь. С. Гайыблы встал: понял, что ему надо убежать из этой комнаты, необходимо выйти в город и еще раз как следует промокнуть под дождем.

В этот момент и случилось то необыкновенное, странное происшествие, которое сделало эту ночь самой значительной в жизни молодого композитора С. Гайыблы.

У С. Гайыблы был знаменитый пиджак, сшитый несколько лет назад из желтого вельвета. Знаменитый потому, что он надевал его постоянно — и зимой и летом; удивительно, что сам С. Гайыблы терпеть его не мог,

и ему было что носить, кроме этого желтого пиджака с золотым оттенком; вот совсем недавно он сшил себе хороший бостоновый костюм и сегодня даже надевал его, когда ходил в «Азернешр»; редактор, ужасно грозная женщина, позавчера так уничтожающе посмотрела на его желтый вельветовый пиджак, что С. Гайыблы дал себе слово не показываться ей на глаза в этом пиджаке; этот желтый пиджак не сходил с его плеч потому, что давно уже стал как бы символом всей его жизни, символом абсолютной монотонности.

С. Гайыблы достал из шкафа свой желтый пиджак и быстро надел его, чтобы наконец выбежать из комнаты. Он потушил в комнате свет, прошел за перегородку и в недоумении остановился перед зеркалом: на нем был не тот знаменитый желтый пиджак с золотистым оттенком, на нем был... другой пиджак. Оторвав свой взгляд от изображения в зеркале, он посмотрел на себя, отвернул полу пиджака и впился в нее глазами: в жизни у него не было вещи такого цвета — на нем был зеленый пиджак. Он вошел в комнату, зажег свет и открыл шкаф: вешалка, с которой он только что снял свой желтый пиджак, была пуста и еще качалась. С. Гайыблы снял с себя странную зеленую вещь, и... в руках его снова оказался знаменитый желтый вельветовый пиджак с золотистым оттенком.

В холодном поту молодой композитор С. Гайыблы несколько минут смотрел на желтый пиджак и, подойдя к зеркалу, осторожно, медленно надел его на себя. По мере того как он натягивал на себя пиджак, цвет последнего менялся прямо на глазах: теперь он был темно-синий в тоненькую белую полоску.

С. Гайыблы протер зеркало и покачал головой, потом вошел в кухню, посмотрел на пиджак в кухонном освещении, потом в ванной комнате: это был темно-синий пиджак в полоску. У молодого композитора С. Гайыблы никогда не было такого пиджака. Он снова подошел к зеркалу, снял пиджак, и тот на его глазах изменил свой цвет и превратился в желтый вельветовый, какой и был у него всегда.

С. Гайыблы вернулся в комнату, повесил желтый пиджак в шкаф и присел на диван. Голова у него кружилась, руки немного дрожали. Потом он пошел на кухню, наклонился над умывальником и пустил воду себе на голову. Постояв так, он выпрямился, повесил, не вы-

тираясь, полотенце на шею и пошел в комнату. Там он сел на диван, закурил сигарету и выкурил ее до конца. Он хотел сосредоточиться на том, что было абсолютно реально: он сам, и сигарета в его руке, и все. Он встал, вытер лицо, шею, голову, отбросил полотенце, открыл шкаф, достал свой желтый пиджак и в мгновение ока надел его на себя, и в мгновение же ока пиджак изменился: он превратился в очень красивый пиджак из какого-то странного материала серого цвета в зеленоватую искорку.

С. Гайыблы подошел к зеркалу. Пиджак был так красив, что молодой композитор С. Гайыблы пришел в ужас. Он вздрогнул от звука дверного звонка и хотел снять пиджак прежде, чем открыть дверь, но не смог этого сделать: пиджак словно прилип к телу, а пуговицы, подобно волшебным, застегивались сами, как только он доходил до последней. Снова раздался звонок, и С. Гайыблы открыл дверь. Это был Фархад Бедбахт; он поздоровался и спросил, нет ли у него парочки гвоздей. Потом, посмотрев на пиджак, сказал:

— Поздравляю, чудный пиджак, только зачем он тебе, ведь ты все равно из желтого не вылезаешь? — Потом он спросил: — Что с тобой, почему так странно смотришь?

С. Гайыблы пробормотал что-то невнятное, потом нашел на кухне несколько ржавых гвоздей, вынес их Фархаду Бедбахту, и Фархад Бедбахт поднялся наверх — в свою каюту.

С. Гайыблы закрыл за ним дверь и снова попытался снять с себя пиджак. Чего только он ни делал — даже извивался как уж, пытаясь выползти из пиджака, но все было напрасно. И тогда, даже не выключив свет, он убежал из своей каюты на шестом этаже. Когда щелкнул автоматический замок его двери, он был уже на улице — так быстро он спустился по лестнице.

Дождь уже перестал, но ветер по-прежнему завывал на опустевших улицах. Никогда еще бакинские улицы не были так пустынны и безлюдны, как в эту ночь.

Молодой композитор С. Гайыблы шел куда глаза глядят.

В подъезде одного из домов он, спрятавшись от ветра, закурил сигарету, и вдруг до него дошло, что эту сигарету и эти спички положил в карман проклятого пид-

жака сторож клуба — долг вернул. И С. Гайыблы, не особенно удивившись этому, побрел дальше.

Кто-то крикнул ему:

— Эй, товарищ, осторожнее, смотри себе под ноги, куда ты лезешь?

С. Гайыблы вздрогнул и только теперь увидел, что находится в каком-то садике, в таком уютном месте перед костерком: он чуть не наступил на огонь. Он не мог сообразить, что это за сад. Возможно, это был приморский парк, потому что к вою ветра примешивался еще и шум моря.

Окликавший молодого композитора С. Гайыблы мужчина, вероятно, и затеплил этот огонек. Мужчина был сильно заросший, на плечи накинут старый ватник. Может быть, это был сторож в приморском парке, может, просто бродяга какой-нибудь. Он сидел на корточках у костра с прутиком в руке, на конце прутика торчала сосиска, которую он поджаривал на костре.

Этот внезапный свет и внезапное тепло несказанно удивили С. Гайыблы.

Мужчина, сидевший на корточках у костра и жаривший сосиску, сказал ему:

— Что это ты так мчишься в такую непогоду, будто тебя кто сзади настегивает, чуть не раскидал мой костер? — Потом он сказал: — А может, и вправду тебя стегают, человека не всегда стегает кто-нибудь другой, иногда он сам себя бьет.— Потом он глубоко вдохнул запах жарившейся сосиски и сказал: — Стегают тебя или не стегают, не имеет значения, вот присаживайся, грейся, будь гостем, у меня и выпить есть.

Молодой композитор С. Гайыблы присел на корточки у костра и протянул руки к огню. Он ощущал странную, какую-то теплую свободу, а что это такое — он и сам понять не мог.

Он вынул сигарету, предложил закурить также и мужчине, жарившему сосиски. Мужчина сказал:

— У меня свои,— потом достал из бокового кармана одну сигарету «Памир» и старый, изъеденный мундштук, воткнул в него сигарету и закурил.

С. Гайыблы почему-то вдруг кинул свою сигарету в огонь и стал смотреть, как она горит. Она сгорела и превратилась в пепел, эта сигарета,— доля того самого сторожа из клуба маляров.

Мужчина в телогрейке снова потянул носом запах жарившейся сосиски, сказал:

— Пах, пах, пах...— Потом поднял голову, посмотрел на темное небо, послушал несколько мгновений ветер и море, затянулся сигаретой и, не вынимая мундштука изо рта, сказал: — Хорошо!

Очень от души он это сказал. С. Гайыблы спросил:

— Что?

Мужчина слегка прищурил глаза, посмотрел на него, как бы говоря: «Ах ты дубина бесчувственная...» Потом сказал:

— Вот эта ночь, этот костер, этот шашлык...

...Когда С. Гайыблы вернулся в свою каюту, было уже очень поздно. Медленно поднялся он по лестнице, открыл дверь, вошел в переднюю, зажег свет. Постоял немного, потом снял пиджак; пиджак снялся как обыкновенный и остался таким же, каким был на нем,— красивый серый пиджак в зеленоватую искорку. С. Гайыблы еще немного посмотрел на него, потом быстро вошел в комнату, открыл шкаф: знаменитый желтый вельветовый пиджак с золотым отливом висел на вешалке.

Молодой композитор С. Гайыблы понял, что это — предложение сделать наконец выбор.

Он снял с вешалки свой желтый пиджак, повесил на его место красивый серый пиджак и закрыл шкаф. Он проделал эти операции так спокойно, что сам удивился.

Потом он отнес свой желтый пиджак на кухню, открыл шкафчик под раковиной и сунул в ведро поверх обрывков лотерейных билетов этот знаменитый желтый вельветовый пиджак, достал ведро, быстрыми шагами спустился вниз и высыпал его содержимое в один из дворовых мусорных ящиков.

Кошки, ожидавшие, когда он уйдет, кинулись к ящику, надеясь найти что-нибудь для себя хорошее.

Молодой композитор С. Гайыблы поставил ведро на место, потом для верности еще раз открыл шкаф: красивый серый пиджак висел на месте.

Поэт наверху тоже уже, кажется, лег — шагов не было слышно. И ветер, кажется, прекратился. И дождь кончился уже давно. А свет в окне девушки напротив еще горел. Странная какая-то девушка. Интересная.

С. Гайыблы лег на диван и, против обыкновения, сразу уснул.

Молодой композитор С. Гайыблы потом никому не

рассказывал об этом происшествии,— он знал, что никто ему не поверит. Про свой знаменитый желтый пиджак он рассказывал, что продал его старьевщику. Целый час торговались, а этот бессовестный все равно больше тридцати копеек не дал. «Сколько, сколько?» — переспрашивали друзья. И хохотали.

КРАСНЫЙ МЕДВЕЖОНОК

Рахману Бадалову

Дж. Салимов работал инженером на судоремонтном заводе, и вот сегодня он снова задержался после работы часа на полтора, просмотрел кое-какие чертежи и подумал немного. Потом он долго глядел на приколотую к стене футбольную таблицу: интересно, войдет «Нефтчи» в восьмерку сильнейших команд или нет?

Выйдя из заводских ворот, он сел на троллейбус и вышел прямо у своего дома на улице Низами; сначала ключом открыл дверь и уже после этого, нажав на кнопку звонка, вошел в квартиру.

Звонок этот прозвучал так странно, так неестественно, что Дж. Салимов и сам удивился; удивился как будто и этот темный коридор, и этот вобравший в себя годичную пыль диван, и кресла, и этот платяной шкаф, и книжные полки, и эти панельные стены, казалось, застыли в изумлении, и даже как будто вздрогнул сидящий в кресле большой красный медвежонок, казалось, что и Лейла сейчас закричит: «Папа пришел, откройте дверь!»

Этот красный медвежонок может вздрогнуть и даже подпрыгнуть, но Лейла уже здесь не закричит: «Откройте дверь, папа пришел!»

Без Лейлы нет для него жизни — без сомнения, это ложь; вот нет Лейлы, а он живет; Лейлы нет, а вся эта мебель стоит на месте, и телевизор можно включить, и радио передает последние известия, и на улице так же шумят машины, холодильник на кухне так же работает, а то стоит тихо, и этот красный медвежонок все в той же позе, с той же улыбкой сидит в кресле, только не тикают часы на стене.

Дж. Салимов закурил сигарету, потом завел настенные часы. Они показывали без десяти три, а на самом

деле был уже восьмой час, вечер, но он не перевел стрелки, ведь это не имело никакого значения.

Часы затикали, но и это тиканье было каким-то вялым, безжизненным, как и все эти вещи, как этот красный медвежонок.

Вдруг Дж. Салимова прошиб холодный пот, по телу побежали мурашки, ему вдруг показалось, что Лейла умерла. Потом он вышел на кухню, вода опять не шла, он налил себе из чайника, умылся.

В кухне на стене висел календарь, на листке было обозначено шестнадцатое мая, на картоне позади календаря — портрет Бетховена; он совсем пожелтел, как будто это лист ореха и сейчас конец осени.

Сегодня было одиннадцатое июля.

Шафига, забрав с собой Лейлу, ушла из этого дома двадцать второго марта; апрель, май, июнь — три месяца и одиннадцать дней; три месяца одиннадцать дней и там девять — итого, три месяца и двадцать дней, как они ушли; а сколько пройдет лет с тех пор, как они ушли, до смерти Дж. Салимова: десять, двадцать или сколько там,— это не имеет значения; он без Шафиги, без Лейлы, и так будет всегда, и эти две комнаты умерли, и все вещи, и никогда они не оживут, потому что умер и сам Дж. Салимов и никогда уже не воскреснет, потому что это не имеет смысла, не имеет никакого смысла.

Это был день новруз-байрама. Да, ушли они в день новруз-байрама.

Лейла вырастет, выйдет замуж, может быть, будет счастлива — без него.

И Шафига станет бабушкой, постареет, поседеет — без него.

Вернувшись в комнату, он открыл окно на улицу, высунулся в окно, и вдруг ему представилось, что вот сейчас по этой улице пройдет похоронная процессия. Рядом в окне показалась голова артиста, живущего по соседству. Увидев Дж. Салимова, он, как обычно, улыбнулся криво и поздоровался: «Добрый вечер, сосед».

Затем Дж. Салимов сел на диван и посмотрел на красного медвежонка: «Добрый вечер, сосед».

Вот бы случилось сейчас чудо: встал бы этот красный медвежонок с места и крутнул бы сальто.

Чудеса бывают только в сказках.

Лейла тоже это понимала, хотя и говорила: «Неправ-



да, чудеса бывают не только в сказках, я сама видела по телевизору, как птичка превратилась в человека».

И еще Лейла говорила, что медведь — это не медведь, потому что в зоопарке он не красный, а медведь должен быть красный, как мой медвежонок.

Этого красного медвежонка подарил Лейле в прошлом году, когда ей исполнилось четыре года, ее дедушка, отец Шафиги, Мамед-киши. Позавчера он приходил сюда, все посматривал на этого медвежонка, но постес-



нялся попросить: наверно, Лейла каждый день дергает его: «Где мой красный медвежонок?»

И сейчас Дж. Салимову был невыносим самый вид этого медвежонка, обычное выражение его мордочки, его привычная поза, потому что этот красный медвежонок всегда был с Лейлой, он улыбался ей, и с ней он играл: это был самый близкий друг Лейлы.

Конечно, Дж. Салимов мог выкинуть этого красного медвежонка, но тогда уже и в самом деле было бы все кончено.

А разве сейчас не все кончено?

Позавчера он так и сказал Мамеду-киши. Мамед пришел к нему как бы без ведома Шафиги, он говорил: «Бросьте вы это, хватит, наконец; пойдем,— говорил он,— к Шафиге, или хотя бы позвони, все будет в порядке». Но он сказал: «Нет, отныне все кончено». Может, и правда Мамед-киши пришел без ведома Шафиги, вполне может быть, он хороший старик, Мамед-киши. Он говорил: «Не упрямься...»

Что означает это слово — упрямство? Может быть, так называется чувство собственного достоинства? Если это и есть упрямство, то да здравствует упрямство.

Жить без Лейлы можно, вот так, пусть даже среди этих мертвых вещей, и без Шафиги можно прожить, но без собственного «я» — пусть другой кто-нибудь попробует, только не Дж. Салимов, потому что он уже пробовал — ничего не получилось.

Сосед-артист снова начал стучать в стенку. Зимой он говорил: ковры прибиваю,— это в час ночи; а летом, в эту жару, что он прибивает, интересно?

Дж. Салимов вспотел; он встал, снял рубашку — хоть выжми; теперь он может ее выжать и повесить на веревку на балконе, совсем как в свою холостяцкую пору.

Холостая жизнь — блаженство, но не после женитьбы.

Вот так пошути, подурачься, почитай немного, посмотри телевизор, послушай радио, вспомни о заводе, а потом усни, потом встань рано утром, пойди на работу, и снова все сначала.

И до каких пор?

Не переживай, пошути еще немного, тебе надо отвлечься, и не так уж душно в этой квартире, брось свою сигарету, смотри, вот сейчас этот красный медвежонок вскочит и начнет кувыркаться, а нет — так помоги ему, сам покрути его на ковре, какая разница; и успокойся ты наконец, хватит себя растравлять: что, в конце концов, произошло, дело обычное, не ты первый, не ты последний.

Дж. Салимов снова подошел к окну — те же крыши, те же трубы, те же деревья, тот же зной; это однообразие убивало его, и началось это после ухода Шафиги. Артист тоже высунул голову, улыбнулся. Дж. Салимов спросил его: «Что случилось, в чем дело?» — «Что-что?» — переспросил артист. «Я говорю, в чем дело, что случилось, что-нибудь забавное произошло — так скажите, мы тоже посмеемся»,— сказал Дж. Салимов. Артист

мгновенно посерьезнел, даже покраснел, кажется,— вечер уже, не разберешь,— потом спросил: «Вы читали произведения Бедира Бедирли?» — «Нет,— ответил Дж. Салимов,— не читал, а что, смешная книжка?» Артист сказал: «Ужасно, там о том, как влияет разрушение семьи на нервную систему человека».— «На вашем месте,— сказал Дж. Салимов,— вместо того чтобы читать Бедира Бедирли, я попросил бы себе роль Иуды Искариота».

Дж. Салимов потушил сигарету в пепельнице и сел на диван. Были бы у него длинные руки, протянул бы их и хорошенько надрал соседу уши.

Вот такие дела.

Вдруг ему показалось, что кто-то пристально смотрит на него сзади, кто-то уставился ему в затылок; даже шея у него заболела от этого взгляда, но он не обернулся, он знал, кто это, вернее, что это,— это телефон, телефон на маленькой подставке. Номер Мамеда-киши 92-75-34; и Шафига, и Лейла были там, по номеру 92-75-34.

Тут он посмотрел на красного медвежонка и сразу закрыл глаза рукой: ему показалось, что вот сейчас этот красный медвежонок схватит его за руку и потянет к телефону, снимет трубку и наберет номер 92-75-34; потом всучит ему трубку и заставит говорить, как палач, весь в красном.

Но почему как палач?

Лейла сейчас ждет своего красного медвежонка там — по 92-75-34, там она ждет свои сказки, там она смеется и плачет, улыбается и сердится; и Шафига там, она не смеется, Шафига, постарела в свои тридцать лет.

Почему же как палач?

Артист снова начал стучать в стену. Зимой говорит: «Ковер прибиваю к стенке». А что он сейчас прибивает? Такой что хочешь прибьет.

Все мы из стекла, только не все знают об этом, большинство из нас не знает, что все мы из стекла, но мы из стекла, и когда мы разбиваемся вдребезги, это тоже не все чувствуют, а после этого мы вновь склеиваемся в одно целое, и большинство из нас не замечает пятен клея и грубых швов.

Ну хватит философствовать, давно известно, что в этом мало толку, и нет никаких палачей, и этот красный медвежонок навсегда останется в кресле, чудеса бывают

только в сказках и еще по телевизору, когда птица превращается в человека.

Дж. Салимов встал, пошел на кухню, полил себе из чайника и умылся. Календарь опять показывал, что сегодня шестнадцатое мая. Он начал отрывать дни один за другим: это 17-е, это 18-е, 19-е, 20-е, 21-е, все на одно лицо — 22-е, 23-е, ну и что же, какое это имеет значение, ну какая разница, что сегодня не шестнадцатое или двадцать третье мая, а одиннадцатое июля? И сколько времени будет безумствовать тишина, до каких пор будет продолжаться эта душная ночь, это одиночество телепередач и радиопрограмм, однообразие шума проносящихся по улицам машин, это безразличное тиканье часов, эта неразличимость дней календаря; до каких пор вот так и будет сидеть этот красный медвежонок?

До конца.

Дж. Салимов вышел на балкон. Раньше это желтое здание напротив не было таким поблекшим, этот черный каменный дом не выглядел так мрачно, а грязь, пыль и грохот бульдозеров на соседней стройке не сжимали так сердце. И раньше росли цветы на балконе напротив, но раньше балкон этот не был катафалком, и виноградная лоза не казалась такой высохшей и бесплодной, и милиционер на перекрестке не суетился так, и этот старик в очках, глядящий с балкона на улицу, не выглядел таким убогим; раньше, сто лет назад, не было этой страшной серости вокруг; тогда на этом балконе смеялась Лейла, тогда эти комнаты даже пахли по-другому.

Но ведь все равно этот смех не вечен, и запах этот тоже не навсегда; ну, десять лет продолжался бы этот смех, десять лет держался бы этот запах, ну, двадцать, тридцать, пусть сорок лет, ну, пусть пятьдесят, а потом?

И что же это такое — он все время помнит тот смех, тот запах, почему он робеет перед этим красным медвежонком, почему он постоянно ощущает на себе взгляд телефона?

Вот такие дела, товарищ инженер, уважаемый Дж. Салимов. Досрочное выполнение плана на заводе — это еще не все, и страдания из-за «Нефтчи» тоже еще не все. Ну что же ты, подними свою драгоценную голову, и посмотри на синее небо, и выбрось из головы все эти мысли, а еще лучше — войди в комнату, включи радио, пусть играет музыка, а ты потанцуй хорошенько сам с

собой, пропотей как следует, пусть, как простуда, уйдут от тебя эти неприятности.

Отлично, здорово ты подшучиваешь над собой, очень солоно, очень смешно, так что надо защекотать себя до полусмерти, чтобы рассмеяться.

Какие никчемные мысли, какое убожество!

Потом настенные часы пробили четыре, значит, был уже десятый час.

Дж. Салимов вошел в комнату, потушил свет и лег на диван; уснуть и утром пойти на работу, потом вернуться домой, снова сидеть лицом к лицу с этим красным медвежонком, потом снова уснуть и снова утром пойти на работу.

Вдруг ему показалось, будто что-то изменилось, послышался какой-то новый звук — наверно, это комар, он зазвенел, потом умолк, может, в окно вылетел.

Надо аквариум купить и рыбок накупить разных — пусть себе плавают день и ночь.

Или соловья в клетке.

Холодильник на кухне снова зашумел. Скоро перестанет, а потом опять зашумит.

Артист успокоился или, может, другую стену колотит. Зимой спрашиваешь, говорит: «Ковер к стене прибиваю»; интересно, а в эту духоту что он делает?

Потом все мысли исчезли, но и уснуть он не мог.

Через некоторое время ему показалось, что он заснул, что не надо раздеваться, идти в спальню; ему показалось, что он так и проспит до утра. Вдруг он вскочил, он и сам не заметил, как очутился на ногах; стремительно направился к входной двери, открыл ее и нажал кнопку своего же звонка; снова будто в изумлении застыли панельные стены, а темные комнаты словно ожили на миг, но, как только Дж. Салимов зажег свет, он сразу же увидел по-прежнему сидящего в кресле красного медвежонка.

Вдруг Дж. Салимов ощутил в себе небывалую, никогда не проявлявшуюся ранее решимость — он схватил красного медвежонка за его ватную лапу, кинул в платяной шкаф в гущу тряпья и закрыл дверцу шкафа на ключ.

Он хорошо помнил, что бросил красную игрушку — медвежонка внутрь шкафа и закрыл дверцу на ключ; когда потом он рассказывал эту удивительную историю Шафиге, это он подчеркивал особо; историю эту он рас-

сказал только Шафиге, потому что никто, кроме Шафиги, ему бы не поверил.

Он погасил свет и снова улегся на диване. Однако эта ужасающая решимость не оставляла его, она сотрясала все его существо!

Нет! Нет! Нет! Так больше продолжаться не может. Нужно со всем покончить. Раз и навсегда. Раз и навсегда! Нужно уехать. Уехать отсюда совсем. В другой город, в другое место. Работа везде найдется. Чтоб ему провалиться, этому дому!

Прямо сегодня надо уехать, сейчас, сию минуту.

Далеко, очень далеко.

Дж. Салимов вскочил, сам не заметил, как закурил сигарету, как собрал в портфель все, что подвернулось под руку, вышел из комнаты, захлопнул за собой дверь и быстро спустился по лестнице.

Он не сел в машину, сразу большими шагами пошел к вокзалу и взял билет до какой-то очень далекой станции, названия которой он потом не мог вспомнить.

Он многих провожал с этого вокзала в такие вот душные вечера, и его самого часто провожали отсюда, но теперь он даже не замечал, что сейчас его никто не провожает, никто не знает о его отъезде,— он не жалел об этом, потому что знал, что уезжает навсегда; он знал, что никогда сюда не вернется, знал, что больше никогда не увидит никого из близких и друзей; он был уверен в этом на все сто процентов.

Подошел поезд. Дж. Салимов в толпе отъезжающих направился к своему вагону. В это время как раз все и произошло.

Сначала на перроне поднялась суматоха, послышался шум, потом люди стали куда-то проталкиваться. Дж. Салимов обернулся и застыл на месте.

Прямо на него бежал красный медвежонок. Дж. Салимов посмотрел на окружающих, хотел что-то сказать, но ничего не смог произнести; красный медвежонок добежал до него и начал лизать ему руки.

Люди на перроне глядели на них во все глаза, многие вслух удивлялись красному цвету медвежонка.

А Дж. Салимов знал, что удивляться тут нечему.

Ухватившись мохнатыми лапами за рукав Дж. Салимова, медвежонок тянул его к выходу в город и скулил.

Окружавшие их люди, казалось, совсем забыли про поезд. И только Дж. Салимов не потерял головы. Он

лишь ощутил, что исчезла куда-то, испарилась его ужасающая решимость уехать из этого города. Внешне он был очень спокоен, будто встреча с медведем на вокзале среди тучи народа была для него самым обыкновенным делом.

На улицах люди останавливались, глядя на красного медвежонка и улыбающегося Дж. Салимова, идущего за ним следом.

Они поднялись по лестнице. Дж. Салимов открыл дверь, и они вошли в квартиру. Дж. Салимов включил свет в передней, а потом снова, уже в последний раз, нажал кнопку звонка; потом он прошел в комнату и включил там свет: красный медвежонок снова сидел на своем месте — в кресле, а дверца шкафа была открыта.

Часы на стене показывали всего-навсего седьмой час, то есть было уже около двенадцати.

Потом Дж. Салимов поднял телефонную трубку:

92-75-34.

...Наутро все бакинские дети говорили, что вчера вечером по городу бродил красный медвежонок — вот чудо!

Они почему-то думали, что чудеса бывают только в сказках.

БРОНЯ

«Наконец-то аллах услышал нас, наконец-то он смилостивился к нам,— сказала потом Гюлли-хала,— нечего убиваться, все дурное уже позади: дней через десять-пятнадцать Шахин будет совершенно здоров». Она снова — который уже раз! — подошла к постели больного ребенка и вгляделась в личико: «Душа моя, утешение ты мое! Да буду я твоей жертвой...»; слезы выступили на ее глазах, и как ни странно, но именно они, эти слезы, окончательно убедили меня в том, что наш Шахин выздоравливает и что кошмары последних дней действительно отошли в прошлое. Впервые за эти двадцать дней я обрел способность чувствовать что-то, и у меня чуть закружилась голова от дурманящего запаха лекарств, которыми была пропитана комната. Вопреки всему захотелось подойти к окну и открыть форточку.

«Тебе нужно прилечь, мамочка,— сказала Солмаз,— ты вся измучилась, идем, я тебя уложу, поспи хоть самую

чуточку». Впервые за все эти дни Гюлли-хала подчинилась ее просьбам. «Да,— сказала она,— пойдем, мне нужно поспать, мне необходимо долго и крепко спать, потому что я еще нужна ему, моему внуку, моему Шахину». Потом она ушла вместе с Солмаз в другую комнату.

Шахин спал... Интересно устроена жизнь: самое большое счастье очень быстро забывается за мелкой неприятностью, как, собственно, один плохой поступок начисто перечеркивает тысячу хороших. Ведь как быстро я забыл время, когда Шахин спокойно засыпал... Перед сном я обычно рассказывал ему сказки, разные сказки — про Джирттана, про Меликмамеда, а он все спрашивал, спрашивал, спрашивал... Скольких волков я застрелил, скольких тигров растерзал, скольких медведей осилил; а я отвечал и всякий раз по-разному: четыре волка, семь тигров, восемь медведей или: десять волков, три тигра, девять медведей — это уже зависело от моего умения выдумывать. А Шахин хоть и слушал внимательно, но усмехался хитро — словно понимал, что все это выдумки.

Вернулась Солмаз и сказала, что Гюлли-хала заснула тотчас же, как легла. «Вот и хорошо, вот и хорошо, что заснула,— ответил я,— ведь столько дней бедная женщина не смыкала глаз, ей давно пора отдохнуть». Потом Солмаз подошла и обняла меня — и это тоже в первый раз за последние двадцать дней. Мы помолчали, нам было хорошо.

Шахин был нашим первенцем, и первая его воля, когда он только родился, была та, что он должен был остаться единственным нашим ребенком; Солмаз больше не могла иметь детей. Но Шахин родился, Шахин жил, он был нашим ребенком, нашим сыном, и нам этого было вполне достаточно.

«Успокойся, милая,— сказал я ей,— ведь все уладилось».— «Я спокойна,— отвечала она,— я уже успокоилась, разве же ты не видишь, что я абсолютно спокойна?» — «Нет,— сказал я,— мне хочется, чтоб ты совсем успокоилась, совсем, совсем, а потому поплачь, если хочешь, будет намного легче, ведь я ясно вижу у тебя слезы, не надо их стесняться».— «Нет,— ответила она,— я не буду плакать, ведь Шахин снова с нами, зачем же плакать, нужно радоваться, а не плакать, а то, что слезы, так это просто так, и не слезы это вовсе, и не нужно

обращать на это внимания, и плакать тоже не нужно, незачем плакать...»

Шахин заболел внезапно. Прибежал со двора, по-обычному веселый, возбужденный, рассказывал о чем-то, озорничал, смеялся и вдруг заболел. Щечки загорелись неожиданно, и глазки заблестели, нездорово, нехорошо так заблестели, а Солмаз сказала, что надо измерить температуру. «Брось выдумывать»,— ответил я тогда резко, пожалуй, слишком резко, и все потому, что сам прекрасно видел, что сын заболел, и понимал не хуже ее, что температуру необходимо измерить. Так все это началось... Тридцать девять, вечером — сорок.

«Успокойся,— повторил я Солмаз,— ведь Кязымлы при тебе сказал недавно, что кризис миновал, что через какие-то десять-пятнадцать дней мальчик будет на ногах, ты же лучше меня понимаешь, что Кязымлы не будет бросать слов на ветер, не полагается в таких случаях говорить неправду». Солмаз улыбнулась слабо, я снова подивился тому, что за последние дни отвык от всего на свете, даже улыбку Солмаз забыл, не то что смех — последний раз она смеялась, наверное, целый век тому назад, а сейчас была бледной, похудевшей, словно состарилась за эти двадцать дней. Потом она спросила, что сказал мне Кязымлы перед уходом. «Ничего особенного,— отвечал я,— ничего он не сказал, только попрощался».— «Нет,— сказала Солмаз,— я ясно слышала, он что-то сказал тебе, не скрывай от меня, не надо».— «Да, он еще добавил, что мы можем быть совершенно спокойны за здоровье нашего ребенка».— «Нет, правда, он еще что-то сказал». При последних словах Солмаз так посмотрела на меня, что я не выдержал и сознался. «Да, Кязымлы сказал, что и в эту, сегодняшнюю, ночь, мы должны быть осторожны, правда, только эту ночь, одну ночь, а если что и произойдет, он велел бежать за ним в любое время, поздно ли, рано ли, он будет ждать, Кязымлы будет ждать. Ну что с тобой, родная, ну вот видишь, я не должен был тебе этого говорить, пойми же, ничего особенного не случилось, просто Кязымлы осторожен, и правильно, так и должно быть — он же врач, и потом, он же велел будить его в любое время, ну не надо, прошу тебя... Посмотри на Шахина, видишь, как сладко он спит, он выздоравливает, а ты горюешь, ну на что это похоже, хорошая ты моя...»

Солмаз подошла к окну и подняла шторы: стая мест-

ных «вожаков», как всегда, стояла на углу. Солмаз опустила шторы, но не обернулась ко мне.

«Все-таки я не должен был говорить тебе о словах Кязымлы,— сказал я.— Ты всегда представляешь себе самое худшее, так нельзя, так ты действительно накличешь беду, а ведь Кязымлы не сказал ничего особенного, он сказал, что может быть, наверное, не исключено, а ты делаешь свои собственные выводы, нет, не должен был я тебе ничего говорить».— «А что мне делать? — вдруг спросила она и обернулась.— Что мне делать?» И тут я не выдержал, я не мог выдержать, мне нужно было доказать ей, что она не права, что она преувеличивает, что Шахин выздоровеет, и я закричал. Я закричал о том, что ничего этой ночью не произойдет, не должно произойти, что она напрасно изводит себя и меня, все уже в порядке, неужели непонятно, что все в порядке, все прошло, все будет хорошо.

В комнату вошла встревоженная Гюлли-хала: «Что произошло?» — «Ничего не произошло,— отвечала Солмаз,— зачем ты встала, ради бога, не беспокойся, идем, идем, тебе нужно спать, идем».

Они снова ушли в спальню. От запаха лекарств деваться было некуда. Необходимо проветрить комнату, подумал я, и в это время за входной дверью раздались знакомые звуки — так-так, так-так. Это Мамедбагир.

Солмаз отворила дверь и пригласила его войти. Он долго выколачивал трубку за дверью: Солмаз не позволяла ему курить в нашей квартире.

Она ввела Мамедбагира в комнату и усадила за стол. Сразу же по комнате распространился сильный запах махорки. Мамедбагир удобно устроился на стуле и, как всегда, только после этого поздоровался: «Салам-алейкум!»; спросил, все ли живы-здоровы, а потом сказал, что, даст аллах, все обязательно будет хорошо. И это тоже как обычно.

Не знаю, кто первым придумал про Мамедбагира двустишие:

Раз Мамедбагир пришел,
Срок молиться подошел.

В нашем квартале полно подобной поэзии.

Мамедбагир был слеп. Была у него каморка — в тупике, напротив нашего дома, около старой бани, родственников у него не было, знакомых тоже, только со-

седи. Злые языки поговаривали, что где-то он припрятал сундук с золотом, но где — никто не знал. Ему уже перевалило за шестьдесят, но и стар и млад звали его просто по имени: Мамедбагир. В потрепанной выгоревшей шинели — она бывала на нем круглый год,— постукивая своей неизменной палочкой, Мамедбагир обычно обходил те семьи, в которых кто-то был болен: у одних завтракал, обедал у других, ужинал у третьих, и так весь день. Его принимали, охотно угощали, и это уже давно стало своего рода ритуалом, так как считалось, что приход Мамедбагира обычно ускоряет выздоровление больного.

Еще про Мамедбагира говорили, что один глаз он выколол себе сам, чтобы освободиться от воинской службы, а другой ослеп со временем. Некоторые считали, что на второй глаз он вовсе не ослеп, что он притворяется: находились даже свидетели, которые видели Мамедбагира у окон бани, где он подглядывал за купающимися женщинами. Говорили о нем много, слишком много, люди не любили его, а за что — вряд ли кто-то смог бы объяснить: Мамедбагир никому не сделал ничего плохого, да и сплетником тоже никогда не был; кто знает, за что не любили его?..

Солмаз принесла и поставила перед Мамедбагиром тарелку супа, он коротко помолился и принялся за еду. Потом снова сказал, иншаллах, даст бог, все уладится: видно, суп ему нравился. «Вы знаете,— спросил он,— вы знаете, сын Халида был совершенно безнадежен, умирал, бедняжка, а сегодня уже встал на ноги, бегает, резвится, как козлик». А потом Мамедбагир сказал, что Агагюль убежал из Сибири, из заключения.

При этих словах Солмаз, несшая ему чай, вздрогнула и уронила стакан на пол. Потом она закричала на Мамедбагира: «Чтобы ноги твоей не было в нашем доме, вставай и убирайся»,— и еще что-то подобное она кричала, и еще, и еще... Шахин зашевелился во сне. Мигом в комнате появилась Гюлли-хала и подбежала к кровати ребенка.

«Что ж,— запахивая шинель, сказал Мамедбагир,— я могу уйти и не выпив чая, на вашем чае свет клином не сошелся, зато для вас это добром не кончится». И он посмотрел в сторону кроватки Шахина. Солмаз тут же усадила его обратно и пошла за новым стаканом.

Мамедбагир молча ждал.

«Ты много куришь,— сказал я ему,— очень много, ды-

мишь, как паровоз, запахом твоей махорки пропитана вся улица, разве можно так много курить?» — «Можно,— ответил он,— если я и курить не буду, то что мне останется на этом свете, что?»

Он снова замолчал. Я прошелся по комнате.

Значит, Агагюль бежал. Из Сибири, не из Сибири, какое это сейчас имеет значение, главное, что он бежал и уже находится здесь, иначе Мамедбагир так уверенно не сообщал бы об этом. Что ж, убежал — снова арестуют, отошлют его обратно, вдобавок срок увеличат, хотя и десять лет срок немалый сам по себе. Но Агагюлю, видать, этого было мало, или он просто не задумывался над этим — он с самого детства ни над чем не задумывался; и не потому, что не любил думать, а потому, что не умел; чтобы думать, надо быть человеком, а Агагюль человеком никогда не был, никогда.

В прошлом году его отец, Азизага, сказал мне при всех: «Как ты только сквозь землю не провалился, подонок, когда продал моего сына? Ну, ничего, ничего...» Мол, долг платежом красен. Так он сказал. Мне было все равно.

Агагюль пырнул Гасыма прямо на нашей улице, в полдень, и свидетелей было человек двадцать — двадцать пять. Но дать показания согласился только я. Никто меня об этом не просил, да и к Гасыму я относился не лучше, чем к Агагюлю: они стоили друг друга.

Но я дал показания, потому что остальные отрицали, что видели все происшедшее; потому что и все эти остальные были ничуть не лучше Гасыма и Агагюля; потому, наконец, что, когда-то нужно было нарушить законы нашей улицы, это было необходимо, многие давно желали этого в глубине души, но нарушил их я один, и я один теперь был предателем.

«Да ниспошлет вам аллах благополучие»,— сказал Мамедбагир и встал. Дверь за ним закрылась.

Шахин все еще спал. В кухне Гюлли-хала аккуратно кипятила посуду, которой только что пользовался Мамедбагир. Солмаз сидела за столом и молчала. «Ну что опять,— спросил я,— почему ты молчишь, что случилось?» — «Ничего,— отвечала она,— все в порядке».— «Хватит,— сказал я,— ничего не произойдет, не бойся».— «А я не боюсь,— сказала она,— я все понимаю, конечно же, ничего не произойдет».— «Пойду прилягу,— сказал я,— двенадцатый час уже, до утра совсем немного оста-

лось, совсем немного, а потом все будет по-прежнему, как двадцать дней назад, все будет отлично; я только прилягу, спать не буду; ведь я рядом, я все время рядом с тобой, и нечего за меня бояться, а за Шахина тем более: ты же веришь Кязымлы, а он сказал, что все будет хорошо».

Я прошел в нашу спальню и лег. Было слышно, как Солмаз возится с входной дверью, запирая ее особенно тщательно, на все засовы. Потом она о чем-то беседовала вполголоса со своей матерью. После этого меня окутало запахами лекарств, словно я находился в больнице.

Вдруг подул ветер.

Агагюль крутил над головой молот: стадион был забит людьми до отказа, но, кроме наших соседей, никого не было; все шумели и подбадривали Агагюля.

На Агагюле были длинные синие трусы, выгоревшая сетка, на голове красовалась черная кепка, а в зубах была зажата неизменная папироса.

Он все вертел молот над головой, вертел бесконечно долго, вертел, чтобы метнуть его подальше. Наконец молот взвился в воздух. Люди на трибунах, все как один, поднялись на ноги.

Упершись одной рукой в бок, Агагюль затягивался папиросой и выпускал дым прямо зрителям в лицо.

Потом я снова увидел в небе молот, но теперь это был не молот, я долго приглядывался, я никак не мог разобрать, что же это, и наконец разглядел — это был мой сын.

Я схватил Агагюля за шиворот и принялся трясти что было силы.

«Отпусти меня,— просил он,— зачем ты меня дергаешь?» И это был уже не он, не Агагюль, это был Мамедбагир, это Мамедбагира я держал за шиворот, а он все просил, чтобы я отпустил его: «Ну зачем ты меня держишь, пусти,— говорил он,— пусти, я иду к бане, отпусти...»

«Где Агагюль,— закричал я,— где Агагюль?»

В ответ Гюлли-хала тоже закричала, она кричала о том, чтобы я встал: «Что же ты не встаешь, несчастный, у тебя ребенок умирает, ребенок...»

«Что значит умирает,— сразу очнувшись, спросил я,— что значит умирает, ты думаешь, что говоришь, возьми себя в руки, что значит умирает, зачем ты чушь мелешь всякую?»

До потолка вздымалась грудь Шахина, до самого потолка, опускалась и вздымалась, опускалась и вздымалась, опускалась и вздымалась.

«Нет,— крикнула мне Солмаз,— нет, никуда ты не пойдешь, не отпущу я тебя»,— она схватила меня за руку. «Пусти,— сказал я.— Кязымлы живет совсем рядом, пусти, он сам велел будить его в любое время, не бойся, ничего не бойся, за пять минут я обернусь, всего за пять минут». Я оттолкнул ее, выбежал в наш переулок, вышел на улицу и снова побежал.

Мне показалось, что сейчас я увижу волка, его светящиеся в темноте глаза, и я вспомнил, что однажды в газете была заметка о том, как один пастух убил своей палкой сразу четырех волков. Он убил, потому что волки пытались загубить овец, среди овец были совсем маленькие, детеныши, овечки, но ведь и у волка могли быть дети, и если они были, то остались сиротами, но пастух убил их тем не менее.

Один пастух убил сразу четырех. Один пастух — четырех.

Скорей.

Скорей.

Скорей.

В конце нашей улицы стоят два тутовых дерева, стоят как ворота в мир: никаким другим путем, кроме как мимо этих деревьев, уйти с нашей улицы невозможно. Фазиля пырнули именно здесь, Алекпера тоже здесь, и Агарзу тоже пырнули здесь.

Если он будет только с ножом, то я справлюсь.

Если с ножом, то справлюсь.

Скорей.

Скорей.

Скорей.

Ну а если все-таки ударит, то успеть бы доползти и предупредить...

Я остановился как вкопанный, но только на мгновение, потом я сказал, чтобы он отпустил меня: «Успеешь еще рассчитаться со мной, а сейчас отпусти, ради всего святого, отпусти».— «Отпустить,— спросил он,— тебя отпустить?» — «Да,— ответил я,— меня». На его желтом от анаши лице промелькнуло подобие улыбки. «Что значит отпустить,— спросил он,— две ночи стерегу я тебя здесь, стерегу, дрожа от холода, а ты говоришь отпусти, тупая твоя голова? Обесчестил всю улицу, не человек

ты — кобель, а теперь говоришь отпусти? Шакал и сын шакала, вот ты кто!»

«Шахин болен,— сказал я,— Шахин умирает, ты же знаешь, кто это, это мой сын, вот теперь он очень болен, и я иду за врачом».— «Да, я знаю его,— сказал он,— я знаю твоего сына, а ты знаешь, кто такой Орхан? Ты думал о нем, когда продавал его отца? Думал? Думал о моем сыне?» — «Отпусти меня,— повторил я,— отпусти, приду, куда прикажешь и когда прикажешь, а сейчас отпусти».— «Нет,— сказал он,— вот здесь семь пуль, и все семь для тебя одного, понятно?» — «Понятно,— отвечал я,— понятно, но позволь только сообщить врачу, пойдем вместе, если хочешь, а потом делай все, что тебе вздумается».— «За кого ты меня принимаешь,— сказал он,— за кого, ишачье ты отродье? Сколько дней я уже на ногах, голодный, холодный, ночи не сплю, тебя поджидаю, умираю, но ты, собака, умрешь раньше, и поделом тебе, продажная тварь!»

Потом раздались выстрелы, и я захотел крикнуть: «Кя-зым-лы! Кя-зым-лы!» — Но я не успел, потому что опять раздались выстрелы, а вместе с ними какие-то металлические звуки, словно монеты одна за другой падали на асфальт. Затем я увидел неестественные зрачки Агагюля, зрачки волка. «Что ты надел снизу,— кричал он,— что ты надел, железную рубашку, что ли? Что ты надел, что пуля не берет тебя? Я их выпущу в твою проклятую башку».

Он снова выстрелил, теперь он стрелял в мою голову, и снова пули отскочили бессильно от меня.

Потом вдруг стало тихо, настолько тихо, что я услышал шорох листьев на тутовых деревьях.

«Что ты с собой сделал? — спросил он.— Что ты сделал? Пули не берут тебя, пули не берут тебя, понимаешь, не берут, что ты сделал с собой? Не подходи,— крикнул он,— не подходи, застрелю, не подходи ко мне, слышишь!»

Последние две пули, как и прежде, отскочили от меня. На этот раз я явственно почувствовал, как они на мгновение коснулись моего лба и отскочили, как щелчок. Это встряхнуло меня, и я наконец сам понял, что пули неопасны для меня, что мое тело закутано в невидимую броню.

Агагюль дико закричал, отшвырнул пистолет и бросился бежать...

...Сейчас, когда я вспоминаю эту историю, мне становится не по себе: неужели такое действительно могло со мной случиться? Действительно ли я видел Агагюля в ту ночь, правда ли, что он стрелял в меня и его пули меня не брали? Не знаю, что я думал бы со временем сам обо всем этом, если бы я не поднял с земли пистолет, брошенный Агагюлем. В нем оставалась еще одна пуля, и это была самая настоящая пуля. Позже я выкинул пистолет в канализационную яму около старой бани. Мне кажется, что никакого чуда здесь не произошло, что все так и должно было быть, тем не менее я никому не рассказал об этом случае, даже Солмаз не рассказал.

Сегодня вечером, укладывая Шахина, я рассказывал ему о том, как я убивал тигров. За дверью вновь, как и в тот вечер, раздались звуки: так-так, так-так. Солмаз открыла дверь. «Заходи,— сказала она,— заходи, сегодня у нас был плов, и я тебе оставила целую тарелку, проходи, садись».— «Дай вам аллах здоровья»,— ответил Мамедбагир и снова долго выколачивал за дверью свою трубку. Потом он вошел, и вновь было не продохнуть от махорки.

Солмаз подвела и усадила его за стол. Устроившись поудобнее, он поздоровался: «Салам-алейкум».— «Салам-алейкум»,— ответил ему Шахин. Солмаз принесла тарелку плова, поставила ее перед Мамедбагиром, а сама подошла и села рядом с нами.

Как обычно, Мамедбагир коротко помолился, взялся за еду, потом, вспомнив, сказал: «Знаете, Агагюль сошел с ума, вчера его поймали на бульваре, он бегал, целился в гуляющих пальцем и стрелял: паф, паф, паф...»

НАВЕС

Памяти академика Мамеда Арифа

1

Внезапно раздался треск дерева, и этот резкий сухой звук прорезал безмолвное, прокаленное зноем пространство так неожиданно, что мальчик, выскочивший из уборной на дальнем конце двора, чуть не вскрикнул и замер на месте, вытаращив глаза. Толстый ствол росшего

посреди двора хар-тута сам по себе с оглушительным треском раскололся пополам, и некоторое время черные тутовые ягоды частым дождем сыпались на дворовый асфальт.

Раньше других высунулась во двор из окна второго этажа жена Агамухтара — Анаханум; она сидела у себя на кухне и скатывала кюфту для обеда, и, услышав треск, Анаханум взглянула в удивлении на лопнувший ствол черного тута, потом увидела растерявшегося Гюльагу и, торопливо вытирая тряпкой облепленные жирным фаршем руки, окликнула его:

— Эй, Гюльага, беги скажи старику: тут раскололся!..

И Гюльага, уже сообразивший, что произошло, стрелой помчался в комнату деда, но Алиаббаса-киши не надо было звать,— Гюльага успел пробежать лишь половину пути, когда старик, спешно натягивая поверх белого исподнего брюки, сам появился из дверей и быстрыми шагами, как давно уже не ходил, направился к хар-туту.

— Скорее! Скорее! — говорил он.— Ни одна ягода не должна остаться на земле! Все собирайте. Если хоть одна останется, будет грех! Все собирайте! Все должно быть съедено! — возбужденно поторапливал старик. Потом нагнулся сам: поднял из-под дерева одну ягодку, положил в рот, и ему в самом деле показалось, что в жизни не пробовал он такого вкусного тута.— Это столетний тут, столетний! — Алиаббас-киши приложил руки к раздвоенному стволу дерева, посмотрел на раскол — обе поверхности трещины были так сухи, будто их долго выдерживали на солнцепеке; от старости это было, весь сок из него испарился, да-а, вот и перевалил за сотню этот хар-тут.

Подняв голову ко второму этажу и поймав взглядом лицо своей старшей невестки Анаханум, Алиаббас-киши распорядился:

— Плов приготовь сегодня.

Привыкшая ни в чем не перечить свекру, Анаханум и на этот раз, конечно, не заставила ни повторить себе дважды, ни возразить: мол, я кюфту-бозбаш готовлю. Старику плова захотелось? Что ж, к вечеру она и плов сготовит... Анаханум с каждым днем становилось все яснее, что состариться — это, по существу, снова ребенком стать.

Разумеется, Алиаббас-киши был сейчас в полном неведении насчет мыслей своей старшей невестки, и он сказал теперь уже Гюльаге:

— Видал! Ну, видал?! Ты все хотел знать, правду я говорю или нег?! Видал?!

И точно: здорово этот хар-тут треснул, ничего не скажешь, верно говорил старик,— оказывается, когда тут достигает ста лет, он раскалывается, и, значит, правильно он говорил, что туту у них во дворе сто лет.

— Ой, хорош тут! — восклицала жена Фатуллы Месме, причмокивая, словно никогда не ела ягод с этого дерева.

— Надо собрать и соседям дать, чтобы и они попробовали,— добавила известная своим добрым сердцем младшая невестка Фарида.

«Тебе-то что, любимица, ты и соседям пошлешь, и еще больше готова сделать, ведь не твоя же собственность»,— отметила про себя Месме, но вслух ничего не сказала.

Четвертый внук Алиаббаса-киши — Агасалим окликнул свою жену Зибейду:

— Тарелку неси! Кастрюлю! Сегодня день тута!

— Да, да! Ни одна тутовина не должна остаться на земле. Это грех! — все повторял Алиаббас-киши.

Все дети, внуки, правнуки, невестки Алиаббаса-киши вышли во двор в этот жаркий июльский день, когда их тутовому дереву, знаменитому на всю округу, исполнилось сто лет, и теперь они старательно собирали рассыпавшиеся по двору ягоды.

Ну, про грех-то Алиаббас-киши, скорее всего, придумал на ходу; никто никогда не говорил, что, когда тутовому дереву исполнится сто лет и ствол его треснет надвое, необходимо собрать все упавшие на землю ягоды до единой — такого правила не было, как не было и такого обычая — готовить плов, когда туту сравняется сто лет, но поскольку это тутовое дерево прожило на свете так долго и его столетия Алиаббас-киши так ждал, значит, сегодня был праздник и плоды этого столетнего черного тута были как бы благодатью — оставлять их под ногами, конечно, грешно.

Алиаббас-киши стоял под деревом, и в это время ему на левую сторону груди упала ягодка тута; на белой сорочке старика тотчас появилось алое пятно, и увидевший это Агамухтар вздрогнул.

Старший сын Алиаббаса-киши — Агамухтар четыре года сражался на фронте, с боями прошел от Моздока до Берлина, и все мальчишки квартала хорошо знали, что у дяди Агамухтара есть орден и тринадцать медалей. Агамухтару вдруг представилось, что отцу прямо в сердце попала пуля и алое пятно — кровь; потом Агамухтар отвел рукой назад свои густо покрытые сединой волосы и уже не впервой за последнее время подумал, что старик порядком сдал.

Вообще Агамухтар был не слишком вправе так думать, потому что и сам он не очень-то отстал от отца в этом отношении; даже однажды Баладжаханум, жена соседа — мясника Аганаджафа, щелкая семечки в окружении молодых квартальских девушек, сказала:

— Видите, девчата, не очень разберешь, то ли Алиаббас-киши — отец Агамухтара-киши, то ли Агамухтар-киши — отец Алиаббаса-киши...

Понятное дело, когда эти слова дошли до Анаханум, то Баладжаханум получила причитающееся ей, однако Агамухтар и в самом деле за последние годы сильно постарел.

Алиаббас-киши тоже бросил взгляд на старшего сына, увидел копну его иссиня-белых волос, и праздничное настроение старика упало. В памяти всплыло детство Агамухтара, припомнилось, как он мальчуганом взбирался на это дерево и лакомился тутовыми ягодами, весь перемазываясь до черноты. «Во что годы превращают человека! — досадливо пронеслось в голове Алиаббаса-киши.— Тот маленький мальчик теперь уже почти старик, смотри только, на что стал похож! Воистину «Мы приходим и уходим, ты живи — мир!», как сказал поэт»,— и Алиаббас-киши покачал головой, мягко улыбнувшись вдруг в свои белые усы, словно успокоился, подумав еще, правда, что вот он замечает старость Агамухтара, а свою собственную не видит...

Младший сын Алиаббаса-киши Фатулла подозвал Гюльагу:

— Сбегай принеси еще ведро из дому.

Вскоре тарелки, кастрюли наполнились крупной, с большой палец, тутовой ягодой, и квартальские ребята, прослышав о том, что туту Алиаббаса-киши стукнуло сто лет и он раскололся, набились во двор, каждый напробовался тута вдоволь, и все пришли к единому мнению, что вкус у этого черного тута — особенный и никто в жизни

не едал такого вкусного, и всем соседям было отправлено по тарелочке ягод, как будто в доме Алиаббаса-киши было обручение и по этому случаю раздавали сладости.

Жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум, беря ягоды своими темно-коричневыми от хны, которой она недавно красила волосы, пальцами за черешки, отправляла их в рот и, смакуя, говорила:

— Везет же людям!.. Такой тут у них уродился — наслажденье, а не ягоды! — Потом подмигнула своей соседке Лумие, которой было за тридцать, хотя она все еще не вышла замуж.— Это витамин, э, агыз [1]... Возбуждающая штука...

Лумия краснела и смущалась, но больше для виду — против таких разговоров она ничего не имела, и Баладжаханум, прекрасно это зная, звонко хохотала.

В тот субботний день все жители квартала, от мала до велика, узнали о том, что столетний хар-тут во дворе Алиаббаса-киши расщепился. Узнал об этом и Молла Фарзали, жадность и скупость которого вошли в поговорку, и, стуча оземь палкой, он подошел к воротам Алиаббаса-киши и вызвал мастера на улицу. Заведя степенный разговор о том о сем, об Иране-Туране, Молла Фарзали добрался наконец до цели и поделился с Алиаббасом-киши советами доктора, который наставлял Моллу выжимать черный тут и пить сок, да где же взять на это денег, и вот если Алиаббас-киши будет так добр и даст небольшую кастрюльку ягод, то их Молле хватит с лихвой.

Ювелир Алашраф, сидевший в тени на противоположном тротуаре, играя в нарды с учителем русского языка Алхасбеком, взглянул на Моллу Фарзали и не удержался:

— Вечно так вот плачется, а поискать, так у него небось только свиньи и недостает...— Ювелир Алашраф сказал это и выкинул жирный шеш-гоша, вконец испортив настроение Алхасбеку.

Разумеется, Молла Фарзали получил свою кастрюльку тута и ушел восвояси.

Плов, который сварила в тот вечер Анаханум, удался, и столько она его наготовила, что хватило всему двору — всем детям, внукам и правнукам Алиаббаса-

[1] Агыз — обращение к девушке.

киши. (Свадьбы в квартале чаще всего бывали у Алиаббаса-киши.)

Ясное дело, не всегда этот двор был таким шумным и многолюдным. Когда-то отец Алиаббаса-киши — уста Хазратгулу — купил лишь маленький одноэтажный домик на две комнаты. Давным-давно это было, когда и черный тут во дворе был еще совсем молодым деревцем, а Алиаббас — маленьким ребенком; ствол тутового деревца был тогда тоньше, чем его нынешние ветки.

Женившись на Тубуханум, Алиаббас-киши построил себе две новые комнаты — и это было еще до революции,— теперь в тех двух комнатах живет внук Алиаббаса-киши — Агасалим с семьей; подрастали дети — уменьшался двор, вместо четырех в доме стало шесть комнат, потом восемь, потом и одноэтажное здание стало двухэтажным. Женились сыновья, внуки, и всем находилось в этом дворе, где теперь раскололся хар-тут, по кусочку места.

У Тубуханум с Алиаббасом-киши было двое сыновей, четверо дочерей. Странный этот мир: и Агамухтар, и Фатулла вернулись с войны целыми-невредимыми, хотя хлебнули много горя и испытали множество бедствий, но по-прежнему, слава аллаху, здоровы оба и оба уже дедушки; а вот девочки все ушли, все четыре: Салимназ еще до войны умерла от менингита, никого не осталось от Салимназ, одинокой пришла, одинокой ушла, и, что за напасть, в последнее время чаще всех из четырех дочерей вставала перед глазами Алиаббаса-киши Салимназ; Фатьма ушла во время войны, никто так и не узнал, отчего ушла; правда, поговаривали, что тоска по Мурсалу разорвала ей сердце,— Мурсал был мужем Фатьмы, он находился на фронте, и одно время от него не было никаких вестей; и теперь жив Мурсал — здоров, весел, живет с четвертой женой (Однажды Мурсал, встретив Алиаббаса-киши на улице, обнял его, заплакал: «После Фатьмы ни с одной женой жить не могу, горькая штука, дядя Алиаббас, любовь!» — «Ну, если это и любовь,— сказал ему Алиаббас-киши,— то для тебя она ведь не должна быть горькой...»). От Фатьмы один сын остался, в отца не пошел, материнское взяло верх; дом у него, семья, трое ребятишек, в Сумгаите живут. И вообще от дочерей в этом дворе нет никого, все — от Агамухтара и Фатуллы.

Сафура и Кямаля тоже ушли, после войны уже. Такая вот жизнь. От Сафуры и Кямали у Алиаббаса семеро внучат, и у всех семерых сейчас дома, дети, семьи, но вот ведь в чем беда: как ни велико семейство Алиаббаса-киши, а все же он в общем-то одинок. Дело в том, что свою Тубуханум Алиаббас-киши похоронил ровно три года назад, и ночью этого субботнего дня, когда хар-туту исполнилось сто лет, лег он в постель, закрыл глаза, и Тубуханум пришла и встала перед ним как живая, не та, уже старая и седая, нет — перед ним была юная Тубуханум, какой она вошла когда-то в этот дом.

Припомнились Алиаббасу четыре строчки, которые прежде произносил он иногда в шутку и в которых теперь от шутки и следа не осталось:

Лежу — недужится телу,
Встаю — тоскует душа.
Когда ты ушла, для меня
Не стало ни ночи, ни дня.

Старик понял, что и в эту ночь он не сумеет заснуть, будет вспоминать то, что было совсем-совсем давно, и сам будет удивляться — как это получается, что помнятся ему события, когда ему было пять-шесть лет, а то, о чем говорилось два дня назад, забывается начисто.

В пять-шесть лет он был дитя гор; вспоминались ему леса, вспоминались отвесные скалы, купание с деревенскими ребятишками в пенящейся горной речке; вспоминалось, как он взбирался на неоседланного ишака и скакал, и еще вспоминался ему его «чапиш», козленок, которого он кормил из рук зеленой листвой и который увязывался за ним, куда бы Алиаббас ни шел... Он сказал «чапиш», а вспомнился Джабиш — друг у него был, сосед,— кажется, Джабиш его звали. Жив ли он, интересно? Жив, наверно, тамошние люди долго живут — это от воздуха, от воды.

А ты мало жил, а, Алиаббас-киши?

Все спали: мужчинам было постелено на раскладушках под тутом, и в лунном свете пространство под столетним деревом походило на общежитие; женщины и девушки спали на веранде первого этажа, на застекленном балконе второго этажа; а подростки, дети спали на крыше и видели теперь седьмой сон. Так будет до середины сентября, потом постепенно женщины переберутся в дом, мужчины — на веранду, на балкон, потом и они —

в дом, каждый — к своей жене, и в самую последнюю очередь — дети; день за днем откладывая, оттягивая, все же каждый перейдет спать к себе домой.

Все это будет потом, когда кончится лето, наступит осень. А пока что Алиаббас-киши, прислушиваясь к громким храпам из-под тутового дерева, снова думал, что вот ему не спится, и не потому, что во дворе громко храпят — он был привычен к таким звукам в летнее время, и это храпение было для него почти как колыбельная, в том смысле, что при нем он не чувствовал себя таким одиноким, а потому что... да нет, просто так — сон сбежал, и все.

Алиаббас-киши и летом, и зимой спал в доме, даже под одеялом и в белье, порой и в самый летний зной его донимала по ночам дрожь.

Алиаббасу-киши пришло в голову, что и сам он вроде того столетнего тутового дерева во дворе; подумал это, и ему показалось, что и все жилы у него в теле — ветки тута, и сейчас осень, и ветки совсем сухие.

Его дети, внуки, невестки — все в его огромной семье были чисто городскими жителями, они и понятия не имели о селе, о том селе у подножия гор; о том селе, которое в последнее время все вспоминалось Алиаббасу-киши, и частенько ночами он явственно чувствовал аромат чабреца, что растет на тех горах, и клубы тумана, когда-то окутывавшего их, через расстояние долгих лет навевали тягостную тоску.

Одного спросили, откуда ты родом, он ответил: я еще не женат. Тубуханум была девчонкой из Ичери-Шехер[1]; Алиаббас, в сущности, был теперь сам тоже городским человеком — и по разговору, и по мышлению. От села остались лишь померкивающие воспоминания далеких лет да это вот пробивающееся через пелену годов одиночество...

2

Отец Алиаббаса-киши, переехав из села в Баку, устроился на Сабунчинских нефтяных промыслах — сначала рабочим, потом буровым мастером; теперь промыслы в тех местах разрослись, простираются от Сабунчей до Раманов. Здесь-то и провел почти все детство и юность Алиаббас-киши, но в нефтяники его не тянуло —

[1] Ичери-Шехер — Старая крепость, теперь в центре Баку.

он стал плотником. В те годы вышки строили деревянные, а у Алиаббаса с раннего детства было особое пристрастие к забиванию гвоздей, строганию, и среди сверстников ему в этом деле не было равных. Со временем Алиаббас и вовсе отошел от промыслов,— где бы ни жили люди, нужда в плотничьем ремесле у них всегда есть.

Теперь это были события далеких лет — страшно и представить, как давно все было, и старик размышлял об этом по ночам, ворочаясь в своей постели. Его давил ужас такой дали, иногда и не верилось, что это в самом деле он столько прожил и пережил.

Несколько лет назад Алиаббас-киши вышел наконец на пенсию и как-то вдруг сразу после этого ощутил, что силы совсем не стало в его руках, да и ноги почти отказывались служить. Для уста вдруг открылось и то, что его старая (но все еще такая острая!) пила, и топор, и рубанок отныне тоже ни для чего не нужны — попусту место занимают, недаром говорится: у того, кто идет рубить дрова, топор бывает острым; ну, а если ты уже не ходок по дрова, стало быть, и топор твой тебе уже не надобен, хоть бы и острый. Или вот еще говорят: топор тешет — рука тешится, а тут какая уж потеха, когда все из рук валится.

Дня два назад Алиаббас вынес свою пилу, топор, молоток, рубанок, принялся мастерить скамеечку у входа во двор. Гвозди пошли вкривь и вкось, удар молотка пришелся по пальцу, а в довершение всего еще и топором попал по руке, и жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум, привычно страдавшая от безделья, сидя у окна своего дома, подняла такой невообразимый крик, что вмиг вокруг Алиаббаса-киши собралось добрых полквартала зевак.

— Вахсей!.. Старик отрубил топором руку!..

Агамухтар сказал:

— Послушай, отец, брось ты это дело! Ну на что тебе сдалась эта скамья?!

Алхасбек, сосед Алиаббаса-киши из дома напротив, через улицу, поддакнул:

— Слушай, киши, иди сиди, лежи, спи, отдыхай, да?!

А сын продавца на бензоколонке Мейрангулу, Алигулу, который писал стихи и который был первым человеком в истории квартала, чье имя появлялось в газетах, журналах, изумленно сказал:

— Какой трудолюбивый старик, а! Вот герой поэзии, герой искусства! Эта доблесть создана не поэтическим воображением, она — плод жизни!

Восторженных словоизлияний Алигулу многие в квартале толком не понимали, никто не обратил внимания на его слова и в этот раз.

Какое-то время Алиаббас в усталом недоумении смотрел на окровавленное лезвие топора, потом молча повернулся, прошел сквозь толпу обступивших его людей и скрылся во дворе. Было горько не оттого, что он осрамился на глазах у всех — то само собой разумелось,— куда больнее было это непредвиденное коварство рук... Уста и без того знал, что скамья эта — может быть, последняя его плотницкая работа (Алиаббас-киши в действительности так и думал, хотя, как позднее оказалось, думать так было преждевременно); что ж, теперь он убедился в этом окончательно: если после шести-семи десятков лет безукоризненной службы его молоток разбивает палец, а старый топор ранит руку, значит, все кончено, надо забыть строгание досок и забивание гвоздей.

Утром того дня, когда черному туту сравнялось сто лет, Алиаббас-киши, поднявшись по обыкновению рано утром, побродил без видимой надобности по двору, потом тщательно умылся тут же, под краном, позавтракал, выпил чаю, крепко заваренного старшей невесткой Анаханум, и, достав ключ, отпер дверь своей «инструменталки» — сарайчика, который сам и соорудил в незапамятные времена из досок, оштукатурив и побелив стены и накрыв красной черепицей.

Алиаббас-киши не был человеком настолько чувствительным, чтобы со слезами рассматривать и разглядывать свои инструменты, с каждым из которых у него немало было связано в прошлом. Не хотел он, чтобы они стали теперь лишь памятью об этом прошлом — для него самого ли, для других...

Верно, очень верно говорил ювелир Алашраф, что настоящую цену золота знает только ювелир; вот почему эта пила, этот рубанок, молоток, пробойник должны принадлежать тому мастеру, который сможет пользоваться ими в работе, когда будет ставить оконные рамы, либо навешивать двери, строгать дерево, забивать гвозди, причем забивать их ровно, а не кровеня себе при этом руки, из-за чего жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум будет истошно кричать, надсаживая себе горло.

Утром того дня, когда хар-туту исполнилось сто лет, Алиаббас решил отобрать самые лучшие из инструментов и продать их. Дело здесь было совсем не в деньгах — жил Алиаббас-киши в достатке, да и запрашивать за все эти инструменты он не собирался много. Другое было для старика важно: чтобы достались его инструменты хорошему мастеру, они должны работать, не ржаветь от бездействия. Вообще-то говоря, Алиаббас мог бы раздарить инструменты и по соседям, однако подобная унизительная щедрость не соответствовала бы славным инструментам мастера; они всегда производили вещи: красивые двери и окна, кушетки и сундуки — короче, они заслужили более завидную участь, чем если бы теперь ими лишь время от времени забивали мешающую шляпку гвоздя.

Месме первой увидела, что старик снова возится в своем сарайчике, и, решив, что свекор хочет доделать незаконченную скамейку у ворот, она окликнула Фатуллу,— сидя на балконе и потягивая чай, муж смотрел по телевизору дневную передачу (по вечерам на балконе у Фатуллы, если не показывали футбол, собиралась смотреть телевизор женская часть семейства, и мужчинам ничего иного не оставалось, как отправиться на улицу и играть в нарды).

Фатулла оторвался от телевизора и спустился во двор, за ним вышел из дома и Агамухтар, из окна выставились невестки Алиаббаса-киши...

Затея старика с продажей инструментов всех очень расстроила.

Агамухтар высказался первым:

— У нас есть друзья, есть враги... Что скажут они, когда ты, киши, начнешь молотками торговать? Подумай.

Агамухтар слишком хорошо знал характер отца и понимал, что говорит впустую: если старику что-то западало на ум, переубеждать его не имело смысла.

— Ты что, в самом деле устроишь торговлю молотками-пилами? — вслед за братом нетерпеливо молвил и Фатулла.

— А мне их что, бесплатно подарили, этот молоток и пилу? — Расспросы сыновей раздосадовали Алиаббаса-киши, и он заорал на них: — Ну-ка идите занимайтесь своими делами, нечего учить меня уму-разуму!

«Не веселье ищу, а любимую»,— сказано у поэта... Алиаббас-киши знал, что если ему встретится хороший

уста, который сможет взглядом знатока оценить инструменты, человек, у которого в руках еще есть сила, а в ногах — твердость, то такому мастеру он отдаст без всяких денег и молоток, и пилу, и рубанок — все, что у него есть.

«Старик выжил из ума, теперь сраму не оберешься, на улицу не выйдешь — поднимут на смех»,— перебирала в уме все предстоящие невзгоды Месме, но все же устыдилась своих непочтительных мыслей о свекре и отошла от окна.

А Алиаббас-киши, выбрав из инструментов хороший молоток, рубанок, хорошую пилу и пробойник, завернул все это в мешок, потом произнес фразу, в которой никто не уловил какой-либо связи с только что закончившимися разговорами:

— Посмотрите, посмотрите на этот черный тут, как он раскололся в сто лет...— показал рукой на тутовое дерево посреди двора и медленными шагами вышел на улицу.

Все во дворе, обернувшись в сторону хар-тута, посмотрели на дерево недоуменным взглядом, и опять никто ничего не понял.

Собственно говоря, и сам Алиаббас-киши не сумел бы, пожалуй, объяснить, зачем он заговорил о хар-туте и какое отношение имеет этот черный тут к продаже молотка и пилы.

3

На небольшой площадке за семь-восемь кварталов от дома, где жил Алиаббас-киши, был разбит новый сквер, и в тот день, когда уста пришел туда со своими инструментами и разложил их на скамейке, а сам сел возле, степенно перебирая в руках четки, ему впервые пришло на ум, что отдых в самом деле превосходная вещь. Он рассеянно смотрел то на проходивших мимо людей, то на детей, игравших поблизости, встревожился было, что вот ребятишки сбегутся к скамье, станут глазеть на пилу, рубанок, но время шло, а никто из пробегавших мимо, увлеченных игрой детей, казалось, даже не обратил ни малейшего внимания на старика, не задержался и на секунду, чтобы взглянуть на его инструменты. И Алиаббас-киши подумал, что многое в жизни действительно переменилось, у каждого ребенка в руках то игрушечный автомат, то разноцветные ведерочки, лопатки, десятки дру-

гих игрушек,— кого и впрямь заинтересуют его пила, молоток! Алиаббас-киши подумал об этом, и сердце у него как будто чуть кольнуло, старику стало вдруг жаль эту пилу и молоток, он словно ощутил сиротство этих дорогих для него вещей и беспомощность их владельца — свою беспомощность...

В первый день покупателя на рубанок и пилу Алиаббаса-киши так и не нашлось.

На другой день уста опять пришел в скверик и, расположившись на одной из скамеек, разложил возле себя инструменты. Как и накануне, он одиноко сидел, посматривая вслед прохожим, следя за сновавшими взад-вперед ребятишками, и внезапно ему вновь вспомнился Джабиш, в сознании отчетливо возникли образы детства, ожил давний аромат горных лугов, пестрый ковер цветов на склонах, и душу охватила неизбывная тоска по туману тех гор, и в голове, будто жилка, неотступно билась мысль, что никогда больше не бывать ему там, никогда не шагать вдоль горной речки, не вдохнуть полной грудью прозрачного воздуха. Сколько быстрых лет промчалось и кануло с тех пор, с горечью подумал уста, и будто как раз эту мысль он искал: она, подобно прорвавшейся запруде, высвободила новый поток воспоминаний. Перед глазами старика промелькнула несчетная вереница людей,— даже имен многих из них он не знал и не помнил, где видел их, но они все являлись перед ним и исчезали, сменяя друг друга,— лица людей, которых встречал он на долгом своем веку. И многие ли из них живы на земле...

На второй день покупателя на молотки-пробойники Алиаббаса-киши также не отыскалось.

На третий день с утра нагнало облаков, подул северный ветер; Алиаббас-киши, то и дело поглядывая на небо, в нерешительности бродил по двору, и у детей появилась надежда, что старик, быть может, передумает со своей затеей (уста, пожалуй, и сам хотел в глубине души, чтобы начался дождь), но небо мало-помалу прояснилось, и Алиаббас-киши, сунув мешок под мышку, отправился в скверик, снова расположился на старом месте, разложив инструменты; на скамейке напротив сидела молодая женщина, в одной руке у нее была раскрытая книжка, спокойными движениями другой она покачивала коляску, в которой спал малыш. Оторвав глаза от книги, молодая мать увидела Алиаббаса-киши и с улыбкой по-

здоровалась. Алиаббас-киши ответил на приветствие, он узнал эту женщину: вчера и позавчера она тоже была в сквере. Сейчас, когда она улыбнулась ему, старику почудилась в кивке ее головы как бы легкая укоризна: мол, что за нужда тебе, киши, столь настойчиво искать покупателя? Само собой, никому не было дела до того, что он, уста, продает купленные им когда-то на свои трудовые деньги пилу, рубанок, и все же от такой вот улыбки молодой женщины и от ее взгляда становилось как-то не по себе. Прошло некоторое время, и небо снова нахмурилось. Почти все, кто прогуливался в скверике — матери с детьми, старухи,— понемногу разошлись, когда парень лет двадцати пяти, приблизившись к Алиаббасу, посмотрел оценивающе на инструменты, потом, так и не поприветствовав старшего, спросил:

— Почем, киши, будет этот пробойник?

Услышав обращенный к нему вопрос, Алиаббас-киши, неожиданно для себя самого, первым делом взглянул на руки парня, и тот верно понял значение этого взгляда, не пришедшегося ему по душе:

— Что, киши, на руки мои смотришь? Хочешь узнать, действительно ли я уста? Не сомневайся! Уста я, и даже неплохой, как раз на твой вкус. Ну, а на ладонях у меня и правда, погляди, ни одной мозоли нет. В перчатках работаю — с электричеством. А пробойник этот твой никому теперь не нужен, в магазинах полно электрических дрелей — тридцать рублей пятьдесят копеек за штуку.

— Ступай, сынок, ступай. Пойди купи себе электрическую дрель. Тебя кто-нибудь заставляет покупать этот пробойник? Ступай себе,— сдержанно ответил Алиаббас парню.

Не сказав ни слова, тот махнул рукой и ушел.

Возможно, парень этот и был мастером, и вполне возможно, как раз на его, Алиаббаса, вкус, кто знает! Но только сердце у него не было сердцем мастера.

За все три дня парень оказался единственным, кто проявил интерес к инструментам Алиаббаса-киши.

Наступил четвертый день. Алиаббас-киши, выйдя поутру во двор, открыл сарай, взял, как обычно, свой мешок, и Анаханум и Месме, торчавшие каждая у своего окна, высматривая, что происходит во дворе, многозначительно переглянулись. Понимающие взгляды обеих означали, что той и другой известен слух, распущенный гнусавой Фирузой — матерью водителя трамвая Агамех-

ти и наипервейшей сплетницей квартала,— что-де сыновья и невестки уста Алиаббаса содержат его в черном теле, вот старик и вынужден распродавать свои молотки да щипцы. Правда, слышавшие все эти пересуды гнусавой Фирузы соседки ее по кварталу тут же затыкали ей рот, но, как ни поверни, нехорошие это были разговоры.

Конечно, если бы Анаханум и Месме могли предугадать, что произойдет сегодня, они не переглядывались бы теперь так многозначительно и не горевали.

Едва выйдя со двора, Алиаббас-киши, вместо того чтобы привычным путем двинуться в направлении сквера, опорожнил содержимое мешка и, засучив рукава, принялся мастерить начатую когда-то, да так и не законченную скамью у ворот, и, что было самым удивительным, гвозди шли в древесину ровно, топор выполнял свою работу исправно, как и в течение многих лет, а молоток, и рубанок, и щипцы вновь послушно повиновались тонким, как сухие ветки, рукам Алиаббаса-киши. Час-полтора спустя скамья была готова, и Анаханум и Месме, которые снова оторвались от своих кастрюль и восседали у окон, на мгновение показалось, что свекор их — все тот же Алиаббас, каким он был лет двадцать — тридцать тому назад.

Несколько следующих дней Алиаббас-киши посвятил осмотру дома, тщательно обследовал окна и двери, привел в порядок застекленную веранду во дворе, потом навестил и соседей. Он обновил где надо перила, поправил оконные рамы, починил деревянную лестницу, ведущую со двора на второй этаж. За этими делами незаметно прошло лето, уступив свой черед осени; мужчины по ночам спали теперь уже на женской половине, молодежь перебралась с крыши в дом, ягоды столетнего хартута давным-давно были съедены, листья его стали покрываться обильной желтизной, а руки Алиаббаса-киши работали проворно, как и встарь, движения их были точны и ловки. Уж не шайтан ли попробовал было сбить мастера с пути истинного, мол, брось-ка ты свою работу, сядь, успокойся и жди своего срока — попробовал, да и отступился перед крепостью старика. Весь квартал, в том числе собственные сыновья и внуки Алиаббаса-киши, диву давались, до чего внезапно произошло это перерождение мастера, и даже Алигулу был так ошеломлен приключившимся, что принялся писать во славу старика поэму. И однажды по кварталу разнеслась весть, что от-

рывок из поэмы Алигулу помещен в газете. Алигулу и раньше грешил рифмачеством, многим приходилось слышать отрывистые, рубленые строки, сочиненные им; и в квартале было принято смотреть на эти занятия Алигулу сквозь пальцы, но когда люди увидели его имя напечатанным в газете, а в нескольких строчках поэмы — имя Алиаббаса-киши, всеобщее уважение к молодому поэту в его родном квартале явно возросло; и Анаханум и Месме аккуратно вырезали из газеты стихи Алигулу и поместили эти вырезки в альбомах среди фотографий детей и родственников. Алиаббас-киши тоже подержал в руках газету со стихами и неопределенно покачал головой.

Жена мясника Баладжаханум, пощелкивая семечки, стояла возле ворот своего дома и подмигивала окружавшим ее молодым девушкам:

— Что ни говорите, а старик здорово ожил! Того и гляди, завтра возьмет себе молодую жену...— Баладжаханум громко хохотала, потом продолжала с тем же задором: — И каждое утро, вставая с постели, жена будет выходить с синими кругами под глазами...

Алиаббасу-киши уже реже — по ночам, когда сон не шел к нему,— вспоминались те четыре строчки:

Лежу — недужится телу,
Встаю — тоскует душа.
Когда ты ушла, для меня
Не стало ни ночи, ни дня.

Конечно, он по-прежнему часто думал о Тубуханум, но теперь если у него поламывало руки-ноги, то не от старческой хвори, а оттого, что натрудил их за день.

Всеобщее мнение было таково, что Алиаббас-киши, как и тутовое дерево у них во дворе, перешагнет, пожалуй, за добрую сотню лет.

Баладжаханум приходила иногда к дому Алиаббаса-киши и усаживалась у ворот на сделанную им скамью, как всегда, в окружении девушек со всех концов квартала, которые, урвав от дел хотя бы пять-десять минут, с удовольствием слушали ее веселую болтовню, и Баладжаханум, громко похохатывая, о чем-нибудь балагуря, изгрызала столько семечек, что вся мостовая вокруг сплошь покрывалась шелухой. А как-то раз, перехватив сердитый взгляд Алиаббаса, Баладжаханум успокоила старика:

— Подмету, подмету, дядя Алиаббас. Все подмету. Что поделать, если ты не догадываешься соорудить скамейку и перед нашим домом!..

И Баладжаханум засмеялась, щедро выставив золото, которое сверкало у нее во рту. Баладжаханум на все свои совершенно здоровые зубы надела золотые коронки, и гнусавая Фируза просто выходила из себя от зависти к этим золотым зубам.

Сама Баладжаханум не придала значения своим последним словам и уж тем более не ожидала услышать в ответ от Алиаббаса:

— А что ж, сколочу тебе скамью и перед твоим домом.

— Правда? Большое спасибо, дядя Алиаббас! — Баладжаханум как будто никогда в жизни не радовалась так искренне.— Но только такую сделай, чтоб в целом квартале не было ни одной похожей! И маленький навес пусть будет, ладно, дядя Алиаббас? Чтобы летом было куда от солнца спрятаться...— стрекотала без умолку Баладжаханум.

В летнее время с утра до самого вечера, пока мясник Аганаджаф не возвращался с работы, Баладжаханум только и делала, что, стоя у ворот, чесала язык то с одной, то с другой соседкой, и никому неведомо было, кто и когда готовит еду на пятерых ее, мал мала меньше, ребятишек. Впрочем, гнусавая Фируза утверждала, будто мясник Аганаджаф — вот бедолага! — днем на колхозном рынке мясо продает, а вечерами, потаенно от соседей, стряпает обед на завтра; по этому поводу нам трудно что бы ни было сказать, но уж что правда, то правда — все в округе почитали за благо попадаться пореже суровому мяснику на глаза, а вот сам Аганаджаф определенно побаивался Баладжаханум.

— Не велика мудрость,— сказал Алиаббас-киши,— сделаю и навес.— Суть была, конечно, не в том, что Баладжаханум было удобно просиживать юбки на этой скамье под навесом и болтать без умолку, а в том, что еще одно изделие выйдет из его рук.— Досок нужно немного...

— А-а, чего там доски! — воскликнула Баладжаханум.— Аганаджафу скажу — целый вагон досок и раздобудет тебе.

И дня не прошло, а Алиаббас уже приступил к работе: сколотил перед домом Аганаджафа скамью, обтесал

опоры для небольшого навеса, и работы ему оставалось еще на день — собрать навес. И тогда Баладжаханум назло таким, как гнусавая Фируза, усядется, вырядившись словно на свадьбу, на этой отменной, с навесом, скамье. Все в квартале решили, что новая скамья — вершина мастерства Алиаббаса-киши.

В то октябрьское утро как будто снова вернулось лето, и эта ненароком наступившая теплынь никак не вязалась с рассыпавшимися по двору палыми листьями столетнего хар-тута. Чиркнув спичкой над газовой горелкой и поставив чайник на огонь, Анаханум привычными движениями колола на лотке сахар и посматривала в окно. Взгляд ее задержался на закрытом сарайчике свекра, потом на двери комнаты, где старик спал, и сердце Анаханум охватило смутное беспокойство. Обычно Алиаббас-киши в этот час уже крутился во дворе.

Прошло какое-то время: проснулись мужчины, дети торопливо, чтоб не опоздать в школу, принялись за завтрак. Алиаббас-киши все еще не выходил во двор.

Анаханум робко спросила о свекре у собравшегося на работу Агамухтара. Агамухтар посмотрел в глаза жены, ни слова не сказал и, спустившись во двор, вошел в комнату, где спал отец.

Алиаббас-киши умер ночью, во сне.

В тот день весь квартал до глубокой темноты шел во двор Алиаббаса-киши; люди тихо присаживались на стульях, табуретках, поставленных под столетним тутом, каждый выпивал стакан чаю и выражал соболезнование Агамухтару, Фатулле.

Многолюдный, обжитой двор как-то сразу осиротел, когда старика не стало. И столетнее дерево хар-тута в тот жаркий осенний день еще больше подчеркивало эту сиротливость.

А наутро жители квартала оказались свидетелями необычного зрелища: над скамьей перед домом Баладжаханум красовался ладно сбитый навес.

Весь квартал, и мясник Аганаджаф, и Баладжаханум с покрасневшими от слез глазами, и все родные Алиаббаса-киши были крайне изумлены этим происшествием.

Малые ребятишки и старые женщины — те поверили слуху, который распространился по всему кварталу: что молоток, пила, рубанок и щипцы Алиаббаса-киши сами собой пришли ночью и довели до конца дело, которое не успел завершить уста.



ПОВЕСТИ

СЕРЕБРИСТЫЙ ФУРГОН

История одной встречи

— Надо, чтобы повезло!.. Бывает, парень и девчонка и живут-то в разных районах, и встретятся бог весть где, а вдруг оказывается, будто они как нарочно друг для друга рождены...

(Из высказываний Баладжаханум, жены мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, беседовала с молоденькими девчатами у ворот.)

— А мне только одно и нужно, чтобы Мамедага был счастлив!

(Эти слова Али сказал Самедулле в тот вечер, когда была свадьба Ядуллы и Фатьмы и кларнет Алекпера заливался так, что ноги сами пускались в пляс.)

— У меня не получилось, пусть же хоть Месмеханум будет счастлива!!

(Так подумала Гюльдесте, глядя на белевший в ночи снег из окна поезда, мчавшегося в Воронеж.)

ГЛАВА I

Эта глава знакомит читателя с Мамедагой и его алюминиевым фургоном, который в лунном свете сверкает как серебряный, с милиционером Сафаром, с Мирзоппой — а это сосед Мамедаги по кварталу в детские годы, и, наконец, с Месмеханум,— читатель услышит, что сказали и чего не сказали друг другу Мамедага и Месмеханум.

Это был странный вечер. Нет, на Апшероне таких вечеров сколько угодно было и еще будет, но когда из-за алюминиевого фургона вдруг вышло ярко-красное кучевое облако, Мамедага подумал, что вечер сегодня какой-то удивительный, хотя и сам не понял, чему тут удивляться. И тогда он удивился своей мысли, прищурил глаза и некоторое время смотрел снизу вверх на ярко-красное облако, потом, задумчиво проведя ладонью по голове, взглянул на море, но все равно ничего не понял — ни в себе, ни в этом облаке.

А удивительный летний вечер только еще начинался, еще должно было пройти какое-то время, прежде чем окончательно закатится солнце, ярко-красным раскрасившее облако за алюминиевым фургоном, взойдет луна, зажгутся звезды, заквакают лягушки и застрекочут во всю мочь кузнечики, погаснут огни во всем селе — только не в пансионате и санатории, расположившихся выше, среди загульбинских скал, пролетит и исчезнет сигнал электрички, идущей в Баку и обратно,— словом, кончится этот удивительный вечер, и начнется на морском берегу Загульбы обычная летняя ночь.

А пока что луна, уже успевшая появиться, выкрасила море, ставшее теперь сине-красным, и оно сверкало, переливалось от самого горизонта до берега. Но Мамедага повидал таких летних вечеров на Апшероне немало, и в самом одновременном явлении луны и солнца на небе для него не было ровно ничего непривычного или странного.

В тот день с утра дул ветер; каждый час он менял направление, то с севера швыряя белую пену волн на скалы, то превращаясь в южный — моряну. К вечеру ветер внезапно стих, и тогда снова набросились комары. Ни с чем нельзя было сравнить море Загульбы, ее песок, ее скалы, зато и комары ее были беспощадны. Но сегодня даже массированный налет комаров не мог расстроить Мамедагу,— удивительным был этот вечер!

Мамедага снова, прищурившись, посмотрел на красное облако: оно понемногу таяло, и то, что оно таяло, отозвалось каким-то странным сожалением в его сердце. Он не мог понять в себе этого сожаления, так же как не мог понять и удивительности сегодняшнего вечера; он просто решил, что удивительному не надо искать объяснения; успокоившись, он довольно потянулся и, почесав голову, поднялся по маленькой деревянной лестнице в фургон.

Как только ранним утром на дороге появлялся фургон Мамедаги с выведенными на нем разноцветными словами «Пневматический тир», у чайчи Газанфара сразу портилось настроение, а все потому, что большинство его клиентов — молодежь села и подростки — в этот день уже не отходили от фургона: стреляли из ружья, разрушали пирамиды, построенные из банок, набрасывали на крючья резиновые кольца.

Приезжая в Загульбу летом, Мамедага останавливал фургон не в самом селе, а на песчаном берегу моря. Мамедага считал, что там, где нет простора, не может быть и отдыха. Где не видно горизонта, где тебя не обожжет солнце и не омоют дожди, где ты не можешь остаться один на один с морем, скалами, деревьями — там нет настоящего отдыха. Один на один — это не значит, что только ты и море, нет, но чтобы между тобой и морем не было асфальта, не было железной дороги, чтобы ты был далеко от дыма, мазута и шума.

Если бы Мамедага захотел, он мог бы устроиться в любом тире в центре Баку. В управлении его все знали и уважали: ведь каждую неделю он, как у них говорится, «привозил план» и не имел не только что выговора — даже замечания; он мог ходить с высоко поднятой головой. Однако Мамедага не хотел работать в столичном тире, ибо был он влюблен в свой фургон, в свою бродячую жизнь. Раз в неделю он отправлялся в Баку, сдавал выручку, выходной проводил дома, а потом снова в путь. Не было села на Апшероне, где бы он не побывал. В каждом селе он останавливался на день, самое большее на два; он не любил задерживаться дольше, потому что хотел, чтобы появление его фургона воспринималось как праздник.

На этой неделе он из Баку выехал в Хурдалан, оттуда — в Дукях, в Мамедли, потом в Фатмаи, из Фатмаи

приехал сюда, в Загульбу, в ее удивительный вечер, а завтра рано утром он должен возвращаться в Баку.

После восьми или половины девятого вечера в тир уже никто из села не приходил, потому что в это время показывали фильмы, и Мамедага тоже, закрыв тир, шел в кино, но чаще по вечерам он занимался своим фургоном: мыл, чистил, осматривал мотор, а потом ходил купаться в море.

Он любил смотреть с моря на стоявший на берегу фургон. Каждый раз, глядя на чистую алюминиевую поверхность фургона и выведенные на нем большими разноцветными буквами призывы, он испытывал желание похвастаться своим тиром перед всем миром. Но море смывало хвастовство, оставляя одну только чистую радость; так оно промывает раковину, доводя ее до зеркального блеска, и в этой радости Мамедага купался как в море. Конечно, он понимал, что иметь в наше время такой фургон и разукрашивать его — не слишком большое дело, но почему-то каждый раз, глядя на фургон и перечитывая призывы на нем, он поддавался чувству безмерного восторга. На боках фургона были выведены два одинаковых призыва:

«Учитесь искусству метко стрелять!»

и

«Юноши и девушки! Овладевайте техническими видами спорта!»

А перед входом в фургон под надписью «Пневматический тир» было выведено тоже разноцветными буквами:

«Можно ли одним выстрелом убить двух зайцев? — Можно!»

Это Мамедага придумал и написал сам, но это не было лишь красивой фразой для завлечения клиентов. Мамедага вообще никогда и никого не обманывал. Он сделал забавный механизм: на груди у деревянного зайца была красная точка, и, когда пуля попадала в эту точку, заяц падал направо, а прикрепленный сзади него второй заяц — налево.

Но случилось так, что, плавая в море в эту удивительную летнюю ночь, Мамедага вовсе не испытал того

постоянного чувства радости, которое обычно вызывал в нем фургон, стоящий на берегу.

Позже, осматривая одну за другой бумажные мишени, деревянных зайцев, лису, медведя, льва и еще какого-го неведомого зверя, а также и сложенную из банок пирамиду, Мамедага вообще почувствовал, как тоска подступила к горлу; за время работы в тире это происходило с ним впервые, и сразу же фургон показался ему тесным и скучным; он никак не мог понять, отчего это произошло и почему эта тоска нахлынула так внезапно. Зарядив одну из винтовок, он поднял приклад и, прищурив глаз, выстрелил: как всегда, он попал в десятку; потом с удивившим его самого безразличием (да что же это такое с ним?) перемахнул через стойку, взял щипцы и вытянул из резины железную пулю с щеточкой, затем, снова перешагнув через стойку, подошел к дверям фургона.

Он смотрел на огни села, и вдруг одна очень простая мысль потрясла его: если сейчас здесь с ним что-нибудь случится, то никто об этом не узнает, пройдет время — и этот фургон пригонит сюда кто-нибудь другой, и люди снова придут сюда поразвлечься, но никто из них и не вспомнит, что был на свете такой парень по имени Мамедага, который очень любил и этот фургон, и этот песок, и это море. Мамедага посмотрел на свет, идущий от села, и ему показалось, что хотя целый день с утра до вечера он с людьми, на самом же деле он совершенно одинок,— с этими своими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем. Мамедага никогда не задумывался над такими вещами и не знал, что придет время — подобные мысли появятся...

Послышались чьи-то шаги, и по глухому кашлю человека Мамедага понял, что идет милиционер Сафар. Войдя в фургон, Сафар сказал:

— Добрый вечер, гага[1],— и, вытащив платок, вытер свое худое, с выступающими скулами, потное лицо.

— Добрый вечер, Сафар,— ответил Мамедага, еще не пришедший в себя от своих недавних мыслей. Снова перемахнув через стойку, он сел на деревянную скамейку, покрытую маленькой подушечкой, верх которой был

---

[1] Гага — браток *(разг.)*.

искусно сшит из лоскутков Сакиной-хала [1],— эта подушечка была для Мамедаги самой дорогой вещицей во всем фургоне.

— Да какой же я Сафар [2], а? Зовут-то меня Сафар, а я только раз в жизни совершил путешествие, спустился вон с тех гор сюда, и все! — Сафар поднял руку над головой, как бы показывая те самые горы, которые можно увидеть, выйдя из фургона.

Прошло уже тридцать лет с тех пор, как милиционер Сафар расстался с горами Лачина. Но тоска по этим местам ни во сне, ни наяву не покидала его; каждый год собирался он поехать туда, но каждый раз что-нибудь да мешало. Конечно, если бы его жене Зибейде захотелось, то он бы сейчас гулял не здесь, а там!

...В квартале, где жил Мамедага, тоже были такие «путешественники». Это были люди, приехавшие в Баку из районов; одни из них получали от государства освободившиеся квартиры, другие покупали себе дома. Приезжие ни с кем не сближались и, как правило, чувствовали себя чужими в квартале, а квартал не забывал тех, кто жил в этих домах прежде. Старые жители получали квартиры в новых домах, они переезжали, но какое-то время поддерживали связь с кварталом, и, хотя постепенно все связи прерывались, все-таки квартал держал их в своей памяти. Это было похоже на историю со старыми и новыми деньгами: в обиход уже вошли новые, но если нужно было подсчитать особенно тщательно, люди невольно переходили на старые.

Приезжих называли по местности, из которой они прибыли: карабахские, гянджинские, шемаханские; любопытно, что приезжие между собой тоже не очень-то сближались, словно между ними проходили невидимые границы их районов.

Агабаджи поселилась в квартале с незапамятных времен, а после того как Абдул бросил ее с детьми, она работала кассиршей в Желтой бане. Теперь Агабаджи возмущалась:

— Видели вы этих карабахских? Везери [3] они не едят... Говорят, эта трава не для людей... Тоже мне умники нашлись!

---

[1] Хала — тетя, обычное обращение к женщине старше тридцати лет.

[2] Сафар — путешественник.

[3] Везери — съедобная пряная трава.

Жена ювелира Алашрафа Зиба вторила ей:

— Конечно, нашла о чем говорить, цену золота знает только ювелир! Правду говорят: откуда ишаку знать, что такое плов с шафраном?..

— Э-э, ей-богу, ну не понимаю я этих бакинских!.. Каждый день с утра до вечера варят кюфта-бозбаш. Утром, только проснешься, уже слышишь: тук-тук,— это они на доске рубят мясо, ночью ложишься спать — и опять тук-тук, опять мясо рубят!

Это уже рассуждает Аллахверди, который продал дом в Барде, переселился со всей семьей в Баку и теперь учится на курсах водителей трамвая.

А окончивший еще до революции Харьковский университет преподаватель русского языка Алхасбек, глядя поверх очков со стеклами плюс восемь, говорил:

— Сынок, что это за слова такие: «карабахские», «бакинские»? Что за «чушки» и «хамшари»? Как не стыдно? Зачем вы друг другу ярлыки приклеиваете, зачем проявляете друг к другу такое неуважение?..

Конечно, милиционер Сафар не знал, о чем сейчас вспомнил Мамедага, но, вытерев пот с лица и обмахиваясь уже мокрым платком, он сказал, обращаясь к Мамедаге:

— Гага, у одного человека спросили: «Откуда ты?» Он ответил: «Я еще не женат». Это верно, но проклятые горы никак не выходят из головы! Не выходят из головы, и все тут!.. Попасть бы туда сейчас, гага, клянусь тобой! Надо только надеть шерстяной джемпер, а пиджак застегнуть, не то зуб на зуб не попадет от холода, да еще крепкого чая выпить цвета петушиного гребешка, чтобы сразу и тело согрелось, и душа насладилась.

Когда разговор дошел до чая, милиционер Сафар совсем расстроился:

— Здешний чай — разве чай?.. Сколько ни сыпь заварки, каким способом его ни заваривай, все равно того вкуса не получится... А знаешь отчего это, гага? От воды! Вода, которая из-под скал,— это совсем другое дело, гага!

Милиционер Сафар снял фуражку и вытер свою давно полысевшую голову. Солнце до черноты опалило его лицо, но часть головы, постоянно закрытая фуражкой, осталась белой; она была похожа на белую касу, которую перевернули вверх дном и надели ему на голову.

— Клянусь тобой, гага, этого чая я бы выпил сейчас

стаканов двадцать, и не скажу, что напился... Хорошо бы самовар поставить и чтобы на нем чайник мурлыкал!..

Милиционер Сафар, очевидно, страдал оттого, что не может сию же минуту выпить чая цвета петушиного гребешка, настоянного на горной воде. Мамедагу же чай в данный момент интересовал меньше всего на свете; он все еще находился во власти своих тоскливых мыслей и не мог понять, что с ним происходит, откуда эти мысли: быть может, он уже начинает чувствовать бремя своих лет? Неужели возраст дает о себе знать?.. Он перевел взгляд с белой головы милиционера Сафара на деревянного зайца, лису, медведя и неведомого зверя и почувствовал, как в нем просыпается прежнее желание, мечта, которую он носил в своем сердце уже два года, с которой колесил по дорогам Апшерона.

Два года назад в Баку на бульваре открылась выставка американских аттракционов, и с того самого дня, как Мамедага побывал на выставке, одна мечта не оставляла его: захотелось ему ездить по селам не с одним своим алюминиевым фургоном, но и возить с собой такой вот аттракцион, нечто вроде передвижного цирка. Пусть американским миллионерам все эти разноцветные игрушки и машины нужны лишь для того, чтобы убить время, для детей и подростков Апшерона это было бы праздником; каждую неделю в очередное село приезжал бы этот праздник, так думал Мамедага, и вдруг именно теперь ему показалось, что, если бы у него был такой аттракцион, он не только не затосковал бы, у него не было бы времени и в затылке почесать!

Милиционер Сафар наконец надел на голову фуражку.

— Вот так-то, гага,— сказал он,— зовут меня Сафар, а путешествовал я лишь раз в жизни...

И тут же он вспомнил, что сегодня утром, когда он во дворе зубным порошком доводил до блеска свои форменные пуговицы, его жена Зибейда на что-то разозлилась и сказала, что он не Сафар, а сафех [1]. Почему Зибейда разозлилась, этого милиционер Сафар вспомнить не мог и улыбнулся: он привык к выходкам Зибейды и уже давно на нее не сердился. Потом Сафар вспомнил, что Зибейда вышла из себя, кажется, из-за Начальни-

[1] Игра слов: сафар — путешественник, сафех — непутевый.

ка. И тут милиционер Сафар явно расстроился; шлепнув севшего ему на плечо комара и почистив рубашку, он сказал:

— Правильно говорят: где твоя цель, туда и путь твой.— Посмотрел на Мамедагу и улыбнулся.— Ты еще молод, чтобы понимать такие вещи.

Конечно, Мамедага не знал, о чем подумал милиционер Сафар, но зато он хорошо знал, что этот худой долговязый человек никогда больше не увидит своих гор и никогда больше не выпьет чая цвета петушиного гребешка, заваренного в горной воде. Неизвестно, почему Мамедага так решил, должно быть, весь вид милиционера Сафара говорил сам за себя.

Мамедага не знал и того, что у милиционера Сафара два начальника: один, естественно, в отделении, а другой — дома. Дело в том, что у милиционера Сафара было шесть дочерей и один сын; сын был последним ребенком в семье, и, когда он родился, Сафар и Зибейда впервые в жизни договорились: назвали ребенка Начальником. Дети, конечно, смеялись потом над именем их сына, и тот приходил домой в слезах: зачем только его так назвали! Зибейда обвиняла теперь во всем милиционера Сафара, хотя когда-то и сама была довольна. Вот отчего и поселилась грусть в сердце милиционера Сафара: он понял, что Зибейда хотела назвать своего мальчика этим именем, потому что знала — муж ее никогда не будет начальником.

Милиционер Сафар не переживал и теперь, что дал ребенку такое имя, во-первых, потому, что не имя красит человека, а человек красит имя; во-вторых, ведь это не какое-нибудь ругательное слово! Чтобы оправдать свое имя, Начальник должен был бы постараться хорошо учиться, но все было наоборот — вот это действительно расстраивало милиционера Сафара, и кстати, было причиной его прихода в этот вечерний час к фургону.

Милиционер Сафар снова снял фуражку, вытер мокрым платком белую голову, потом длинными черными пальцами вытащил из старого портсигара папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— На свет летят, э, гага, эти сукины дети комары, на свет летят. Я сейчас ухожу, а ты погаси свет.

Мамедага посмотрел на электрическую лампу, висевшую в салоне фургона. Двухсотваттная лампа, которую Мамедага протирал чуть ли не ежедневно, так ярко осве-

щала фургон, что казалось, будто свет не вмещается в небольшое помещение тира. Мамедага вдруг ощутил всю тесноту своего фургона, сердце у него сжалось, и он принял категорическое решение завтра же поднять вопрос в управлении об аттракционе. Если понадобится, он пойдет к Наджафу и вообще начнет действовать!

Раньше Наджаф жил в одном квартале с Мамедагой, он был старше его всего на четыре года, но работал теперь заместителем министра. Кто бы из квартала ни приходил к Наджафу с просьбой, он делал все, что было в его силах. Воспоминание о Наджафе немного рассеяло Мамедагу, он заметил пустую кобуру милиционера Сафара,— милиционер Сафар каждый день перед выходом из дома на работу заворачивал в газету свой завтрак, хлеб с сыром, и клал в кобуру. Мамедага пододвинул ему по стойке ружье и предложил:

— Если хочешь — стреляй.

Милиционер Сафар шлепнул комара, севшего теперь уже на шею, обтерся мокрым платком, сказал:

— Нет, гага, большое спасибо. Я не люблю бить и стрелять. Мое правило — решать все вопросы мирно, спокойно... Знаешь, гага, зачем я к тебе пришел? — Милиционер Сафар наконец решился перейти к самой сути: — Не пускай ты сюда моего сына! Как придет — гони его!

— Он что, тайком брал у тебя деньги на тир?

— Да нет, скажешь тоже... Разве станет мой сын воровать? Неужели ты его не знаешь?

— Нет.

— Вот потому и говоришь так... Дело в другом, гага. Позавчера я спрашиваю его: ты уже взрослый парень, перешел в восьмой класс, должен знать, кем хочешь стать. А он отвечает: я знаю. Так кем же ты будешь? Он и говорит: у меня будет фургон, и я буду по селам возить тир...

Мамедага посмотрел на горестное лицо Сафара, на его промокшую от пота рубашку со сверкающими металлическими пуговицами, встал, перемахнул через стойку и, подойдя к двери фургона, взглянул на огни села. Ему показалось странным, что рано утром он уже уедет отсюда и не скоро еще приедет снова, а какой-то совершенно другой человек завтра же, купаясь в море, будет представлять в своем воображении сверкающий под солнцем алюминиевый фургон и в мечтах будет считать его

своим, будет гордиться им... Огни села вдруг показались ему близкими, они согревали душу, и он подумал, что в каждом селе Апшерона, когда гаснут огни, кто-то еще не спит и у кого-то перед глазами стоит серебристый фургон, тот самый, который принадлежит ему, Мамедаге. Он поднял голову и посмотрел на небо. Красное облако растаяло, нигде уже не было видно его отсвета, ни в море, ни на горизонте.

Взошла луна, зажглись звезды, слабый норд выплескивал на берег волны, их гребешки отливали в лунном свете молочной белизной, той молочной белизной, которая словно бы воплощала в себе всю чистоту этой удивительной летней ночи. Мамедага совсем уже не мог теперь понять, отчего это минут десять назад ему было так тоскливо? Если есть на свете вот такая молочная белизна, то о чем можно тосковать и о чем может болеть сердце?!

Милиционер Сафар никогда никого не обижал — что может быть хуже этого? Но теперь, глядя со спины на темные волосы парня, на его широкие плечи, мускулистые руки, он подумал, что сказал что-то не совсем то, чем-то задел этого парня. Но ведь и парень, со своей стороны, должен его понять! Милиционер Сафар аккуратно сложил свой мокрый платок, положил его в карман, достал из старого портсигара своими длинными черными пальцами еще одну папиросу «Памир», зажег ее, глубоко затянулся и сказал:

— Знаешь, гага, ты зря обижаешься. Что я сказал? Ничего плохого... Я просто хочу, чтобы мой единственный сын хорошо учился, вырос, стал большим человеком.

Разные люди говорят разное, слов наговорено и выслушано за жизнь множество, но слов, которые в детстве сказал ему молла Сулейман, Мамедага не забывал никогда. Странно! Бывает, бросят тебе слово, которое прозвучит как пощечина, но через месяц забудется — и не вспомнишь. А порой скажут тебе такое, на что и внимания не обратишь, но потом всю жизнь это с тобой.

Молла Сулейман жил в одном квартале с Мамедагой и рассказывать о нем — это все равно что рассказывать о старой Желтой башне, старой мечети, в которой нынче разместилась небольшая шерсточесальная фабрика; об Узком тупике, по которому с трудом и боком могут протиснуться два человека. На глазах моллы Сулеймана бы-

ли очки с толстыми стеклами, на голове — кофейного цвета, местами полысевшая бухарская папаха, в руке — старая палка, отделанная серебром. Сначала слышался стук трости моллы Сулеймана, а потом он, выйдя из какого-нибудь двора, шагал по тротуару.

В квартале не любили моллу Сулеймана. Молла Сулейман был незваный гость, человек, который суется не в свое дело. В то время Желтая мечеть не была еще шерсточесальной фабрикой, и в один из дней, во время махаррама [1], Мамедага в первый и последний раз в жизни влез с ребятами на желтый забор и заглянул во двор мечети.

Молла Сулейман, стоя посередине маленького дворика, повторял слова мерсие [2]:

Как не плакать камню кровью сегодня,
Отрезаны семьдесят две головы сегодня.
О если бы в этот день, в этот миг
Я был в Кербеле!

Увидев выпученные глаза моллы Сулеймана за чистыми стеклами очков, Мамедага подумал о том, что если бы молла Сулейман в самом деле попал в Кербеле в тот день, когда там рубили головы, то первым, кто сбежал бы, оставив людей в беде, был бы молла Сулейман. Вечером дома Мамедага рассказал обо всем, и Сакинахала сначала накричала на него, чтобы не смел больше ходить к мечети, но, не сдержавшись, улыбнулась:

— А ты хорошо сказал...

В квартале, где жил Мамедага, дома были, как правило, одно- и двухэтажные, и у всех крыши были залиты киром. Взобравшись на крышу, Мамедага с ребятами поджидал моллу Сулеймана. Они продергивали нитку сквозь дырочку в бумажном рубле и, как только раздавался стук палки, спускали деньги с крыши на тротуар. Дойдя до лежащей на тротуаре рублевки, молла Сулейман останавливался, внимательно смотрел на нее сквозь очки, потом, нагнувшись, хотел поднять ее. Как только молла Сулейман наклонялся, ребята тянули за нитку, и старик несколько метров полз чуть не на четвереньках за бумажкой. Потом мальчишки с криком дергали нитку вверх, и рублевка, минуя большой рябой нос моллы Су-

---

[1] Махаррам — первый месяц магометанского календаря.
[2] Мерсие — мусульманская духовная элегия.

леймана, поднималась на крышу. Посылая проклятия, призывая всяческие бедствия на их головы, молла Сулейман, постукивая палкой, продолжал свой путь по тротуару.

— Погодите, собачьи дети! Я заставлю вас наизусть читать эллезине! [1]

Однако самое удивительное заключалось в том, что через три-четыре дня молла Сулейман почему-то снова, не удержавшись, наклонялся, чтобы поднять привязанную к нитке рублевку.

Однажды Мамедага, сидя под тутовым деревом перед Узким тупиком, строгал палочки (для игры в шимагадер). Вдруг кто-то схватил его за шиворот и поднял. Мамедага никогда бы не подумал, что в руках у моллы Сулеймана такая сила. И глаза моллы он никогда не видел так близко. Глубоко запавшие, эти сердитые глаза увеличивались толстыми стеклами. Притянув лицо Мамедаги вплотную к своим глазам и брызгая слюной, молла Сулейман сказал:

— Единственное, что я хотел бы знать, это кем ты будешь, когда вырастешь?! Амбал ты будешь, амбал! Амбал Дадаш [2] будут тебя называть!

В это время откуда-то появился сосед Мамедаги по тупику Китабулла и забрал его из рук моллы Сулеймана:

— Отпусти ребенка, ай киши! [3] Отпусти, говорю!

Молла Сулейман, оглядев сердитыми глазами высокую фигуру Китабуллы, его широкие плечи, сильные руки, сказал:

— А ты кто, Гочу Наджафгулу? [4]

— Нет, я не Гочу Наджафгулу, но ребенка отпусти!

— Так... Значит, ты чесальщик Мансур! [5] — Эти слова молла Сулейман произнес, прямо-таки корчась от злости, но отпустил Мамедагу.

Ровно неделю потом чувствовал Мамедага на своей шее сухие пальцы моллы Сулеймана.

---

[1] Эллезине — труднопроизносимые арабские слова в Коране.

[2] Амбал Дадаш — до революции известный бакинский носильщик.

[3] Ай киши — обращение к мужчине.

[4] Гочу Наджафгулу — до революции известный бакинский атаман.

[5] Чесальщик Мансур — символ великодушия, доблести в классической восточной литературе.

С тех пор прошло много лет, и сказанные в то время слова забыл, наверное, и сам молла Сулейман.

Приезжая в Баку, Мамедага ставил фургон у своего дома колесами на тротуар, и тут же со всего квартала сбегались к нему ребятишки. И никто из них не подозревал, что в свое время и Мамедага так же вот прыгал перед машинами, останавливающимися в квартале, хотя машины эти, полуторки и виллисы, по сравнению с его алюминиевым фургоном были все равно что старый барабан рядом с новой нагарой. Первым делом Мамедага шел в Желтую баню, где начинал с терщика Джабара. Натеревшись как следует, он двигался в парную, там парился в свое удовольствие, а выйдя из бани, выпивал кружку холодного пива в будке Асадуллы. Дома надевал чистую рубашку, новый костюм, повязывал галстук и шел на улицу к тутовому дереву, что растет в начале тупика. Там к нему подходили товарищи, соседи по кварталу, здоровались, спрашивали, как дела, рассказывали Мамедаге все новости: кто обручен, какую девушку согласились выдать замуж, кто поменял работу, кто поругался с соседями, кто с кем помирился и кто на кого обиделся. Но о главных новостях он узнавал еще дома. Когда его приглашали на свадьбу, то пригласительный билет вручали Сакине-хала. Мамедага всегда старался так распределить свое рабочее время, чтобы суметь прийти на свадьбу, иначе тут же начинались пересуды, чего Мамедага крайне не любил. Когда же все-таки прийти не было совсем никакой возможности, он заранее приносил свой подарок и поздравления. Оставаясь в Баку каждое воскресенье, он то ходил на поминки и выражал соболезнование, то приносил извинения. В квартале все любили Мамедагу, а молодые его уважали. Мнение квартала было единодушным: «Мамедага — настоящий мужчина!»

Иногда и молла Сулейман, постукивая палкой, проходил мимо сверкающего под солнцем, крытого алюминием фургона; остановившись под окнами Мамедаги, выходящими на улицу, он поднимал свою палку, стучал по стеклу, вызывая мать Мамедаги, и, уставившись женщине прямо в глаза своими страшными, увеличенными стеклами очков глазами, говорил:

— Сакина-баджи [1], машаллах! Машаллах! У тебя хо-

---

[1] Баджи — сестрица.

роший сын! Да не сочтет аллах его лишним для тебя. Пусть будет счастлив!

И Сакина-хала с тайной тревогой бормотала:

— Большое спасибо, ай молла! Долгой тебе жизни!

Боялась Сакина-хала, что молла Сулейман сглазит Мамедагу. Утром она варила в медном казане бозбаш и прямо в нем отправляла молле Сулейману — это было нечто вроде взятки.

Было у моллы Сулеймана два сына, и оба сидели в тюрьме. Один во время войны попал в плен и перешел на сторону фашистов, а другой изнасиловал пятнадцатилетнюю девочку-армянку.

Сакина-хала была довольна своим сыном. В прошлом году Мамедага по-шахски выдал замуж свою сестру. Теперь у Солмаз был хороший дом, семья, да и в мужья хороший человек попался. И все-таки Мамедага вызывал постоянное беспокойство у Сакины-хала. Во-первых, Сакина-хала волновалась за сына, когда он бывал в отъезде, а во-вторых, время шло, а Мамедага никак не женился. Сакина-хала прочила ему лучших девушек квартала, но Мамедага не только думать, но и разговаривать об этом не хотел. Сакина-хала знала, что, если сын скажет «да», она приведет ему в жены самую достойную девушку квартала из самой почитаемой семьи. Даже их сосед, управдом Керим, несколько раз намекал, что зря, дескать, Мамедага ходит холостым. А у управдома Керима дочка — украшение всего квартала; днем она работает в библиотеке, вечером учится в институте...

В эту удивительную летнюю ночь Мамедага вдруг вспомнил свой квартал, дом, тутовое дерево перед Узким тупиком, и почему-то ему показалось, что его отделяют от дома не два часа езды, а долгие дни дороги; ему показалось, что квартал его и снежные горы милиционера Сафара очень-очень далеки от песчаного морского берега Загульбы. И, обращаясь к Сафару, который давно уже раскаивался в сказанном и, прислонившись к стойке, стоял, смущенно обмахиваясь фуражкой, Мамедага спросил:

— Так ты говоришь, хорошо сейчас в горах?

Лицо Сафара просияло: так просто и легко было исчерпано это тягостное недоразумение между ними. Он с радостью воскликнул:

— Клянусь тобой, гага, там сейчас такая красотища! Ну просто слов нет!..

Помолчав немного, он сказал совсем иным, будничным и служебным голосом:

— Кажется, к тебе клиенты идут.

И привычным движением надел фуражку на голову. Всматриваясь через дверь в людей, подходивших к фургону, милиционер Сафар явно помрачнел:

— Паршивец такой, опять, кажется, напился...

И тотчас в фургон поднялись двое — толстый и худой, распространяя вокруг себя резкий запах спиртного.

Увидев перед собой толстого парня, Мамедага сразу же узнал его. А Мирзоппа, косо взглянув в сторону милиционера Сафара, равнодушно посмотрел на Мамедагу, на деревянного зайца, лису, медведя, льва, неведомого зверя и вдруг рассмеялся:

— Шикарно живете!

Он вытащил из кармана мятую пятерку и шлепнул ею по стойке:

— Пятьдесят пуль! Стреляем до утра!

Приятель толстого, худой парень, проголосовал обеими руками за это предложение:

— Постреляем!

Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа его не узнал, но не это было важно сейчас, а то, что Мирзоппа пьян; поскольку речь шла о ружьях с пулями, хотя это пули для тира, со щеточкой, то будь на месте Мирзоппы родной брат Мамедаги, он и ему не позволил бы стрелять в пьяном виде.

Прищурив набухшие веки, Мирзоппа посмотрел на деревянного зайца и громко рассмеялся:

— Да здесь и вправду шикарно! И чего мы до сих пор сюда не заходили?

Мирзоппа взглянул на худого, и худой снова поднял обе руки вверх и снова ответил кратко:

— Постреляем!

— Дай-ка нам, брат, ружье, но чтоб оно стреляло без обмана! — сказал Мамедаге Мирзоппа.

И, конечно, в другое время сказавший такие слова Мамедаге вылетел бы из тира, как пуля со щеточкой вылетает из ружья. Но Мамедага умел держать себя в руках, когда надо пропустить мимо ушей обидное слово. И сейчас, глядя прямо в жирные глазки Мирзоппы, он спокойно ответил:

— Постреляете в другой раз. Я уже закрыл тир.

— Что это он сказал? — Мирзоппа взглянул на худо-

го, мол, что за глупости мы выслушиваем! — Давай живее ружья и пули!

Худой был в состоянии только еще раз поднять руки и крикнуть:

— Постреляем!

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар.

— А ты заткнись! — бросил Мирзоппа милиционеру Сафару и провел рукой по горлу.— Я тобой сыт во как! Куда ни пойду, всюду прешься за мной. Отвяжись!

Милиционер Сафар фуражкой отмахивался от запаха водки, заполнившего фургон.

— Эх, Мирзоппа, не желаешь ты быть человеком! — сказал он.— На ногах ведь не стоишь, где уж тебе стрелять.

Мирзоппа достал из кармана еще одну мятую пятирублевку и шваркнул ею о стойку:

— Деньги плачу! Сто пуль давай!

Худой снова промитинговал руками и выкрикнул свой лозунг:

— Постреляем!

— Не постреляете,— повторил милиционер Сафар.

Мирзоппа почесал свою жирную волосатую грудь, выпиравшую из расстегнутой рубашки, и хмуро пробурчал:

— Разве я не сказал тебе — отвяжись? Чего тебе надо, а? Денег не хватает — могу дать!

Удивительное свойство Мирзоппы — сказать самое обидное для человека. От злости милиционер Сафар даже охрип:

— Я за всю свою жизнь не съел и крошки хлеба, добытого нечестным путем! За всю жизнь я ни разу даже краешком глаза не заглядывал в чужой карман. Я всегда был честным, жил по правде и буду так жить всегда.

Мирзоппа с ненавистью смерил милиционера Сафара с ног до головы:

— То-то ты так и живешь!

Милиционер Сафар, надев фуражку, подошел к Мирзоппе вплотную:

— Как я живу, ну? Как живу?!

Мирзоппа, не отвечая ему, обернулся к Мамедаге:

— Быстро! Каждому ружье и сто пуль!

Мамедага никогда не предполагал, что однажды, да еще в такую удивительную летнюю ночь, он снова встретится с Мирзоппой. Сейчас ему казалось, что он совершенно забыл о Мирзоппе и, если бы не увидел его те-

перь, может быть, никогда бы и не вспомнил. Мамедага молча глядел на толстого парня.

— Ну, в чем дело, а? — Прищурив один глаз, Мирзоппа внимательно осмотрел Мамедагу и узнал его.— Ты не Мамедага?

— Мамедага...

...Отец Мирзоппы Алиаббас-киши был кирщик, и всю их семью называли кирщиками. Большой котел для варки кира стоял на улице перед домом, где жил Мирзоппа, и до наступления осени котел медленно передвигался от дома к дому вдоль квартала: Алиаббас-киши заливал крыши всех домов киром. И если почему-либо большого котла нигде не было видно, то всем казалось, будто в квартале чего-то не хватало, что-то было явно не так.

Мирзоппа вечно был окружен ребятишками младше его на несколько лет, и они, конечно, ему повиновались. Никто, впрочем, не знал точно, сколько Мирзоппе лет, и ребят дома иногда стращали:

— Видишь, Мирзоппа курит папиросы, потому и не растет. Кто курит, тот обязательно будет таким же толстым, как Мирзоппа, и не будет расти. Таким он останется до самой смерти!

Никто из ребят не хотел быть похожим на Мирзоппу: многие его боялись, но не было таких, которым бы он нравился. Он первым среди ребят закурил и первым заговорил о женщинах.

Семья Мирзоппы жила в нижней части квартала, рядом с маленьким летним кинотеатром. Как-то летом в этом кинотеатре три месяца подряд ежедневно крутили фильм о Тарзане. Проснувшись утром, ребята тут же бежали в очередь за билетами. Перед кинотеатром появилась толпа спекулянтов. И в то лето некоторые, особо энергичные из них, спекулируя билетами, набрали денег на «Победу». А у ребят не всегда хватало на билет, и они лезли на крышу дома Мирзоппы, чтобы смотреть кино оттуда, и за это Мирзоппа собирал с них по двадцать копеек с каждого.

Мирзоппа разговаривал высокомерно, готов был на любую пакость, заставлял ребят прислуживать себе, а сам прислуживал взрослым. Мамедагу он не любил, потому что хотел, да не мог послать его ни за папиросами, ни за дровами для разжигания огня под котлом. Пару раз в укромном месте Мирзоппа дрался с ним; ни тот, ни другой по-настоящему не победили, только Мирзоппа

все равно ходил как победитель и вел себя как победитель.

Но однажды все переменилось.

В тот день Мирзоппа, сидя на тротуаре перед своим домом, ел селедку с черным хлебом и тихонько напевал про себя:

И «Победе» я не рад:
У Тарзана горе,
Джейн обрезала канат,
Я с ней в ссоре.

(Жена мясника Аганаджафа — Баладжаханум иногда под настроение пела среди девушек квартала эту известную песенку иначе:

Мне «Победа» ни к чему,
На «Москвич» не сяду.
Только «ЗИМу» самому
Буду рада!

Она пела и, как обычно подмигивая собравшимся вокруг нее молоденьким девушкам, громко хохотала.

Мать учившегося на трамвайных курсах Аллахверди — Айна, глядя на Баладжаханум из окна своей квартиры, говорила сама с собой: «Посмотрите, как она хохочет! Словно лиса соблазняет ворону...»)

Мамедага, купив в керосиновой лавке керосину, нес его домой и, проходя мимо Мирзоппы, не удержавшись, остановился.

В те годы в доме Мамедаги часто бывала шекербура, пахлава, шекерчурек[1]. Сакина-хала работала на кондитерской фабрике, где раз в два-три дня им выделяли сладкий паек, зато других продуктов в доме почти не было, а селедкой вообще никогда и не пахло — Сакина-хала не любила запаха селедки.

Конечно, Мирзоппа сразу смекнул, что у Мамедаги слюнки потекут при виде селедки,— Мирзоппа потому и был Мирзоппой, что знал, чем и в какой момент раздразнить человека.

— Мировая селедка! — Мирзоппа, причмокивая, сосал рыбий хвост.— Хочешь?

Мамедага понимал, что Мирзоппа так просто никогда не угощает, но не удержался и сказал:

---

[1] Печеные сладости.

— Да, хочу.

— Деньги с собой есть?

Когда Мамедага покупал керосин, ему дали сдачу, и эта мелочь лежала сейчас в нагрудном кармане трикотажной рубашки Мамедаги, но в то время каждая копейка в их доме была на счету, и он не решился отдать эту мелочь Мирзоппе.

— Ну, есть деньги?

— Нет.

— Тогда держи! — Мирзоппа просунул вымазанный жирной селедкой палец между двумя другими пальцами и показал Мамедаге кукиш, продолжая причмокивать и сосать хвост. Однако тотчас он придумал иное: — Принеси из дому шекербуру, поменяемся. Только чтобы хорошую, а сверху миндаль. И побольше!

Конфеты, шоколад, шекербура, пахлава, шекерчурек считались в квартале самым большим лакомством, но, ясное дело, в те годы эти сладости были редкостью. У кого бывала возможность, пекли к новруз-байраму шекербуру и пахлаву. Понятно, что домашние шекербура и пахлава получались вкуснее фабричных, но в те времена никто не обращал внимания, дома они готовились или на фабрике.

Мамедага вынес из дому шекербуру, а Мирзоппа, который ждал его перед Узким тупиком, взяв шекербуру в руки, оглядел ее со всех сторон, как ювелир Алашраф разглядывает золото, и Мамедага подумал, что Мирзоппа сейчас что-нибудь выдумает, но шекербура все-таки соблазнила Мирзоппу, и он ограничился тем, что сделал вид, будто это с его стороны большое одолжение:

— Ну ладно, для тебя разве... Держи!

Мамедага взял селедку и кусок черного хлеба и тут же все съел, а Мирзоппа между тем ушел домой.

Прошло два дня, и на третий вечером Мирзоппа сам пришел в Узкий тупик и показал Мамедаге зажатый в руке кусок черного хлеба с селедкой:

— Шекербуру принесешь?

— Нет, не хочу.

— Не хочешь? Селедки не хочешь? — Глаза у Мирзоппы чуть не вылезли на его жирный лоб.— Ах, так, значит!

В тот же вечер Мирзоппа собрал вокруг себя под тутовым деревом ребят со всего квартала и начал:

— Ей-богу, не вру, здорово я тут поразвлекался — надул этого маменькиного сынка. Он мне приносил шикарную шекербуру, притом сверху миндаль, а я совал ему старую селедку с черным хлебом, хлеб я приносил из хлева в Ясамалах[1], где его бросают баранам Гаджибалы. А шекербуру я поел в свое удовольствие!

Мирзоппа выразительно рассказывал, ребята охотно смеялись, а Мамедага в жизни еще так не краснел: ясное дело, Мирзоппа приносил хлеб вовсе не из сарая в Ясамалах, и селедка была свежая, он все выдумал, но рассказывал эту ложь с удовольствием, и Мамедагу выставил растяпой.

Прошло несколько дней.

Однажды, когда Мамедага возвращался из школы, Мирзоппа вновь стоял перед Узким тупиком, и Мамедаге показалось, что Мирзоппа давно здесь стоит, чтобы не пропустить его. На мясистом лице Мирзоппы было то самое выражение, с каким он стоял перед теми, кто старше и сильнее его, если бывал виноват. Едва завидя Мамедагу, он, вроде бы смущаясь, сказал:

— А, кореш, из школы идешь? — И тут же перешел на свой обычный тон свысока: — Ну, ладно, подумаешь, что случилось, а? Ну, пошутил я, ты что, совсем наивный, шуток не понимаешь? Брось...— Мирзоппа слегка запнулся и добавил, снова вроде бы немного смущаясь: — Послушай... Мировая селедка есть, клянусь жизнью, высший класс! Хочешь?

— На держи! — На этот раз Мамедага соорудил ему кукиш из пальцев, вымазанных чернилами, и ткнул им Мирзоппе прямо в лицо.

Мирзоппа страшно рассвирепел.

— Ей-богу, жалко, отец мой дома, а то бы я тебе врезал! — сказал он и ушел.

Мирзоппа ушел, но Мамедага почему-то не ощутил сладости этой мести, что-то было в сегодняшнем разговоре Мирзоппы, в его позе, даже в том, как он уходил, такое, что мешало Мамедаге спокойно торжествовать.

Был полдень, и Сакина-хала, придя с работы на перерыв, чистенько вымела двор мокрым веником. Во дворе, как всегда после этого, стало прохладнее. Мамедага, сидя на большом камне у дверей, наматывал на катушку только что изготовленного воздушного змея нитки деся-

---

[1] Ясамалы — отдаленный район Баку.

того номера. И тут из переулка раздался погрубевший, уже совсем как мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

Мамедага кинул катушку за ворот бумазеевой рубашки и вышел к воротам.

— Ну чего? — спросил он и снова увидел на лице Мирзоппы то же выражение — просительное, которое появлялось у Мирзоппы, если ему приходилось держать ответ перед теми, кто старше и сильнее.

— Выйди на минуту.

— Зачем?

— Дело есть к тебе...

Мирзоппа отвел его в укромное место в тупике за мусорными ящиками и, перед тем как перейти к делу, вежливо осведомился:

— Как твои дела?

— А тебе что? Тебе чего надо?

И Мирзоппе стало ясно, что наладить отношения с Мамедагой ему будет трудно. Скривившись, он озадаченно почесал голову и посмотрел своими выпуклыми глазами на воробьев, сидевших на высоко протянутых электрических проводах. Мамедага понял, что Мирзоппа не знает, с чего и начать. Наконец Мирзоппа решительно сказал:

— Слушай, Мамедага, клянусь жизнью, отец привез шикарную кильку, на банке написано «экстра», а купил он ее в продмаге перед музеем Низами.

Мамедага подумал, что Мирзоппа завтра же соберет ребят и заставит его краснеть, выдумав очередную небылицу, но вдруг ему почему-то стало жаль Мирзоппу. Перед ним был какой-то другой Мирзоппа, хотя он снова попытался взять тон благодетеля:

— О тебе же хлопочу, шикарная килька! Принеси только шекербуру, можно и без миндаля. Принесешь?

Не отвечая ни слова, Мамедага ушел домой. Взяв одну шекербуру, он вернулся к Мирзоппе, а тот, отрезав ломоть черного хлеба и положив кильки, тоже вышел из своих ворот. Взяв шекербуру, он снова, как ювелир Алашраф, оглядел ее со всех сторон и только после этой процедуры протянул Мамедаге хлеб с кильками.

— Бери, клянусь, ни с кем другим бы не поменялся. Мировая вещь! Кореш ты мой, что поделаешь...

И тут Мирзоппа рассмеялся, и жалкое выражение с его толстого лица слетело, вмиг Мирзоппа стал преж-

ним Мирзоппой. Он круто повернулся и вошел в свой двор, закрыв за собой ворота. И в этот момент Мамедаге показалось странным, что Мирзоппа опять не стал есть шекербуру тут же, на месте.

Мамедага бросил кильки смотревшей на него серой кошке, мяукавшей у электрического столба, хлеб сунул в решетку уличного окна Мирзоппы и, взобравшись по столбу, попал на крышу одноэтажного здания. Спрятавшись за кирпичную трубу, он глянул в сторону двора Мирзоппы.

Около крана во дворе на перевернутом ведре сидел Дуду, и Мамедага удивился про себя, как это ведро выдерживает тяжесть такой туши. А перед Дуду стоял Мирзоппа и подносил шекербуру прямо ко рту юродивого брата. Дуду, откусив кусочек, пережевывал и проглатывал его так медленно и величественно, как огромная грузовая машина идет на первой скорости по асфальту, и пусть другие машины одна за другой обгоняют ее, она не обращает на них внимания и движется словно черепаха.

Никто из ребят в квартале не знал настоящего имени Дуду; все называли Дуду просто Дуду. Дуду был чрезмерно толст, но и голова у него тоже была большая. Ему всегда надевали очень широкие сатиновые шаровары, чтобы он не растер до крови ляжки, к тому же на его фигуру брюк просто не было. У Дуду всегда тряслась голова, изо рта всегда текла слюна. Дуду не умел разговаривать, и когда он хотел сказать слово, то издавал какие-то странные звуки. Дуду никогда не подходил к ребятам, а, изредка появляясь на улице, останавливался у дворовых ворот и смеялся сам с собой, издавая те самые звуки. Дуду было тринадцать лет, он был всего на полтора года младше Мамедаги, но в школе он не учился.

Отец Дуду приходился Мирзоппе дядей; он погиб на войне, а мать его за дурные дела (говорили, что среди ночи приходили мужчины из других кварталов целоваться с ней под тутовым деревом) отец Мирзоппы, Алиаббас-киши, выгнал из дому. Дуду остался в их семье.

Вкладывая шекербуру прямо в рот Дуду, Мирзоппа говорил брату:

— Ешь, ешь! Завтра опять принесу. И сверху миндаль будет. И конфеты куплю. Завтра кино мировое, ребята придут на крышу, будут кино смотреть, а я с них деньги соберу и конфеты тебе куплю.

Дуду, устремив свои ничего не выражающие глаза в неведомую точку, медленно прожевывая кусочек шекербуры, внезапно поднял голову и, посмотрев на крышу, увидел там Мамедагу, пытавшегося спрятаться за трубой. Дуду начал издавать свои разнообразные звуки, из-за чего кусочки шекербуры из его рта полетели прямо в лицо Мирзоппы.

Мамедага хотел убежать не потому, что боялся Мирзоппу, а потому, что понял: он не должен был увидеть то, что увидел; понял, что раскрылась тайна сердца Мирзоппы и вот так, подглядывая, раскрывать эту тайну нехорошо.

— Эй, негодяй, сын негодяя, ты чего влез на нашу крышу?! — Мирзоппа прямо-таки лопался от злости, но его ругань обозлила и Мамедагу, потому что для Мамедаги самое непростительное — ругать отца: отец его тоже не вернулся с войны, и Мамедага даже лица его не помнил. Али ушел на фронт в первый год войны и в первый же год недалеко от Москвы пал жертвой фашистской пули.

Мирзоппа кинулся к стене так, будто вот сейчас подпрыгнет и будет на крыше:

— Спускайся вниз, негодяй, сын негодяя!

— Сам ты сын негодяя,— Мамедага ответил Мирзоппе тем же ругательством, но лицо у него пылало так, словно выскакивающие изо рта Дуду кусочки шекербуры попали ему в глаза, а не Мирзоппе.

Мамедага соскользнул по столбу вниз и, не дожидаясь, пока Мирзоппа выскочит со двора на улицу, добежал до Узкого тупика и исчез: Мамедага не боялся, но будто устыдился чего-то.

Весь этот день он уже не выходил из дому, а вечером из Узкого тупика раздался густой, как у мужчины, голос Мирзоппы:

— Мамедага!

(Часто матери и старшие сестры, перехватив взгляд Мирзоппы, не пускали ребят играть с ним, говорили: «Он взрослый мужчина, только не растет. Из глаз его льется бесстыдство. Он вам не пара. Играйте со своими сверстниками».)

Мамедага выглянул из ворот:

— Чего тебе?

— Выйди на минуту, дело есть.

Конечно, Мамедага по понятной причине не хотел го-

ворить с Мирзоппой, но рано или поздно они должны были встретиться, и он вышел в тупик. Мирзоппа отвел его в укромное местечко у мусорных ящиков, помолчал, уставившись своими выпуклыми глазами в электрический столб, потом достал из-за пазухи пачку «Беломорканала» и закурил папиросу с тем горьким выражением на лице, какое бывает у взрослых курильщиков.

— Послушай,— сказал он,— Мамедага, клянусь жизнью, мало ли что бывает между братьями, ну и что? С этого дня я против тебя ничего не имею, клянусь братом, но и ты не говори ребятам, что Мирзоппа кормит шекербурой Дуду, ладно?

Мамедага даже и не думал делать этого, то есть то, что он увидел и услышал, взобравшись днем на крышу, произвело на него такое впечатление, что Мамедага разозлился на себя самого, и очень разозлился, к тому же Мамедаге стало понятно, что и у Мирзоппы есть сердце и это сердце не всегда закрыто, иногда оно раскрывается, становясь широким и чистым, но сейчас Мирзоппа испугался, что о чистоте и широте его сердца узнают другие ребята квартала,— и Мирзоппа снова стал обычным Мирзоппой, а тут уже Мамедага здорово на него разозлился, в его сердце внезапно забушевала жажда мести, ему хотелось хоть немного помучить Мирзоппу, расплатиться с ним за все его подлости и оскорбления!

Мирзоппа спросил еще раз:

— Ну?

— Скажу!

Мирзоппа искоса взглянул на него, потом, выкурив папиросу до конца, швырнул окурок в мусорный ящик и, скрипнув никогда не чищенными зубами, сказал:

— Слушай, я тебя прошу, клянусь, никого никогда не просил! У каждого есть свое достоинство...

Мамедага знал, что Мирзоппа нахально врет, что он всегда канючит, когда ему приходится туго; умоляя старших, он тысячи раз говорил «я плохо поступил», и, зная это, Мамедага снова не захотел уступить Мирзоппе и ответил ему зло, ехидно:

— А на собранные с нас деньги Дуду конфеты покупаешь?

Мирзоппа помахал рукой перед глазами Мамедаги:

— Эй, человек должен быть мужчиной, а не мартышкой. Мы тебя человеком считали, в дом приходили!.. Что за человек ты, а?

Самое плохое в Мирзоппе было то, что он боялся, как бы другие не узнали о его доброте; обманывать, приставать к людям, отрезать подметки у прохожих — вот что было в его глазах выражением силы, и он всерьез боялся, что ребята из квартала, узнав о его нежностях с юродивым братом, перестанут его уважать и отвернутся от него. Он некоторое время мрачно смотрел на Мамедагу, как бы раздумывая, что делать и как выйти из положения, в которое попал, треснуть ли сейчас пару раз Мамедагу и получить сдачи или снова приняться за уговоры? Наконец, решившись, он поморщился, почесал зачем-то шею и сказал:

— Если никому не скажешь, я окажу тебе небывалое уважение, клянусь!

— Какое?

— Небывалое! Отведу тебя в шикарное место...

Естественно, что ни одно слово Мирзоппы не вызывало у Мамедаги доверия, и Мирзоппа, зная это, не стал тянуть резину и, приблизив губы к его уху, прошептал:

— Смотреть на шикарных женщин!..

Мамедага считал, что Мирзоппа способен на что угодно и может совершить любое самое подлое дело, которое другому и в голову не придет, но на этот раз он ему не поверил. Когда толстые жирные губы Мирзоппы коснулись его уха, он содрогнулся. А Мирзоппа, оглянувшись по сторонам, снова приблизил свои губы к его уху:

— На купающихся в бане женщин. Совсем голых, клянусь!

У Мамедаги как будто сердце оборвалось и упало под ноги, и он, сам не узнавая себя, спросил:

— А не обманешь?

— Э, парень, я что — шучу с тобой? Идем.

В верхней части квартала, где жил Мамедага, стояла старая баня, которая называлась Желтая баня; ее потому так называли, что стены ее почему-то всегда красили в желтый цвет. Фасад бани обращен к улице, задняя сторона почти вплотную примыкала к глухой стене другого двухэтажного здания, а между ними на этом небольшом свободном пространстве гушбаз[1] Агамехти соорудил свою голубятню. По ночам здесь царила непроглядная тьма.

---

[1] Гушбаз — любитель птиц (преимущественно голубей и ловчих).

Мирзоппа привел Мамедагу к голубятне и, показав рукой на ее крышу, сказал:

— Если смотреть оттуда, все видно шикарно!

На задней стороне Желтой бани, наверху, было маленькое оконце, и до этого светящегося оконца можно было дотянуться с крыши голубятни Агамехти. Мирзоппа, как пес, идущий по следу, разыскал это место.

Мамедага был словно во сне и сам не знал, как он пришел сюда; он понимал, что его приход сюда с Мирзоппой — плохой поступок, понимал также и то, что тот, кто, вынюхивая, как собака, нашел это маленькое окошко,— самый низкий человек на свете, а присоединиться к подлецу — тоже подлость. Он хотел убежать отсюда, душный и влажный воздух в этой щели меж двух домов едва не лишал его сознания, но что-то, словно магнит, удерживало его здесь, и к тому же было уже поздно: если бы он сейчас сбежал отсюда, то оказался бы размазней перед Мирзоппой; сердце у него защемило — хоть бы скорее закончилось все это!

— Мужчины купаются...— Мирзоппа, навострив уши, прислушивался к доносящимся из этого маленького окошка стукам тазов, журчанию воды и по этим звукам различал, кто купается,— Мамедаге стало ясно, что Мирзоппа провел у голубятни немало вечеров.

Голуби, почуяв людей, начали ворковать, и от их воркования сердце Мамедаги забилось еще сильнее. Мирзоппа взял его за руку тоже вспотевшей рукой.

— Не бойся,— сказал он.

Мамедага выдернул свою руку из его; ему показалось, что рука Мирзоппы вымазана слюной, текущей изо рта Дуду; он всмотрелся в едва различаемое в темноте мясистое лицо настороженного, прислушивающегося Мирзоппы,— это был настоящий Мирзоппа, это уже был не тот Мирзоппа, который тайком скармливал Дуду шекербуру и обещал Дуду конфеты. Разумом Мамедага понимал — нужно бежать отсюда, чтобы покончить с этим позором, сверх того следовало бы отколотить Мирзоппу, но вот ноги его не слушались и сердце тревожно колотилось в ожидании чего-то.

Мирзоппа снова сжал ему запястье своей потной рукой — мол, слушай. Из маленького окошка бани больше не доносилось ни звука, видимо, люди кончили купаться и вышли из номера. Некоторое время стояла тишина, и в этой тишине только голуби ворковали в голубятне гуш-

база Агамехти; потом из окошка снова послышались звуки, и Мирзоппа прошептал:

— Это Шарабану, она чистит номер.

Шарабану была уборщицей в Желтой бане. В Желтой бане кроме общего мужского и общего женского отделений было еще три отдельных номера, и маленькое окошко находилось в одном из этих номеров.

Снова наступила тишина, и снова через некоторое время послышались стук тазов, кашель, журчание воды, и Мирзоппа на этот раз прошептал уже совсем тихо:

— Поднимайся.

Мамедага по деревянной лестнице взобрался наверх и на голубятне, приподнявшись на носках, приник к маленькому окошку. Вдруг все его тело задрожало, перед глазами появилась пелена, и за этой пеленой совершенно голая женщина намыливала голову и тело совершенно голой девушке; девушке было лет семнадцать-восемнадцать, и Мамедага с пересохшим горлом, дрожа от волнения всем телом, не мог глаз оторвать от этой девушки, смотрел и смотрел на ее ноги, груди, заросшие волосами подмышки; ему казалось, что сейчас земля под его ногами исчезнет и он провалится куда-то, полетит и провалится. Женщина вылила на голову девушки полный таз воды, и, когда вода смыла мыльную пену с волос девушки, ее лица и тела, Мамедага вздрогнул оттого, что эта худая, невзрачная девушка, которую он по сто раз на день видит у них на улице, так необыкновенна, так загадочна и волшебна!

Мирзоппа снизу подергал Мамедагу за брюки: мол, слезай, дай и я немного посмотрю; Мамедага вспомнил, что Мирзоппа стоит внизу, и в ужасе поднял другую ногу и оттолкнул его руку. Мамедагу охватил ужас, и в этом ужасе он видел, что на этот раз женщина намыливается сама и девушка, нагибаясь, ей помогает, намыливает матери спину, поясницу, и каждый раз, когда девушка наклонялась и выпрямлялась, у Мамедаги дрожало все тело, и в тот момент он и сам не знал, что это означает.

Мирзоппа больше не мог оставаться внизу; от нетерпения он поднялся по лестнице, уместился кое-как на крыше и, оттеснив Мамедагу в сторону, наклонился. Мамедага, затаив дыхание, ждал, что сейчас произойдет. Вдруг из груди Мирзоппы вырвался стон, и он ударил свою большую голову о старую стену бани. Мамедага, опомнившись, спрыгнул прямо с крыши голубятни и упал

на землю, на сырую из-за соседства с баней землю. Голуби в голубятне заворковали еще громче, и, когда Мамедага открыл глаза, он увидел, что Мирзоппа тоже спрыгнул; некоторое время они так и глядели в темноте друг на друга: Мирзоппа — стоя на ногах, Мамедага — лежа на земле, потом Мирзоппа начал плакать, рыдая так, как никогда не видел и не мог себе представить Мамедага.

Купавшаяся в бане женщина была мать Мирзоппы, а купавшаяся в бане девушка была сестра Мирзоппы — Адиля.

После того вечера Мамедага не мог прийти в себя долго — несколько месяцев, и не потому, что впервые в жизни увидел голую женщину и голую девушку, нет, его пугала мужская честь, он не мог открыто смотреть в глаза ребятам и парням своего квартала, задыхался от сознания того, что на женщину, изредка заходившую к ним во двор и беседовавшую с его матерью, и на девушку, которую он встречал на улице каждый день, он смотрел тайком, через окно бани. Иной раз он внезапно просыпался ночью с мыслью о том, что совершил позорное дело и, корчась в постели, называл себя самым дурным человеком на свете.

В эти месяцы, мучась совестью, Мамедага сполна узнал цену благородства, мужества, честности; прошли годы, и со временем случай этот в его памяти постепенно превратился из раны в некий сон детских лет, и действительно уже трудно было отличить, что было наяву и чего не было. Но с тех пор Мамедага ни разу в жизни не поступал так, чтобы ему пришлось перед кем бы то ни было опускать глаза. И когда речь заходила о Мамедаге, женщины квартала говорили:

— Дай ему бог долгую жизнь, пусть живет столько, сколько земля. С лица как будто Китабулла, и характер — золото! Настоящий мужчина.

У Сакины-хала, ясное дело, от этих и подобных слов только что крылья не отрастали, чтоб летать, но вела себя она достойно: мол, так и должно быть, ее сын и сын Али другим быть не мог. А Солмаз тотчас доводила эти слова до сведения Мамедаги, и за это Мамедага на нее ворчал:

— Не передавай мне таких слов.

Конечно, никто из ребят квартала так ничего и не узнал о ночном приключении — Мамедага никому не рас-

сказал, но Мирзоппа уже редко показывался в квартале. А через некоторое время кирщики и вовсе уехали из города. Алиаббас-киши говорил аксакалам квартала:

— Лет через шесть-семь в Баку не останется домов, где надо заливать крыши киром. Старые сносят, а новые строят в пять — семь этажей, через некоторое время в девять-десять будут строить. И все с кровлей. Лучше мне уже сейчас переселиться в одно из сел. На Апшероне у всех домов крыши кировые, в какое село ни поеду, без дела не останусь.

И с тех пор большой котел для варки кира не показывался в квартале, где жил Мамедага, и все постепенно к этому привыкли, никому уже не казалось, будто без котла что-то не на месте или чего-то не хватает на улице...

А было это лет пятнадцать-шестнадцать тому назад. И вспомнил Мамедага свое детство сегодня благодаря этому непонятно удивительному вечеру да еще и из-за Мирзоппы. Разглядывая в ярком свете фургона располневшее лицо Мирзоппы, он вдруг почувствовал в себе какую-то виноватость перед ним, и в этом чувстве вины ощущалось тепло детских воспоминаний; тепло и печаль вошли в сердце Мамедаги, что никак не вязалось с самодовольным смехом нагло смотревшего на него Мирзоппы.

Худой парень, снова подняв руки, выдал свой лозунг:

— Постреляем!

Милиционер Сафар, поглядев на худого парня, подумал, что в голове этого болвана кроме слова «постреляем» нет ничего, он жаждет ружья, жаждет пули. Такие вот и проливают понапрасну кровь свою и чужую, и хотя их собственная особа копейки не стоит, но детей они оставляют сиротами, а женщин — безутешными.

Мирзоппа, все так же самодовольно улыбаясь, оглядел Мамедагу с ног до головы.

— Неплохо выглядишь,— сказал он.— Ну, ладно, неужели своему старому другу по кварталу ты не дашь пострелять?

Самодовольная, самоуверенная повадка Мирзоппы была отвратительна, она была точно рассчитана на унижение окружающих, но Мамедага не подал виду, а про себя даже искренне пожалел, что Мирзоппа так много выпил в этот вечер. Если бы он не был пьян, конечно, Мамедага хоть до утра разрешил бы ему стрелять. И де-

нег бы с него не взял. Правда, Мамедага всегда считал, что надо быть щедрым за свой счет, а не за счет государства, но сейчас вообще об этом не стоило и думать, потому что Мирзоппа с трудом держался на ногах, а парень рядом с ним был ни на что не способен, кроме как поднимать руки и твердить одно и то же слово. Дело было не в том, что пуля Мирзоппы могла попасть в когонибудь, хотя в тирах такие случаи бывали (у работавшего в Баку в тире на улице Самеда Вургуна одноглазого Исрафила глаз выбила пуля такого вот пьяного), нет, дело было в том, что в инструкции черным по белому запрещалось стрелять в тире людям в нетрезвом состоянии, а Мамедага не хотел поступать так, чтобы быть вынужденным опускать глаза хотя бы и перед инструкцией.

— В другой раз,— ответил Мамедага.

— Слушай, чего это ты со мной всю дорогу не ладишь?! — вроде бы спросил Мирзоппа, но в его грубом голосе была откровенная угроза.

— Постреляем!

Ну, это, ясное дело, сказал худой парень и поднял руки вверх.

— Не постреляете! — сказал милиционер Сафар, снова доставший из кармана мокрый платок и вытиравший им потное лицо.

— А ты не лай! — Мирзоппа вытаращил на милиционера Сафара свои пьяные глаза.

И милиционер Сафар вздрогнул — он услышал стон своего сердца: о сын гор, до чего же ты дошел, что какой-то щенок говорит с тобой на собачьем языке! Сунув в карман мокрый платок, он схватил Мирзоппу за руку:

— Пошли в отделение!

Мирзоппа выдернул руку:

— Отстань от меня!

— Пойдем!

— Сказал тебе, отстань!

— Пошли, и все!

Милиционер Сафар снова попытался схватить Мирзоппу за руку, но тут зазвенела пощечина и на худом смуглом лице милиционера Сафара остались белые следы толстых пальцев Мирзоппы.

Это было совершенно неожиданно. Первым пришел в себя худой парень,— с удивлением взглянув на Мирзоппу и милиционера Сафара, он ударил себя рукой по

кепке «аэродром» и, в мгновение ока выскочив из фургона, исчез в темноте ночи.

— Ах ты... на представителя власти руку поднимаешь?!

Звук пощечины и торопливое бегство киномеханика Агагюля (того самого худого парня) отрезвили Мирзоппу, и, взглянув на поднимающийся и опускающийся большой кадык задыхающегося от ярости милиционера Сафара, он понял, что дела его плохи.

Милиционер Сафар схватил его за грудки:

— Иди впереди меня!

И Мирзоппа уже не вырывался из рук милиционера Сафара, только язык свой сдержать он не мог:

— Ну, идем, идем! Куда хочешь идем. Тебя никто не боится. Один раз звякну Наджафу, он твои погоны снимет! Увидишь!

— Меньше болтай, иди! — Милиционер Сафар сказал эти слова так грозно, что Мирзоппе стало ясно: если он еще издаст хоть звук, этот крестьянский сын подомнет его под себя, как медведь; поняв это, он замолчал и пошел вниз по лестнице из фургона.

Мамедага вышел вместе с ними, но милиционер Сафар, повернув к Мамедаге свое словно бы еще больше потемневшее лицо, сказал:

— Ты не ходи, гага! Сафар его из рук не выпустит. Таких много перевидал Сафар!

Мирзоппа, громко прочистив горло, резко сплюнул на песок, но сказал без прежней наглости:

— Ладно, из отделения позвоню Наджафу, тогда увидишь!

Мамедага постоял перед фургоном, глядя на удаляющихся в лунном свете милиционера Сафара и Мирзоппу, а потом, взрыхляя носами туфель мелкий береговой песок Загульбы, медленно побрел в сторону моря.

Весь берег был совершенно пуст, и казалось, будто в этих местах никогда и не было никого, будто море здесь всегда было одиноко и берег всегда был один на один с морем. Эта пустота делала море еще более огромным и бескрайним, но таким же огромным и бескрайним казалось теперь одиночество моря, и это стало еще одной печалью в эту летнюю ночь; море не гудело глухо, как обычно, море журчало, будто река или даже ручеек. Текущие с гор милиционера Сафара реки, наверно, тоже журчат, и им невдомек, что оставивший им свое

сердце милиционер Сафар этой ночью на краю села под названием Загульба на Апшероне, на берегу моря, в тире от парня по имени Мирзоппа получил незаслуженную пощечину!

Может быть, низость этой пощечины и сделала эту ночь грустной, а море таким одиноким? Мамедага посмотрел на начинающиеся сразу за песчаным берегом загульбинские скалы, и монолитные скалы в лунном свете показались ему более внушительными, чем обычно. Мамедага подумал, что придет время, эта пощечина забудется, дурное эхо ее звона в этих местах совершенно изгладится, придет и такое время, когда на свете не станет ни Мамедаги, ни милиционера Сафара, ни Мирзоппы, но эти скалы будут все так же мерцать в лунном свете. Мамедага понимал, что это не очень-то и глубокая мысль, все ясно и так — на свет приходили мамедаги, уходили мамедаги, и всегда так будет, но вот в чем дело: раз уж на свете есть такие монолитные скалы и они так внушительны, есть такие огромные моря, луна и звезды, которые вечны, а жизнь, данная тебе, коротка, то ее надо прожить правильно, прожить чисто, соблюдая свое мужское достоинство, чтобы ночью, когда ты, ложась в постель и засыпая, вспоминаешь свой день, нечего было стыдиться. Если уж на свете есть милиционер Сафар, у которого есть сын, названный Начальником, и который в жизни своей не съел куска, добытого нечестным путем, и помнит горы, с которых он пришел, потому что оставил там свое сердце, то на этом морском берегу, рядом с этими скалами и в этом лунном свете, он не должен получать несправедливую пощечину!

Издалека послышался шум электрички, идущей в Баку: железные колеса со стуком двигались по рельсам, и этот стук сейчас стал пульсом загульбинской ночи, этой безлюдной ночи,— он бился в ней, и, вслушиваясь в этот ночной пульс, Мамедага подумал, что и жизнь — тоже нечто вроде поезда, который довозит тебя до остановки, выпускает, берет взамен другого, и возвращается обратно, и, ссадив другого в другой точке, берет нового, едет — возвращается, едет — возвращается, и раз у этого пути есть начало и есть конец, раз поезд не сойдет с рельсов и не нарушит расписания, то положи перед собой папаху и подумай, будь на этом пути человеком, живи как мужчина и как мужчина умри.

Потихоньку дул норд и потихоньку приносил в эту ночь прохладу; комары исчезали, и Мамедага подумал, что и комары относятся к природе, и ветер относится к природе, но ветер — враг комаров, и вообще этот мир так устроен, что у каждого зла, у каждой подлости есть свой враг; конечно, и эта мысль не была столь уж глубокой мыслью, но за ней пришла догадка, что, может быть, эту ночь сделало удивительной как раз то, что Мамедаге впервые захотелось пофилософствовать?

Появился какой-то новый звук, и около своего алюминиевого фургона, отсвечивавшего серебром в лунном свете, Мамедага увидел чью-то тень. Кто-то ходил туда-сюда вокруг фургона и звал его:

— Э-эй!.. Э-эй!..

Кричала женщина, но Мамедага не мог понять, почему это среди ночи женщина должна бродить около фургона? Он, не отвечая, пошел ей навстречу.

— Эй!.. Э-эй!..

Когда Мамедага подошел к фургону, девушка лет восемнадцати-девятнадцати буквально расстреляла его свирепым, но опять-таки непонятным набором бранных слов:

— Людей в тюрьму сажаешь, а сам гуляешь по берегу моря?.. Отдыхаешь, да? Дышишь свежим воздухом? Люди для тебя не люди? Чего ты лезешь к людям? Рысью прискакал сюда, чтобы людей сажать?

Разглядывая в электрическом свете, падающем из открытой двери фургона, округлое смуглое лицо, сверкающие черные глаза, ладную небольшую фигурку в желтой трикотажной кофте и синей юбке, Мамедага никак не мог понять, чего хочет от него эта разгневанная девушка и что она здесь делает?

— Погоди, аю баджи, что случилось? В чем дело?

— Какая я тебе сестра? Никакая я тебе не сестра! Посмотрите на него! Братец нашелся, а мы и не знали!.. Человека посадил — не был ему братом, а меня увидел — сразу аю баджи, сестрица!.. Хорош гусь!

Удивительная летняя ночь продолжалась, и поднятый этой смуглянкой шум показался Мамедаге смешным; он подумал, что если так пойдет и дальше, эта девушка кинется на него и расцарапает ему лицо. Мамедага еще не понимал, что, в сущности, эту летнюю ночь сделал такой удивительной внезапный приход этой смуглой девушки, а все, что было до этого, было лишь предчувствием ее

прихода — иногда и такое случается в жизни, но Мамедага не знал об этом, он действительно растерялся:

— Какие люди, кого я посадил?

— Люди — мой муж!.. Понял? Идем сейчас же, ты посадил его, ты и освободи!

— Ты говоришь о Мирзоппе?!

Имя Мирзоппы как будто несколько остудило пыл разгневанной смуглянки, и она, все еще не отводя глаз от Мамедаги, сказала, словно извиняясь:

— Да. О ком же еще?

Мамедага понял, эта девушка — жена Мирзоппы, но почему-то и это, как многое в ту ночь, показалось ему неожиданным и непонятным. Пройдя мимо так внезапно, среди ночи появившейся девушки, он решительно поднялся в фургон.

— Я тут ни при чем,— сказал он.

И снова эта девушка, начавшая бурно и потом притихшая, услышав его ответ и проводив его взглядом, уперла руки в бока и снизу вверх начала кидать в Мамедагу слова, как пули:

— Как то есть... «ни при чем»? Сначала сажаешь, потом говоришь: я «ни при чем»? Ну и гусь! Ты за кого нас считаешь? Мы тебе чушки какие-нибудь? Идем сейчас же, выпусти его! — Девушка тоже поднялась по ступеням и вошла в фургон.

Яркий свет фургона, выстроенные вдоль стены ружья, призы: бутылка шампанского, настольное зеркало, кукла-невеста, фотоаппарат, висящие на стене деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и никому неведомый зверь — все это как бы несколько смутило девушку, и она, бегло оглядевшись, молча устремила на Мамедагу свои черные глаза: мол, идешь или нет?

— Я твоего мужа не сажал, баджи. Он и его товарищ пришли сюда пьяные...

Девушка быстро прервала его:

— Пусть провалится этот товарищ! Разве не товарищи сбили его с пути? — крикнула она, но, будто сама не веря в весомость своих слов, потише добавила: — Ну и что ж, что выпил? В Советском государстве нет такого закона, чтобы за выпивку людей сажать!

— За выпивку не сажают, а вот за то, что дают пощечину милиционеру, сажают!

Но и девушка, как петух, бросилась в бой:

— Милиционер Сафар план выполняет, потому и посадил его!

— Что?! План выполняет?! — У Мамедаги просто не было слов, чтобы отвечать — так он был изумлен.— Аю баджи, прямо при мне ударил его, ни за что...

Немного помолчав, девушка сердито сказала:

— Бесстыжий он, да...— И Мамедаге не было ясно, к кому относится это слово, к Мирзоппе или к милиционеру Сафару.

Девушка снова искоса оглядела деревянных зверюшек и подумала, что, если бы этот тир не приехал и не остановился здесь на ночь, Мирзоппа сюда бы не пришел, не встретился с милиционером Сафаром и ничего бы тогда не произошло из того, что теперь произошло.

— Ну и тир!

Конечно, Мамедага не знал, о чем думала сейчас девушка, и ее откровенная ненависть к его тиру показалась ему опять-таки смешной; да и вообще в шуме, крике, поднятом ею, ему виделось чистое ребячество, чуть ли не розыгрыш, как и ее решительное утверждение, будто она чья-то жена. Мамедаге казалось все это забавной шуткой и хотелось, чтобы это на самом деле было шуткой.

Мамедага огляделся по сторонам и, оставшись довольным порядком в фургоне и своей аккуратностью, улыбнулся:

— Тебе не нравится мой тир?

Эта безоблачно-самодовольная улыбка Мамедаги вновь взбесила девушку:

— Твой? А почему это он твой? Это наш, государственный тир! Или, может быть, твой отец его тебе подарил?

Если вы помните, Мамедага по известным причинам с детства не переносил малейшего неуважения к памяти отца. А сейчас от этой задиристой ночной гостьи тем более — ведь она могла решиться на все, вплоть до брани с упоминанием его отца, и потому Мамедага сразу же стал серьезен.

— Отец не мог подарить,— отвечал он и, чтобы прекратить разговор об отце, добавил, словно бы мимоходом, а прозвучало это скорее как признание пятнадцатилетнего мальчика, чем тридцатилетнего мужчины: — Отец погиб на фронте.

Девушка уже готовилась снова что-то там проорать,

но, услыхав не слова его, а этот странный, словно из детства дошедший голос, умолкла.

Мамедага никогда не откровенничал с незнакомыми людьми (да и со знакомыми тоже) и почувствовал себя неловко оттого, что он что-то важное сказал о себе этой девушке, которую увидел впервые, а ее понимание важности сказанного им смутило его.

— Как тебя зовут? — спросил он, чтобы хоть чем-то нарушить неожиданное и неловкое молчание.

— Зачем тебе?

— Когда человек разговаривает с человеком, он должен знать, кто есть кто.

— Месмеханум.

Ответ не принес облегчения. Ни ему, ни ей.

Мамедага и не догадывался, какой заветной струны в душе Месмеханум он коснулся; он не знал, что в сердце девушки появилась сейчас тихая ноющая боль.

Ей казалось, что это было много-много лет назад, когда она была маленькой девочкой и у этой девочки не было никаких забот. Не было и отца, но мать всегда говорила ей: твой папа погиб на войне. Мать часто бывала в поездках, и Месмеханум привыкла целыми днями оставаться одна, и в такие дни она беседовала с отцом; во время этих бесед, продолжавшихся и в школе-интернате, гремели пушки, взрывались снаряды; Месмеханум перевязывала отцу раны, а отец гладил ее по черным волосам своей крупной мужской рукой и улыбался. Тепло и ласка его больших мужских рук разливались по всему ее телу и пробуждали в ее сердце такую ответную любовь, что от умиления у нее иногда появлялись слезы. Но однажды, в один из самых обычных дней, Месмеханум поняла, что отец ее никак не мог погибнуть на фронте, потому что она родилась через три года после окончания войны. После такого открытия Месмеханум прекратила всякие разговоры с матерью об отце. Молчала и мать. Может быть, Гюльдесте постепенно забыла вовсе о прежних разговорах с дочерью или, как знать, не забыла, но, как и дочка, затаилась?

Все же тепло и ласку больших отцовских рук долгое время еще помнила Месмеханум, да, по сути дела, и теперь они согревали ее — пусть изредка, пусть совсем немного.

А Мамедага смотрел на высокую грудь стоявшей перед ним сердитой девушки, на ее красивые коленки,

круглые лодыжки, пальцы ног в сандалиях — и сердце его тревожно заколотилось. Давно он уже не знал этой тревоги, и порой ему казалось, что она навсегда прошла для него вместе с юностью. Но сейчас тревога росла, окатывая своими волнами, поднимая и опуская так, что дух захватывало, и начисто смывая, погребая под собой все первые впечатления Мамедаги, и смешное перестало быть смешным, забавное — забавным, от задиристости не осталось даже следа: в резком свете фургона перед Мамедагой стояла Она.

Дни и ночи колеся по дорогам Апшерона, Мамедага, конечно, навидался всякого и смотрел на жизнь трезво,— вот почему теперь это забытое волнение, возвращавшее его к юношеской поре, он воспринял как еще одну частицу этой удивительной ночи в Загульбе; только на этот раз он ощутил ее загадочную прелесть не одной душой, но и всем своим существом.

Заметив наконец, что глаза Мамедаги беспокойно бегают по ее желтой кофте, синей юбке и босым ногам, Месмеханум по-своему истолковала волнение этого высокого широкоплечего парня и с испугом покосилась через открытую дверь фургона на море с белеющими гребешками волн, ощутила безлюдность берега и поэтому скорее для собственного успокоения, чем для Мамедаги, быстренько сказала:

— Я не из тех, не думай!

— А кто они — те, о которых я думаю? — Мамедага сел на перила и обхватил колено руками.— А?

— Я не знаю кто...— Взглянув в голубые глаза парня, девушка поняла, что встревожилась зря, и еще она поняла, что в его взгляде есть что-то очень родное, будто она много раз видела этот взгляд. Почему ей так показалось? Она с удивлением посмотрела на Мамедагу.

— Что сказали в милиции?

— Сказали, что на этот раз дела его плохи... Пятнадцатью сутками не отделается...

— А Наджафу он позвонил?

Месмеханум снова удивилась этому парню — нет ничего на свете, чего бы он не знал! Нет, как раз про это он, видно, не знает, и она сказала ему, чтобы знал и это:

— Наджаф в прошлом году выгнал его из своего кабинета...

Сказала — и сама изумилась, как будто не она, а совсем другой человек произнес эти слова. Уж сколько

лет Месмеханум привыкла молчать при посторонних,— никто не знал, каково ей приходится с мужем, их домашние разговоры оставались дома, и Месмеханум считала, что так будет всегда, до самой смерти. Умрет она, и люди будут говорить, что жила, мол, на свете такая Месмеханум и у этой Месмеханум был муж по имени Мирзоппа, они жили вместе... Но как они жили — этого никто не будет знать, и какая была она, эта Месмеханум, и что бывало у нее на сердце — тоже никто не будет знать. Ладно, пусть так. Но если никто ничего не должен узнать, тогда что же ей нужно сейчас, здесь, в этом фургоне, рядом с этими деревянными зайцами, лисой, медведем, львом и неведомым зверем, рядом с этим чужим мужчиной? Отчего она не уходит? Разгневанная, ты пришла сюда, а теперь видишь, что парень ни в чем не виноват и от него ничего не зависит, все произошло из-за твоего непутевого мужа, так чего же ты не уходишь и чего еще ждешь?

Месмеханум подумала об этом, и ей вспомнился ее дом, вспомнилась ее кровать, вспомнилось, что она снова одна-одинешенька в этом доме; утром встанет, пойдет на работу, продаст помидоры, огурцы, виноград — что придется, а вечером снова одна-одинешенька будет, сидя в комнате, смотреть из окна на большое инжировое дерево перед их домом и с тоской думать о том, что нет ничего хуже, чем вот так одиноко сидеть перед окном, лучше уж ссориться, ругаться, драться с Мирзоппой, слушать, как его громко рвет в туалете, а потом — как он спит, храпя и присвистывая...

Однажды, как всегда, в комнате запахло водочным перегаром, вошел Мирзоппа и, громко плача, как будто сообщая самую горестную весть (после выпивки такой плач частенько начинался у Мирзоппы), сказал, что Наджаф выгнал его из кабинета.

— В одном квартале выросли, в одном месте в альчики играли, строгали палочки шимагадер на одном асфальте, а теперь он меня выгоняет из кабинета!..

Так, страдая и переживая, он поплакал немного, пожаловался на неверность мира, а потом, как обычно, излил свою злость на Месмеханум: выдумав причину, пустил в ход руки, ноги, а Месмеханум расцарапала до крови его жирную физиономию. Но до всего этого никому не было дела. И этому сидящему на перилах, разглядывающему ее в ярком свете фургона голубоглазому парню

тоже не было до нее дела, и Месмеханум сейчас же, выйдя отсюда, пойдет сначала в отделение милиции и снова подымет там крик-шум, и снова из этого крика-шума ничего не выйдет, после чего, наконец, одна-одинешенька она вернется домой, и пройдет еще одна тоскливая ночь, только и всего.

— Сколько тебе лет? — спросил Мамедага.

— Двадцать четыре,— Месмеханум снова удивилась сама себе: с чего это она отвечает этому чужому парню на такие вопросы?

— Тебе больше девятнадцати не дашь.

— Да, все так говорят...— Месмеханум улыбнулась и, сама не ожидая того, спросила: — А тебе сколько?

— Как по-твоему?

— Тридцать... два!

— Два года прибавила...

— Тридцать?

Как будто вчера это было: счет возраста Мамедаги оканчивался на «надцать» — пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... И тридцать казалось тогда ему чем-то очень далеким, он не мог себе представить себя в тридцать лет. Но он верил: когда придет это время, мир станет совсем другим. Солнце — солнцем, луна — луной, звезды — звездами, но Мамедага уже мальчишкой понял, что под одним солнцем, луной и звездами у каждого есть свой мир; об этом он думал по ночам, особенно в летние ночи, когда спал на крыше; Сакина-хала с вечера стелила на крыше палас, на палас клала толстый шерстяной тюфяк, большую подушку, простыню — и постель Мамедаге готова. Ложась в полночь, Мамедага смотрел на луну, на звезды, ощущая прохладу выметенной мокрым веником Сакины-хала крыши, и думал о том, что через много-много лет ему исполнится тридцать, и мир станет другим; в чем будет состоять эта перемена, он не знал, но верил, что совершенно иным станет мир. Закрывая глаза, он вел по улицам Баку новенькую «Победу» — такси. Самой большой мальчишеской мечтой Мамедаги было стать шофером такси, и он каждую ночь, перед тем как заснуть, накачивал насосом шины своей «Победы», проверял мотор, осматривал аккумулятор, вытирал смоченными в бензине концами мазут со своих рук, а потом вел такси по улицам города.

Но казавшиеся такими далекими тридцать пришли, по существу, мгновенно — так думал Мамедага сейчас.

Он мотался по улицам Баку шофером такси, а потом перешел в этот тир. О, если бы в те летние ночи, когда он спал на крыше, ему пришло в голову, что когда-то у него будет серебристый тир-фургон, он не смог бы уснуть от нетерпения! Да, прошли годы, и теперь ему ясно, что мир каждого человека изменяется, как и он сам, полнеет или худеет, но суть его неизменна — новые люди приходят в этот мир, другие уходят из него и забываются, но сам этот мир человека, как и большой мир людей, не становится совершенно другим: как постоянны солнце, луна, звезды, так всегда есть желание добра и зла, мужество и подлость, жадность и мечта — есть все, только у каждого это по-своему.

— А как тебя зовут? — спросила Месмеханум, и у нее уже просто опустились руки: что за вопросы она задает? Зачем ей знать, как зовут этого голубоглазого парня? Почему она так унижает себя?

— Мамедага,— он улыбнулся.— В детстве меня дразнили так:

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
выиграл рога!

— Меня тоже дразнили. Когда я не знала урока, очень боялась, что учитель вызовет, у меня руки-ноги дрожали. А ребята смеялись:

От страха Месме
не ханум, а... «ммее!».

Месмеханум рассмеялась громко, с удовольствием, вспомнив ту маленькую беззаботную девочку, боявшуюся вызова к доске: но вдруг перед ее глазами появилась жирная физиономия Мирзоппы, она словно почувствовала запах спиртного и вспомнила о том, что Мирзоппа сидит сейчас в отделении милиции и получит самое меньшее пятнадцать суток, а она... Она изумилась своему бесстыдству, но наконец поняла: будь что будет, но она не желает уходить из этого ярко освещенного фургона.

— Вот уж не сказал бы, что ты пугливая овечка!

— Теперь я не такая!

— Да, теперь ты бедовая! — Мамедага тоже громко и с удовольствием рассмеялся.

Месмеханум посмотрела в глаза парня, подумала:

странный парень, такие большие голубые глаза, а брови, ресницы, волосы черные; правда, голова уже начала седеть, но ведь ему только тридцать...

— О чем ты думаешь?

— Ни о чем,— соврала Месмеханум и почувствовала, что краснеет.

Месмеханум разучилась краснеть с тех пор, как вошла в дом Мирзоппы, и теперь, когда она почувствовала, что краснеет, ей показалось, что на свете нет никакого Мирзоппы, она никогда не выходила замуж, все это неправда, и она снова прежняя Месмеханум, плачущая на индийских фильмах, и горечь всех этих лет — просто сон; на один только миг ей так показалось, но она поняла, что пора уходить отсюда — от голубых глаз этого парня, о существовании которого еще час назад она просто не знала.

— Ну ладно, я пошла...

Мамедага не отвечал. Что ж, это совершенно естественно: уходит девушка, случайно здесь появившаяся. Так он подумал, но сердце его охватило какое-то беспокойство. Он еще не знал, но уже почувствовал: уйдет она — и вся таинственная красота вечера окажется напрасной, а внушительные скалы всю ночь будут шептать ему о бессмысленности его жизни. Мамедага молчал, не понимая самого себя.

Месмеханум не сошла по приставной лестнице, а спрыгнула прямо из открытой двери фургона на песок и посмотрела в сторону Загульбы: в селе все еще мерцали огни. Месмеханум знала там многих и могла сейчас представить каждого из этих знакомых ей людей, а вот из них никто не знал, что продающая с восьми утра до шести вечера в овощном киоске помидоры, огурцы, виноград и дыни Месмеханум в это время ночи смотрит на льющийся из их окон свет, стоя на берегу моря; никто из них не знает, что в сердце глядящей сейчас на свет их окон Месмеханум горечь одиночества; никто не знает и того, что Месмеханум, чей муж сидит в отделении милиции и ждет наказания — самое меньшее пятнадцать суток! — вернется домой уже не одна: с ней будет память о голубых глазах парня, которого она знает только по имени. Да, этого никто не знает и не узнает, хотя, в сущности, и сама Месмеханум знает только то, что скоро этого серебрящегося в лунном свете фургона здесь не будет и ей останется вспоминать эти голубые

глаза, думать об этих голубых глазах, сидя по вечерам у окна и глядя на инжировое дерево. Она будет видеть эти голубые глаза, но почему и зачем так будет? Сердцем она вдруг почувствовала сходство или даже родство между взглядом этих голубых глаз и теплом, лаской больших отцовских рук, которые когда-то гладили ее по голове в ее мечтах — и дома, и в школе-интернате. Давно уже Месмеханум не чувствовала в себе столько доброты и нежности...

Мамедага, спустившись по лестнице, пошел было за девушкой, но повернул к морю и сказал:

— Ветер стих...

Месмеханум остановилась и, потрогав воздух ладонью, сказала:

— Да, стих... Вечером дула хорошая моряна.

Мамедага сказал:

— Моряна — теплый ветер... А ветер должен быть прохладным...

Месмеханум сказала:

— Я люблю моряну... Моряна дует в сторону моря, и можно с морем разговаривать...

Невероятное изумление охватило Мамедагу:

— Ты приходишь на берег и разговариваешь с морем?!

— Почему, разве нельзя говорить из дома? Моряна относит слова к морю...

Месмеханум сказала — и на этот раз здорово на себя рассердилась: да кто такой этот парень, с чего это она раскрывает перед ним тайны своего сердца? И для чего? Месмеханум задала себе этот вопрос и, остановившись, обернулась.

Мамедага посмотрел в глаза стоящей перед ним девушки. В лунном свете эти глаза почернели и сверкали ярче, чем в фургоне. В этом мире есть село под названием Загульба, а там — красивая девушка по имени Месмеханум, и она любит моряну за то, что, когда дует моряна, можно беседовать с морем,— ведь сказанные человеком слова моряна передаст морю. Этого не знал не только Мамедага, на всей земле вообще никто не знал, что эта шумливая, крикливая, скандальная девушка, когда дует моряна, садится у окна и разговаривает с морем...

Месмеханум уже ясно понимала, что отсюда надо поскорее уходить. Приблизившись к девушке, Мамедага

некоторое время постоял лицом к лицу с нею, потом нерешительно спросил:

— О чем ты думаешь?

Глядя прямо в его голубые глаза, Месмеханум сказала:

— А тебе какое дело, о чем я думаю? Кто ты такой? — Она сказала это и сама себе ответила, что эти глаза совершенно не виноваты в том, что она все им выкладывает.

— Я — Мамедага.

Месмеханум усмехнулась.

Мамедага,
в носу серьга,
ходил на бега,
а выиграл рога!

Мамедага усмехнулся:

От страха Месме
не ханум, а «ммее!».

Месмеханум рассмеялась — снова перед ее глазами появилась та беззаботная девочка:

— Да, меня дразнили ужасно!

И Мамедага рассмеялся — ему вспомнился мальчишка, который бегал за всеми проезжавшими по кварталу машинами.

И вдруг у Месмеханум пропала вся злость на этого высокого голубоглазого парня, внезапно он стал ей чуть ли не родным человеком; как будто они познакомились не час назад, а очень давно, еще в детстве, и тогда этот голубоглазый парень — он еще не стал таким представительным! — много раз видел Месмеханум, идущую в школу в красном пионерском галстуке и с перепачканными чернилами пальцами из школы домой.

Мамедага пошел к морю, остановился и обернулся, глядя на скалы. Норд уже не бросал на них волны, и монолитные скалы теперь не казались суровыми, неприступными башнями, они стали легкими, как лодки, вот-вот поплывут, осторожно разрезая воду.

И Месмеханум глядела на скалы и, махнув в их сторону рукой, сказала, улыбаясь:

— В детстве я боялась этих скал, особенно вечером. Когда я не слушалась, мама говорила: «Смотри, эти скалы по ночам приходят и забирают непослушных де-

тей!» И я начинала дрожать... Я даже не спрашивала, куда они забирают? А тебя пугали в детстве?

— Нет...

— И ты ни разу не дрожал от страха?

— Однажды было.

Пристально посмотрела Месмеханум на Мамедагу, так пристально, что Мамедаге показалось, что эта разговаривающая с морем, когда дует моряна, смуглая девушка сейчас прочтет все его мысли, узнает все, что у него на сердце. Поймет то, в чем Мамедага, честно говоря, сам пока не мог разобраться, он только чувствовал какое-то нежное тепло в сердце, как будто и там дует легкая моряна. Давно уже, очень давно, с тех летних ночей, когда он спал на кировой крыше их дома, в сердце Мамедаги не было такого тепла, то есть, конечно, за все эти годы у него было немало причин для радости и веселья, но вот такого нежного тепла не было в его сердце, и теперь он понял, что все эти годы тосковал по такому теплу.

Помолчав, Месмеханум спросила:

— Чего же ты испугался?

— Да так...

В последнее время, колеся по дорогам Апшерона, он почему-то вспоминал эту старую историю и порой снова, как и двадцать лет назад, видел Китабуллу улыбающимся, а когда Китабулла улыбался, то в уголке рта у него поблескивал золотой зуб, и вот сейчас, в эту удивительную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы, снова улыбнулся Китабулла, и сверкнул его золотой зуб.

— Ну, а все-таки?

— Так... Ветер улетел. Это старая история, просто к слову пришлось. Хочешь, я тебе что-нибудь другое расскажу, смешное?

— Не хочу, расскажи, чего ты испугался.

— Жили-были три брата, Самедулла, Ядулла и Китабулла. Самедулла, самый старший, носил закрученные кверху усы и работал в море. Когда в праздник он надевал свои медали и шел на демонстрацию, ребята с нашей улицы бежали за ним, глаз не отрывая от его груди. Средний брат, Ядулла, был сапожником. Его будка стояла на бульваре, рядом с нынешним Кукольным театром. Ребята из квартала часто забегали к Ядулле, потому что их ботинки он чинил бесплатно. Младшему —

Китабулле — было двадцать пять; работал он шофером на полуторке, и, когда грузовик Китабуллы останавливался в Узком тупике, ребята гурьбой залезали в кузов, а один, самый достойный, садился в кабину рядом с шофером; покатав ребят, Китабулла привозил их снова к Узкому тупику.

А кабина у Китабуллы всегда выглядела нарядно и образцово. За стеклом торчали две открытки, надписи на которых ребята знали наизусть. На одной открытке был изображен Сталин: с трубкой в руке, он улыбаясь смотрел на карту СССР. На краю карты был нарисован рейхстаг с развевающимся над ним красным флагом. Сталин говорил: «Победили врага, победим и засуху!» На второй, в обрамлении красного сердечка, улыбалась девушка, склонив голову на плечо парня и прижав к своей груди букет фиолетовых, красных и желтых цветов. А над головами влюбленных порхали два целующихся голубка, и надпись на открытке гласила:

Пусть наша дружба будет вечной,
Как дружба этих голубей.

Многие девушки квартала были без ума от Китабуллы, и ребята об этом знали (разве могло быть такое, чего не знали бы мальчишки!). Конечно, у нас было немало молодых, симпатичных парней, но Китабулла был среди них звездой. Баладжаханум, жена мясника Ага-наджафа, сидя перед своим окном с железной решеткой на маленькой деревянной табуретке, грызла семечки и говорила, подмигивая в сторону Узкого тупика, собравшимся вокруг нее девушкам: «У этого чертова парня лицо, как у Юсифа Прекрасного; если режешь лук, на него не засматривайся, а то и охнуть не успеешь, как вместо лука палец порежешь!..»

Ребята и Мамедага не раз слышали подобные беседы; они сразу смекали, что речь идет о Китабулле. Как только полуторка Китабуллы останавливалась перед Узким тупиком, девушки квартала начинали тайком поглядывать из окон в сторону машины и под каким-нибудь предлогом выходили на улицу; но и ребята, и девушки — все знали, что Китабулла влюблен в девушку из другого квартала; она любит его, но вот родители почему-то противятся их браку. И сколько бы ни обсуждалась эта тема, никто не мог понять: как это можно не доверить девушку такому парню, как Китабулла?

И вот однажды вечером по всему кварталу разнеслась весть, что возлюбленная Китабуллы сбежала из дома; сейчас она у Самедуллы, а послезавтра состоится свадьба.

Китабулла с братьями жил в конце Узкого тупика. В их дворике было три дома. В квартале их называли «Мансур шушабенди» — терраса Мансура; Мансур был дедом Китабуллы, и все эти три одноэтажных дома он выстроил собственными руками. У каждого дома имелась терраса, украшенная деревянными решетками — шебеке, и фотографии этих шебеке висели в музее. В одном из домов жил Самедулла с семьей, в другом — Ядулла, а в третьем должна была жить семья Китабуллы.

В тот вечер Мамедага с ребятами разожгли перед Узким тупиком костер, а девушки их квартала, прогуливаясь по двое, по трое мимо Узкого тупика, старались просверлить взглядом ворота Китабуллы.

Утром Самедулла с праздничными медалями на груди, словно в день демонстрации, обходил всех соседей, зашел он и во двор, где жила семья Мамедаги, и Сакине-хала была вручена маленькая фотооткрытка-приглашение. На ней был изображен голубь, держащий в клюве письмо, а на письме было написано: «Приглашаем Вас на бракосочетание нашего дорогого Китабуллы с дорогой Тамиллой. Торжество состоится 17 сентября 1951 года в доме старшего брата жениха Самедуллы». А пониже шли две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

— Сакина-баджи,— сказал Самедулла,— Али нет, но есть ты. Что значит для меня Али, ты знаешь. Он был для меня всем, но что делать, его не вернешь. Прошу тебя, приходи завтра к нам, у Китабуллы свадьба.

Отец Мамедаги и Самедулла были друзьями с детства, вместе пошли они и воевать, но Самедулла вернулся один.

Сакина-хала ответила:

— Пусть будут счастливы молодые! Пусть у них будет много сыновей и дочерей, пусть они вместе встретят старость! Большое спасибо за приглашение.

В тот день весь квартал доставал из нафталина наряды, гладил костюмы, стирал рубашки. Говорили лишь

о том, как Китабулла любит Тамиллу и как Тамилла любит Китабуллу. Теперь уже все знали, что девушка, по которой столько времени страдал Китабулла, то есть Тамилла, учится в институте, и родители хотели выдать ее за преподавателя истории, но Тамилла любила только Китабуллу и однажды вечером собрала чемодан и ушла из дома. Почти все сведения были получены от жены Ядуллы — Фатьмы. В зеленом шелковом платье, сшитом ею за одну ночь, Фатьма ходила из дома в дом, занимала казаны, тарелки, стаканы, блюдца и всем повторяла одно и то же:

— До чего умная девушка и какая красивая, в жизни такой красивой девушки не видела, не девушка, а лунный серп. Она достойна Китабуллы. Они без ума друг от друга. Зато отец у нее — настоящий тиран. Утром Самедулла-гадеш пошел к ним мириться, хотел пригласить на свадьбу их и всех их знакомых — пусть будут нашими дорогими гостями! — но его даже в дом не пустили. Это Самедуллу-гадеша, а?! Самедуллу, старшего брата, не впустили в дом!

Мамедага вместе со всеми ребятами прямо-таки застывал от изумления: у человека столько медалей, а его не пустили в дом?!

Фатьма рассказывала:

— Большой человек отец Тамиллы! Каждое утро за ним машина приходит с работы, «эм-один». Ну и что? Говорят, он сказал: «Тамилла втоптала мою папаху в грязь, нет у меня больше дочери, до конца жизни нету, не показывайся мне на глаза!» А был бы умный, спасибо сказал: разве можно найти для дочери лучшего жениха, чем Китабулла? Да, но дочка его — что за девушка! Ум — при ней, воспитание — при ней. Девушка, достойная Китабуллы! Оба — как лепестки розы, тьфу-тьфу, не сглазить бы!

Всем в квартале было известно, что Фатьма очень привязана к своему младшему деверю Китабулле, но ей верили, когда она расхваливала и Тамиллу — умна да красива, почему — потому что девушка, которую такой парень, как Китабулла, ждал четыре года, девушка, которая отказалась выйти замуж за имеющего диплом учителя истории, потому что не любила его,— такая девушка просто не могла быть не чем иным, как лепестком розы.

Живший в нижней части квартала кларнетист Алек-

пер, прочистя свой кларнет с серебряными клавишами, говорил:

— Давненько уже в квартале не было свадеб — и вот, пожалуйста, да еще свадьба Китабуллы! Завтра я так зальюсь, чтобы даже у моллы Сулеймана косточки сами по себе в пляс пошли! Афлатуну я велел принести нагару, а Сиявуш возьмет зурну — все будет достойно имени Китабуллы! Пусть знает девушка, за какого молодца она выходит!

В тот день Солмаз то и дело спрашивала у брата:

— Ты принесешь мне конфетные обертки?

Мамедага важно отвечал:

— Сколько раз можно говорить об одном и том же?

— Много-много?

— Да, очень много!

Завтра на свадьбе будут, по обычаю, осыпать ребят самыми разными конфетами, и они, конечно, их съедят, но красивые обертки разгладят и соберут.

Сакина-хала, открыв давно не открывавшийся сундук, достала из него давно не надевавшееся желтое шелковое платье и, вывесив его на террасе, чтобы ушел запах нафталина, сказала:

— Не могу обидеть Самедуллу, да и дух Али будет недоволен, если я не пойду на свадьбу. Али, пусть земля ему будет пухом, очень любил Китабуллу и всегда говорил: хорошим парнем станет Китабулла!

В тот день у ворот Китабуллы блеяли два барана с красными ленточками вокруг шеи, а ребята, взобравшись на тутовое дерево перед Узким тупиком, срывали листья и насыпали их перед этими баранами с красными лентами. Скоро на туте листьев совсем не осталось: мясо баранов должно было быть вкусным, ведь всему кварталу известно замечательное высказывание Алхасбека: «Эх, вкус у баранины исчез!.. А баран чем виноват?.. Если баран сидит в городе и ест вместе с человеком борщ, слушает радио, гуляет по асфальту, то какой же вкус будет иметь его мясо?» Но эти бараны с красными лентами в ночь перед свадьбой съели столько тутовых листьев, что завтра даже Алхасбек будет восторгаться вкусом их мяса!

В эту же ночь, лежа в постели, Мамедага думал о завтрашней свадебной суете, видел радостную улыбку Китабуллы и замечал, как сверкает в уголке его рта золотой зуб; видел свою мать, надевшую желтое шелковое

платье, и радовался, что наконец-то мама смеется; видел, как его мама вместе с другими сидит в комнате для женщин, хлопает в ладоши и наслаждается игрой гармонистки Нисы, приговаривая: «Ай джан! Ай джан!» Потом Мамедага задумался о двух строчках, которые прочел на фотооткрытке-приглашении и попытался понять смысл этих стихов, но, как ни старался, понять не смог, хотя он понял твердо: если в честь любви баранам на шеи повязывают красные ленточки, а его мама, достав из сундука желтое шелковое платье, вешает его проветриться, значит, любовь полезна живущим на земле людям, значит, придет день, и такое вот фото-приглашение от его имени пойдет гулять по рукам людей в квартале, и все люди прочтут на нем две строчки:

Любовь и в наши дни, как встарь,
суть жизни и ее алтарь.

И только Мамедага, думая обо всем этом, заснул, как в Узком тупике поднялся плач. В квартале, где жил Мамедага, много происходило событий, но такого плача он не слышал ни разу в жизни. Среди ночи, внезапно, крики, вопли и рыдания женщин в Узком тупике зазвучали так, будто весь тупик взвыл от неожиданного и страшного горя. В одну минуту волосы на голове Мамедаги встали дыбом. Раздался крик вскочившей с постели и выбежавшей во двор Сакины-хала, и у Мамедаги задрожало все тело.

Весь квартал поднялся на ноги, от детей до стариков, все бежали на улицу, и в ту ночь перед Узким тупиком было столько народу, и все эти люди подняли такой плач, что прошли дни, месяцы, даже годы, но эта ночная толпа, этот ночной ужас врезался навсегда в память людей, звучал у них в ушах.

«Китабулла попал в аварию и погиб!» Эта весть в ту ночь поразила в квартале всех.

Вечером, доставляя груз из Локбатана, Китабулла неподалеку от Шихова столкнулся с пустым автобусом. Руль придавил грудь Китабуллы и воткнулся ему в живот. Он тут же скончался. С пьяным водителем автобуса ничего не случилось.

Когда тело Китабуллы сняли с машины и понесли в Узкий тупик, распахнулись ворота дальнего двора, и, вырвавшись из рук женщин, к гробу кинулась простоволосая босая девушка. Она ухватилась обеими руками за

гроб, и у мужчин, несших гроб на плечах, задрожали руки; они остановились, пораженные ее безумным взглядом; девушка дернула гроб так, что тело чуть не выпало из него, и мужчины, быстро сняв гроб с плеч, положили его на землю; в тот же момент девушка кинулась на труп, и вырвавшийся из ее груди вопль слился с общим стоном этой ночной толпы.

Вот такой впервые увидели Тамиллу жители квартала.

А утром Фатьма, разодравшая себе лицо, кричала сорванным голосом так, что у нее чуть не лопались вены на шее:

— Приготовленных для твоей свадьбы баранов режут тебе на поминки, ай Китабулла, ва-а-ай!..

И гости, приглашенные на свадьбу, пошли хоронить Китабуллу — весь квартал пошел. Десятикилометровый путь от квартала до кладбища катафалк пронесли на плечах, и никто не сел в машину.

Друзья Китабуллы, шоферы, приехали на своих машинах и запрудили ими квартал. Всю дорогу до кладбища сигналили их машины.

На кладбище Алекпер вытер рукой слезы. И, рыдая, вынул трясущимися руками кларнет из футляра, собрал его и сыграл над катафалком Китабуллы сейгях [1]. Кларнет Алекпера прощался с Китабуллой от имени всего квартала. В тот сентябрьский день кларнет звучал так, словно звуки мугама рассказывали о всех горестях мира,— сгорая в пальцах Алекпера, кларнет воды просил...

Голова Китабуллы тоже была повреждена, поэтому лицо ему не открыли, и Мамедага никак не мог поверить, что этот длинный, завернутый с ног до головы в саван предмет — Китабулла. Мамедага впервые в жизни попал на кладбище, и теперь он никак не мог осознать, что сейчас не что-нибудь, а тело Китабуллы в этой длинной белой оболочке снимут с катафалка и положат в свежеотрытую могилу, насыплют сверху земли и польют водой, после чего все вернутся в квартал, а эта могила останется здесь, и будет лить дождь, и дуть ветер, а эта могила не сможет никуда уйти, и черви набросятся на нее. Все тело Мамедаги содрогнулось, ему показалось, что черви поползли по его собственному телу; в этот сен-

---

[1] Сейгях — азербайджанский мугам (музыкально-вокальный жанр).

тябрьский день он понял, что когда-то придет время, и его самого положат в такую же могилу, укроют сверху землей, а мир останется прежним: в кинотеатрах, как и прежде, будут показывать кинофильмы; в театрах, как и прежде, будут ставить спектакли; люди, как и прежде, будут беседовать друг с другом; дети, как и прежде, будут готовить уроки... Мамедагу объял ужас, вылезающими из орбит глазами он смотрел на длинный белый кокон, он задыхался, перед глазами его вместо Китабуллы, чей рот и нос были замотаны саваном, поднялся белый туман, и вдруг Китабулла улыбнулся, и в белом-пребелом тумане сверкнул его золотой зуб; Мамедага помнил только, что громко вскрикнул, а что было потом, он не знал,— он пришел в себя уже дома, на своей кровати, спустя двое суток после похорон.

В тот год зимой в Баку шел сильный снег, уроки были отменены, стояли машины, трамваи. Старики квартала говорили, что не помнят в Баку такой снежной, такой морозной зимы.

Однажды распространилась весть о том, что в одном из верхних кварталов появился волк. Согнувшийся за три месяца Самедулла, услыхав об этом, произнес трясущимися губами:

— В наш дом волк пришел в сентябре...

А Алхасбек повторял слова Деде Коркута:

О бренный, бренный, бренный мир,
где смертен человек и сир...

...Они медленно брели по мокрому песку берегом моря. Месмеханум, помолчав, спросила:

— А что стало с девушкой?

— Тамиллой?

— Да.

— У Фатьмы было двое детей, но когда прошло сорок дней со дня смерти Китабуллы, она взяла обоих детей и ушла к отцу, развелась с Ядуллой и записала кебин [1] Тамиллы с Ядуллой. Фатьма говорила: Тамилла — моя сестра, и Ядулла будет теперь моим братом. Все знали, что Фатьма сделала это в память Китабуллы...

— А почему Тамилла не вернулась в отцовский дом?

— Откуда мне знать?.. Наверное, не могла вернуться, да...

---

[1] Кебин — брачный договор.

Все знали, что Фатьма заставила Ядуллу, потому что Ядулла и Фатьма очень любили друг друга...

Луна поднялась совсем высоко, и теперь линия горизонта, где соединялось полное бесчисленных звезд небо с морем, стала невидимой в далекой мгле; вместо горизонта была черная-черная пустота, а далеко-далеко, там, где проходила электричка, огни станции Бузовны отражались в море, и эти огни казались сейчас звездами моря; звезды моря и небесные звезды смешались между собой, но и среди этого множества выделялась утренняя звезда — большая, светлая, одинокая...

— А разве Тамилла любила Ядуллу? — спросила Месмеханум.

— Откуда мне знать...— сказал Мамедага и подумал: почему же этот простой вопрос до сих пор не приходил ему в голову, почему он не задумывался, любила Тамилла Ядуллу или нет?

Мамедага посмотрел на Месмеханум, не отрывавшую глаз от моря, и вдруг ему показалось, что эта смуглая девушка, неожиданно возникшая среди ночи на морском берегу Загульбы,— самый дорогой и родной для него человек.

— Бедные...— сказала Месмеханум.

— Китабулла?

— И Китабулла, и Тамилла, и Ядулла, и Фатьма, и ты...

— А я почему?

— Потому что мальчишкой увидел такое... До сих пор не забылось — и не забудется...

Конечно, откуда было Мамедаге знать, что и Месмеханум в бессонные длинные ночи много думала о жизни и смерти? В те самые ночи, когда, с трудом дотащив Мирзоппу до кровати, сваливала она его на постель, и Мирзоппа, издавая ртом, носом и животом разнообразные звуки, впадал в пьяный сон. В такие ночи у Месмеханум горело сердце, и она думала о своей жизни и о своей смерти, но почему-то ее думы заканчивались всегда тем, что Месмеханум попадала в какой-то сказочный мир и бродила среди волшебников, которые ее любят и лелеют. Где-то в середине ночи Мирзоппу начинало мутить, частенько он бывал не в состоянии встать и дойти до туалета, поэтому, вытянув шею, он прямо с кровати блевал на пол. Однако, если Месмеханум с вечера ста-

вила у кровати таз, Мирзоппа, являясь пьяным и замечая таз, выходил из себя:

— Ты за кого меня считаешь? Пьяница я, что ли?!

И начинался скандал, пускались в ход руки-ноги, царапались лица, извергались ругательства; после чего таз уже больше не появлялся с вечера рядом с кроватью Мирзоппы, а он снова блевал с кровати на пол, но Месмеханум больше ни запаха не чувствовала, ни мычания Мирзоппы не слышала — она уходила в свой сказочный мир, пребывала там, среди добрых волшебников, на их ласку отзывалось не одно ее сердце, но и все ее тело, остававшееся нетронутым неделями, а то и месяцами; и, ощущая эту нежную ласку, Месмеханум засыпала.

И сейчас, в эту странную ночь, Месмеханум показалось, что она наяву попала в придуманную ею сказку, и поняла, почему ей не хотелось уходить из фургона, где на стенах висели деревянные зайцы, лиса, медведь, лев и неведомый зверь и который сверкал серебром в лунном свете, будто вышел из мира ее бессонных ночей для того, чтобы этой ночью появиться здесь, на морском берегу Загульбы; и большие голубые глаза высокого симпатичного парня так похожи на добрые, ласковые глаза ее волшебников...

— У тебя есть на небе твоя звезда? — спросила Месмеханум.

— Моя звезда?..— Мамедага посмотрел на небо.— Нет, у меня нет своей звезды.

На дорогах Апшерона у Мамедаги было много знакомых автоинспекторов, но в небе Апшерона своей звезды у него не было. Мамедага и забыл, что человек выбирает себе на небе звезду и всегда может найти ее среди других; для Мамедаги все это осталось в детстве, как и другие игры.

— А у меня есть звезда!.. — Месмеханум посмотрела на Мамедагу с такой гордостью, словно ей принадлежал весь мир.— Взгляни.— Протянув руку, она показала на еле различимую звездочку под утренней звездой.

— Как ты ее разыскала? — Мамедага отвел глаза от этой едва различимой звездочки и, улыбаясь, посмотрел на Месмеханум.

А Месмеханум спросила:

— Твоя улыбка похожа на улыбку Китабуллы?

Месмеханум спросила, но тут же испугалась, что этот голубоглазый парень, улыбающийся ей в лунном свете,

сидя за рулем своего фургона, тоже может встретиться с машиной пьяного и превратиться в длинный белый предмет; она испуганно посмотрела на свою звезду, чей свет с трудом пробивался на морской берег Загульбы.

Месмеханум не случайно выбрала себе такую далекую, едва различимую звезду. Глядя порою по вечерам на большое инжировое дерево перед окном, она думала о том, что и счастье ее так же недостижимо, как эта звезда. А потом, когда у Месмеханум появился волшебный сказочный мир, расстояние до той звезды перестало быть непреодолимым, оно просто стало расстоянием до этого волшебного мира.

Вопрос Месмеханум озадачил и Мамедагу — словно он снова увидел улыбающееся лицо Китабуллы, и его золотой зуб сверкнул в лунном свете.

— Не знаю...

Месмеханум сказала:

— Знаешь, о чем говорит мне моя звезда?

Мамедага молчал.

— Моя звезда говорит мне: Месмеханум, ты никогда не умрешь! Месмеханум, ты всегда будешь жить! Месмеханум, черная земля тебя не увидит!..

Месмеханум захотелось, махая руками, громко закричать в эту странную летнюю ночь прямо своей звезде: «Э-ге-ге-гей!», но она сдержалась, потому что и без того уже вывернула всю свою душу.

Мамедага спросил:

— А больше тебе ни о чем не говорит звезда?

Месмеханум отвела глаза от своей далекой звезды и, услышав в голосе Мамедаги смех, сама рассмеялась:

— А больше ни о чем не говорит!

— Разве не говорит она тебе, Месмеханум, что, в сущности, ты не Месмеханум, а Месмебебе?..

— А-а-а... Это я-то ребенок? — Месмеханум ответила ему усмехаясь, но ей все же понравились его слова. В устах Мамедаги «Месмебебе» прозвучало как-то очень ласково, по-родному, и теплота этого слова разлилась по сердцу Месмеханум. Но тут же ей вспомнилось, как три-четыре месяца назад она поругалась с милиционером Сафаром.

Милиционер Сафар в очередной раз задержал пьяного Мирзоппу и повел его в отделение милиции. Узнав об этом, Месмеханум как всегда чуть не выцарапала ми-

лиционеру Сафару глаза. Милиционер Сафар, вытирая мокрым платком лицо, сказал:

— Дочка, ты еще ребенок, просто ребенок! Жалко мне тебя!..

Тогда эти слова сильно задели Месмеханум, ей показалось, что милиционер Сафар своими маленькими глазками, в сущности, многое видит и читает в другой душе. У нее даже опустились руки, и она подумала: почему из-за безобразных поступков Мирзоппы она прибегает в милицию и проявляет такое неуважение к пожилому мужчине? Ведь каков бы он ни был, этот мужчина, он в десять раз лучше Мирзоппы! Месмеханум хорошо понимала и хорошо знала, что о своем муже нельзя такие слова говорить и даже думать такое. Говорить-то, конечно. Месмеханум никому ничего и не говорила, а мысли эти с тех пор то и дело приходили к ней. Правда, и после, каждый раз, когда Мирзоппа, напившись, устраивал дебош и попадал в отделение милиции, Месмеханум отправлялась за ним и поднимала там скандал: мол, выпустите моего мужа,— ведь Мирзоппа был ее мужем, и она должна была вести себя так, но все это она проделывала уже механически, а душа ее была далеко...

Месмеханум захотелось забыть обо всем этом. Сейчас она не хотела думать ни о чем плохом на свете, и она шепотом сообщила Мамедаге нечто очень важное:

— Знаешь, моя звезда шутить не любит!

— Правда? — ответил ей тоже шепотом Мамедага.

— Да,— совсем уж тихо прошептала Месмеханум.— Давай и тебе выберем звезду?

Мамедага шепнул:

— Давай выберем...

Месмеханум прошептала:

— Выбирай какую хочешь...

— Вон ту...— Протянув руку, Мамедага пальцем показал на еще одну еле различимую звездочку рядом со звездой Месмеханум.

— Пусть навсегда будет твоей...

— Хорошо...

И опять на Месмеханум навалилось предчувствие, что игра со звездами на безлюдном морском берегу Загульбы ничем хорошим для нее не кончится; конечно, ничего плохого и не произойдет, но горечь останется от этой игры и никогда не уйдет из сердца Месмеханум. А Месмеханум хорошо знала свое сердце: фургон, чье

алюминиевое покрытие серебрится в лунном свете, уедет с морского берега Загульбы, и тогда звезда голубоглазого парня рядом со звездой Месмеханум превратит в ничто ее волшебный сказочный мир.

— Нет, эту нельзя! — громко сказала Месмеханум.

— А какую можно? — Мамедага понял, что в душу Месмеханум вошла какая-то тревога.— Столько звезд, какую же мне выбрать?

— Какую хочешь, только мне не показывай.

— Почему?

Месмеханум не хотела объяснять. Она хотела бы скрыть и от себя самой-то, что казалось ей неизбежным: пройдут дни, месяцы, кто знает, годы, и ветер, дождь, снег унесут и след серебристого фургона из этих мест, и тогда, подняв голову, она увидит звезду некогда случайно встретившегося ей голубоглазого парня; ей придется каждую ночь видеть эту звезду, и ей будет тяжело, ей и этой звезде, потому что голубоглазый парень быстро забудет звезду, которую он выбрал себе в одну из ночей в небе Загульбы, и горечь человеческого одиночества забытой звезды почувствует тогда Месмеханум...

— Свою звезду никому нельзя показывать.

— А ты почему показала?

Месмеханум снова посмотрела на свою звезду и растерянно повела круглыми плечами, туго обтянутыми желтой трикотажной кофточкой.

Снова подул норд. Он понемногу крепчал; если и дальше так пойдет, ветер за ночь хорошенько похозяйничает в этих местах. Мамедага хорошо знал, что апшеронские ветры непостоянны — в течение часа взовьется такой ураган, только берегись. Ему вообще нравился ветер, а многие терпеть не могут апшеронских ветров, особенно те, кто приехал из других районов; они никак привыкнуть не могут к этим ветрам. А он много колесил по дорогам Апшерона, разрывая ветер своей тяжелой машиной, но в эту удивительную летнюю ночь на этом морском берегу Загульбы не надо бы ветру дуть так сильно, чтобы песок забивался в нос и уши; в эту ночь ветру надо бы дуть так, чтобы эти скалы, превратившись в легкие лодки, хотели уплыть в море.

Мамедага сказал:

— Норд крепчает, кажется...

А Месмеханум посмотрела на него и сказала:

— Хочешь, остановлю ветер?

Мамедага пошутил:

— Ты колдунья?

— Да, я ужасная колдунья...— И Месмеханум оглянулась по сторонам.

— Что ты ищешь?

— Надо с деревом поговорить. Сказать дереву, чтобы оно остановило ветер.

Мамедага посмеялся над мудрой Месмебебе, но продолжил игру:

— А какое дерево тебе нужно?

— Любое.

Кто-кто, а Мамедага знал, что на песчаном морском берегу Апшерона найти растущее дерево — трудная задача; остов сгнившей лодки можно найти, водочные, пивные бутылки, засыпанные песком с довоенного времени, вымазанное мазутом весло, выброшенных на берег рыб, даже тюленя можно найти, но найти зеленое дерево, чтобы остановить ветер,— почти безнадежное дело.

— Вон на том холме растут маслины, пойдем туда...— И она, не дожидаясь ответа Мамедаги, сняла с ног сандалии и по еще не остывшему после полуденной жары песку быстрыми шагами пошла к темнеющему вдалеке холму.

Мамедага, наполняя свои туфли мелким песком, шел за колдуньей и чувствовал, что за этой быстро идущей босой девушкой с сандалиями в руках он шел бы вот так хоть на край света.

Месмеханум, обернувшись к нему, сказала, смеясь над горожанином:

— Сразу видно, что ты человек с асфальта. Снимай туфли, иди быстрее.

Сняв туфли и носки, Мамедага взял их в руки и подбежал к ожидавшей его в лунном свете колдунье.

— Ты не веришь, что я остановлю ветер?

— Верю!

— Крепко веришь? Сейчас увидишь!

Мамедага шел за ней по остывающему песку, плотному под ступней, но сыпавшемуся сквозь пальцы ног, и ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью; это смирение и эта печаль возникали и были только по ночам, а поутру они пропадали; днем начинались заботы и движение, днем ночной человек менялся и становился другим, но ведь то днем,— почему же сейчас в сердце Ма-

медаги проникло уже некоторое утреннее беспокойство?

Апшеронский ветер надул на морском берегу большой холм из песка, и, как только они дошли до этого песчаного холма, Месмеханум побежала вперед и начала взбираться; оглядываясь, девушка насмешливо говорила:

— Осторожнее, а то вдруг упадешь...

Мамедага, при каждом шаге проваливаясь в песок чуть ли не по колено, отвечал ей в тон:

— Не бойся! Я иду за тобой!

Песок на холме был очень теплый, и это тепло согревало ноги Мамедаги.

Месмеханум сверху кричала:

— Какой чудный горячий песок!

Мамедага знал, что в летний зной этот песок чудесным образом приносит разгоряченному телу прохладу.

А Месмеханум снова кричала:

— Жалко, что в будущем году сюда уже нельзя будет взобраться!

— Почему?

— Санаторий здесь построят! Со всех концов мира люди съедутся сюда. Во всем мире станет знаменитой Загульба. Во всех уголках мира узнают, что на Апшероне, на берегу Каспия, есть место, называемое Загульбой. Но жаль, что тогда уже этого песчаного холма не будет... Тогда я буду приходить, смотреть на этот санаторий, и мне будет вспоминаться, что в свое время здесь был песчаный холм...

С вершины холма в сторону загульбинского пансионата белела тропинка, и справа от этой тропинки сплошь росли маслиновые деревья.

— Здесь много змей, не наступи!

— В такой ветер какие могут быть змеи?..

— С ветром я сейчас справлюсь!

В ночное время змеи часто выползали на дорогу, и Мамедага на дорогах Апшерона летом, можно сказать, каждую ночь встречал ползущих прямо по асфальту самых различных змей. Большинство их оставалось под колесами машин, но по ночам другие снова выползали на асфальт. Асфальт хорошо сохранял дневное тепло и, наверное, поэтому апшеронские дороги по ночам влекли к себе змей.

А норд незаметно набрал силу.

Месмеханум, быстро обойдя мелкие деревца, остановилась в полных стрекотания кузнечиков зарослях мас-

лин, перед раскидистым оливковым деревом. Мамедага, задыхаясь, наконец догнал ее. Ему показалось, что Месмеханум очень хорошо знает это ветвистое дерево. В одной руке она держала свои сандалии, а в другой сжимала мелкие листочки маслинового дерева. Повернув голову, снизу вверх посмотрела она Мамедаге прямо в глаза, улыбнулась, а потом, снова обернувшись к дереву, потрясла его за ветку и сказала:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

И обернулась к Мамедаге:

— Ты у мамы какой по счету?

— Первый.

— Правда? — Месмеханум обрадовалась как ребенок.— Тогда и ты скажи.

И Месмеханум снова, тряся ветку маслинового дерева, стала медленно и тихо повторять свое заклинание, а Мамедага так же медленно и тихо повторял ее слова:

Я у мамы первенец,
Я лиса с черной пастью.
Норд, уйди,
Моряна, приди!..

Некоторое время они стояли молча. В зарослях маслин было тихо; мелкие, но частые листочки преградили путь лунному свету, и в темноте Мамедага чувствовал дыхание стоящей рядом с ним колдуньи, слышал, казалось, стук ее сердца, словно все это происходило во сне, когда он, как обычно в разъездах, спал в своей кабине на мягком кожаном сиденье. Только сон на этот раз какой-то необычный.

И вдруг — в эту удивительную летнюю ночь было все возможно — произошло в самом деле чудо: усиливавшийся норд внезапно прекратился, и кузнечики, почувствовав это, стали стрекотать громче.

— Видишь? — Черные глаза Месмеханум светились в темноте.

— Вижу! — отвечал застывший в изумлении Мамедага.

Так же ловко, как вошла, Месмеханум вышла из зарослей и быстро полезла на песчаный холм. Попадая бо-

сыми ногами на колючки и щепочки, Мамедага торопливо пошел за ней.

Ноги их снова проваливались, и тепло глубокого песка снова согревало их, и оба думали сейчас об одном: какая хорошая ночь! Конечно, они не знали, что думают об одном, но, думая об одном, оба одновременно посмотрели друг на друга и поняли: эта ночь была хорошей, потому что рядом с морем и с этим песчаным холмом под звездами и в лунном свете серебрится стоящий невдалеке алюминиевый фургон; эта ночь еще и потому была хорошей, что в самом центре ее, между морем, звездами и песчаным холмом стояла девушка, которая умела разговаривать с морем и дружила с деревьями, а рядом с ней стоял парень, чьи голубые глаза источали на нее тепло, напоминавшее о ласке крупных отцовских рук, которые в свое время Месмеханум выдумала, но забыть не могла.

А шум моря, прежде усиливавшийся под ветром, теперь вместе с ветром слабел, и пенные гребешки волн белели все реже, и море в лунном свете постепенно темнело; с вершины песчаного холма море казалось еще более огромным, просто гигантским.

Месмеханум вздохнула:

— Завтра будет жарко.

Мамедага ответил словно нехотя:

— Да, жарко будет...

И оба они вдруг почувствовали, что думать о завтра им не хочется; ночи, которая есть, одинокого фургона, что серебрится в ночи, маслинового дерева, что может остановить ветер, им вполне достаточно; они снова думали об одном — и их одновременно коснулась тревога.

Среди звезд показались зеленая и красная, послышался гул самолета; красная и зеленая звезды, пролетев над их головами, направились к аэродрому в Бина; огоньки исчезли, но гул еще некоторое время слышался, и Месмеханум, прислушиваясь к уходящему гулу, спросила:

— А ты откуда сюда приехал?

— Из Фатмаи.

Месмеханум громко рассмеялась:

— А-а-а... Мне казалось, ты с небес спустился, а ты говоришь — из Фатмаи... Ты в самом деле приехал из Фатмаи?

Мамедага тоже рассмеялся.

— Да, я приехал из Фатмаи,— сказал он и, отметив про себя, что гул самолета вовсе прекратился, подумал, что вчера, проведя самую обыкновенную ночь в Фатмаи, он даже представить себе не мог, что завтра в Загульбе его ждет такая ночь; Мамедага подумал и о том, что человек находится в дороге не только тогда, когда садится в машину, поезд, самолет или на пароход,— человек находится в пути с момента своего появления на свет, в дороге из сегодня в завтра, и эта дорога отличается от обычной лишь тем, что сегодня ты не знаешь, где выйдешь завтра — на станции Радость или на станции Печаль? Вроде бы и эта мысль опять не очень-то нова, но вот в чем дело: прежде о таких вещах Мамедага вовсе не задумывался, и подобное направление своих мыслей он ощущал как частицу этой удивительной летней ночи, как нечто совершенно новое для себя.

Но сказал он вслух самое простое:

— Вчера ночью в Фатмаи шел дождь... А здесь?

— Нет.

— Совсем не было?

— Нет,— подтвердила Месмеханум, но тут ей показалось странным, что вчерашней ночью один из них попал под дождь, а другой нет.

— Ты была в Фатмаи?

— Нет, не была.

— Хорошее село.

— Правда? — Месмеханум совершенно искренне удивилась, как будто место, где жил Агададаш, не могло быть хорошим; ей сразу вспомнился Агададаш, а этот человек, по мнению Месмеханум, был самым подлым человеком на свете, и каждый раз, когда он появлялся хотя бы только в памяти, у нее начинало все дрожать так, будто к ее телу прикасалась лягушка...

...Агададаш приходился Месмеханум далеким родственником, и мать Месмеханум, Гюльдесте, при знакомых, приятелях и соседях, к месту и не к месту, часто упоминала его и рассказывала о нем — пусть, мол, все знают, какие у них родственники! Агададаш был заведующим цехом чемоданов, имел в Фатмаи большой двухэтажный особняк, и прозвище у него было подходящее — все его звали «золотой Агададаш». Однажды Гюльдесте и Месмеханум, возвращаясь с базара домой, встретились с его белоснежной «Волгой», и Агададаш, остановив машину, посадил их и отвез прямо к ним во двор.

Это было время, когда Месмеханум только что перешла в десятый класс, и все свои деньги, собранные по гривеннику, отдавала фотографу Николаю за «открытки», на которых были кадры из индийских и арабских фильмов.

Месмеханум много раз слышала имя Агададаша, но в лицо его не видела, и, когда белоснежная «Волга» остановилась во дворе их дома, девушке показалось, что она стала героиней одного из своих любимых фильмов. Соседи, увидев белую «Волгу», высовывались из окон, удивленно тараща глаза и многозначительно покачивая головами. Гюльдесте, выйдя из машины, победоносно посмотрела на соседские окна и быстренько, не дожидаясь, когда выйдет Месмеханум, сказала:

— Хлеб-то мы купить забыли!..

Когда они шли на базар, мать и не собиралась покупать хлеб. Гюльдесте для того сказала о хлебе, чтобы некоторые из их соседей, глядя и слушая из окон, от зависти сгорели.

Агададаш, посмотрев в переднее зеркальце машины на Месмеханум, сказал:

— Забыли? Ну и что, мы сейчас съездим, купим и привезем.

Месмеханум тоже посмотрела на Агададаша в зеркальце и улыбнулась.

Гюльдесте, глядя скорее на соседей, чем на Агададаша, сказала опять-таки для тех же завистливых соседей:

— Мы тебя замучили совсем...

А Агададаш, улыбаясь Месмеханум в зеркальце, возразил:

— Помочь вам — для меня удовольствие.— И белая «Волга» тронулась с места.

Гюльдесте, подняв с земли тяжелую плетеную корзину, нагруженную картофелем и луком, пошла к дому, с удовлетворением приговаривая:

— Вот какой он, сын моей тети — Агададаш!..

Прежде она всегда говорила «наш близкий родственник Агададаш», но история с белой «Волгой» привела ее в такой восторг, что Агададаш сразу стал сыном тети.

Кое-кто из соседей усомнился, конечно, в этой новости, но кое-кто, глядя вслед белой «Волге», подумал: гляди-ка, а Гюльдесте правду говорила, шикарный у нее родственник!

Выехав со двора, Агададаш остановил машину и на этот раз обошелся без помощи зеркала, обернулся к Месмеханум.

— Пересаживайся вперед,— предложил он.

Месмеханум пришла в совершенное умиление от этой уважительности Агададаша и, смущаясь, сказала:

— Большое спасибо... Здесь тоже хорошо...

Агададаш крепко потянул Месмеханум за руку:

— Иди, иди! Что ты, хуже других?

Конечно, раз такой родственник, как Агададаш, хотел, чтобы Месмеханум пересела вперед и чувствовала себя более удобно, нельзя было ему отказать; Месмеханум молча вышла из машины и села впереди, рядом с Агададашем.

Агададаш сказал:

— Ты мне понравилась, хорошая девочка! — Потом спросил: — Сколько тебе лет?

Похвала Агададаша маслом разлилась по сердцу девушки, и Месмеханум, краснея, сказала:

— Шестнадцать исполнилось, пошел семнадцатый...

Держа левой рукой руль, Агададаш правой рукой коснулся голых коленок Месмеханум, выступавших из-под ее черной юбки:

— Э-э, да ты просто табака!..

Месмеханум в жизни не была в ресторане и не знала, что, когда цыпленка распяливают, как лягушку, и поджаривают до красноты, его называют «табака», и это очень вкусная штука — цыпленок табака; Месмеханум не поняла слов Агададаша и, глядя на эту дорогу, которую всегда проходила пешком, подумала о том, как хорошо иметь такого родственника, как Агададаш; одно только тревожило Месмеханум и очень мешало получать полное удовлетворение от этой прекрасной прогулки, заставляя все сильнее биться ее сердце: ее тревожила правая рука Агададаша, поскольку эта рука все еще лежала на голой коленке Месмеханум.

Внезапно у Месмеханум сердце ушло в пятки — она почувствовала, что рука Агададаша потихоньку поднимается вверх, к ее бедру; она не знала, что делать, она так растерялась, что не издавала ни звука; рука Агададаша под черной юбкой постепенно поднималась выше, и Месмеханум, не в силах больше сдерживаться, хотела сказать, что дома у них есть хлеб и не надо покупать

никакого хлеба, что она хочет только быстрее вернуться домой...

— Дядя Агададаш...

— Дядя? Не ожидал от тебя такого!..— Агададаш, отведя глаза от дороги, с упреком посмотрел на Месмеханум, потом сжал бедро девушки.— Говори мне просто Агададаш, хочешь — называй Ага или Дадаш, как тебе захочется... Как для других, так и для тебя! Ты не ниже других, как тебе захочется, так и зови меня! Ты будешь у меня как сыр в масле кататься. Раз в месяц я буду покупать тебе роскошный наряд и шубу куплю, клянусь здоровьем! Клянусь могилой Эт-Ага! [1]

Месмеханум ничего не понимала из слов Агададаша, только чувствовала, что рука на бедре поднималась все выше и, когда пальцы Агададаша пролезли внутрь ее трусиков, девушка вне себя закричала:

— Останови! Я выхожу! Мама!..

Словно ужаленный змеей, Агададаш в мгновенье отдернул руку и нажал на тормоз — он никак не ожидал скандала. А Месмеханум пришла в себя только тогда, когда поняла, что бежит по улице к дому.

Их квартира находилась на втором этаже большого двухэтажного дома, и Гюльдесте, выйдя на балкон, ждала белую «Волгу». Увидев возбужденную Месмеханум, бегом проскочившую двор, некоторые соседи покачали головой, некоторые удивились, а некоторые подумали, что такие вот дела: дерево, по которому взобралась мать, дочь проходит по веткам...

Гюльдесте бросилась открывать дочери дверь:

— Что с тобой? Что произошло? Где Агададаш?

Гюльдесте придумала замечательный план: она задержит Агададаша, заварит чай, поставит перед ним варенье, которое хранила для особо важных гостей, а белая «Волга» часа два постоит во дворе, и... Увидев дочь в таком возбужденном состоянии, Гюльдесте было решила, что белая «Волга» совершила аварию или задавила человека.

Но Месмеханум, всхлипывая, кинулась на старый пружинный диван:

— Убежала я, убежала! Убежала!

У Гюльдесте был немалый жизненный опыт, и тут уже

---

[1] Эт-Ага — разбитый параличом человек, который у верующих Апшерона считается святым.

она, кажется, догадалась о чем-то, но потребовала от дочери точного отчета:

— Почему убежала?

— Он залез рукой мне под юбку!..

Догадка Гюльдесте подтвердилась, и она, хлопнув ладонью о ладонь, крикнула:

— Вай, сукин сын! Пепел на голову такого мужчины! Да какой это мужчина — мартышка, мартышка!

Месмеханум обычно сердилась, когда мать говорила плохие слова, но на этот раз, всхлипывая, девушка только повторяла:

— А ты всегда говорила, что он наш родственник... родственник... и бог знает кто...

Гюльдесте эти упреки дочери словно кипяток на голову.

— Родственник? Да провались он! Родственник нашелся! Проходя по мосту, мы с ним задами столкнулись, вот и все! Оставил дома жену в сто килограмм, а сам ребенку под юбку лезет! — Потом, будто Агададаш стоял рядом, она растопырила пальцы и обеими руками отвесила ему пощечины: — Вот тебе! Вот! Чтоб ты провалился!

После случившегося разговоры об Агададаше в доме совершенно прекратились, Гюльдесте ни разу не упоминала его имени при дочери, но, когда Месмеханум не было рядом, при знакомых и соседях она порою все же не могла удержаться, чтобы не похвастать:

— Золотой Агададаш — наш родственник!..

...Мамедага смотрел на задумавшуюся Месмеханум, и ему очень хотелось, чтобы в эту удивительную летнюю ночь он обрел способность читать в сердце этой девушки.

— О чем ты думаешь?

Легко ступая босыми ногами, Месмеханум спускалась с песчаного холма.

— Думаю о том, что есть на свете дурные люди, и поступки у этих людей дурные.

— К чему это?

— Есть один в Фатмаи... Вроде бы наш родственник...

Фатмаи было маленькое село, и Мамедага знал большинство живущих там.

— Как его зовут?
— Ағададаш.
— Какой Агададаш? Золотой Агададаш?
— Да, золотой Агададаш.— Месмеханум с новым удивлением посмотрела на этого всеведущего парня, спускавшегося к ней с холма в лунном свете, и почувствовала, что сейчас она услышит от него что-то неожиданное.

— Так его же арестовали...
— Правда? — У Месмеханум, казалось, вспыхнули глаза, и по этой искре, мелькнувшей в глазах девушки, останавливающей ветер, Мамедага понял, что Агададаш был, видно, очень плохой человек.
— Да. Государственный чемоданный цех он превратил в свою лавку... И все собранное им золото отобрали — нечестное ведь!
— Да буду я жертвой советской власти! — Месмеханум сказала эти слова так, будто они годами накапливались у нее в душе и теперь вдруг вышли, дождавшись случая.
— А ты как думала? Теперь жуликам стало туго. Паника у них, собачьих детей.
— Да если их будут вешать у меня на глазах — не охну! — Месмеханум явно не могла сдержаться.
— Он что тебе — много плохого сделал?
— Агададаш? Давно это было... Я была еще робкой овечкой...— Месмеханум улыбнулась, но Мамедага заметил горечь в улыбке ее полных губ. Сердце его дрогнуло — он понял, что эта смуглая девушка, говорящая с морем по ночам, когда дует моряна, совсем одинока, не на кого ей положиться и нечем похвастать.

А Месмеханум, не подозревая о мыслях Мамедаги, ушла в себя, ею овладела грусть по детству, по прежней Месмеханум. Если бы теперь Агададаш сунул руку под юбку Месмеханум, она выцарапала бы ему глаза. Остались позади те времена, когда Месмеханум терялась от страха перед любым негодяем, теперь она чувствовала себя совсем другой, она знала все обо всем на свете, и если кто-нибудь скажет ей слово, то получит пять в ответ, как получил недавно Нерсес Вартанович.

Помидорный киоск Месмеханум работал от большого районного магазина «Фрукты — овощи», где заведующим

был лет сорок крутившийся в торговой системе Нерсес Вартанович Гюльбекян. Позади киоска Месмеханум росло большое тутовое дерево, и Нерсес Вартанович на своем выигранном в лотерее желтом «Москвиче» (все, правда, говорили, что Нерсес Вартанович вовсе не выиграл машину по лотерее, а купил у кого-то счастливый билет за большую сумму, поскольку Нерсес Вартанович был хитрец и не хотел, чтобы однажды ему задали такой вопрос: «У тебя зарплата всего сто рублей в месяц, у тебя жена и дети, откуда же у тебя столько денег, чтобы машину купить?»), поднимая пыль, часто приезжал сюда и говорил:

— Вах!..— Потом, сдвинув соломенную шляпу на жирный затылок, смотрел вверх.— Душа горит, ахчи [1], полезай, нарви немного тута, поедим!

Месмеханум не отказывала этому пожилому человеку в его просьбе; скинув белую ситцевую куртку, она в один миг взбиралась на дерево и наполняла тарелку спелыми ягодами, поскольку нельзя было трясти дерево — везде вокруг был песок. Минут десять — пятнадцать восседала Месмеханум на дереве и однажды заметила, что храбрец Нерсес Вартанович тайком подглядывает за ней снизу вверх, из окна ее киоска.

Месмеханум чуть не кинула прямо с дерева на голову Нерсесу Вартановичу тарелку с ягодами, так она рассердилась, сделав свое открытие:

— Ах ты, старая перечница! Меня на дерево заставляешь лезть, а сам снизу подсматриваешь! Негодяй! Ну, погоди!

Нерсес Вартанович, покраснев, как выкрашенное к новруз-байраму яйцо, растерялся.

— Ахчи, я старый человек!..

— Ах, лиса, ты в Мекку едешь? [2] Подожди, я спущусь сейчас!..

Ясное дело, что Нерсес Вартанович, не дождавшись, пока Месмеханум спустится с дерева, бросился к своему желтому «Москвичу», и, когда Месмеханум спрыгнула с нижней ветки на землю, машина тронулась с места, поднимая пыль. Нерсес Вартанович спасся в тот день от

---

[1] Ахчи — девушка *(арм.)*.

[2] Есть такая азербайджанская притча: лиса обманывает кур, говоря, что стала верующей, едет якобы в Мекку на паломничество. Куры верят и становятся ее добычей.

гнева Месмеханум, но и после этого старался не показываться ей на глаза...

Месмеханум вспоминала, но в эту странную летнюю ночь на песчаном морском берегу Загульбы даже лихая победа над трусливым заведующим не развеселила ее — она с сожалением поняла, что годы отняли у нее и унесли с собой ту чистую кротость, из-за которой она растерянно молчала, а потом чуть не выбросилась из белой как молоко «Волги»; невинность, девичий трепет и дрожь от предчувствия огромного счастья — все это потеряно безвозвратно; прожитые годы были как болото, они поглотили все девичье, что было в ней, и на поверхности этого болота даже следа не осталось от того, что ушло, а если и осталось что, так это или еле слышимый иногда отзвук детского голоса, едва различаемый аромат детства, чуть видная тень некоей девочки, и от этих неуловимых воспоминаний начинает щекотать в носу и переполняет печаль.

Вот о чем думала Месмеханум, пока Мамедага, сидя на песке и завязывая шнурки туфель, пришел к твердому выводу, что эта красивая смуглая девушка считает себя бойкой женщиной, смеется над своей робостью в детстве и думает, будто детские годы давно засыпаны песками жизненного опыта, а на самом деле она и теперь та же самая девочка, потому что и та робкая девочка была драчливой, и у нее был длинный язык и острые ногти, но все-таки она была робкой овечкой, поскольку, в сущности, вся ее бойкость была необходима для того, чтобы прикрыть ее робость тогда и скрыть ото всех теперь то, что она умеет беседовать с морем и останавливать ветер. Вот о чем думал Мамедага.

А море успокоилось, и монолитные скалы, превратившись в легкие лодки, хотели куда-нибудь плыть: море журчало как река, и Месмеханум, подойдя к самой воде, стояла босыми ногами на влажном песке; она посмотрела вдаль, потом взглянула на касающуюся ее голых пальцев теплую воду, потом, нагнувшись, зачерпнула горсть воды, разжала пальцы, и вода сквозь ее пальцы снова ушла в море; Месмеханум побрела вдоль берега, и ей пришло в голову, что иногда ночью в доме капает вода из крана, и человек до утра не может заснуть, а вот бесконечное журчание такого количества воды не только не раздражает, а прямо облегчает душу, и человек, как вот эти монолитные скалы, хочет стать лодкой и плыть; идя

вдоль берега, Месмеханум не забывала о том, что сейчас за нею следит пара голубых глаз, но она помнила и о том, что скоро уже ей придется вспоминать эти голубые глаза, она закроет свои и увидит эти, но никто на свете не узнает об этом, никто, и знать об этом будет только один человек — Месмеханум.

— Ты много видела плохого тогда?

— Когда?

— Ну, когда была робкой овечкой...

Мамедага хотел пошутить, но слова с трудом пролезли через внезапно пересохшее горло.

— А... Ты о том времени говоришь...— Месмеханум легко улыбнулась.— Нет. Один-два раза...

— А потом как? Потом чаще встречалось плохое?

— А что ты называешь плохим?

— Что называю? Не знаю... Плохое, и все...

Конечно, если бы Мамедага, положив перед собой папаху, подумал, он мог бы ответить, что такое плохое, то есть он ответил бы, что плохое — это неблагодарность, эгоизм, нечестность, неуважительность, безжалостность, скупость и все такое подобное, но сейчас Мамедага подумал иначе: плохо не только то, что может сделать один человек другому; человек одинок — ему не на кого опереться, нечему порадоваться — вот это плохо. И он вдруг решил, что, в сущности, человеку плохо и тогда, когда ночью дует моряна, а человек под шум ветра разговаривает с морем,— не человек плох, но что-то в его жизни плохо.

— Бить человека — плохо?

— Плохо, конечно...

— Вот посмотри! — Месмеханум оттянула ворот своей желтой кофты, и на полном гладком плече девушки показался синяк; Месмеханум никогда бы не подумала, что вдруг в лунном свете, оголив плечо, покажет синяк чужому парню, и этот чужой парень, стоя перед нею, так потрясенно будет смотреть на синяк у нее на плече, а потом, подняв руку, будет водить ладонью по ее плечу, задержит руку на больном месте, и по всему телу Месмеханум разольется истинное, никогда ею не испытанное тепло, и она поймет, что это происходит не в ее сказочном мире, а на самом деле, и ей покажется, что эта рука — рука самого родного для нее человека в мире, ей покажется, что рука эта — рука ее отца, которого она никогда не видела...

ГЛАВА II

В конце этой главы удивительную летнюю ночь в Загульбе прогоняет рассвет, и Месмеханум расстается с Мамедагой, так и не поняв, почему она вспомнила всю свою еще такую короткую жизнь,— впрочем, как и оба они не поняли, и это было едва ли не самым удивительным, что всю ночь напролет их волновал, в сущности, главный вопрос всего человечества: для кого и для чего жить?

Гюльдесте работала проводником в поезде «Баку — Воронеж» и три дня жила дома, а пять — в поезде. Месмеханум с первого класса училась в школе-интернате, и поездки матери не сжимали ей сердце: раз или два в неделю она приходила домой и думала, что так и должно быть. Но прошли годы, Месмеханум окончила седьмой класс, и Гюльдесте решила, что дочь уже выросла, сможет сама себе все сделать, что надо делать дома, и не побоится остаться одна. Мать забрала дочку из интерната, и Месмеханум стала жить дома, как все дети, готовила дома уроки, как все дети, а по ночам, как все дети, спала,— впрочем, нет, не всегда она спала, потому что сердечко ее теперь сжималось каждый раз, когда мать уезжала.

Гюльдесте взяла Месмеханум домой не только потому, что очень любила дочь, хотя, конечно, она очень ее любила и думала о том, что пора уже присматривать за ней, потому что Месмеханум становилась девушкой и нельзя было предоставлять ее самой себе. Но Гюльдесте еще и потому взяла дочь домой, что ей хотелось, возвращаясь из поездки, знать, что ее дома ждут, ей кто-то радуется, а когда она отправляется в поездку, плеснет ей вслед воды...

Конечно, со временем Месмеханум более или менее привыкла оставаться без матери на целых пять дней через каждые три, иногда ей даже казалось странным, что другие матери безотлучно живут со своими детьми. Словом, тоска незаметно ушла из ее сердца, в котором так же незаметно возник второй, фантастический мир,— он разрастался, становился все красивее, Месмеханум уже не хотелось уходить из него.

Месмеханум жила теперь сразу в двух мирах: в первом она учила уроки, ходила в школу, готовила себе еду, порола старые платья, шила новые, приспосабливала себе те, которые уже не годились матери, вечерами смотрела в клубе кинофильмы, ждала мать и вместе с нею

ездила в Баку, бродила там по магазинам и занималась разными другими подобными делами, то есть такими, какими занимаются все; но второй мир Месмеханум был только ее миром, в этом мире по ее желанию шел дождь, падал снег, всходило солнце, в любое время можно было стать ребенком, или, наоборот, у тебя появлялся собственный ребенок,— Месмеханум его лелеяла, убаюкивала и под эти баюканья, произносимые скрытно, в душе, и сама засыпала.

Удивительно, но у Месмеханум, кроме этих двух миров, было и еще «что-то». Она не знала, что это такое, но верила, что это существует, и ждала этого, убежденная в том, что придет время и «что-то» произойдет.

Произошло это весной, когда второй мир Месмеханум приобретал все краски первого — весенних деревьев, цветов, кустов, и ее солнце изливало на ее мир беспричинную радость. В один из таких весенних дней, придя домой, Месмеханум увидела в комнате незнакомого ей мужчину, который сидел за их круглым столом, покрытым белой скатертью, и беседовал с матерью. Белая скатерть иногда стелилась на стол, чтобы подчеркнуть особое уважение к гостю, и Месмеханум поняла, что этот гость — уважаемый гость.

Месмеханум второй раз видела у себя дома чужого мужчину, а в первый раз это случилось, когда она только перешла из интерната домой. Тогда она училась в восьмом классе, был ветреный осенний день, и преподаватель географии Азизов, заболев, не пришел на урок. Месмеханум раньше обычного ушла из школы, открыла дверь своим ключом, вошла и увидела в комнате чужого мужчину в одних голубых трусах, а Гюльдесте лежала в постели. На деревянной табуретке у кровати валялись ее лифчик, комбинация, трусы, и Месмеханум поняла, что мать раздета. Чужой мужчина, торопливо надев брюки, смылся, а Гюльдесте залезла с головой под одеяло.

На этот раз чужой мужчина был не в трусах, на нем был чесучовый костюм, и, увидев Месмеханум, ни мать, ни он нисколько не растерялись,— сидя друг против друга, они продолжали пить чай. Наливая в блюдце, мужчина с шумом втягивал в себя чай, и по его толстому лицу катились ручейки пота. Когда он, попрощавшись, ушел, Гюльдесте многозначительно сказала:

— Хороший парень!..

Потом этот толстый мужчина зачастил к ним, и Мес-

механум поняла, что мать собирается за него замуж. Теперь, приходя домой, девушка не открывала дверь своим ключом, а нажимала кнопку звонка — она боялась увидеть и этого мужчину без брюк. Он был значительно моложе первого, к тому же первый был длинный и худой, немного похож на милиционера Сафара, и голова у него была тоже лысая, а этот парень был полный.

Месмеханум молча ждала, когда мать выйдет замуж, она думала об этом чаще всего ночью, перед тем как заснуть, и в такие ночи в ее втором мире, где ей как сироте некуда было идти, мели метели, ураганы, снегопады, от холода у нее стучали зубы, но вдруг появлялся кто-то, похожий на сказочного принца, и спасал ее от этого ужасного холода. Все эти печальные и радостные события происходили в ее мире по ночам, а в обычном мире днем к ним приходил толстый молодой мужчина, садился за накрытый белой скатертью стол, наливал себе чай в блюдце, с шумом выпивал, и по его жирному лицу скатывались капли пота.

Конечно, Месмеханум была уже взрослой девушкой и понимала, что ее мать несчастна, потому что у всех знакомых соседей был мужчина в доме, у кого муж, у кого отец, у кого брат, а у них никого,— все это Месмеханум понимала, но одного она понять не могла: что нашла ее мать в этом толстом мужчине — ни красоты в нем, ни поговорить толком не умеет!

Так все и шло до поры до времени, пока не произошло самое неожиданное событие на свете: Месмеханум узнала, что этот толстый мужчина ходит к ним не ради матери, а ради нее самой!

— Дочка, неужели ты еще не прозрела? Твои сверстницы такое вытворяют!.. Ради тебя приходит Мирзоппа, из-за кого же еще?.. Ради тебя. Неплохой парень и зарабатывает неплохо, водит городской автобус, и дом у него есть отдельный. Надо по одежке протягивать ножки. Он нам ровня...

Вот что сказала Гюльдесте уставившейся на нее в изумлении дочери, и вот какими словами она ее благословила.

И остается только добавить, что тот толстый мужчина действительно был Мирзоппа.

После того как семья Мирзоппы переехала из Баку в Загульбу, котел Алиаббаса-киши постоял здесь перед каждым из крытых киром домов, но и в этих местах чис-

ло таких домов понемногу уменьшалось. Здесь тоже строились государственные дома, как в городе,— трехэтажные, а потом и пятиэтажные. Старые дома рушились, сносились, а новые дома с кировой крышей не строились. Алиаббас-киши был мастером своего дела, и если он однажды заливал крышу киром, то она начинала протекать лет через семь-восемь. В общем, заказчиков становилось все меньше.

Однажды Мирзоппа сказал отцу:

— А ты заливай крыши так, чтобы на следующий год тебя снова вызвали, понял?

Алиаббас-киши не любил читать мораль, он только посмотрел на сына, посмотрел и понял, что Мирзоппа сделан из другого теста, чем он.

Через одиннадцать лет после переселения в Загульбу Алиаббас-киши умер прямо на работе, разогревая котел, и тогда Мирзоппа прицепил отцовский котел к своему автобусу, оттащил его в металлолом (найти охотника на котел уже было невозможно) и, продав за десять рублей семьдесят копеек, купил три бутылки водки и вечером вместе с киномехаником Агагюлем крепко выпил.

Но, само собой, обо всем этом ни Гюльдесте, ни Месмеханум понятия не имели. Мирзоппа увидел Месмеханум в кино, и она ему понравилась. Месмеханум часто ходила в кино, а Мирзоппа часто навещал Агагюля. Киномеханик, увидев, что Мирзоппа из окна его будки разглядывает Месмеханум, подмигнул:

— Дочка Гюльдесте... Хороша штучка, не хуже своей матери!..

Мирзоппа не поддержал такой поворот разговора, а в один прекрасный день вошел в дом Гюльдесте и сам себя просватал — вот после того сватовства он стал часто захаживать к ним.

У Гюльдесте было три причины, по которым она не хотела отказывать Мирзоппе. Во-первых, по мнению Гюльдесте, чем раньше Месмеханум выйдет замуж, тем лучше, потому что, как говорится, с кем это случилось, тот уже умный. Теперь Гюльдесте не хотела, чтобы взрослая дочь целыми днями бывала дома одна, боялась, как бы дочка не пошла по дурной дорожке. Во-вторых, Мирзоппа не спрашивал Гюльдесте, кто отец Месмеханум, и вообще не заводил об этом разговора. Наконец, была и третья причина, в которой Гюльдесте сама себе

не хотела признаваться: за долгие годы она так привыкла жить одна и делать все, что ей хочется, что с тех пор, как дочь вернулась из интерната, Гюльдесте словно заперли в клетке, и она была вынуждена играть с дочерью в прятки; она тосковала, скучала, порою у нее прямо-таки кончик носа чесался от воспоминаний о свободе и воле прежних дней.

Естественно, Месмеханум ничего не знала обо всех этих причинах, она не поняла, как случилось, что этот толстый парень, который с шумом, потея, пил из блюдечка чай, вдруг показался ей совсем другим. Тот день был для Месмеханум днем открытий. Месмеханум обнаружила удивительные вещи. Месмеханум открыла, что в течение всего этого времени она, в сущности, жила в этом доме как чужой человек и эти комнаты всегда были для нее чужими и холодными. Правда, Месмеханум очень любила свою мать, но однажды до нее донесся аромат осени, печаль листопада проникла в ее сердце, и она подумала, что проводимая ею в этом доме жизнь пуста, как осеннее утро. Так она подумала — прямо как поэт, сказала она себе,— и тут же решила, что необязательно писать стихи, каждый человек где-то и когда-то бывает поэтом. А самое главное, Месмеханум поняла, что у человека должно быть не два мира, а один мир и надо жить так, чтобы одного мира хватало. Месмеханум поняла это и рассмеялась над тем, как в ее втором мире девушка-сиротка попадала в пургу и ее спасал юноша, похожий на принца.

Так девушка-сиротка и юноша-принц исчезли, как и появились, и теперь по ночам, перед тем как Месмеханум засыпала, в мыслях ее с дальней дороги возвращался автобус, усталый Мирзоппа приходил домой и, вымыв руки, измазанные мазутом, ел приготовленный для него Месмеханум кюфта-бозбаш; в сон Месмеханум пришел запах бензина, ее волшебный сказочный мир спустился с седьмого неба на асфальт, и по этому асфальту покатился из Баку в Загульбу и обратно автобус...

Тогда еще не было известно, что Мирзоппа — пьяница, что он прямо-таки влезает внутрь бутылки с водкой, как не было известно и то, что всего через два месяца после женитьбы Мирзоппа, напившись до чертиков, среди ночи устроит дома скандал и, вытаращив свои красные глаза, скажет ужасные слова:

— Люди женятся на дочерях замминистров, а я нашел себе бидж...[1]

Да, поначалу еще многое не было известно; кто бы, например, мог предполагать, что рано или поздно, но неизбежно снова появится волшебный сказочный мир Месмеханум...

...Синяк на плече Месмеханум будто жег ладонь Мамедаги, и у него заныло сердце: сердцу было так больно, будто умирает самый родной человек или на его долю выпало самое горькое испытание,— Мамедага чувствовал, что пройдет много лет, но он по-прежнему будет ощущать в своей ладони этот жар.

Месмеханум поняла, что сейчас заплачет, но, если бы она сейчас заплакала, она бы всю жизнь себе этого не простила, и потому, глядя прямо в глаза Мамедаги, она быстро сказала:

— Когда он бьет, то всегда по телу, чтобы другим не было видно.

Мамедага молчал.

Месмеханум добавила:

— И рука у него ужасно тяжелая...

Мамедага молчал.

Месмеханум тихо сказала:

— Как будто кирпич...

Слова, которые она сейчас говорила, падали на Мамедагу словно удары, предназначенные ей. Месмеханум почувствовала, что сердце этого голубоглазого парня — а рука его все еще лежала на ее плече — пылает. Но вдруг ей показалось: а что, если он просто жалеет ее? У нее засверкали глаза.

— Я тоже не остаюсь в долгу,— сказала Месмеханум и, вспомнив, как три дня назад Мирзоппа ревел словно бык, ухватив себя между ног, улыбнулась.

А Мамедага увидел смеющиеся черные глаза девушки, улыбку на ее полных губах — и сердце его оттаяло. Он ласково провел ладонью по ее плечу, по руке, погладил ее черные волосы — и Месмеханум всем своим существом отдалась этой руке. Хозяин этой руки может сделать с ней сейчас все, что захочет, и она не станет сопротивляться, не издаст ни звука, потому что его ласковая ладонь перенесла Месмеханум в ее волшебный сказочный мир наяву.

---

[1] Бидж — ребенок от неизвестного отца.

В квартале, где жил Мамедага, был неписаный закон: нельзя заглядываться на жену знакомого, если ты с кем-то сидел и ел за одним столом, то его жена для тебя сестра, и все. Мамедага никогда не нарушал этого закона, но не потому, что закон нельзя нарушать, а потому, что этот неписаный закон был у него в крови и тек по его жилам.

Но в эту удивительную летнюю ночь на морском берегу Загульбы Мамедага совсем позабыл, что на свете есть человек по имени Мирзоппа, а эта беспомощная, эта беседующая с морем девушка — жена Мирзоппы. Сняв руку с черных волос девушки, он молча стоял, он никак не мог поверить в то, что Месмеханум не то что Мирзоппы, а вообще чья бы то ни было «жена». Он знал одно: синяк на плече этой девушки, только что с трудом удержавшейся от слез,— самое подлое дело и самая большая несправедливость, с какой он до сих пор сталкивался в жизни, и Мирзоппа недостоин называться мужчиной.

— Где работает Мирзоппа?

— Раньше он водил автобус до Баку, а потом за пьянство его сняли, и теперь он продает билеты в том же автобусе....

— А Дуду жив?

— Дуду? Ты и его знал? — Месмеханум, нагнувшись, надела на ноги сандалии.— Давно умер... Я совсем его не видела. Говорят, хороший был парень, умный, воспитанный...— Немного помолчав, Месмеханум нерешительно добавила: — Говорят, после его смерти Мирзоппа начал пить...

Месмеханум нарочно говорила «говорят»,— ведь обо всем этом, кроме Мирзоппы, никто ничего ей не говорил. Вообще-то Месмеханум не верила словам Мирзоппы, но его рассказам о Дуду поверила: поверила и в красоту Дуду, и в его ум. Пьяный Мирзоппа частенько вспоминал Дуду и говорил о нем так искренне, что Месмеханум не сомневалась в великих достоинствах юноши, умершего так рано. Мирзоппа, как обычно, выдыхал густые пары спирта, садился на кровать, снимал носки и, вытирая грязь между пальцами ног, рассуждал:

— Если бы Дуду был жив, разве бы я теперь дошел до этого? Разве бы меня сняли с шоферов и поставили бы как женщину продавать в автобусе билеты? Из-за чего я пью? С горя! Он был цветок, единственный в этом мире, и аллах счел его лишним для нас!..

И каждый раз Мирзоппа, вспомнив Дуду, плакал. Эти слова Мирзоппы не были пьяными слезами, Месмеханум это сразу почувствовала: когда Мирзоппа вспоминал о Дуду, на глаза его ложилась тень настоящего страдания, и в такие минуты Месмеханум казалось, что Мирзоппа тоже человек и в груди у него тоже есть сердце. Месмеханум с горечью думала о том, что преждевременная смерть умных и красивых людей, таких, как Дуду,— самое большое несчастье на свете. От этой мысли у нее самой глаза наполнялись слезами. Мирзоппа рассказывал, что в свое время они переехали в Загульбу из Баку из-за девушек. Девушки не давали покоя Дуду, писали ему письма, бегали за ним, и в один прекрасный день у них в квартале семнадцатилетняя красавица из-за любви к Дуду покончила с собой, а после их переселения в Загульбу еще одна бакинская красавица восемнадцати лет облила себе лицо кислотой — пусть никому, кроме Дуду, не достанется!

Мирзоппа говорил вдохновенно:

— Он был настоящий ученый. Не уснет, если за день не прочтет три толстые книги. Институты спорили между собой, в каком из них ему учиться. Если бы он был жив, то быть бы ему сейчас замминистра! Вот тогда все поняли бы, кто такой я — Мирзоппа!

Во все это поверила Месмеханум, как поверила она и тому, что если бы Дуду был жив, может быть, Мирзоппа и в самом деле не был бы таким, каков он теперь.

— Ты знал Дуду, да? — жадно спросила Месмеханум.— Скажи, девушка, которая покончила с собой из-за него, была из вашего квартала?

Конечно, Мамедага знал, что такие дети, как Дуду, долго не живут на свете, но все же, услышав о его смерти, он расстроился, живо представив себе лицо Дуду и его ничего не выражающий взгляд. Мамедага давно понял, что Мирзоппа искренне любил Дуду, а теперь он, возможно, и сам верит в то, что сочиняет для Месмеханум.

— Бедный Дуду...— вот и все, что ответил ей Мамедага.

— Все умрем...— с удивительным равнодушием возразила Месмеханум.

Мамедага улыбнулся:

— Но твоя звезда говорила, что Месмеханум никогда не умрет?

— Если бы все зависело от звезды, я бы никогда не умерла,— уверенно ответила девушка и, подняв голову, снова взглянула на свою звезду.— И я никому бы не позволила умереть...

Мамедага подхватил:

— Знаю, что не позволила бы.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все.

— А вдруг — наоборот?

— Нет, я знаю, какая ты.

— У меня что, на лбу написано?

Мамедаге, откровенно говоря, казалось, что она вся как на ладони, но он не сказал ей этого.

— Ты боишься умереть? Я ужасно боюсь! — Месмеханум говорила с такой искренностью, что он ответил ей совершенно серьезно:

— Если не будешь думать о смерти, проживешь до ста лет.

— Ну и что? А потом все равно умру...— Месмеханум рассмеялась.— Мне вспомнилась отличная история, рассказать тебе?

— Конечно!

Эту историю рассказала ей Бикебаджи,— тогда Месмеханум только что переехала домой из школы-интерната, и Бикебаджи оказалась соседкой, у которой муж погиб на войне, а две дочери уже были замужем, вследствие чего Бикебаджи жила одна в двухкомнатной квартире. Бикебаджи не любила Гюльдесте, но деликатно скрывала это от Месмеханум (Гюльдесте тоже не любила Бикебаджи и нередко говорила: «Эх, мои бы несчастья на ее голову! Как она фасонит, посмотрите. А чем она лучше меня? Подумаешь: дочери удачно вышли замуж! Еще неизвестно, что эти хорошие мужья делают тайком от ее дочерей». Так говорила Гюльдесте, но в душе она хорошо понимала, что до Бикебаджи ей далеко). Когда Гюльдесте бывала в поездках, Бикебаджи иногда приходила к Месмеханум, иногда приглашала девушку к себе домой, и они вместе готовили дюшбере[1], сидели за одним столом и ели, а Бикебаджи все рассказывала да рассказывала без умолку. Однажды зимним вечером, когда они сидели вдвоем и играли в лото, Бикебаджи рассказала вот какую историю:

[1] Дюшбере — пельмени по-азербайджански, из свежей баранины.

— Жил-был столетний мужчина. Однажды этот мужчина нес из лесу домой вязанку дров. Ноша была такой тяжелой, что старик едва держался на ногах. Вязанка извела его, терла ему спину, и наконец старик, сбросив дрова на землю, решил позвать Азраила: все равно уже сто лет он прожил на этом свете, хватит, пусть Азраил придет и заберет его.

«Азраил! Азраил!»

И вдруг действительно перед стариком возник Азраил и спросил:

«Чего тебе, киши, что ты хочешь?»

Столетний старик, увидев перед собой Азраила, испугался смерти и схитрил:

«Я позвал тебя, чтобы ты помог мне положить на спину эту вязанку...»

...Ступая точно по кромке берега, Месмеханум назидательно заметила:

— Вот видишь, столетний старик, а и он испугался смерти. Жизнь — сладкая...

— О да, конечно,— Мамедага чуть не рассмеялся над многоопытностью этого юного существа.

Месмеханум, опять подняв голову, смотрела на свою едва различимую звезду.

— У тебя много желаний? — вдруг спросила она, обернувшись.

— Не считал,— Мамедага улыбнулся.

Но Месмеханум было, видимо, не до шуток — она спрашивала его как самая строгая учительница математики:

— Как это — не считал? Свои желания не знаешь?

— Мало ли какие бывают желания!

— Желания не бывают какие-то. Желание — это желание, да! Если ты хочешь, чтобы всю ночь шел дождь и стучал в окна,— это желание. Если ты хочешь, чтобы на свете никто никому не делал плохого,— это желание. Желание — это желание, большое или малое, все равно! Вот сейчас чего ты хочешь?

— Я?! — Мамедага изумился, но девушка была попрежнему серьезна.

— Да, ты, и сейчас.

— Сейчас я хочу есть.

— Что? — теперь изумилась Месмеханум.

— Есть!

— А-а-а...— Месмеханум в лунном свете внимательно

посмотрела в голубые глаза парня и громко рассмеялась.— Проголодался?

— Помираю с голоду...— Мамедаге показалось, что смех девушки, как весенний дождик, разнес вокруг чистоту и прохладу. Словно внезапно разрешилась ливнем черная туча, в течение минуты все омыла — и этот песчаный берег Загульбы, и море, и апшеронское небо с луной и звездами, и всю эту засверкавшую свежестью красоту заново увидел Мамедага и изумился. Вдруг он почувствовал себя так, словно вернулись времена, когда он пускал воздушного змея с крыши, на сердце нет забот, а на всей земле под этим апшеронским небом с луной и звездами, рядом с морем, на песчаном берегу Загульбы есть только они двое, всего два человека на всей земле, и одного зовут Мамедагой, а другую — Месмеханум.

— Знаешь, я тоже проголодалась.

Еще утром, по дороге в Загульбу, в Бильгя Мамедага купил тендырный [1] хлеб, который в Бильгя бывал особенно хорош. Сейчас в фургоне осталось всего понемногу: хлеба, винограда и сыра. С собой в дорогу Мамедага никогда не брал ни колбасы, ни сосисок, ни консервов, только натуральную еду: масло, сыр, зелень, овощи, фрукты. В горах милиционера Сафара на каждом шагу попадались родники, а на дорогах Апшерона — шашлычные, и иногда, если хотелось, Мамедага останавливал машину возле какой-нибудь шашлычной и, хорошенько вымыв руки, усаживался — летом на открытой веранде, а осенью или зимой — перед окном, чтобы съесть два-три шампура шашлыка из грудинки с тендырным хлебом — чуреком. Работники придорожных шашлычных знали всех своих постоянных клиентов, большей частью шоферов грузовых машин, знали они и Мамедагу. Когда не было свежего мяса, они предупреждали его и пиво даже не предлагали, только «Бадамлы», если оно имелось,— Мамедага за рулем не пил ничего иного, кроме воды или чая, а в другое время это зависело от места и настроения. Например, в воскресные дни, выйдя из Желтой бани, приятно выпить одну-две кружки пива с соленым горохом перед пивным киоском Асадуллы в верхней части квартала. Сакина-хала беспокоилась: «Выйдя из бани, холодное не пьют, сынок, ангиной заболеешь». На что Мамедага отвечал: «Не бойся мама, ничего не случится»,

---

[1] Тендыр — особая печь для выпечки хлеба.



но в следующий раз после Желтой бани кружку «гвардейского» пива Асадуллы сменял бархатистый чай Сакины-хала.

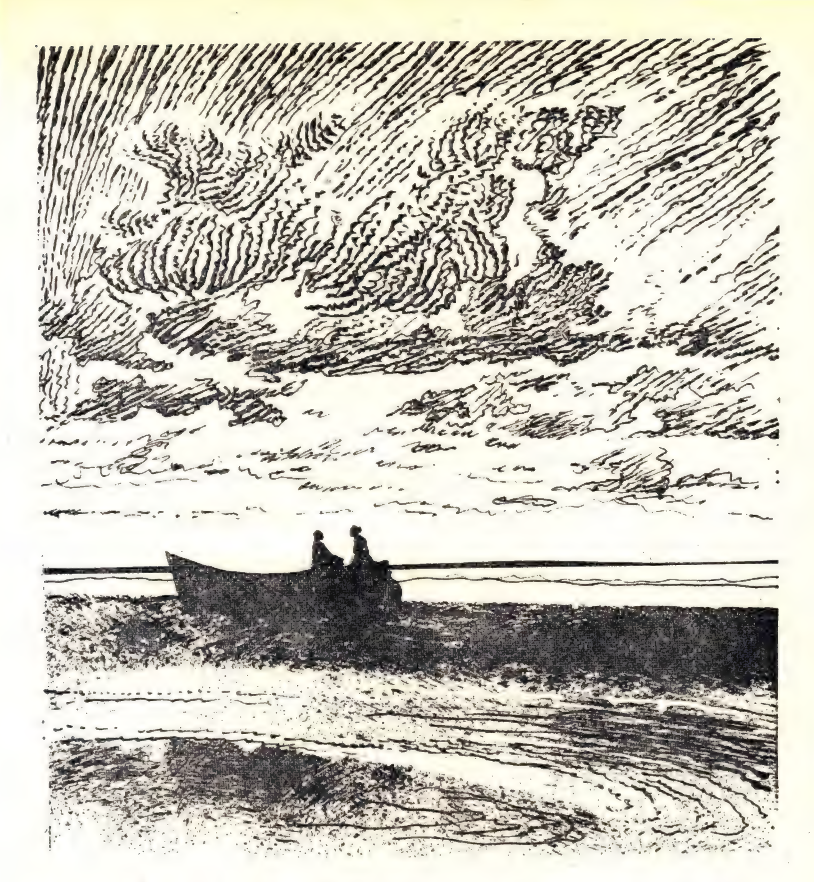
...Мамедага сказал:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают?

Месмеханум сказала:

— Виноград, сыр, хлеб — устраивают!

Она посмотрела на алюминиевый фургон, одиноко сверкавший серебром в лунном свете, и издалека почувствовала все его белое одиночество в этом мире. Но для нее свет алюминиевого фургона означал как раз конец ее одиночества. Месмеханум понимала, что уже за полночь и ей надо уходить домой, потому что у нее есть свой дом, и есть муж, и посреди ночи ей здесь делать не-



чего,— все это она понимала, конечно, но все это сейчас не имело значения, потому что сейчас на земле их было всего двое — она, по имени Месмеханум, и он — Мамедага, хозяин больших теплых рук и голубых глаз.

Само собой, Месмеханум и Мамедага не знали ничего о том, что думал про себя каждый из них, но в эту удивительную летнюю ночь оба они часто думали об одном и том же.

Когда Мамедага и Месмеханум вошли в фургон, свет двухсотваттной электрической лампы ослепил их, и Месмеханум показалось, что развешанные на стене деревянные зайцы, деревянная лиса, медведь, лев и неведомый зверь весело смеются. Над чем же они смеялись? Над Месмеханум? Над Мамедагой? Или над этой ночью?

Может быть, их развеселило, как они оба внезапно проголодались, и сейчас они сквозь смех говорили: «Эй, Месмеханум, Мамедага, вы — дети земли, вы испытываете голод, так потрудитесь спуститься с седьмого неба на землю!»

Мамедага, перемахнув через стойку тира, открыл дверцу маленькой тумбочки, над которой стоял радиоприемник «Араз», и вытащил завернутые в газету хлеб, сыр, виноград.

Глядя на склонившегося перед маленькой тумбочкой Мамедагу, Месмеханум подумала, что всю эту ночь до утра она бы раскатывала тесто и готовила бы для этого парня дюшбере и кутабы, а этот парень, с удовольствием поедая ее дюшбере и кутабы, считал бы себя самым счастливым человеком на свете! Давно, уже очень давно Месмеханум не мечтала о том, чтобы приготовить что-нибудь для кого-нибудь, давно уже ей было безразлично, что ест она сама, но иногда по ночам, перед тем как заснуть, в ее волшебном сказочном мире совершенно другая девушка по имени Месмеханум из мяса молочного барашка, только что зарезанного мясником Мирзой, готовила для кого-то плов с говурмой, каштанами и альбухарой, поджаривала из верблюжьего мяса кутабы с гранатами, варила халву с кунжутом...

Мамедага поставил все, что было, на стойку, перенес на противоположную сторону стойки деревянный табурет с лоскутной подушечкой и сказал:

— Садись. Есть такая поговорка: «Кто отдает все, что есть, тому не стыдно».

— Я знаю другую: «Незваный гость ест из своего мешка».

— А ты разве гость? — Мамедага совершенно искренне удивился, и он был прав: разве Месмеханум — гость в этом фургоне?

Мамедага, развернув газету, аккуратно расстелил ее на стойке, разложил виноград, сыр, хотел разрезать хлеб пополам, и тут обнаружилось, что тонкий тендырный хлеб, весь день пролежавший в тумбочке, засох.

— Твердым стал хлеб.

— Ничего.

— Хочешь, подогреем?

— Да, подогреем! — У Месмеханум тотчас заблестели глаза.— Пусть появится аромат хлеба!..

Раньше, отправляясь в путь, Мамедага брал с собой

маленькую электрическую плитку, от аккумулятора он сделал внутри фургона проводку и иногда заваривал себе чай или жарил яичницу. Но однажды он с этим покончил раз и навсегда, потому что решил: тир — не кухня, в тире не должно пахнуть плиткой, маслом, чаем. Правда, аромат хорошо заваренного чая порою очень приятен, особенно безлюдной ночью в каком-нибудь апшеронском селе, в этом аромате были уют и теплота, но что делать, тир — не дом, тир — это тир.

— Ты посиди, а я на берегу разожгу костер, подогрею хлеб и принесу.

— Да, разведи костер! Пусть смешается аромат хлеба с запахом костра! Я пойду с тобой, зачем мне сидеть здесь.

— Ладно, пошли,— Мамедага улыбнулся.

— Знаешь, хорошо разводить костер, слушать его треск, глядеть в его пламя, играть со своей тенью... Он и в море отразится, и там, в воде, запылает... Только потом грустно заливать угли водой, правда?

— Да, это верно...— Мамедага вспомнил, что в детстве, разведя костер прямо перед Узким тупиком, они прыгали через него и тоже считали, что на свете нет ничего лучше, но им тоже было не по себе, когда после приходилось заливать водой угли, которые шипят как живые.

— Ты Янаргай знаешь? — спросила Месмеханум с новым блеском в глазах.

— Янаргай? Нет...

— Даже не слыхал?

— Нет.

— Пошли! — И в мгновение ока Месмеханум отобрала у Мамедаги приготовленный им сверток с виноградом, сыром, хлебом.

— Куда?

Месмеханум сунула под мышку сверток и сказала:

— Иди за мной.

И Мамедага понял, что девушка, останавливающая ветер, и на этот раз зовет его не в простое место, потому что — и это само собой разумеется — эта девушка сама была не простым человеком, как и эта ночь была не простой ночью, и вообще этой ночью все в мире было не простым; Мамедага пошел за Месмеханум, но она внезапно остановилась в дверях фургона, обернулась и, глядя на деревянного зайца, сказала:

— В него стрелять нельзя.

— Почему? — Мамедага тоже посмотрел на деревянного зайца.

— Такой красивый смешной зайчик... Зачем же в него пулей?..

— А его пуля не берет! К тому же, если выстрелить хорошо, из него другой заяц вылезает.

— Ну да! — Месмеханум, недоверчиво улыбнувшись, смотрела то на Мамедагу, то на зайца.

— Хочешь, выстрели и посмотри.

— Я? Я в жизни не стреляла...

— Не стреляла, а теперь выстрелишь. Иди сюда.

Месмеханум положила сверток на табуретку, а Мамедага взял с маленького четырехугольного столика перед стойкой одну из разложенных там винтовок; он одинаково следил за всеми винтовками, и все они — старые и новые — были в полном порядке. Засунув в ствол железную пулю с щеточкой, Мамедага объяснил:

— Видишь красную точку? Целься в нее.

— Я не умею целиться...

— А сейчас ты отлично выстрелишь.

Месмеханум взяла винтовку; прищурив один глаз, посмотрела на деревянного зайца, и заяц начал плясать под ее взглядом туда-сюда...

— Нет, не могу...

Левой рукой ухватив приклад ружья, Мамедага правую протянул вперед поверх ее плеча, положил палец на ее палец на курке и, прижавшись щекой к волосам Месмеханум, прицелился. От черных волос Месмеханум шел удивительный запах. Руками и грудью Мамедага ощущал спину девушки, ее плечи, шею; в этом ощущении было что-то такое, будто он своими руками, своей грудью хотел прикрыть обнаженные руки девушки, ее плечи, как будто ее надо было защищать от кого-то и как будто Мамедага хотел принять на себя удары, готовые обрушиться на кажущееся таким беспомощным, таким беззащитным тело. Сейчас ему казалось, что это тело, это существо в его сильных руках — тело ребенка, существо ребенка, но его правое запястье коснулось груди девушки, Мамедага ощутил округлость, твердость этой груди и вместе с пальцем Месмеханум нажал на курок.

Увидев, как деревянный заяц упал направо, а появившийся из-за него второй заяц упал налево, Месмеханум обрадованно закричала:

— Ура-а! — и, обернувшись, посмотрела снизу вверх в эти голубые глаза. Она впервые видела их так близко, дыхание этого парня опалило ей лицо, и девушка захотела поцеловать его — захотела и поцеловала, вот такая была Месмеханум...

...Чтобы не скучать одной в квартире, Бикебаджи иногда сдавала комнату, чаще всего молодым девушкам, приезжавшим в Загульбу работать. Но девушки снимали комнату на один-два месяца, а потом убегали обратно в Баку или получали от государства квартиру. Когда Месмеханум училась в девятом классе, у Бикебаджи на квартире жила девушка по имени Гюльзар,— она окончила в Баку библиотечный техникум и получила назначение в загульбинскую библиотеку.

Однажды в полночь Месмеханум мыла на кухне посуду. Все давно спали, только окно Месмеханум светилось. В этот день Месмеханум, посмотрев двухсерийный арабский фильм, вернулась поздно. Фильм произвел такое впечатление, что и после возвращения домой Месмеханум долго не могла прийти в себя. Это была история из жизни летчика Ахмеда. У Ахмеда была красивая возлюбленная — Хабиба. Уже была назначена их свадьба и приглашены гости. Однако врач Махмуд, который тоже любил Хабибу, в день свадьбы вывел из строя какие-то приборы в самолете Ахмеда и Ахмед потерпел аварию. Часть лица у него обгорела; Ахмед попал в больницу, но Хабибе ничего не сообщил: он не хотел показаться ей с таким уродливым лицом! Хабиба же думала, что Ахмед изменил ей, бросил ее. Доктор Махмуд пытается силой овладеть ею, но Хабиба выбегает на улицу, бегает по городу, чуть не сходит с ума, попадает в руки воров и картежников... Вдруг Хабиба приходит в себя. Она узнает подробности аварии, происшедшей с Ахмедом, и на дальнем курорте разыскивает укрывшегося от всех героя. После долгой разлуки они обнимают друг друга и целуются. Доктор Махмуд раскаивается в своих поступках и плачет горькими слезами. Он лечит Ахмеда, и летчик становится красивым, как прежде. Ахмед и Хабиба играют свадьбу, они счастливы. Доктор Махмуд в финале фильма плачет от радости.

Моя грязные тарелки, Месмеханум продолжала думать об Ахмеде и Хабибе со слезами на глазах. Все влюбленные должны любить друг друга, как Ахмед и Хабиба, думала Месмеханум, и тогда доктора махмуды

обязательно раскаются. Внезапно Месмеханум что-то показалось и, высунувшись из окна, она увидела, как у подъезда целуются парень с девушкой. Это была Гюльзар.

Месмеханум впервые в жизни видела, как парень и девушка обнимаются и целуются не в шутку, а всерьез, не подозревая, что кто-нибудь их увидит в этот поздний час.

Каждую ночь Гюльзар целовалась с этим парнем, прислонившись к косяку двери, и каждую ночь Месмеханум, спрятавшись перед окном кухни, поджидала их. Месмеханум не знала этого парня, он, видимо, тоже был приезжий. Она слышала его мягкий голос, идущий, казалось, прямо из сердца; Месмеханум не разбирала слов, но видела, что сначала парень что-то ласково говорит Гюльзар, а потом они целуются. Гюльзар первой целовала парня, она не ждала, когда он кончит говорить, прерывала его на полуслове. Напоследок Гюльзар целовала его, крепко прижимая к своей груди, после чего поднималась домой, а парень еще некоторое время стоял во дворе и смотрел на окно Бикебаджи.

Месмеханум каждую ночь подглядывала за ними, а потом, засыпая, слушала, как уже ей самой какой-то парень говорил тем же мягким голосом, идущим прямо из сердца, какие-то ласковые слова. И опять Месмеханум не понимала значения этих слов, но все равно они теплом разливались по всему ее телу — и она засыпала.

Но однажды ночью Месмеханум напрасно ждала их, сидя перед своим кухонным окном. Они не пришли, чтобы, как всегда, прислониться к двери. В следующую ночь Месмеханум увидела этого парня — он одиноко стоял у входа во двор и смотрел на окно Бикебаджи. На третью ночь парень не пришел, и в четвертую ночь дверь никому не понадобилась. Месмеханум решила было, что теперь эта дверь обречена навеки стоять всю ночь без влюбленных, но на пятую Месмеханум вновь услышала знакомые голоса и тайком из кухонного окна посмотрела вниз: в темноте она тотчас узнала Гюльзар, но сразу же поняла, что парень, с которым в этот раз обнималась и целовалась Гюльзар,— это уже другой парень.

Правда, Гюльзар и этого парня целовала, как того, но у Месмеханум вдруг сжалось сердце, и она ушла от окна и села на свою кровать, уставившись глазами в пол:

в мире существовала неверность! Слезы упали к ее ногам, и Месмеханум больше никогда не ждала Гюльзар, стоя у окна.

Дни прошли, и месяцы пролетели, но известно, что каждой девушке предназначен свой парень, и на долю Месмеханум выпал Мирзоппа. А потом снова прошли годы, и Месмеханум теперь уже не могла бы припомнить, когда она последний раз целовала Мирзоппу и когда Мирзоппа в последний раз целовал ее, и этого она не могла вспомнить. Водка отбила у Мирзоппы всякую охоту до любви, но, скрывая свою слабость, Мирзоппа упрекал жену:

— Ты бесплодна! Не рожаешь! — и будто бы поэтому неделями не подходил к ней. Иногда, дыша алкоголем, он все же хватал Месмеханум, но тут уже не было речи ни о поцелуях, ни о ласках.

А детей по-прежнему не было, и однажды Месмеханум пошла к врачу, которого все хвалили. Месропян, осмотрев ее, попросил, чтобы и муж пришел на обследование. Вечером Месмеханум сказала Мирзоппе:

— Сходи завтра к Месропяну.

Мирзоппа подумал было, что Месропян этот из милиции, и, значит, опять его вызывают туда. Вытаращив покрасневшие от водки глаза, он спросил:

— Это какой Месропян?

— Доктора Месропяна знаешь?

— А какого черта мне делать у доктора?!

— Пусть посмотрит тебя — надо же узнать, почему у нас нет детей!..

Мирзоппа не поверил своим ушам:

— Что?! Я пойду, разденусь перед Месропяном и скажу ему: осмотри меня — где?! Свой стыд на меня валишь?

И в тот день у них в доме снова был скандал, но соседи уже привыкли к их семейной жизни.

...Месмеханум со свертком под мышкой вышла из фургона.

Все еще ощущая на своем подбородке прохладные, сухие, полные губы Месмеханум, Мамедага вышел из фургона вслед за девушкой.

Месмеханум, подняв руку, показала на скалы:

— Туда пойдем.

Месмеханум быстро шла по камням, ни разу не осту-

пившись, не споткнувшись, точно зная здесь каждую яму, каждую расщелину. Она спешила, как будто боялась наступления утра.

На Апшероне не было такой асфальтированной дороги, которую бы Мамедага не знал, но за много лет он впервые шел по камням. Он не ведал, куда они идут, но мысли его были заняты другим: Мамедага с трудом удерживался от того, чтобы, подобно юноше, у которого еще не наметились усы, не погладить рукой то место на подбородке, которого коснулись прохладные, сухие, полные губы Месмеханум.

Обернувшись назад, Месмеханум улыбнулась и сказала:

— Уже скоро, потерпи.

Впадины между камнями заполняла теплая вода, и все было покрыто мхом.

— Здесь скользко, иди осторожно...

— Не бойся...

Когда они снова, спустившись со скал, вышли на песок, море уже было далеко от них. А вокруг все было совершенно голо, все казалось серым в лунном свете, не было ни куста, ни деревца. Они прошли мимо совсем маленького озерца, но в эту удивительную летнюю ночь Большая Медведица и все прочие звезды апшеронского неба легко уместились на поверхности этого маленького озерца.

Остановившись, Месмеханум, словно опытный гид этих мест, сказала:

— Это Соленое озеро.

— Почему?

— Во время войны жители добывали здесь соль. Говорят, хорошую.

Казалось, будто от серебряного в лунном свете фургона они ушли не на какие-нибудь три-четыре километра, а на другой конец земли, и если кто и знал об этом месте, то это была Месмеханум. И вдруг родной Баку и их квартал показались Мамедаге такими далекими, что теперь он и представить не мог, как это всего через несколько часов он вернется к своей прежней жизни и, сидя дома, станет пить чай, приготовленный мамой, а выйдя к Узкому тупику, беседовать с парнями,— неужели обычное войдет в свои права, а эта удивительная летняя ночь и водившая его по побережью Месмеханум уйдут в мир бесплотных воспоминаний?

— Слышишь, как лягушки квакают? — спросила Месмеханум.

Лягушки квакали очень громко, и это наглое кваканье лягушек под тихий далекий гул моря заставило сердце Мамедаги сжаться в предчувствии одиночества. Схватив девушку за руку, он сказал:

— Месме...— и сам удивился своему голосу. Он удивился тому, что его голос прозвучал на берегу этого Соленого озера сквозь нестройное кваканье лягушек и далекое дыхание моря. Впрочем, самым удивительным было то, что девушку, беседующую с морем и останавливающую ветер, он назвал так просто: Месме...

Месмеханум отняла у него свою руку, приложила палец к губам и сказала:

— Тс-с-с...— И прошептала: — Здесь шуметь нельзя...

Конечно, на берегу Соленого озера можно было шуметь и даже петь можно было, только Месмеханум — и понять это было не так уж трудно — не хотела слушать того, что он скажет. Правда, сам Мамедага не знал, что он хотел сказать, он знал одно: он что-то скажет, и его голос рядом с этим лягушачьим кваканьем и шорохом далекого моря некоторое время будет звучать на берегу Соленого озера.

И Мамедага не понял, что Месмеханум сейчас боится, что слова, которые произнесет на берегу Соленого озера Мамедага, превратят эту удивительную летнюю ночь в ее полную противоположность и волшебный сказочный мир мгновенно уйдет.

Только сейчас, спускаясь со скал на серый песок, Месмеханум почувствовала, что до утра остается мало. Ночь заканчивается, а утром снова, надев белую бязевую куртку, она встанет за весы в помидорном киоске. Она вспомнила, что Мирзоппа сейчас спит в отделении милиции и его опять посадят минимум на пятнадцать суток, если только на этот раз милиционер Сафар не обозлился всерьез, а тогда и дело может стать серьезным.

И вдруг в тот момент, когда она подумала о Мирзоппе, ей показалось, что Мирзоппа — чужой, из чужого, далекого мира, он не имеет ничего общего с ее миром, и неправда, будто она столько лет прожила с Мирзоппой, будто все эти годы она была женой Мирзоппы, а он ее мужем и они клали головы на одну подушку. А пьянство Мирзоппы и его скандалы, всю его мужскую грубость

она увидела теперь в свете этой удивительной летней ночи как нечто мелкое, ничтожное, бессмысленное и, главное, недостойное мужчины. Она сердцем поняла, что за одну эту ночь перестала быть прежней Месмеханум, хотя имя ее не изменилось, как и лицо, и фигура, и это было хорошо, потому что и лицо, и имя, и фигура, как ни странно, больше соответствовали этой новой Месмеханум, чем прежней. Когда Мамедага взял ее за руку и назвал просто Месме... Месмеханум охватил страх, что весь ее новый и только что родившийся и хрупкий мир, которым она втайне наслаждалась, рассыплется в прах, обернется чужим и далеким миром,— а зачем, ведь утро еще не наступало, еще оставалось какое-то время до беспощадного утра.

И Месмеханум прошептала:

— Ты устал?

И Мамедага ответил ей шепотом:

— Нет...

— Иди, уже скоро...

После Соленого озера, увязая по щиколотку в песке, они преодолели подъем и снова взобрались на скалы. Это были те же самые скалы, но с другой судьбой. Те скалы, что остались позади, на морском берегу, мечтали, превратившись в легкие лодки, уплыть в море, лизавшее им ноги. Но эти скалы никогда не смогут уплыть в море, которое так далеко отступило от них. Эти скалы останутся на своем месте до тех пор, пока они — скалы, пока ветер и дождь не обратит их в пыль, в ничто. А когда-то, наверное, и здесь тоже плескалось море, и они тоже могли мечтать о том, чтобы, превратившись в легкие лодки, куда-нибудь уплыть.

Мамедага знал, что Каспий мелеет. Алхасбек из их квартала, сидя на деревянном табурете и глядя в газеты сквозь толстые стекла очков, говорил, что ученые сейчас занимаются этим вопросом. Каспий мелел, а это означало, что через тысячу лет море так далеко уйдет от нижних скал, что они тоже не смогут никуда уплыть. Но все это если и будет, то через тысячу лет, а тысяча лет дышит на человека вечностью, в сравнении с которой человеческая жизнь совершенно ничтожна. Так подумал Мамедага и испугался: а вдруг и Месмеханум сейчас почувствует ничтожность нашей жизни и ее хрупкое сердце не выдержит испытания бездной?

Его туфли были полны песка. Прислонившись к ска-

ле, он снял их и вытряхнул. Месмеханум, обернувшись, рассмеялась:

— Уже совсем скоро, потерпи...

Сама Месмеханум, пользуясь тем, что в этом месте камни лежат на близком расстоянии друг от друга, перескакивала, как горная козочка, с одного камня на другой, убегая вперед.

И вдруг Мамедаге показалось, будто прямо перед ними, у подножия песчаного холма, восходит солнце,— словно не на всем Апшероне, а только здесь, у подножия этого песчаного холма.

И Месмеханум сказала:

— Пришли.

Мамедага сразу заметил большую монолитную скалу, испещренную будто бы норами ящериц, однако из них струились язычки синеватого пламени, как если бы в скале провели газовые трубы и спичкой зажгли все эти «конфорки», и этот свет показался Мамедаге светом восходящего солнца. Глядя на огромную Монолитную скалу, горевшую множеством синеватых язычков, Мамедага снова почувствовал себя не в четырех-пяти километрах от фургона с привычной надписью «Пневматический тир», а в каком-то неправдоподобном мире, и хозяйка этого полного чудес мира — Месмеханум, в синеватом свете Янаргая задумавшаяся о чем-то Месмеханум.

Но Мамедага некстати вспомнил, что на плече хозяйки этого волшебного мира синяк, что подбородок ему холодит прикосновение ее нежных, сухих, полных губ, и ему показалось, будто он в самолете, а самолет падает, и сердце Мамедаги хочет вырваться из груди.

— Ты слышишь эти звуки? — спросила Месмеханум.

Мамедага услышал странные звуки, как только увидел «солнце» у подножия песчаного холма.

— А знаешь, что это такое?

— Нет...

— Летучая мышь. Пугается света Янаргая и поднимает крик...

Некоторое время они помолчали, стоя перед Янаргаем,— неизвестно, что видела Месмеханум, а Мамедага видел теперь только Месмеханум.

— За всю жизнь не привыкла к Янаргаю?

— К Янаргаю нельзя привыкнуть...

Опять помолчали.

Мамедага спросил:

— Ты часто сюда приходишь?

Месмеханум ответила:

— Иногда.

Мамедага спросил:

— Одна?

Месмеханум обернулась удивленная, и Мамедага поразился своему идиотскому вопросу: конечно же Месмеханум приходила сюда одна, это был ее мир, и никого не было у Месмеханум, с кем бы она могла прийти сюда,— и в этот свой одинокий мир она ввела его.

— Уедем в Баку!

Эти слова прозвучали так, будто их произнес не Мамедага, а скала Янаргай, их повторили тут же со всех сторон, и все, что было вокруг, заговорило: уезжай, Месмеханум, уезжай, нечего тебе здесь делать одной!

Но Месмеханум молча смотрела на Мамедагу.

— Ты слышишь меня? Поедем со мной в Баку!

Голос Мамедаги прозвучал теперь слишком громко для этих мест. Месмеханум отвернулась и, глядя в огни Янаргая, резко ответила:

— Из меня Тамиллы не выйдет...

Летучие мыши, услыхав человеческие голоса, зашумели и закричали сильнее, но Мамедага слышал в их галденье тревожный стук — стук своего сердца. Он растерялся.

Иногда человек не знает, что надо сказать и что сделать, потому что ему кажется, что любое его слово и движение — лишние, да и сам он лишний на этом свете, ненужное и бесполезное существо; и тогда человек становится сам себе противен,— так чувствовал себя сейчас Мамедага, стоя перед Янаргаем и не понимая, зачем он вообще родился на этот свет.

А Месмеханум рассмеялась:

— И ты тоже немного бебе... Иди сюда, сядь на этот камень, а я разогрею хлеб! Увидишь, какой будет аромат!.. Садись.

На маленьком камне Месмеханум развернула газету, аккуратно разложив на ней сыр и виноград, а хлеб положила на край поближе к Янаргаю, и в эту странную летнюю ночь вокруг Янаргая разнесся аромат подогреваемого на огне хлеба. И этот распространившийся вокруг них запах хлеба изменил настроение Мамедаги. Он посмотрел на Месмеханум, присевшую на корточки около Янаргая и переворачивающую на огне тендырный чурек,

взглянул в бесчисленные огненные глаза Янаргая, поднял лицо к небу Апшерона, где светло сияли луна и звезды, и подумал, что мир велик и прекрасен, и почему бы человеку не радоваться этому прекрасному миру, почему не быть всегда в отличном расположении духа? А если в мире есть еще и девушка по имени Месмеханум, чьи прохладные сухие и полные губы касаются твоего подбородка, тогда почему бы не считать себя первым счастливцем на земле? И если ты честный человек, который никому не изменил, а в руках у тебя сила и ты крепко стоишь на земле, то все у тебя в жизни должно быть просто и ясно и все, чего ты желаешь, должно исполниться,— почему бы и нет?

И Мамедага взглядом нашел едва различимую среди всех звезд звезду Месмеханум, и Месмеханум, перекидывая с руки на руку нагретый Янаргаем хлеб, тоже посмотрела на свою звезду. Мамедага спросил:

— Твоя звезда ничего не говорит тебе?

— Говорит.

В синеватом свете Янаргая голубые глаза Мамедаги казались еще больше, и Месмеханум сказала:

— Сказать тебе, о чем она говорит?

— Да, скажи.

— Она говорит: Месмеханум, в эту ночь на тебя упала тень царственной птицы, пролетевшей над твоей головой...

...Сколько раз аромат поджаренного хлеба разносился во все стороны от Янаргая, свидетелем скольких таких ночей был Янаргай — этого не знали и не могли знать ни Мамедага, ни Месмеханум. А может быть, не только хлеб жарили здесь,— могло быть и так, что тысячу лет назад, в то время, когда здесь было море, а человек еще был рабом, а не победителем природы, он жарил на огнях этой скалы мясо, добытое на охоте.

...Понемногу светало. Отсюда, конечно, не увидеть, как солнце поднимается из моря, но, когда оно поднимется, его лучи рассеют тьму и вокруг Янаргая, и всюду.

Сидя на обломке скалы, Месмеханум всматривалась в загоревшее и даже почерневшее на дорогах Апшерона лицо Мамедаги, жующего теплый хлеб с сыром и виноградом, как будто старалась запомнить навсегда черты его лица, его улыбку, выражение глаз. Янаргай — это не костер, в эту странную летнюю ночь она разожгла этот костер для Мамедаги. Ей казалось, что и хлеб она сама

замесила и испекла, и виноград сама вырастила и собрала, и сыр сама заквасила, и все это она сделала для того, чтобы в один прекрасный день голубоглазый парень, присев на этот камень, со вкусом поел этот виноград, сыр и хлеб — а вернее, в ту ночь, когда царственная птица, пролетев, накрыла Месмеханум своей тенью. Жаль только, что век тени очень короток. Сейчас в свете Янаргая на песок падали тени Месмеханум и Мамедаги, но скоро наступит утро, и тень царственной птицы исчезнет, как и обе их тени. Печаль проникла в самую глубину ее сердца, куда не доходил аромат подогретого на Янаргае хлеба, и жаль, что печаль пришла тогда, когда еще оставалось немного времени до наступления утра. И еще хуже было то, что Месмеханум хорошо знала: если печаль пропитана вот таким запахом горячего хлеба, перенести ее будет особенно трудно.

Месмеханум представила, как сейчас на морском берегу Загульбы стоит алюминиевый фургон, и все еще серебрится в рассветных сумерках, и чувствует себя таким одиноким на пустынном берегу, и не понимает, что на свете есть девушка по имени Месмеханум, а у этой Месмеханум есть на небе звезда, и эта звезда смотрит с неба на этот фургон и отныне будет всегда смотреть на него — и ночью, и днем, всегда и везде, где бы ни оказался этот алюминиевый фургон.

От огней Янаргая было жарко, у Мамедаги на лбу и на носу выступили капельки пота.

— Жарко тебе? — спросила Месмеханум.

— Да, немного.

— Хорошо бы сейчас дождь пошел, правда? Хочешь, я вызову дождь?

— Нет.

— Испугался, что не смогу? — Месмеханум резко рассмеялась, и этот смех бросил тень на ее и без того черные глаза, но эта тень уже не была тенью царственной птицы.— Не веришь...

...Чайчи Газанфар, как обычно придя в чайхану рано утром, разжег огонь в большом самоваре и теперь, усевшись по-турецки на паласе, постеленном на деревянном полу, колол топориком головку сахара. Изредка поднимая голову, он посматривал на асфальтовое шоссе, ведущее в Баку, и когда увидел на этой дороге алюминиевый

фургон-тир, сверкавший в солнечном свете, то с удовлетворением подумал, что сегодня все его постоянные клиенты вернутся к нему.

...Старший сын тетушки Ханум, Абульфаз, работал садовником в Бина, там же был и его дом. И тетушка Ханум, нарвав в своем дворе в Бузовнах инжира, винограда, гранат и айвы, везет все это в Бина. Абульфаз говорил ей: «Зачем ты, ай арвад, везла такую тяжесть? Видишь, сколько у меня инжира-винограда?» А Ханум-гары отвечала: «Эти плоды с деревьев, посаженных твоим отцом и дедом. Вкус их должен быть особым для тебя. И для тебя, и для твоих детей».

Ханум-гары отправлялась в Бина рано утром, чтобы застать сына дома. Стоя в Бузовнах у шоссе, она дожидалась автобуса, едущего в Баку. Известно, что на апшеронских дорогах водители проявляют уважение к старым людям, и маршрутные автобусы останавливались перед Ханум-гары, она садилась, а потом просила остановить так, чтобы выйти, где надо. Когда на этот раз рядом с ней остановилась большая машина, старуха удивилась:

— А-а-а... Это что за машина? Холодильник?

Но это был не рефрижератор, это был алюминиевый фургон Мамедаги, и на бортах его разноцветные буквы складывались в слова «Пневматический тир».

Открыв дверцу кабинки, Мамедага сказал:

— Это не холодильник, ай хала, а куда тебе надо?

— Я еду в Бина. Показалось, что автобус, вот и махнула рукой.

— Садись.

Все-таки Ханум-гары сначала внимательно оглядела фургон, потом, видимо, решила, что в такой большой машине можно ехать спокойно, и, подняв плетеную корзинку, полную инжира, попыталась взобраться в кабину, но ступенька была слишком высока для нее, и попытка Ханум-гары оказалась безуспешной. Тогда Мамедага, спустившись на дорогу, помог ей. Когда фургон тронулся в путь, Ханум-гары, втягивая щеки и приводя в порядок искусственные зубы во рту, сказала:

— Молодость моя прошла в этих местах, как ястреб, отсюда влетела, оттуда вылетела. А теперь в божью машину сесть не могу... Правильно сказано, валлахи,

что, хотя все смотрят на время, время ни на кого не смотрит.

В переднем зеркале Мамедага разглядывал выцветшие маленькие глаза этой старухи, ее сморщенное лицо, выбивающиеся из-под черного келагая и красные от хны седые волосы — и вдруг подумал, что, может быть, было время, когда и эта старуха беседовала с морем и, может быть, тоже разогревала для кого-то хлеб на Янаргае? Мамедага подумал об этом с болью в сердце: годы пролетят, как птицы, и эта удивительная летняя ночь на пустынном берегу Загульбы станет засохшим, как цветок, воспоминанием.

Но неужели все действительно так и будет?!

Сын Самедуллы Фазиль учился в университете на физическом факультете. Раньше большинство детей в квартале, где жил Мамедага, мечтали стать шоферами и, вырастая, осуществляли свою мечту. Помимо шоферов в моде были специальности зубного техника и сапожника. Но теперь времена изменились, квартальские ребята, окончив школы, поступали в институт и становились кто врачом, кто инженером, а сын продавца бензина Мейрангулу — Алигулу стал поэтом и писал стихи, как Маяковский, «лестницей»... Алхасбек, поставив деревянный табурет на тротуар возле своего дома, садился и, нацепив очки с толстыми стеклами, читал в газетах стихи Алигулу и приговаривал: «Молодец! Берикаллах!»

Так вот, Фазиль этим летом закончил третий курс и говорил иногда такие странные вещи, что ни у кого в квартале не оставалось сомнений в том, что Фазиль в будущем станет великим ученым. Фазиль рассказывал: на ровном месте перед куском железа устраивают разные преграды, вроде лабиринта, а за ним устанавливают магнит, и кусок железа начинает двигаться к магниту, но, задевая преграды, останавливается: и так повторяется и раз, и два раза, и три, и четыре, но на пятый кусок железа, как бы прозрев, находит путь между преградами и добирается до магнита.

Мамедага вспомнил этот разговор с Фазилем и подумал, что кусок железа — это всего лишь кусок железа, но и он находит путь к своему магниту. Подумав так, он прибавил газу и пожелал, чтобы в ближайшие дни в Загульбе дула только моряна.

А Ханум-гары все еще ворчала по поводу своего воз-

раста, глядя на убегающую под колеса асфальтированную дорогу, и вдруг подумала, что эта машина идет мягче автобуса.

...В овощной ларек с утра завезли свежие помидоры, и перед ним собралось много народу. Надевшая белую бязевую куртку продавщица набирала помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы, высыпала овощи в сумки покупателей.

Милиционер Сафар, медленными шагами приблизившись к киоску, посмотрел на поставленные друг на друга помидорные ящики и подумал, что в этом году отличный урожай овощей и фруктов. Милиционер Сафар подумал и о том, что никакие помидоры на свете не сравнятся с апшеронскими, что бы ни говорили, даже помидоры из его родных мест.

Милиционер Сафар по обыкновению начистил свои форменные металлические пуговицы зубным порошком, и теперь на кителе и на фуражке пуговицы сверкали, посылая лучи во все стороны.

Милиционер Сафар подошел к весам и, протянув руку, взял из ящика помидор, оглядел его со всех сторон и, как бы разговаривая с самим собою, тихо сказал:

— Жаль мне тебя, и я не стал оформлять рапорт... Минимум два года получил бы. Но пятнадцать суток опять просидит...

— И очень напрасно. Не делай мне одолжений.

Милиционер Сафар, снова повертев помидор в разные стороны, сказал:

— Не считай это одолжением.— И, немного смущаясь, добавил: — Пока молодая, подумай о себе, потом будет поздно... Не человек он... Нет!

«Собака он, собака!» — но эти слова милиционер Сафар произнес не вслух, а про себя. И, положив наконец помидор обратно в ящик, пошел от овощного ларька.

Продавщица, накладывая помидоры в пластмассовую миску, ставила ее на весы.

Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой царственной птицы упала на девушку в белой бязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры.

СМОКОВНИЦА

1

«Так-так... Ну, смелее! Вот это да! Вах! Девчонка-то ведь еще школьница! Ах, чтоб тебе! Да и парень вроде еще ребенок! Ничего себе ребенок! Когда же они целоваться-то научились? Ай, молодцы!»

Длинный гудок электрички прервал на некоторое время мысленные возгласы Зубейды; под гудок электрички Агагюль первый раз в жизни поцеловал девушку, и под этот самый гудок Ниса, прислонив свой портфель к толстому стволу смоковницы, тоже впервые в жизни поцеловала парня.

И с этого началась вся история.

Гудок электрички оборвался, и Зубейда, спрятавшаяся от луны в тени гранатовых деревьев и наблюдавшая, как целуются Ниса с Агагюлем, снова прошептала про себя: «Ай, молодцы. Вах! Ну, а дальше что будете делать?!» И как раз в этот момент Ниса, очнувшись после первого в своей жизни поцелуя, внезапно увидела в просвете между гранатовыми ветвями знакомое одутловатое лицо и большие черные глаза, смотрящие на них с любопытством, удивлением и отчасти даже завистью.

— Ой, Зубейда!

И столько ужаса было в этом выдохе Нисы, что, казалось, вздрогнули застывшие в духоте знойного летнего вечера инжировые и гранатовые деревья, айва, миндаль, маслины, а также виноградные лозы, карабкавшиеся на привокзальный каменный забор, и даже огромное тутовое дерево, у которого не шевелился ни один листик. Да, столько ужаса было в голосе девушки, что Зубейда, совсем не чувствовавшая себя виноватой, пришла в ярость и, отведя в сторону ветви гранатовых деревьев, вышла на свет.

— Да, Зубейда, ну и что, детка? Ведьму, что ли, твои глаза увидели? Или чего?!

У Нисы руки-ноги похолодели, у Агагюля пальцы в кулаки сжались, губы задрожали.

— Раз ты ведьмы так боишься, почему же ты, родная моя, тут в темноте прячешься, почему не идешь по прямой светлой дороге, где честные люди ходят? А?

И тут Агагюль, скривив губы от злости, сказал:

— А если ты честный человек, что ты тут делаешь?

Зубейда оскорбилась:

— Вах! Вот, значит, как! Значит, я, выходит, нечестная! Ну и ну! Не выйдет, милый, не выйдет! Они тут, в темноте... под деревом... ночью...— Зубейда задыхалась, подыскивая слова.— Темной ночью... Что вытворяют! Тоже мне, Лейла и Меджнун! — Зубейда осталась недовольна таким сравнением и сразу поправилась: — Э, да что там Меджнун со всеми своими родственниками, а тем более — Лейла! Они в привокзальный сад не придут!

У Нисы по лицу слезы градом катились, между всхлипываниями она еле проговорила:

— Никому не рассказывай. Никому не рассказывай, мы нехорошо поступили, Зубейда... тетя Зубейда...

Зубейда сначала будто не поняла, не услышала, а потом ушам своим не поверила, но девушка еще раз повторила:

— Мы нехорошо поступили, тетя Зубейда, не говори никому в селе, опозоримся мы, тетя Зубейда...

И Зубейда, напрягшаяся, как сильно натянутая струна тара, вдруг сразу как-то обмякла, ее злоба куда-то исчезла, женщина явно смягчилась, а может быть, даже и растрогалась.

Дело было в том, что односельчане — и дети и взрослые — называли Зубейду просто Зубейдой...

— Объясни уж ты ему, дочка,— сказала тихо Зубейда,— а то начал тут: честный человек, нечестный человек, то да се...

Ниса больше ничего не сказала, наклонилась, взяла свой портфель и, все еще всхлипывая, прошла мимо Зубейды. Чуть помедлив, Агагюль двинулся следом за девушкой, при этом он посмотрел на Зубейду взглядом, в котором смешались ненависть и брезгливость; под этим взглядом Зубейда стала прежней Зубейдой, мигом взлетела она на своего бешеного коня и прошипела в спину Агагюлю:

— Ах, чтоб ты провалился, недоносок! Посмотришь еще у меня! — Тут у нее вылетело из памяти сказанное Нисой волшебное слово.— Это вам даром не пройдет!

2

Почтальон Наджафгулу показывал то место в газете, где было написано, что после войны тридцать лет на Апшероне не было такой жары. Конечно, Зубейда хорошо

знала, что не всему написанному можно верить, но она и в самом деле не помнила такой жары в этих местах, даже до войны — чтоб было так жарко — что-то не могла припомнить. Все это было очень похоже на то злосчастное лето, когда Зубейда села на пароход и, переплыв Каспийское море, попала в конце концов в самое пекло — в Ашхабад; она ездила купить там по дешевке каракуль, чтобы продать его потом в Баку (шапочник Алигусейн надоумил, чтоб он в гробу перевернулся, сукин сын!), но не знала Зубейда, что следом за ней черный камень катится: когда продавала она привезенный из Баку нухинский крепдешин (а ведь не зря сказано: кто откусывает чересчур большой кусок, может подавиться), поймали ее на ашхабадском базаре, и, если бы не амнистия, она просидела бы в тюрьме не один год два месяца и четырнадцать дней, а полных шесть лет. В течение всего этого года, двух месяцев и четырнадцати дней не было такого часа, чтобы Зубейда не проклинала покойного отца шапочника Алигусейна и не зарекалась спекулировать по-крупному. С тех пор что за дела у Зубейды — так, всякая мелочь, но и эта мелочь — будь она проклята! Вот сегодня сколько на базаре проторчала — от полуденного зноя до самого вечера, а продала всего три веника. Эти несчастные веники Абдулла-киши вязал от безделья, а Зубейда покупала их у него задешево и носила на базар продавать. Да и вчера не лучше было, и сегодня как вчера, и, задевая корзиной, полной веников, ветви гранатовых деревьев, Зубейда наконец выбралась из чащи и ступила на тропинку: «Нет, вы только посмотрите на него: едва из яйца вылупился, а туда же — целоваться, да еще огрызается, на человека смотрит, будто гюрза перед ним,— ужалила я тебя, что ли? Я в чем виновата? Отец твой с утра до вечера автобус водит отсюда в Баку, из Баку — обратно, покупает-набирает, тащит все домой, мать твоя ест и жиреет, а ты, достойный сын достойных родителей, заморочил девчонке голову, а потом еще на людей бросаешься... Я-то тут при чем? Проклятье! Только этого еще не хватало!» Зубейда издали заметила идущего ей навстречу высокого человека и сразу узнала милиционера Сафара, так что проклятье прозвучало по его адресу, и вот, чтобы милиционер Сафар, увидев ее корзину, полную веников, снова не пристал к ней, как смола, Зубейда свернула на тропинку, огибающую вокзал, и, пройдя мимо закрытого сейчас

овощного ларька Месмеханум, направилась к своему дому. Дорога ее сильно удлинилась, и это никак не могло обрадовать Зубейду.

Зубейда решила, что милиционер Сафар ее не приметил, но у милиционера Сафара глаза были зоркие, он узнал ее и увидел, что она с корзиной, поэтому он совсем не удивился, когда женщина поспешила перейти на другую тропинку. «Шайтан ее забери, горбатого могила исправит». Это суждение по поводу тунеядки Зубейды в последнее время утвердилось в голове милиционера Сафара, после того как он отчаялся, то есть исчерпал все доводы, призывая Зубейду к общественно полезному труду.

Конечно, Зубейда не знала, что милиционер Сафар, помянув в эту минуту шайтана, счел ее горбатой, которую может исправить только могила (если бы она знала, то снова под каким-нибудь предлогом поцапалась бы с женой милиционера Сафара Зубейдой,— у этого мямли, сына мямли, жену тоже звали Зубейдой,— в общей бане затеяла бы такой скандал с воплями и рукоприкладством, что женщины только с большим трудом растащили бы их!), но ей хватило и происшествия в привокзальном саду, она уже и так была раздражена, и раздражение ее не уменьшалось после того, как она пришла к себе домой.

Вот такие дела.

Да и кто такой этот милиционер Сафар, чтобы из-за него делать такой крюк? Вот уж кто горемыка-то, сын горемыки, шесть взрослых дочерей, и все шесть дома, на шее у него сидят,— как только жилы не лопаются, а когда шапку снимает, на плешивого соловья похож — ни одного волоска на голове, ну, да ладно, хватит, есть у него жена-стерва, пусть она и думает о своем муже.

Правда, однажды, прямо вот этой весной, перед новрузом, милиционер Сафар подошел к ней на базаре и сказал такие немногие слова, что уже три месяца, как они частенько ей вспоминаются, а все слова, которые милиционер Сафар говорил ей по меньшей мере уже тридцать лет,— совершенное ничто перед этими немногими словами.

В тот день Зубейда взяла у своей старой подруги шафран-сарыкек, джире, зенджефил[1], разные порошки

---

[1] Восточные пряности.

для окраски яиц и подалась на базар; заметив милиционера Сафара, собрала свои вещички, пошла на другой конец базара, но через малое время милиционер Сафар опять оказался тут как тут, подошел совсем близко к Зубейде, и Зубейда подумала, что милиционер Сафар снова, как и несколько лет назад, отведет ее в отделение милиции, но милиционер Сафар не повел ее в отделение, он посмотрел на ярко-красные, выкрашенные хной волосы женщины, на морщины вокруг черных, в молодости удивительно красивых, а теперь уменьшившихся, слезящихся глаз, посмотрел на ее отечное лицо, рыхлый подбородок — вот что делает с людьми время (как ни странно, под этим взглядом и Зубейда тоже вдруг вспомнила свою молодость).

— Ты сожгла себя под тем казаном, в котором ничего не варится...

Произнес милиционер Сафар эти слова и ушел.

В тот день Зубейда сильно расстроилась. Пожалуй, больше, чем в этот.

Пропади они все пропадом — и этот несчастный, и его жена, и Абдулла-киши со своими вениками, и эта противная Агабаджи, и ее сын Агагюль, недоносок из недоносков!

В общем, пришла она к себе домой.

Этот дом, этот двор, в который люди заходили только в том случае, если нужно что-нибудь купить, продать, найти, поменять, стоял на краю села рядом с невысокой скальной грядой, и от этих скал до моря было по песку всего метров сто пятьдесят — двести. И летом и зимой слушала Зубейда голос моря. Когда она уезжала в Баку или куда-нибудь еще, конечно, она скучала и по этому песку, и по этим скалам, и по лозам во дворе, и по своим абрикосовым, айвовым, гранатовым, инжировым деревьям скучала, но прежде всего, больше всего она скучала по голосу моря.

У Зубейды был каменный дом из двух комнат, кухня, рядом с кухней — баня и рядом с баней — уборная, стены которой до середины были облицованы изнутри чешским кафелем, во дворе у нее был маленький бассейн, а деревья вокруг стояли такие красивые да крепкие, и в таком порядке и чистоте содержала Зубейда свой двор, что по этому поводу ни у кого в селе, даже у первой ее врагини Агабаджи, слов хулы не находилось.

Зубейда поставила корзину с вениками под алычу

у ворот и, помянув недобрым словом Абдуллу-киши, подошла к колодцу. Вытащила ведро воды, зачерпнула ее ковшом и одним духом выпила. После этого горестно несколько раз плеснула себе в лицо и как будто немного успокоилась. Оставшейся в ведре водой, размахнувшись, окатила цементный пол веранды — чтобы стало прохладнее.

Здесь, возле колодца, комаров было побольше, и Зубейда, поставив ведро и шлепая себя мокрой ладонью по мясистым щекам и груди, поднялась на открытую с трех сторон веранду. Там, на краю, под марлевым пологом разложен был на паласе тоненький летний матрасик. Опустившись на него, Зубейда откинулась головой на мягкую мутаку [1], раскинула руки и, глубоко вздохнув, произнесла:

— Ох-хай!..

Голос моря скорее угадывался, чем слышался. Ветерка не ощущалось вовсе, и на море, наверно, не было ни рябинки. Раскалившийся за день цементный пол веранды подсох очень быстро, не дав никакой прохлады. Чуть слышно потрескивали от ночного зноя шишки на елях, высаженных вдоль забора,— будто костер во дворе горел; время от времени шишки падали на землю.

Высунув из-под полога руку, Зубейда оторвала ягоду от виноградной кисти, положила ее в рот, потом закинула руки за голову. Виноградина была теплая, без всякого вкуса и аромата. Вообще фрукты и овощи постепенно становились для Зубейды все безвкуснее, и Зубейда, искренне сожалея об этом, подумала: где теперь лук Гоусанов, дыня Джората, морковь из Зыря, черный виноград шаны Начанских садов в Нардаране, белый шаны из Новханов, янтарный инжир Бильгя?

Зубейда подумала об этом, ощутила во рту их забытый вкус и вдруг сама себе показалась очень старой и даже древней.

Зубейда и сама в точности не знала, сколько ей лет; в свое время она столько темнила со своим возрастом, так путала, что в конце концов и сама запуталась. Во всяком случае, ей было между пятьюдесятью шестью и пятьюдесятью восемью — не больше, но и не меньше.

Странно было, что Зубейда впервые серьезно задумалась о своем возрасте, то есть не о том, чтобы для

---

[1] М у т а к а — длинная, валиком, подушка.

чего-то уменьшить его, не о том, чтобы зачем-то его увеличить, а просто так, без всяких видимых причин.

В общем, как сказал ашуг или кто другой: день прошел, год прошел, молодым снова не стану я. Подумав и об этом, Зубейда вспомнила одну из историй Моллы Насреддина: говорят, однажды молла хотел сесть на коня; сунув ногу в стремя, раз поднатужился, два поднатужился, но так и не смог сесть на коня и сказал: «Эх, где ты, молодость? — Потом огляделся по сторонам, видит, никого нет, и добавил: — Впрочем, ты и в молодости никуда не годился!»

Ну, да ладно уж, пусть молла идет своей дорогой, и ашуг тоже, а мы, слава аллаху, лежим себе на месте и лежим, дайте отдохнуть, но... Вот ведь какое дело, когда Зубейда, к примеру, попала в ту ашхабадскую жару, Агагюля на этом свете даже не предполагалось, а теперь он так на человека смотрит, будто гюрзу увидел или удава какого.

3

Агагюль, сорвав с головы кепку-«аэродром», швырнул ее на старый диван и какие только есть слова, такие и произнес в душе насчет всех скверных людей на земле, и главным образом насчет Зубейды. Агабаджи, сидевшая на паласе и перекладывавшая с большого подноса в баллоны виноград для уксуса, подивилась мрачному виду своего сына, который вошел и даже не поздоровался. В последние дни Агагюль летал как на крыльях; что говорила ему, все делал, и делал быстро и старательно, и Агабаджи объяснила такую сговорчивость тем, что скоро сын пойдет в армию, причем далеко уедет, в Прибалтику, и поэтому перед двухлетней разлукой он и стал таким шелковым.

Конечно, Агабаджи не знала, что дело не только в этом, есть еще вторая причина, и вторая причина состояла в том, что каменное сердце Нисы, по которой он уже два года сходил с ума, наконец смягчилось, и она ответила на последнее письмо Агагюля, и вот уже девять дней каждый вечер они встречались тайком. Ниса говорила, как она вообще понимает жизнь, людей, измену и верность, рассказывала Агагюлю индийские кинофильмы, которые смотрела по нескольку раз; Агагюль же, выкуривая папиросу за папиросой, вышагивал рядом с

Нисой и часто даже не находил слов для ответа. Пока наконец сегодня...

— Это что такое, слушай, почему шапку бросаешь? — удивилась Агабаджи.

— Так,— сказал Агагюль, не глядя на мать.

Агабаджи удивилась, потому что Агагюль в этой кепке чуть ли не спать ложился, эта кепка полтора года назад принадлежала Балададашу, старшему брату Агагюля, и когда полтора года назад Балададаш уходил в армию, он дал эту кепку Агагюлю, чтобы он носил ее, чтобы носил ее, как мужчина, не ронял, как говорится, честь этой папахи, то есть кепки; Балададаш теперь был уже сержантом в Амурской области и через пять-шесть месяцев должен был вернуться, и Агагюль, как мужчина, носил кепку Балададаша, и вот надо же, он сорвал кепку с головы и швырнул ее на старый диван.

Агабаджи поднялась с места, вытерла руки полотенцем и принесла миску, из которой Агагюль в полдень выпил бульон, а мясо и картошку оставил на вечер. Агагюль уселся за стол, накрытый белой скатертью с мелкими красными цветочками по краям; Агабаджи принесла еще лук, зелень, маринованные баклажаны, хлеб, и Агагюль, даже и не взглянув ни на мать, ни на зелень, машинально начал есть.

Агагюль окончил среднюю школу в прошлом году и теперь учился в Баку на шоферских курсах; через две недели он заканчивал эти курсы и примерно через месяц отправлялся в армию, причем даже знал куда: военком Мурсалов сказал, мол, пошлю тебя в Прибалтику, красивые места, и дороги там отличные, потрудишься по специальности и родине послужишь.

Ниса училась в вечерней школе, в десятом классе, днем работала в детском саду, рядом с матерью, учила детей петь; а раньше Ниса окончила и семилетнюю музыкальную школу, на аккордеоне играла.

И вот уже девять дней Агагюль по вечерам поджидал Нису позади школы, и они, выбирая безлюдные места, через привокзальный садик шли домой, то есть Ниса шла к себе домой, и Агагюль приходил к себе домой. Агагюль хотел обручиться с Нисой, потом уйти в армию, но Ниса говорила: «Нет, давай потом, когда вернешься». Ниса хотела узнать, на самом ли деле она любит Агагюля, хотела испытать себя за эти два года.

В этот вечер Агагюль впервые в жизни поцеловал

Нису, и Ниса тоже впервые в жизни позволила, чтобы парень ее поцеловал, и Агагюлю очень трудно было поверить, что он не во сне, а наяву целует Нису, и конечно же ему никак не могло прийти в голову, что в такой момент их увидит эта ведьма Зубейда.

Ниса по дороге домой плакала-убивалась: «Опозорюсь я на все село, Зубейда опозорит меня». А потом сказала: «Агагюль, да буду я твоей жертвой, Агагюль, не допускай, чтобы опозорила меня Зубейда, пойди умоли ее, Агагюль, что она хочет, дай, Агагюль, не допускай, чтобы она опозорила меня, Агагюль, я не смогу смотреть в глаза брату, никому не смогу на глаза показаться». И Агагюль сказал: «Не бойся, не допущу», но сказать это легко, а заткнуть глотку такой ведьме, как Зубейда,— дело нелегкое, к тому, что видела, добавит еще сорок раз по стольку, с самого утра начнет, опозорит Нису на весь мир, а Ниса — это такой человек, бог знает, что сделает Ниса, все что угодно может сделать Ниса, даже руки на себя наложить, только бы не осрамиться перед братом Атабалой, только бы мать не была опозорена.

Зубейда — не из тех, кого проймешь просьбами да мольбами, она и это утром разукрасит, разнесет на весь мир, что, мол, Агагюль приходил ко мне, плакал, на коленях стоял.

У Зубейды должна быть, как говорил милиционер Сафар, материальная заинтересованность.

4

Зубейда, выбравшись из-под полога, вошла в комнату и, сняв промокшее от пота платье, надела свежее, торопливо надела, чтобы не увидеть случайно в большом овальном зеркале на дверце шкафа свое расползшееся тело, потом, спустившись во двор, включила мотор насоса и, взяв в руки шланг, начала поливать деревья, кусты роз (она очень любила розы, не срезала и не продавала их в Баку на базаре; лепестки так и увядали на кусте, осыпались), грядки с помидорами, баклажанами, перцем, луком, укропом. Вообще за садом и огородом Зубейда ухаживала сама, все здесь было выращено ее руками, и только ели вдоль забора посадил бедный Абдул, чтоб они сад от ветра защищали.

Правда, в селе говорили, что Зубейда сто раз замуж выходила, но на самом деле Зубейда всего один, то есть

официально, всего один раз выходила замуж — за Абдула. Абдул до войны был фаэтонщиком или попросту извозчиком; возле общественной бани стоял у него домишко, там он и жил одиноко (потом уже, после войны, Зубейда, слегка покрасив, обновив домишко, продала его втридорога), так вот, Абдул, как верблюд в кузнеца, влюбился в Зубейду. Односельчане называли его Гейсабдул [1], и он не обижался на такое прозвище, наоборот гордился им, и это в то время, когда Зубейда не обращала на него никакого внимания (где фаэтонщик Гейсабдул и где красавица Зубейда с большими насурьмленными черными глазами, стройная как кипарис, с осиной талией, с журавлиной походкой!), издевалась над Абдулом, так что порой он плакал как подросток из-за несчастной любви. В конце концов Абдул дошел до того, что решил продать своего единственного коня, только бы купить Зубейде подарки — коверкотовое демисезонное пальто, габардиновую юбку, шерстяной жакет и тому подобные вещи, но конь был очень старый, и продать его никак не удавалось. Покупатели столько раз осматривали коня Гейсабдула, да еще каждый зубы у него норовил проверить, что несчастное животное, кто бы к нему ни подходил, тотчас безмолвно ощеривалось — смотрите, мол, только руками не трогайте.

И конь этот — несчастный, да и сам Абдул — несчастный, теперь и того коня кости сгнили, и его хозяина; уже больше двадцати лет прошло со смерти Абдула.

Зубейда вышла за Абдула в последний год войны, то есть оформила брак и привела Абдула к себе в дом — и все. Абдул сразу стал собственностью Зубейды, как бы ее имуществом. Она часто оставалась у своих подруг в Баку, иногда ездила погулять в Тифлис, Кисловодск, Сочи, порой месяцами пропадала неизвестно где, а Гейсабдул исправно исполнял обязанности сторожа, он очень хорошо понимал, для чего Зубейда вышла за него замуж, потому что был человеком, знающим свое место, этот Гейсабдул; может быть, поэтому односельчане не трогали его и не издевались над ним.

Конечно, поначалу удивлялись, мол, смотрите, кого он взял: эта бесстыжая в городе развлекается, ей море по колено, а этот бедолага на нее работает; среди молодых были такие, что в душе ругали его: блаженный, сын

[1] Гейс — так звали Меджнуна.

блаженного, но понемногу всем снова стало его жаль, и через некоторое время, как будто Гейсабдул не имел никакого отношения к Зубейде, при нем стали ругать его жену; кому что в голову приходило, то и говорили при Гейсабдуле, не стесняясь, а Гейсабдул молчал; самым же странным было, что он опять же не обижался, как будто и не хотел возражать — ну, что тут поделаешь, разве он виноват, если все земные блага не стоят одного ноготка Зубейды? И женщины хорошо это понимали и в душе даже завидовали, потому что немногих из них так сильно и верно любили; может быть, поэтому, когда Зубейды не было в селе, некоторые как будто случайно заходили во двор Гейсабдула, спрашивали его, как дела, иной раз даже поесть ему приносили, посылали тендырного хлеба, и, по слухам, две женщины будто бы просто-напросто влюбились в Гейсабдула.

Да, Абдул явно был из тех, кто знал свое место. Однажды он зачем-то позвонил из села в Баку, к тогдашней близкой подруге Зубейды Розе, спросил про Зубейду, где она, больше месяца никаких вестей не подает, а Роза спросила его: «А кто это спрашивает?». Гейсабдул ответил: «Абдул», Роза громко рассмеялась и сказала: «Еще неизвестно, кто кого обдул!»

А потом не было такой вечеринки, чтобы Роза не рассказывала об этом телефонном разговоре и чтобы вся компания не хохотала; когда у Зубейды бывало хорошее настроение, она и сама смеялась, а когда плохое — кричала на Розу, мол, это ты от зависти сгораешь, что у меня муж есть, а тебя никто не берет, ты, как лисица, виноград достать не можешь. Роза краснела, бледнела; я же шучу, говорила.

Конечно, Роза говорила правду, Роза шутила, но кроме таких вот шуток ничего веселого вроде и не было, шли дни, месяцы, годы, и по временам только такие вот шутки приходили человеку на помощь.

Сам Абдул очень скучный был мужчина и пошутил, кажется, только один раз: как-то году в пятидесятом из Баку в село один невропатолог приехал, снял комнату в доме продавца Фатуллы, немного ниже бани, и все лето отдыхал тут. Мартиросян была его фамилия, и все говорили, что очень хороший врач этот Мартиросян. Алекпера, что четыре года назад помешался, за две недели превратил в нормального человека; да, так вот, как-то Зубейде тоже захотелось показаться этому врачу, часто

раздражалась она в последнее время (как будто понемногу стала понимать, что конец ее веселой жизни вот такой: продавать на базаре веники, сплетенные стариком соседом от безделья), и Зубейда, выходя из дому, сказала Абдулу: «Из Баку нервный доктор приехал, иду к нему». Абдул спросил: «Зачем тебе?» Зубейда сказала: «Как это — зачем? Пойду,— говорит,— пусть мои нервы поправит». Гейсабдул раскрыл рот: «Ба-а-а!..— сказал он.— Зубейда, как же это ты без нервов?! Если ты на меня кричать не будешь, я с тобой разведусь».

Бедняга Абдул, царство ему небесное... Зубейда, разнервничавшись порой, как говорится, у него на голове орехи колола...

— Зубейда!

Зубейда положила на землю шланг, прислушалась, из-за ворот еще раз позвали:

— Зубейда!

— Кто это?— спросила Зубейда.— Кто там?

— Это я!

— Кто? Аллаха племянник, что ли? О господи... Имя назови!..

— Это я, Агагюль!

Вообще-то Зубейда сразу узнала, чей это голос, она как будто чувствовала, что скоро его услышит, потому что, когда поливала она из шланга деревья, цветы, грядки, до нее время от времени откуда-то очень издалека словно бы доносились чьи-то всхлипывания, и в глубине души она знала, что это всхлипывает Ниса там, на своей постели, в доме, который находился на другом краю села.

— Что такое, что случилось, детка, ты ведь плевать на меня хотел, а теперь без меня уснуть не можешь?

Агагюль ничего не ответил, не произнес ни звука, постоял, помолчал за воротами; ну и слова вылетают изо рта этой женщины, а утром еще не то будет...

Зубейда выключила мотор, отнесла не торопясь шланг к колодцу, потом, отвернув кран на стенке бассейна, сполоснула руки, плеснула воды на лицо, потом вытерлась чистым белым полотенцем, висевшим на сучке миндального дерева около бассейна, после всего этого наконец подошла к воротам, открыла калитку и, прекрасно понимая, чего Агагюль хочет и зачем пришел, спросила:

— Чего тебе? Что ты хочешь мне сказать в такое позднее время?

— Дело есть к тебе,— проговорил Агагюль и вошел во двор.

— Какое дело, детка, кто ты и кто я? Какие у нас могут быть дела?

В свете двухсотпятидесятисвечовой лампы, горящей над воротами и собравшей вокруг множество комаров, Агагюль, снова посмотрев на одутловатое лицо этой женщины, ярко-красные от хны волосы, все еще насурьмленные черные брови, решил, чтобы поскорей покончить с этим делом, сразу перейти к главному:

— Слушай меня, Зубейда, никому не говори, что видела нас, не ради меня, э, клянусь Балададашем, мне что, я все равно в армию ухожу, ради Нисы говорю, не рассказывай никому... И потом... И потом, мы не просто так с Нисой, поженимся мы, когда я вернусь, женюсь я на ней.

— Да-а-а...— протянула Зубейда.— Дай вам аллах счастья, женишься на дочери Фирузы, хорошо сделаешь, поздравляю, поженитесь, сыновей-детей народите, а мне-то что, детка? А? Чего ты передо мной отчитываешься, я тебе милиционер Сафар, что ли? Мало ли кто что делает у вокзала под смоковницей, да еще ночью! Зачем мне совать нос в чужие дела? Сплетни разносить — это не по мне, детка, все знают, что я сплетничать не люблю...— Зубейда глядела Агагюлю прямо в глаза, ни разу не моргнула.— Иди спать, детка, уже поздно, утром встать не сможешь.

Агагюль знал, что все слова Зубейды надо понимать как раз наоборот.

То, что парень разглядывал так близко ее лицо, в свете двухсотпятидесятисвечовой лампы, выводило Зубейду из себя, и она, протянув руку, пошире распахнула калитку, чтобы закрыть ее за Агагюлем.

— Иди спать, пора, ступай...

В этот момент в знойной апшеронской ночи внезапно где-то совсем рядом раскудахталась курица и совершенно заглушила тонкий комариный писк и скорее угадываемый, чем слышимый, голос моря. Зубейда очень удивилась, заглянула за спину Агагюлю и увидела, что парень держит в руке торбу.

— Это что такое, слушай?

— Курица,— сказал Агагюль,— для тебя принес,— и протянул торбу Зубейде.— Бери.



— А-а-а,— сказала Зубейда, губы ее раздвинулись в улыбке, и золотые коронки засверкали в свете двухсотпятидесятисвечовой лампы; у этой женщины была особая страсть к подаркам и к любому даровому товару. Зубейда на глазах изменилась, стала другим человеком.— А-а-а... Агагюль, зачем так утруждаешь себя?

— На... возьми...— повторил Агагюль, мечтавший поскорее избавиться от торбы.

— Мне неудобно...

Зубейда взяла у Агагюля торбу и, запустив руку внутрь, вытащила большую пеструю курицу, которая на свету опять закудахтала, захлопала крыльями, пытаясь вырваться из рук женщины, и Зубейда поспешила засунуть курицу обратно.

— Смотри, как расшумелась,— сказала Зубейда и прибавила: — А мать знает?

Агагюль промолчал, Зубейда же не стала настаивать на ответе.

— Ну входи, чего ты здесь стоишь? — любезно пригласила она.

— Нет, большое спасибо,— сказал Агагюль, решивший было, что все уже устроилось, однако ощущавший в душе какое-то смутное беспокойство: — Пошел я...

— А-а-а... Куда же ты? Подожди, у меня к тебе дело...— И вот, в одной руке — торба, в другой — рука Агагюля, Зубейда поволокла свою добычу во двор, и Агагюль с испуганно заколотившимся сердцем — кто знает, что пришло в голову Зубейде? — потащился за ней; от этой женщины всего можно было ожидать, недаром он слышал несколько историй про старух, которым нравятся молодые парни; но как только они дошли до колодца, Зубейда сказала: — Агагюль, дорогой, устала я очень, ты мне как брат, возьми этот шланг, полей немного грядки за домом, вся зелень сгорает, ведь жалко, Агагюль, возьми шланг, дорогой, возьми, я не смогла полить хорошенько... Эх, силы уходят, что от меня осталось...

Зубейда прежде о себе таких слов не говорила.

Агагюль ждал чего угодно, но только не этого; скрипнув зубами, он посмотрел на женщину, на толстый черный шланг, свернувшийся на земле как змея, потом сдвинул на затылок свою кепку-«аэродром» — «Балададаш, а что бы ты сделал на моем месте?» — поднял с земли шланг, пошел за дом, и Зубейда тотчас запустила насос.

— Хорошенько полей, Агагюль, дорогой, да не топчи грядки!..— услышал он ее голос.

Зубейда вытащила веревочку из корзины под лестницей, пошла на другой конец двора, вынула из торбы пеструю курицу и привязала ее за лапу к тонкому стволу молодой айвы; пеструшка на этот раз не так уж громко кудахтала и не так уж сильно вырывалась, будто поняла, в чьи руки попала и примирилась со своей участью.

Конечно, Агагюль был вне себя от злости, поливая из шланга все эти помидоры, баклажаны, кресс-салат, перец, огурцы, он и не пытался утешить себя тем, что эти прекрасные овощи, вся эта роскошная зелень не виноваты в том, что растут в огороде у такой ведьмы, как Зубейда.

— Агагюль, милый, напор воды слишком сильный, укроп, кресс-салат помягче поливай!..

Огород у Зубейды был не так уж невелик, то есть он был для одной семьи, состоящей из четырех-пяти человек, и, конечно, излишки Зубейда вывозила в Баку на колхозный рынок.

Да, хорошие были овощи у Зубейды, к тому же она отлично умела мариновать, даже соседки это признавали; ее маринованные баклажаны, зеленый перец, чеснок, огурцы, помидоры были выше всяких похвал; иногда она посылала старым — военных лет — подругам по три-четыре банки в подарок, посылала — это значит сама отвозила — Розе, Ануш, Ширинханум, Назлыханум, Дурдане...

Все ее подруги теперь состарились; одна жила с сыном, другая — с племянницей; Ануш была замужем за управдомом, и теперь они очень дружно жили, приятно было посмотреть; Роза переехала в Ереван, и Зубейда давно уже не имела о ней никаких вестей.

Поговаривали, что у Ширинханум — по возрасту она была еще старше Зубейды — есть любовник-кеманчист, по имени Ибрагим, грех на душу говорившим...

Конечно, такая молодость копейки не стоит, прошли те времена, когда — бей, чтобы разбилось, играй, чтобы танцевалось,— прошли и больше никогда не вернутся; хорошо это, что не вернутся, или плохо, Зубейда сказать не могла, потому что все же хорошего тогда было, наверно, больше, вполне насладились они жизнью в этом мире, в таком коротком — пятидневном — мире: плясали, смеялись, когда люди куска черного хлеба не могли найти; по Кисловодску и Сочи гуляли; попадались такие мужчины, что умирали по ним, что готовы были по единому их слову, ради одного ласкового взгляда навсегда бросить жен-детей и даже потерять работу, но Зубейда с подругами любила свободу, и они действительно были вольны и свободны; но было и очень много плохого в тех днях, и это плохое не забывалось, а с годами как мутная волна захлестывало душу, порой до бешенства доводило... Да, всякое бывало...

— Агагюль!.. Не кончил там, дорогой? Не слишком там заливай! — Зубейда выключила мотор и зашлепала руками по щекам, по груди, отгоняя комаров.— Ну иди, там уже хватит,— сказала она.— Иди полей немного, милый, деревья у забора... Шланг тяжелый, я туда не донесу...

Агагюль, ни слова не говоря, то есть вслух ни слова не сказал, а что он сказал в душе, он сам знал, волоча шланг, побрел к елям, посаженным вдоль забора Гейсабдулом, и Зубейда, снова нажав кнопку, пустила насос...

Абдул хороший был человек, правда, дурак, но человек — хороший, ты смотри, как вытянулись эти ели, смотри, сколько же лет, аллах, как умер Абдул... Когда он умер, этого сына Агабаджи, наверное, еще на свете не было, а теперь он у вокзала под смоковницей с девушкой целуется, и к тому же плут из плутов, курицу тайком от матери притащил, где он только жить научился?..

А медленно бредущий вдоль забора со шлангом в руке Агагюль теперь все прикидывал: интересно, после этих елок что надо будет еще делать? Вода пенилась у основания елового ствола в свете двухсотпятидесятисвечовой лампы, а Агагюль в это время думал: вдруг Ниса больше не захочет с ним видеться, из-за этой ведьмы сердце его перед армией разорвется. И в этот момент Зубейда, посмотрев на парня в голубых брюках, тонкой желтой рубашке и огромной кепке, удивилась, что нашла хорошенькая дочка Фирузы в долговязом, редкоусом, худом сыне Агабаджи? Парень должен быть красивым, парень должен быть сильным, парень должен быть мужчиной, а у мужчины должно быть полно денег, и мужчина, наконец, должен поцеловать девушку так, чтобы этого никто не видел; но вдруг Зубейде подумалось, что никто ничего не увидит, а Зубейда все равно увидит.

Недаром соседи говорили, что вещь, о которой Зубейда не знает,— гниет, черви в ней заводятся. Наверно, это так, раз люди говорят, да... Но почему это так? Почему? Зубейда прямо-таки изводилась вопросом — ну, почему это так?

От старости все, валлах, биллах, от старости. В молодости она и внимания не обращала на такие разговоры, ведь в молодости кто была она и кто — эти деревенские клушки?

Где теперь та красота, мраморная грудь, осиная талия, журавлиная походка?

Тогда, в те времена, где была Зубейда и где остальные? Она плов не ела, боялась свои губы-бутоны маслом запачкать.

Потихоньку ушли те дни...

Потихоньку она превратилась в мелкую спекулянтку на базаре...

Все разбрелись кто куда, одна Ширинханум молодцом, в тридцать лет в институт поступила, выучилась, врачом стала.

— Конец?

— Что ты говоришь?

— Говорю, еще что надо делать или уже все? — Агагюль стоял со шлангом в руке, он кончил поливать последнюю ель.

— Вот спасибо, Агагюль, милый! — сказала Зубейда и выключила мотор.

Агагюль, сворачивая на ходу шланг, принес его к колодцу и бросил на землю, вытер ладонями пот с лица и спросил:

— Я пойду?..

— А? — Зубейда огляделась по сторонам, увидела чернеющие в лунном свете гроздья винограда, свисавшие с высокого решетчатого навеса, и сказала: — Только вот эти гроздья остались, Агагюль, дорогой, проклятые, так высоко висят, боюсь, упаду, когда буду срывать...— И в этот момент произошло самое странное за весь день — Зубейде вдруг стало жалко стоявшего перед ней парня, пот заливал ему лицо.— Ладно, не нужно,— сказала она,— иди, иди домой, детка, спасибо, ступай...

Агагюль посмотрел на виноградные гроздья, висящие так высоко, перевел взгляд на Зубейду, и тут произошло нечто еще более странное — ему стало жалко стоявшую перед ним старуху, шлепками убивающую комаров на своей морщинистой груди, такую одинокую в этом дворе, в этом мире; Агагюль очень удивился, что ему стало жалко такую ведьму, этого шайтана в юбке.

— Ничего, дай мне лестницу, соберу...

— А-а-а...— пришел черед удивляться и Зубейде, но она почему-то не захотела принять его жертву.— Ладно, сынок, уходи, не бойся, никому ничего не скажу, спасибо, не нужно.

Да, в эту знойную ночь Зубейда, стоявшая в лунном свете, внезапно превратилась в какое-то чуть ли не в ласковое существо; Агагюлю вдруг показалось, что на свете существуют две Зубейды, одна — ведьма, а другая — несчастная добрая старая женщина...

Разумеется, Зубейда понятия не имела о том, что она раздвоилась в голове у Агагюля: парень не уходил, стоял,

озираясь, и Зубейда объяснила это тем, что он ей не верит.

— Да не скажу,— сказала она,— никому не скажу. Ступай. Не бойся.

Так как Агагюль пошел за лестницей, он не расслышал хорошенько этих слов, притащил лестницу, прислонил ее к навесу, а Зубейда принесла с веранды большой эмалированный поднос и встала рядом с парнем.

Агагюль, срывая гроздь за гроздью и укладывая их на поднятый Зубейдой поднос, проговорил:

— Воробьи поклевали виноград.

— Ну что ж?..— ответила Зубейда.— И воробей угоден аллаху...

Агагюль не ждал от этой женщины такой щедрости по отношению к воробьям и, протирая глаза от пыли и песка, сыпавшихся с гроздьев, посмотрел вниз, на Зубейду; Зубейда держала поднос над головой, ее поза напоминала позу диковинных статуй, стоящих посреди пустых бассейнов, в старых заброшенных бакинских садиках; Агагюль подумал, что у них в селе больше нет таких старух, как Зубейда.

— Ты когда в армию идешь, Агагюль?

— В сентябре ухожу.

— Балададаш письма пишет?

— Да... Приветы шлет...

— Да будет счастлив тот, кто приветы шлет... Дай аллах, чтобы он здоровым вернулся. Далеко он, бедняжка. Тебе хорошо бы в Сальянские казармы[1] попасть, мог бы в село наезжать.

— В Прибалтику еду.

— Да ну-у-у? Хорошо, если в сторону Риги попадешь. Когда будешь по Юрмале гулять, меня вспомни, Агагюль... Как Апшерон место это — Юрмала, берег моря, курорт, одним словом.

Зубейда была там два года назад зимой; Ширинханум устроила ей путевку. Зубейде хотелось в санаторий поехать, но она нигде не работала, и Ширинханум, как ни старалась, ничего не могла придумать, санаторий не получился; Ширинханум достала «горящую» путевку в пансионат в Юрмалу, вернее, в Майори, и односельчане просто обалдели: это надо, куда едет Зубейда; были и

---

[1] Сальянские казармы — старое название одной из окраин Баку.

сгорающие от зависти (жена бригадира Гасангулу рыжая Анаханум, качая головой, ворчала: «С утра до ночи работаю, а отдыхать едет Зубейда, чтоб ей пусто было!»), но тамошняя зима и в самом деле оказалась очень мягкой, и пансионат был очень чистый, аккуратный, и, самое главное, никто ее не знал, все на «вы» к ней обращались; была там такая Изабелла Львовна, очень приветливая женщина, за семьдесят ей было, но от пудры-краски не отказывалась, после пансионата она три-четыре раза написала Зубейде, а Зубейда не ответила, один только раз испекла шекербуру с пахлавой и послала ей в Одессу, но Изабелла Львовна до сих пор на каждый праздник присылает ей открытки.

Когда Зубейда жила в пансионате, она сказала Изабелле Львовне: мол, путевку мне сын сюда купил, послал меня сюда, чтобы я от криков внучат немного отдохнула...

— Слезай, Агагюль, детка, слезай. Я уже устала, сил не хватает, не могу больше держать поднос...

Зубейда поставила на землю поднос, полный винограда, и Агагюль, спустившись с лестницы, отнес его на место, снял свою кепку-«аэродром», несколько раз тряхнул ею, снова надел на голову и произнес:

— Я пошел.

Зубейда отнесла поднос на веранду, поставила его на цементный пол, с трудом разогнулась, уперев руки в поясницу, и сказала:

— Большое спасибо, милый. Дай аллах тебе здоровья.— И вдруг ей захотелось вернуть Агагюлю и курицу, привязанную к молодой айве в дальнем конце двора, однако эта мысль как внезапно пришла ей в голову, так же внезапно и ушла.— На свадьбе твоей рассчитаемся,— закончила Зубейда.— Иллах-амин [1].

Агагюль еще раз хотел предупредить Зубейду, чтобы она молчала о том, что видела, но только провел рукой по лицу, вышел и закрыл за собой калитку.

Тихонько, еле уловимо потянул с моря ветерок, в беседке этот ветерок сильнее чувствовался, здесь и комаров было поменьше. Зубейда села на палас, расстеленный на полу. Есть ей не хотелось, жара отбила аппетит, и телевизор не хотела смотреть, охоты не было, так просто сидела в беседке и смотрела на море.

Луна проложила на море дорожку, и сейчас эта до-

[1] Иллах-амин — дай бог.

рожка только чуть-чуть, легонечко колыхалась; в последнее время море плохо действовало на Зубейду, если бывало таким спокойным; собственно говоря, и в молодости так было, только в молодости она не обращала на это внимания, но вот теперь Зубейда смотрела на спокойную лунную дорожку и словно хотела что-то вспомнить, что-то хорошее вспомнить хотела — и не могла.

Поверхность моря была совершенно гладкой, в лунном свете не вскипало ни клочка пены, и было бы даже слишком, чересчур тихо, если бы комары не попискивали да не шелестели бы еле слышно листья тута перед беседкой.

И тут в ночи опять раскудахталась курица.

Зубейда поднялась с места, сняла крышку со стоявшего на круглом столе медного казана, оторвала два кусочка от чурека, который она в казане хранила, заворачивая в полотенце, чтобы не засыхал, и, подойдя к айве, раскрошила хлеб перед курицей.

Пеструшка, уперев клюв в землю, созерцала некоторое время крошки хлеба, потом отвернулась, и Зубейда сказала:

— О-о-о... Обнаглела! Но это хорошо... Товар должен быть похож на хозяина...

Надо же, у этой проклятой Агабаджи, похожей на черного жука Агабаджи, вырос такой большой сын, да ведь он еще и самый младший, Агагюль, старше него еще три дочери, все три замужем, и старший сын в армии, да, дела...

И у Зубейды могли быть теперь замужние дочери, и у Зубейды мог быть такой сын, и этот парень мог бы целоваться под смоковницей у вокзала с хорошенькой девушкой, посылать из армии письма домой, а Зубейда могла бы пойти засватать, привести в дом невестку... Ладно, хватит из-за этого долговязого Агагюля изводить себя, иди спать, а то Агабаджи небось уже четвертый сон теперь видит, ей и невдомек, что на свете еще живет Зубейда... Это уж точно, что невдомек...

5

Агагюль, улегшись под навесом, натянул одеяло на голову — от комаров, закрыл глаза, но уснуть не мог, как ни старался. А что, если напрасно отнес он Зубейде эту курицу, все равно Зубейда, обглодав косточки, запьет

куриное мясо водой, а потом разнесет по всему свету то, что видела, и то, чего не видела; вот и сейчас, наверное, если не спит, то сидит у колодца, повторяет: «У Искандера есть рога, есть рога!» Нет, не сможет она удержаться...

Получилось так, что та, вторая Зубейда, несчастная старая женщина, исчезла куда-то, и Агагюль о ней не вспоминал, сейчас перед его глазами возникла ведьма, самая настоящая ведьма, шайтан в юбке, Зубейда, только волосы у нее были взлохмачены, губы отвисли, а ногти на руках почему-то похожи на длинные и острые коготки пеструшки.

Жалко курицу.

Дело, конечно, было не только в курице; вон их сколько в курятнике, они не обеднели бы, потеряв пеструшку; Агагюль сказал бы матери, что отнес курицу в подарок какому-нибудь своему товарищу из Баку, дело было даже не в том, что Агагюль сказал бы неправду, а говорить неправду — нехорошо, недостойно мужчины; раз неправда была сказана, чтобы сохранить в чистоте имя такой девушки, как Ниса, эта неправда не позор; дело было в том, что Зубейда вполне могла и курицу съесть, и Нису на все село ославить.

6

Зубейда, надев длинную ночную рубашку, лежала под пологом на веранде и думала, что если и есть что плохое у этого прекрасного Апшерона, то это — комары, причем их особенно много здесь, в этом селе, а немного выше, в Бильгя, или в той стороне, в Нардаране, ни одного нет.

Что ж теперь, перебраться в Бильгя или Нардаран?

Спи, верно отцы говорили: нет красавицы без изъяна...

А как быть, если у красавицы сто изъянов?

Да никак! Спи, и дело с концом.

Только почему она все никак не может вспомнить... Что это было? Какой-то очень слабый свет через долгие годы пробивался, что-то очень чистое, вроде поцелуя Нисы под смоковницей,— что это было? В этом не было ничего от хлопанья пробок шампанского, не было запаха духов, пудры, не было вкусных блюд, полупьяных тостов, влюбленных взглядов, это было что-то очень простое, похожее на школьную тетрадь в клеточку...

Внутрь полога залетел комар и напомнил Зубейде тонкий противный голос Агабаджи; Зубейда внезапно подумала, что будет, если Агабаджи, поднявшись утром, не найдет в своем курятнике пеструшку, и что будет, если к ней кто-нибудь придет рано утром и увидит пеструшку в ее дворе...

Надо сейчас же встать, зарезать курицу, ощипать, выпотрошить и хорошенько осмолить, а то и без того что-то гнетет, что-то все вспоминается, не уснуть никак, будто все грехи этого мира придется искупить этой ночью.

Зубейда поднялась, выбралась из-под полога, вошла в комнату, взяла со стола острый нож, прямо в белой ночной рубашке спустилась во двор и с некоторой тревогой, возникшей в сердце, двинулась к айвовому деревцу, к пеструшке.

Пеструшка, услышав шорох, открыла глаза, посмотрела на свою новую хозяйку, переступила с ноги на ногу, и снова глаза ее затянулись мутной пленкой.

Зубейда с нарастающей в сердце тревогой смотрела то на нож в руке, на его острое лезвие, сверкающее в лунном свете, то на пеструшку, не ведающую о том, что с ней будет через минуту; так что ж, неужели она сама зарежет эту курицу? Надо вытянуть ее голову в сторону Мекки, прижать одной ногой крылья, другой — лапы, вытащить язычок из клюва и отрезать голову... Разве женское это дело, о аллах?! Может разве женщина зарезать курицу? Люди спят, все село сладко спит, до чего же ты дошла, до чего же ты еще можешь дойти?!

Конечно, Зубейда в жизни не резала кур, мужское это дело, изначала так повелось. Но что же ей теперь делать, к какому сукину сыну пойти и сказать: мол, сын Агабаджи Агагюль мне курицу принес; что удивляешься, не может он мне курицу подарить, что ли? Не надо было ей этого парня отпускать, заставить бы его зарезать курицу, сразу же и ощипать, и осмолить. «Ну, ты и штучка...» Это Зубейда сама про себя сказала: «Ну, ты и штучка...»

А село будто вымерло, светились только электрические лампочки на уличных столбах, да время от времени проблескивал в море одинокий маяк; тусклым был этот блеск в знойной безлюдной ночи и напоминал прежде всего об одиночестве, о человеческом одиночестве, и Зубейде стало ясно как дважды два, что не сможет она зарезать эту пеструю курицу, и, самое главное, вдруг

страшно расстроилась Зубейда, так расстроилась, что дальше некуда.

Просто спятить можно: ну, что она тут делает в ночной рубашке, с ножом в руке?

Все это так не вязалось с тем, что ей хотелось вспомнить, она с самого утра тосковала по какому-то воспоминанию — далекому воспоминанию; и как раз в этот момент — удивительно! — из глубины ее памяти, как из клубящегося тумана, постепенно выплыло давно забытое лицо, а еще через мгновение на лице проступила улыбка, причем какая-то суровая улыбка.

Зубейда, наклонившись, подняла упавший на землю нож, спотыкаясь пошла к дому, включила свет на веранде, села на стул и положила руки на колени.

Где же те письма? Куда она их спрятала?

Два письма было, всего два, и оба она получила на главпочтамте в Баку, они были «до востребования», два треугольника, два солдатских треугольника... И Зубейда вспомнила, что одно из этих двух писем, то, что побольше, еще во время войны взяла у нее Дурдане, оставила на память. «Такие хорошие, умные письма разве без ответа оставляют, слушай? — сказала она.— Не променяю,— сказала она,— сотню твоих золотозубых Адилей на одно это письмо». Да, так сказала Дурдане и с тех самых пор стала понемногу умнеть.

Зубейда поднялась, вошла в комнату, зажгла свет и остановилась перед высоким, широким и тяжелым, орехового дерева шкафом (этот шкаф еще во время войны золотозубый Адиль купил для Зубейды), подставила табуретку, взобралась на нее и в самом верхнем ящике шкафа нашарила ключ; спустившись, открыла этим ключом самый нижний ящик и, с трудом вытащив его, достала сверток, где были старые фотографии киноартистов и старая открытка — в красной рамке-сердце улыбаются парень с девушкой; внизу соловей держит в клювике венок, а на венке написано:

Люблю вас и вы поверьте
Когда мне сердце говорит
Любить буду до самой смерти
Пока огонь в груди горит —

после этих слов опять же нарисовано маленькое сердце, пронзенное стрелой.

От свертка в сильно пожелтевшей старой газете пах-

ло прелью, и Зубейде почему-то вспомнились опавшие листья, пролежавшие всю зиму под снегом, долежавшие там до весны, и внезапно Зубейда почувствовала какой-то очень неприятный привкус во рту, будто съела гнилую винную ягоду.

Этот запах, этот привкус вконец расстроили женщину, и вообще крайне редко плакавшая Зубейда прослезилась.

Треугольное солдатское письмо было здесь, в этом свертке.

Зубейда развернула пожелтевшее за долгие годы, торопливо написанное химическим карандашом короткое письмо и впилась в него глазами.

«Зубейда!

Это письмо пишу тебе с передовой. Сейчас тихо, не стреляют. По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо, но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины, я понял, что должен тебе написать. Находясь под обстрелом, человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохого, остается в памяти только хорошее. Меня ты можешь любить или не любить, но люби себя. Я не учитель, а ты не ученица шестого класса. Я не буду тебя воспитывать, но не ходи в тот дом. Поступай на работу. Не жалей себя. Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины. Прощай. Если останусь жив, напишу тебе еще. Напиши и ты что-нибудь.

Закир. 12 января 1942 года».

Закир написал еще одно письмо, оба вместе получила Зубейда; ответа не написала и больше не заходила на главпочтамт. Может, еще много писем написал Закир, и эти письма, не дождавшись Зубейды, в конце концов вернулись к Закиру. В сорок третьем похоронка на него пришла... Или в сорок четвертом?.. Нет, в сорок третьем... Интересно, писал еще письма Закир? Да зачем ему было писать, зачем писать, если в тот весенний день обманула она Закира, мол, приду на свидание — и не пришла; если Закир, день и ночь работая на обувной фабрике, еле зарабатывал сестрам на хлеб, а Зубейда купалась в грязных деньгах золотозубого Адиля, пила

вино с этим золотозубым, спала с этим золотозубым и с другими, такими же, как золотозубый...

«Зубейда! (И тебе еще нравилось мое имя!..)

Это письмо пишу тебе с передовой. («Если бы я тебя полюбила, ты бы все равно туда убежал!..») Сейчас тихо, не стреляют. («Чтоб провалился тот, кто затеял эту стрельбу, как он и провалился; чтоб его зарыли в сырую землю, как и зарыли...») По правде говоря, не хотел я писать тебе это письмо («И не надо было писать... Зачем ты писал такой стерве, как я? Разве я тебе пара? Ты — самый добрый, самый красивый, самый смелый, а я... я... в грязи... по горло... Не надо было писать...»), но за полчаса до того, как на нас градом посыпались мины («Лучше бы эти мины посыпались на мою голову...»), я понял, что должен тебе написать. («Ничего ты мне не должен, это я тебе должна...») Находясь под обстрелом («Ай джан...»), человек забывает обо всем, что с ним когда-то случилось плохого («Потому что сам ты был чистым, был добрым...»), остается в памяти только хорошее. Ты можешь меня любить или не любить («Чтоб та, которая тебя не любила, света невзвидела, как и невзвидела...»), но люби себя («За что мне любить себя, за что?»). Я не учитель («Ты больше чем учитель...»), и ты не ученица шестого класса. («Ученица шестого класса была профессором передо мной...») Я не буду тебя воспитывать («Да разве можно было меня воспитать? Это у человека должно быть в крови...»), но не ходи в тот дом («При чем тут дом, виноват сам человек, дом что может сделать?..»). Поступай на работу («Так я и поработала, а!..»). Не жалей себя («Жалела, Закир, дорогой, да буду я твоей жертвой... две копейки была мне цена, пепел на мою голову... Погубила я себя... Пропала я совсем, Закир...»). Ты тоже дочь мужчины, не втаптывай в грязь папаху этого мужчины («Втоптала в грязь папаху покойного, Закир, втоптала в самую жижу. Убил бы отец меня, если бы он был жив, своими руками убил бы...»)»...

Зубейда больше не могла читать, пожелтевшие буквы расплылись у нее перед глазами, а потом застлало ей глаза чем-то черным, будто черную стену перед ней поставили; Зубейда задыхалась; а за этой черной стеной

тоже было душно, жарко, пекло солнце, и семнадцатилетняя девушка, красивая девушка, вместе с односельчанами шла следом за носилками, на которых лежало тело ее отца; вдали море с небом сливались, и солнечные волны набегали на берег, и эта семнадцатилетняя девушка, вместо того чтобы рыдать от горя, радовалась вместе с солнечными волнами, потому что не понимала, что такое смерть, и не хотела понимать...

Зубейда запаковала сверток, положила его в нижний ящик, закрыла на ключ, потом, вытирая слезы подолом ночной рубашки, вышла из дома, направилась к беседке и там, усевшись на перилах, стала смотреть на море.

Давным-давно, в незапамятные времена, она играла на берегу этого моря, играла и после смерти матери, потом Зубейде пришлось латать сети своего отца-рыбака, а потом и отец умер, а море, как и прежде, накатывало свои солнечные волны на берег.

В сущности говоря, Зубейда виновата и перед этим морем, потому что в те далекие годы, когда осталась она вдвоем с бабушкой, именно море было свидетелем начала ее взрослой жизни, ее взрослой жадной жизни; тогда это море было ей по колено, а ее несчастная бабушка была уже так стара, что перед смертью (когда она умерла, шел второй год войны) считала Зубейду своим сыном-рыбаком, то есть путала Зубейду с отцом Зубейды...

Ветерок иссяк. Листья не шелестели, комары нахлынули в беседку и самим теперешним своим существованием доказывали, что прошлое никогда не вернется. Голос моря доносился уже как будто из другого мира, но зато явно из этого мира были две вылетавшие на ночную охоту летучих мыши; ошалев от духоты, они метались по двору, задевали ветви деревьев, натыкались на опорные столбы беседки. Время от времени знойный стрекот цикады предупреждал о завтрашней жаре.

Дом, о котором писал Закир, чтобы она туда не ходила, старый дом Ширинханум, находился рядом с двойными воротами Крепости. И этот дом, и соседний дом Закира давно уже снесли, на их месте площадь.

Много молодых дней Зубейды, что теперь мучили ее, прошли в том доме Ширинханум.

Ширинханум в их компании была, пожалуй, самой умной и рассудительной; она жила с матерью, мать ее продавала пирожки на Сабунчинском вокзале и с самого

раннего утра до поздней ночи не бывала дома, а когда и бывала, не путалась в ногах у подруг. «Хорошо делаете, развлекаетесь, так и надо, жизнь коротка»,— слышали они от нее, а когда дочка дарила ей что-нибудь, кофту или платок, женщине крыльев только недоставало, чтобы взлетать от счастья, и она совершенно искренне считала счастливой и себя, и дочку. «Вот и хорошо, что не работаете, пусть лают, гавкают сколько хотят, все это от зависти, я вон с раннего утра на вокзале пирожки продаю, и что у меня есть? что я зарабатываю? Нет, я не хочу для вас такой жизни».

Ширинханум превосходно умела шить, красивые платья у нее получались, и некоторые известные в то время в Баку жены больших начальников захаживали в двухэтажный дом у двойных ворот Крепости, заказывали Ширинханум платья. Зубейда и ее подруги многие часы просиживали в этом доме, шутили, ссорились, мучились, здесь отмечались и самые торжественные события в их жизни, бесконечные дни рождения — каждая в год по четыре-пять раз рождалась. И все эти дни рождения праздновались в этом доме. Много вина там было выпито, много рюмок разбито. Однажды, когда погас свет, золотозубый Адиль зажег сторублевку и осветил стол, и тогда все хором говорили, вот счастливая Зубейда, то есть Зубейда счастливая потому, что у нее такой богатый и щедрый любовник.

Так-то, Закир... Вот такие дела...

Молодящиеся женщины, приходившие к Ширинханум шить платья, свысока смотрели на компанию Зубейды, знали, что это за птицы, что это за компания, но некоторые в душе завидовали подругам Зубейды, завидовали их молодости, красоте и даже бесстыдству, и Зубейда с подругами думали, что так оно и будет всегда...

Постепенно компания распалась, дым рассеялся, золотозубого Адиля арестовали, Асадагу убили кастетом, рябой Наджафгулу ударил кого-то ножом и угодил в тюрьму; Керим умным оказался, гитару забросил, поступил в институт, выучился, теперь, говорят, директор какого-то завода; Дибирова сняли, и он пропал неизвестно куда, и те дни потихоньку превратились в воспоминания; и теперь, в эту знойную летнюю ночь, в этой беседке память о тех далеких-далеких годах сопровождала мелодия тара, на этом таре играл Закир, и под его сильными пальцами струны рассказывали о пустоте, никчем-

ности и ничтожности воспоминаний, которым предавалась Зубейда.

Закир иногда играл на этом таре, причем играл по вечерам, и Зубейда, по пути к дому Ширинханум или возвращаясь от Ширинханум, слышала игру Закира, хорошо знала она и то, что этот парень — тарист — ее любит; еще до того, как Закир ей признался, она об этом знала — по взглядам Закира, по тому, как Закир, выходя из своего дома, поджидал ее на улице.

Однажды, после затянувшегося в доме Ширинханум торжества, уже под утро, Ширинханум выпила до дна оставшийся фужер шампанского и сказала, что из-за тариста Закира ей опротивели все мужчины на этом свете, из-за него она обижена на жизнь, потому что Закир не взглянул в лицо Ширинханум, не ответил на любовь Ширинханум — уж так получилось. «Умираю я по этому парню, играющему на таре! — сказала Ширинханум и потом обратилась к Зубейде.— Не видишь,— сказала Ширинханум,— не видишь, он в тебя влюблен, слепая, ты не видишь, почему ты себя не жалеешь? Думаешь, нас не настигнет проклятие тех, кто ждет своих мужей, кто ждет своих братьев, отцов, женихов? Думаешь, не отольются нам стоны тех, кто не может сегодня найти куска хлеба? Ты думаешь, мы никогда не будем раскаиваться?» Конечно, Зубейда удивилась, что это за слова говорит Ширинханум, потому что эти слова не подобали Ширинханум, и никому в голову бы не пришло, что от Ширинханум можно услыхать такие слова, а, оказывается, вот какая была Ширинханум. Дурдане сказала: «Таким, то есть таким, как Закир, мы уже не нужны. С нами погуляют, натешатся, а потом женятся на скромных девочках. Матери, сестры таких девочек ненавидят нас!..» Роза сказала: «Пусть они себя ненавидят, нас за что? Что мы им сделали? Что мы кому сделали, а? У кого мужа отняли? Если муж обманывает свою жену, уходит к другой — пусть падает пепел на голову этой жене!»

И внезапно Зубейда вспомнила, кто была та женщина в шубе, купившая у нее прошлой зимой в Баку на колхозном базаре маринованные баклажаны... Это был первый день, когда вынесла на базар свои маринованные баклажаны Зубейда, и женщина в шубе купила у нее много баклажанов, и показалась она Зубейде очень знакомой, но, как она ни напрягала память, ничего не полу-

чалось, женщина была не из прежних ее подружек, не из тех знакомых-приятельниц, но кто же она такая — никак не могла сообразить Зубейда. Заплатив за маринованные баклажаны, женщина в шубе спросила:

— Ты меня не узнала?

— Нет...— сказала Зубейда.

— А я тебя узнала,— сказала та женщина в шубе и ушла.

Теперь, в эту жаркую летнюю ночь, вспомнила ее Зубейда; узнала ее, глядя на лунную дорожку,— сестрой Закира была та женщина в шубе, средняя сестра, Наргиз ее звали...

Для кого конец, для кого начало...

Три сестры было у Закира и еще мать. Всех трех сестер поставил на ноги, выучил Закир, и все сестры ненавидели Зубейду. Это можно было понять по их взглядам, при случайных встречах на улице, а так — ни слова не было сказано. Дурдане говорила: «Они брата к тебе ревнуют, не хотят, чтобы кроме них какую-нибудь девушку любил их брат».

Старшая была Диляра, второй шла Наргиз, а потом Халима. Вскоре после ухода Закира на фронт Халима заболела, умерла. Что было потом, Зубейда не знала, потому что однажды Ширинханум поменялась на трехкомнатную квартиру, где живет и сейчас; совсем немного доплатив к своей двухкомнатной, поменяла с какой-то солдатской семьей на роскошную трехкомнатную квартиру.

И вот Наргиз узнала Зубейду на рынке.

И пройдет еще немного времени, рассветет, пожилая женщина снимет ночную рубашку, наденет платье и будто во сне умоется водой из колодца, приберет слегка во дворе, потом, сунув под мышку сплетенные Абдуллой-киши от безделья веники, озираясь по сторонам, чтобы ее не увидел милиционер Сафар, пойдет на базар, попытается продать эти веники дачникам-горожанам, потом снова придет домой, приберется слегка во дворе, день ото дня уставая все больше, польет деревья, цветы, овощи; с трудом взобравшись по лестнице, соберет с навеса виноград, потом немного посидит в беседке, немного посмотрит на море, немного подумает о делах этого мира, потом заберется под полог на веранде, закроет глаза, чтобы заснуть...

7

Сначала Агагюлю показалось, будто куриное кудахтанье он слышит во сне, потому что всю ночь он видел путаные сны, и большая пестрая курица перекочевывала из одного сна в другой, а Ниса все время плакала, и вот, когда Агагюль протер глаза и, подняв с подушки голову, выглянул из беседки во двор, у забора и действительно раскудахталась не на шутку большая пестрая курица.

А рядом с курицей Агагюль увидел торбу.

Агабаджи тоже проснулась от этого кудахтанья, сначала испугалась, что во двор залезла лиса, хотела разбудить мужа Агабаба, который весь день возил людей в Баку и обратно и уставал так, что добудиться его было очень трудно, но, выглянув с веранды во двор, убедилась, что в курятнике спокойно, а кудахчет только большая пестрая курица у забора, и женщина догадалась, что она вечером забыла загнать эту пеструшку в курятник; Агабаджи снова улеглась на свое место рядом с похрапывающим мужем и снова заснула.

КУМГАН

— Я ведь просто с тобой советуюсь, Агабаба, дорогой, а ты уж, наверно, подумал, что мы первому встречному дом сдадим, не так ведь это, посоветоваться-то можно... Я ведь не о плохом говорю, о твоих детях забочусь, не о чужих же, не о себе думаю, Агабаба, мне что, у меня уж больше ушло, чем осталось, а хочется для детей что-нибудь сделать, да... Должны мы для них что-нибудь сделать или нет? — Агабаджи в первый раз в жизни говорила мужу о себе такие вещи, намекала на то, что состарилась, и как будто Агабаджи была уже не та Агабаджи, которая с утра, как просыпалась, проходила в крайнюю комнату и, запершись там на ключ, чтобы дети не заглянули, минут десять — пятнадцать ухаживала за своим лицом, ни на один день не опаздывала красить волосы хной, и первая сплетница села Зубейда каждый раз — на свадьбе, на поминках или в бане,— увидев Агабаджи, выходила из себя: «Вы только посмотрите на нее, э, в возрасте моей бабушки (но тут уж Зубейда совсем завиралась, потому что сама она была старше Агабаджи на восемь — десять лет: во всяком случае,

Агабаджи так говорила, и, поскольку почти все женщины поселка терпеть не могли Зубейду, они были на стороне Агабаджи). Ну да, в возрасте моей бабушки, а как мажется, вы только поглядите!.. Для мужа своего накрашивается-прихорашивается, да, для Агабабы» (выводило из себя Зубейду как раз это, потому что у нее самой не было ни мужа, ни детей, одна-одинешенька, и вся вина была в ней самой, потому что, как предки хорошо говорили, то, что ты другим желаешь, то с тобой и случается); и еще было впервые, что в серьезных домашних делах, не в мелочах мнения Агабаджи и Агабабы не сходились.— Ведь выросли дети, ой, Агабаба, дорогой, большие уже стали, у них ведь, аллах даст, все впереди, им жениться надо, замуж выходить, ну, родной мой, нельзя разве что-нибудь придумать?! Хотя бы по кольцу им купим, чтобы не краснеть перед людьми, когда свататься пойдем, ну, что ты на меня так смотришь, Агабаба!.. Ну ладно, с парнями проще, машаллах, они сами знают, что делать, а дочери? С дочерями-то что делать? Большие они уже, совсем уже подросли, машаллах! Эта гадина, Зубейда, бесстыжая, в бане трепалась, будто Агагюля с одной девушкой, по имени ее не назвала, врет, значит, в привокзальном садике видела, будто они целовались! Треплет языком, думает, я расстроюсь, вот дура, почему это меня должно беспокоить, мне еще лучше, мой сын — мужчина, что тут плохого? Еще об Агагюле она сболтнула, да ну ее, Агабаба, дорогой, Агагюль только через два года вернется из армии, а Балададаш, ты забыл, что ли, через месяц-два приезжает ребенок, да! Откуда ты знаешь, может, и у него девушка здесь есть, а мы и не знаем? Надо нам что-нибудь придумать или нет? А девочки, Агабаба, дочек-то ведь замуж мы будем выдавать, никто другой...— Агабаджи взяла блюдце и стала им вырезать из раскатанного на лотке теста кружочки; нарезанные кружочки все были одинаковые, с блюдце, и через некоторое время все эти кружочки теста, сложенные вдвое, должны были превратиться в одинаковые пельмени — кутабы.— Что случится, Агабаба, ну спустимся вниз, сорок дней до сентября осталось, что тут такого, все ведь при нас останется, поживем внизу, это же не позор, сдадим комнаты приличной семье, и все, ну что тут такого, что ты на меня опять так смотришь, э, родной ты мой?

Этот разговор начался два дня назад, и это были те

самые два дня, когда была не его смена, он сидел дома и отдыхал, и за всю их жизнь в первый раз получился такой разговор, что из-за него Агабаба не мог отдыхать как следует.

Агабаба водил маршрутный автобус «Баку — Бузовны», три дня работал, два дня бывал дома, и когда он бывал дома, занимался двором-огородом, зимой подрезал лозы, летом поливал овощи, да и мало ли всяких других домашних дел скапливалось. Последние двенадцать лет так было, то есть так было с тех пор, как он стал работать на маршрутном автобусе, а вообще-то Агабаба уже тридцать два года работал шофером, с восемнадцати лет, то есть с тысяча девятьсот сорок шестого года, а теперь уже, слава богу, семьдесят восьмой год, с «полуторки» начал, теперь «Икарус» водил и знал совершенно точно, что «Икарус» — последняя его машина, пенсию получит, дома будет сидеть, проживет как-нибудь, устал Агабаба.

— Если бы мы как люди сдавали комнаты летом! Сколько денег уже потеряли! Не позор же это, Агабаба, наш собственный дом, сами строили, на свои деньги, ну, сдадим верх на месяц-два приличной семье, совестливым людям, и им будет хорошо, воздухом тут подышат, в море покупаются, и нам будет хорошо, деньги нам нужны, о детях надо помнить, ну, почему же ты на это не соглашаешься, дорогой мой, ну, Агабаба? Ведь святое же дело!

Агабаба, перебирая подаренные садовником Асадуллой желтые дешевые четки, очень похожие на янтарные, сидел перед открытым окном застекленной веранды и смотрел на море. Отсюда, с веранды, море было видно как на ладони: были видны и скалы, тянущиеся от Бузовнов до Загульбы, ниже скал — все море, то есть до самого горизонта сплошная голубизна, а по береговой кромке ярко-желтый песок: голубизна же морская где-то была светлее, где-то чуть темнее, и в этой бескрайней голубизне пряталась такая бездонная глубина, огромный мир воды, и еще в этой голубизне таился ласковый мягкий свет, от моря как будто ни звука не доносилось, потому что тихий переплеск набегающих на берег мелких волн не нарушал тишину, это безмолвие и этот плеск дополняли друг друга, и в этот момент человеку вполне могло бы показаться, что море всегда бывает таким, как будто никогда оно не грохочет и не ревет, никогда серые

дожди не душат море, обесцвечивая эту голубизну, как будто никогда эти мелкие спокойные волны не собираются в огромные седые валы и не обрушиваются на скалы, пузырясь на них, как пена с морды бешеного скакуна.

С утра в этой невинной голубизне, в этом морском безмолвии купался один человек, и когда этот человек кончил купаться, насытился морем и вышел на берег, стало ясно, что этот человек — не один человек, а два человека, парень и девушка...

Агабаба встал и своими широкими плечами заслонил открытое окно веранды, а потом повернулся, чтобы и самому не смотреть на это зрелище, на этого парня и на эту девушку, что с утра в море были одним человеком, а теперь раздвоились (здешние такого не сделают, а пара, конечно, приехала из города, из Баку, и в сегодняшнем безлюдном понедельниковом море окунулась в воду).

Агабаба некоторое время смотрел, как его жена раскатывает еще один кусок теста, потом вдруг раздраженно сказал:

— Хватит! Я еще не умер! Пока я жив, в этом доме чужой человек ни одной копейки не потратит! Влей это себе в ухо! Поняла?

Агабаба сказал эти слова и сердито почесал большим пальцем свой поседевший еще в молодости густой ус, потом прошел в комнату и, сев за стол, уперся взглядом в картину на стене.

Агабаба говорил так сердито потому, что сильно расстроился, причем расстроился не только из-за того, что Агабаджи вдруг загорелась сдать комнаты внаем; в этот тихий летний день, нерабочий для него день, когда никто его не трогал, не трепал, почему все же он так разозлился, было непонятно, однако внезапно он затосковал по Балададашу, затосковал по Агагюлю, потом перед его глазами словно прошли-проплыли дочери, и выяснилось, что на сердце у Агабабы очень неспокойно, тревожно, причем тревога эта поднимается откуда-то из глубины, из какого-то мрака; потом Агабаба посмотрел на льва, посмотрел на человека с кинжалом в руке, и как-то так получилось, что ему вдруг стало жалко льва; лев-то он был лев, но на кинжал в руке человека он смотрел так, как будто был не лев, а заяц...

...Эту картину на стене большой комнаты нарисовал

три года назад один художник, приехавший из Баку для того, чтобы на красных полотнищах написать лозунги, а также изобразить голубя как символ мира у входа в поселковый клуб (в прошлом году зимой ветер унес изображение голубя, правда, и без того от дождя и снега оно совсем выцвело). Этот художник, окончив работу в клубе, в Баку не уехал и начал за деньги рисовать картины на стенах. В поселке такая мода пошла, куда там, кто заказывал себе рисунок голубя, кто — павлина, а кто — цветы; садовник Асадулла пожелал во всю стену изображение корабля с надписью на борту «Красный Кавказ», потому что во время войны служил на этом корабле; плотник Музафар заказал большую русалку-красавицу, в накинутой на плечи шали, с рассыпавшимися по волнам желтыми волосами, из-за чего Зохра, жена плотника Музафара, ровно сорок дней с мужем не разговаривала, обиду держала; птицелов Фазиль заимел портрет охотника, который целится из ружья в слона, и этот Фазиль говорил, будто лицо этого охотника — его собственное лицо, будто художник смотрел, смотрел на него — и вот так нарисовал эту картину. А все началось после Амиргулу: Амиргулу подружился с этим художником, они частенько пили вместе вино, и, попивая вино, Амиргулу вспоминал свою покойную мать и так плакал, что наконец этот художник, когда Хейрансы не было дома, на стене большой комнаты Амиргулу нарисовал портрет женщины — матери Амиргулу, которую никогда не видел и от которой ни одной фотокарточки не осталось, и вот после этого в поселке и пошла мода. Этот художник нарисовал у Агабабы в верхней большой комнате льва и храбреца, убивающего этого льва, и Агабаджи, сложив руки на груди, долго смотрела на картину, а потом спросила, что это такое; художник сказал, что будто бы у грузин есть большой поэт, его зовут Шота, а здесь нарисовано то, что он описал. Вечером этот художник как обычно выпил с Амиргулу вина, пришел и, с минуту посмотрев на эту картину, разрыдался, Амиргулу тоже прослезился и сказал Агабабе, что другого такого великого художника нет во всем свете, но в Баку не дают ему ходу, не продвигают, нет у него никакой поддержки и жена поэтому бросила его и ушла к другому. Эта картина очень понравилась всем в поселке, и все решили, что этот художник ничего лучше не написал. Даже Зубейда этого не отрицала и не проронила

ни слова, когда Агабаджи в бане расхваливала эту свою картину; правда, руки у храбреца вышли какие-то не такие, и библиотекарь Наджар сказал, будто в живописи самое трудное дело — рисовать руки человека; и еще одна нога у героя была вроде немного длинней другой, а на голове непонятно что — то ли волосы, то ли мохнатая шапка. Но, во всяком случае, поначалу и самому Агабабе очень нравилась эта картина, потом, правда, надоело на нее смотреть, но вот теперь как-то так случилось, что он вдруг пожалел этого льва, потому что, кажется, этот лев чем-то вроде похож на Амиргулу...

...Агабабе стало жаль и художника, и, что уж было и вовсе через край, внезапно ему стало жалко Амиргулу, как будто Агабаба — это был не тот самый Агабаба, который, глядя в окно на улицу и видя, как Амиргулу опять пьяный валяется, что-то бормоча, под тутовым деревом, называл соседа не иначе как сукиным сыном.

Отчего это было, почему Агабабе приходили в голову такие мысли, почему становилось жаль весь белый свет, даже сердце сжималось.

Как будто Амиргулу ждал, что Агабаба так смягчится, с улицы снова послышался его голос, и Агабаба, в последний раз посмотрев на льва, похожего на зайца, поднялся на ноги, подошел к уличному окну и отдернул занавеску.

Амиргулу обычно выпивал в день четыре стакана портвейна. Жена Амиргулу, разнесчастная Хейранса, устроила несколько скандалов — сначала в поселковой винной лавке, а потом в большом магазине, где заведующим был Вартан Нерсесович, и теперь в поселке никто не давал Амиргулу вина, вот почему милейший Амиргулу каждое утро садился в автобус и то в Маштагах, то в Бузовнах, или в Мардакянах, Шувелянах выпивал два тонких стакана (по двести пятьдесят граммов каждый) своего сладкого напитка и еще раз вечером таким же манером выпивал два стакана, и этих четырех стаканов вина хватало Амиргулу на весь день, всегда он был, что называется, под парами, но если он выпивал лишку, если нарушал свой график, тогда этот паршивец приходил и падал под тутовое дерево на улице. Иногда Хейранса, заливаясь краской стыда, говорила Агабабе:

— Агабаба-гедеш, чтоб я умерла под твоими ногами, не сажай его в свою машину.

Но ведь как же много на этих апшеронских дорогах

маршрутных автобусов, как много самых разных машин, и такая борьба с Амиргулу никакого результата не давала; тут надо было, как говорил библиотекарь Наджаф, позвонить в город, пусть приедут с санитарной машиной, заберут и лечат болезнь, но Хейранса, ясное дело, на такие предложения не соглашалась, потому что у Хейрансы тоже была своя гордость и она не могла на глазах у всего поселка отвезти своего мужа неизвестно куда, может, в сумасшедший дом.

И теперь Амиргулу, сидя под тутовым деревом на улице против их дома, прислонился спиной к толстому стволу и распевал себе:

Я — на фронте, я — на фронте!
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета,
Подбиваю самолеты!

Хейранса, готовившая на своем балконе фарш для кюфта-бозбаша, поглядела вниз со второго этажа и сказала:

— Куда тебе!

— Клянусь жизнью, подбиваю! Из «катюши» тоже стреляю, клянусь, да! — закричал Амиргулу.

...Иной раз, под вечер, когда действие двух утренних стаканов уже кончалось, а вечерние два стакана он еще не выпил, то есть когда Амиргулу бывал относительно трезв, и когда у него спрашивали, что за дурацкую песню ты поешь, он говорил: слушай, а почему она дурацкая, ведь я живу вместе с Хейрансой,— а это все равно, что на фронте, да...

Агабаба на этот раз не выругал про себя Амиргулу, подумал только, чем давать женщине такого мужа, лучше бы аллах дал ей черный камень.

Агабаба в этом смысле мог не беспокоиться, потому что сам он пил от силы три-четыре раза в год, и сыновья в этом пошли в него: ни Балададаш, ни Агагюль, ни Нухбала никогда не забирались с водкой в скалы, не привозили из города ящиками пиво и не пили его с горохом, играя в нарды на улице, не оставляли попадавших в их руки денег в шашлычной серебряного Малика.

У Агабабы с Агабаджи было три сына и шесть дочерей, причем сначала родились мальчики, а потом девочки. Старший их сын, Балададаш, был в армии, вернее, он уже кончил служить, учился на каких-то курсах, че-

рез два месяца должен был вернуться, а потом сдавать экзамены в военное училище. И второй сын, Агагюль, тот самый Агагюль, про которого спекулянтка Зубейда в бане болтала, будто видела, как он в привокзальном садике целовался с девушкой, два месяца назад ушел в армию и, как Балададаш, был в Амурской области. Третий сын, Нухбала, перешел в десятый класс, будущим летом, кончив школу, тоже пойдет в армию. Наиля перешла в девятый класс. Фируза перешла в седьмой класс. Кемаля перешла в шестой класс, Амаля перешла в четвертый класс. Дильшад перешла в третий класс. Последней была Беюкханум, и Беюкханум уже перешла во второй класс.

Девятеро детей было, и когда родилась Беюкханум, Агабаба назвал ее именем своей матери, в том смысле, что самое дорогое имя — у последнего ребенка, но теперь стало ясно, что Беюкханум — не последняя.

Дело было в том, что неделю назад, когда они ложились спать, Агабаджи, стесняясь и краснея, сказала:

— Агабаба, родной мой, кажется, я опять жду ребенка...

2

Апшерон не был Апшероном в этот момент, Апшерон был просто раем, где от прибрежного песка до самого горизонта море было голубым и спокойным.

Кумган, поглядывая на море, бежал вдоль берега к скалам, этот пес явно получал удовольствие от яркого солнца, от легчайшего северного ветерка. Белоснежный Кумган бежал по желтому песку под голубым небом, он бежал впереди, а Тавар и Сарыбаш бежали за ним следом. Кумган временами останавливался, крутнувшись на месте, высоко поднимал голову, встречая Тавара и Сарыбаша, пропускал их вперед, потом снова перегонял. Большие агатовые глаза Кумгана весело поблескивали в солнечном свете; Кумгану было четыре года, и в поселке никто не мог сообразить, что за порода у этой собаки...

...В ту дождливую ночь, когда Агабаба привел маленького Кумгана, их сосед, охранник Гасанулла, пришел посмотрел на щенка и сказал:

— Это — ханты-мансийская собака.

Потом сказал:

— Это коми-мансийская собака.

А потом сказал:

— Нет, нет, это коми-хантийская собака...

Гасанулла еще до войны — так получилось — попал в Ханты-Мансийский округ и обошел много деревень и стойбищ на берегах Иртыша и Оби. (В поселке говорили, что в каждом из тех далеких мест у Гасануллы осталось по жене; Балададаш написал в письме, что познакомился с одним парнем, прибывшим на службу из Ханты-Мансийского округа, и этот парень будто на одно лицо с охранником Гасануллой.) После войны кто живой остался — в поселок вернулся, а в начале пятидесятых годов и Гасанулла возвратился, на голове шляпа, на шее галстук, в полосатом костюме с узкими брюками, начал работать в Баку охранником, привез себе из Баку вдовушку, и до сих пор у него на голове та же шляпа, пиджак от того же костюма, а брюки порвались.

Охранник Гасанулла считался в поселке первым знатоком собак, и в дождливую ночь Агагюль побежал и позвал охранника Гасануллу. Охранник Гасанулла подзабыл азербайджанский язык, но и русский не выучил хорошенько и обычно изъяснялся на причудливой смеси двух языков. (Почтальон Фатош говорил, что в письмах, приходивших охраннику Гасанулле из тех далеких мест в пятидесятых годах, Гасануллу называли Григорий Михайлович; имя отца охранника Гасануллы было Мехти; теперь-то Гасанулле никакие письма не приходили, но почему-то никто не спрашивал у почтальона Фатоша: слушай, а почему ты вскрывал эти письма и читал, что в них написано?)

Охранник Гасанулла, увидев щенка, сказал:

— Молоко! Нужно молоко!

Дети принесли молоко в узкогорлом старинном медном кумгане, и охраннику Гасанулле этот кумган очень понравился.

— Хороший кумган! — сказал он.

Агабаба спросил:

— А щенок как? Хороший щенок?

Охранник Гасанулла сказал:

— Да, да, хороший Кумган! — и с того вечера дети стали называть щенка Кумганом.

...Кумган добежал до скальной гряды, остановился и обвел глазами скалы, глаза Кумгана весело посверкивали, он чуть ли не подмигивал толстым плитам, заигрывая с ними, мол, что вы тут стоите, давайте наперегонки.

Бродячие собаки издавна жили в скалах, беспризорные суки в этих скалах щенились, выкармливали здесь своих щенков, щенки здесь и вырастали, кое-кто находил себе хозяев, остальные убирались прочь, потому что поселковые собаки хорошо знали друг друга и хотя временами и грызлись между собой, но чужаков дружно прогоняли со своей территории.

В поселке держали только кобелей, у кого была дворняга, у кого волкодав, а у кого и легавая (Зубейда терпеть не могла собак и говорила: слушай, животное если хочешь кормить, так корми овец, корову, а собаку на что?). Некоторые бакинские хозяева породистых сук были ужасные дельцы, они ездили по всему Апшерону, выискивали породистых кобелей, а потом продавали породистых щенков и зарабатывали деньги. Чистопородных псов в поселке было три: один — Алабаш садовника Асадуллы, это был волкодав, и садовник Асадулла уже давно обрезал ему уши, чтобы лучше слышал, отрубил хвост, чтобы в холод не спал лениво, прикрывая нос лохматым хвостом; второй — легавая охотника Фазиля Сарыбаш, тот самый Сарыбаш, который бежал сейчас к скальной гряде с Кумганом, Фазиль брал его с собой на охоту, и Фазиль, который в жизни ни о ком доброго слова не сказал, признавался, что, если бы не Сарыбаш, добыча даже такого удачливого охотника, как он, была бы вполовину меньшей; и еще один — немецкая овчарка Вартана Нерсесовича Рекс; все остальные были дворняги.

Вот уже три дня, как пропал Алабаш садовника Асадуллы. Летом в поселке почти все на ночь спускали своих псов; собаки бродили по дворам и улицам, выбегали на берег моря, обследовали скалы, а утром возвращались в свои дворы, в свои будки. Уже три дня пес садовника Асадуллы — тот самый безухий, бесхвостый, громадный и красивый Алабаш никому не попадался на глаза, и вчера днем по всему поселку пронесся слух, что кобель садовника Асадуллы взбесился. Однако ни Тавар, ни Сарыбаш, ни Кумган ничего об этом не знали, и в этот ясный спокойный летний день Тавар с Сарыбашем спокойно обнюхивали себе расщелины в скалах. Кумган побежал обратно к морю, посмотрел на небо, посмотрел на этот, тянущийся насколько видит глаз берег с мелким желтым песком, и как будто не захотелось ему расставаться с этим чистым прибрежным песком,

этим ярким солнцем, этой небесной голубизной, и Кумган снова побежал вдоль берега.

В тот спокойный летний день прилетел на берег моря кулик. В этой части Апшерона кулик встречается редко, и называют его соленым куликом, потому что он обычно обитает на Соленом озере вблизи селения Мухамедлы.

И вот, неведомо как залетевший в эти края кулик, оставшись в одиночестве на этом пустом берегу, тоже будто заскучал по живому существу, и когда бегущий вдоль берега Кумган приближался к нему, кулик отлетал в сторону спокойного моря и, описав полукруг, в этой синеве, в этой голубизне, снова садился на мокрый песок, дожидался, когда Кумган приблизится к нему, и, как только Кумган приближался, снова взмывал в воздух и, описав полукруг, садился на мокрый песок впереди; следуя за птицей, Кумган бежал мимо пустых навесов пляжа, всем своим видом выражавших тоску по людям, детям, бежал мимо кутабных киосков — без продавцов и покупателей, без шума и крика, без запахов и ароматов; наконец, у качелей Кумган закончил свою игру с куликом, пронесся от моря по прямой к пляжной кабинке и на этот раз уже поверху промчался обратно к скалам.

Надо сказать, места эти не так уж близко от Баку, поэтому большинство бакинцев ездили на Шиховский пляж, но в субботу и воскресенье, когда устанавливалась хорошая погода, то есть стояли такие, как сегодня, спокойные солнечные дни, тут было, что называется, не протолкнуться. Приезжали все больше на собственных машинах, у кого же не было своей машины — набивались в автобусы. Примерно в середине дня жители поселка отвязывали своих собак, и собаки, хорошо зная свое дело, тут же убегали на пляж, подъедали там колбасные огрызки, остатки кутабов, куриные косточки, остатки мороженого, просто невозможно было их оторвать от этой вкуснотищи, а вечером, когда купальщики, загорев под солнцем до красноты петушиного гребня, наконец уезжали, собаки долго еще бродили по берегу, перерывали газетные кульки и свертки, вылизывали консервные банки. А потом берег начинали прочесывать поселковые ребятишки, каждый с большим мешком в руках, они собирали пустые бутылки, а наутро относили и сдавали их в магазин Вартана Нерсесовича; они так же сгребали рваные газеты, бумагу, сдавали эту макулатуру, получали талоны и на эти талоны покупали в Баку

книги, а потом, продавая книги, покупали себе, кто держал голубей — голубя, кто держал рыбок — рыбку, кто хотел смотреть кино — ходил в кино на индийские, арабские фильмы. Вполне можно сказать, и при этом не ошибиться, что и поселковые собаки с нетерпением ждали очередную субботу. Все собаки, кроме одного Кумгана. Кумган ничего не знал об огрызках колбасы, остатках кутабов, куриных косточках, растаявшего мороженого на пляже в субботние и воскресные дни, потому что хозяин Кумгана Агабаба косо смотрел на эти вещи. По убеждению Агабабы, у мужчины должен быть мужской характер, мужчина должен жить как мужчина, у такого человека и все домашние должны быть его достойны, и это убеждение Агабабы было таким крепким убеждением, что оно оказало влияние и на судьбу Кумгана, и вообще, по существу, в доме Агабабы было не одиннадцать человек, а как бы двенадцать — взрослые, дети и Кумган.

Кумган, может быть, вообще не знал вкуса колбасы, не знал, что на свете есть такие вкусные вещи, потому что сам Агабаба колбасы не ел и, естественно, никто не ходил и не покупал колбасу специально для Кумгана. (Агабаба говорил, будто логман (великий врач) сказал: пойди на базар, купи джан (живое), то есть купи мясо; если не будет джан, купи полуджан, то есть яйца; если и этого не будет, тогда купи захримар (яд), то есть простоквашу.)

Обычно Кумгану давали есть три раза в день: утром, днем, вечером, и еду для Кумгана Агабаджи готовила сама: замешивала ячменную муку, делала из нее колобок, иногда из ячменной муки и подсоленной воды делала болтушку, и еще если от обеда оставалось что-нибудь, эти остатки давали Кумгану. Иногда бывали косточки. Агабаджи обычно покупала мякоть мяса, потому что это было выгоднее, она или долму[1] готовила, или кюфту-бозбаш[2], или каждому из детей по котлетке, но в большинстве случаев она выпекала из теста дюшбере или кутабы. Правда, возиться с тестом дело хлопотное, но это себя оправдывало, никто голодным не ходил. Иной раз Агабаба утром, еще до работы, совсем рано, вытаскивал из курятника курицу, через некоторое время Агабаджи

---

[1] Долма — голубцы из виноградных листьев.
[2] Кюфта-бозбаш — азербайджанское национальное блюдо.

разделывала ее, и в такой день Кумган бывал очень доволен, потому что, разумеется, все кости ему доставались, и вот особенно в зимние дни, когда все вокруг покрывал снег и Кумган, выглядывая из своей будки во дворе, хрустел куриными косточками, в черных глазах собаки было столько тепла и света, что этот свет, это тепло никак не вязались с зимним холодом, метелью. Когда же Агабаба с лопатой в руке расчищал от снега подходы к будке, Кумган осторожно откладывал в угол куриную кость, выходил из своего убежища и так славно терся своей белой, неотличимой от снега головой о ноги Агабабы, что эта благодарность животного откровенно трогала такого мужчину, как Агабаба, проездившего полжизни по дорогам Апшерона, попадавшего в разные переделки, в снег и в буран.

...Тогда был самый конец весны, и в один из последних весенних вечеров, ровно четыре года назад внезапно разразилась гроза, засверкали молнии, начался такой осенний дождь — ужас, поднялся такой ветер, какой может дуть только на Апшероне в один из последних весенних вечеров, и Агабаба и Агабаджи испугались, что виноградные лозы во дворе, инжир, гранат, тутовник — все пропадет, но дождь так же внезапно прекратился, как начался, а ветер все не унимался.

В этот последний весенний вечер Агабаба сидел на веранде, пил чай и смотрел во двор. Тускло поблескивали покрывшиеся свежими листочками ветки деревьев, эта неожиданно окутавшая все вокруг весна принесла с собой какую-то грусть, какую-то печаль. Внезапно сердце Агабабы сжалось, он вдруг подумал о детях. Балададаш, Агагюль, Нухбала, Наиля, Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Беюкханум по одиночке прошли перед глазами Агабабы, когда они вырастут, кем будут, кому достанутся девочки, как они будут жить-поживать, что станется с мальчиками? Вдруг Агабаба подумал и о том, что пройдут дни, пройдут годы, на этом свете наступит такое время, когда на земле не будет не только Агабабы, не только Агабаджи, но и ни одного из этих детей; придет день, когда эти дети, которые сейчас открывают рты, просят есть, болтают, смеются, шумят, лягут в конце концов в сырую землю, то есть вырастут, состарятся и умрут. От этой внезапной мысли все тело Агабабы мгновенно покрылось холодным потом, сердце заколотилось, и Агабаба, не допив чаю в изогнутом стаканчике армуду, на

ватных ногах вышел во двор, он и сам не помнил, как спустился к морю в этот ветреный весенний вечер, как подошел к скалам.

Ясное дело, в этой внезапно пришедшей в голову Агабабы мысли не было ничего нового, кто пришел однажды в этот мир, должен однажды и уйти, это было известно, но вдруг стало известно и то, что когда подумаешь об этом, поставишь перед своим мысленным взором всех своих детей поодиночке и подумаешь, что когда-нибудь, в будущем, наступят девять отделенных друг от друга дней и эти девять дней унесут эти девять жизней — по одному в сырую землю, тут можно сойти с ума, все теряет цену: и это море, и эти скалы, и этот песок, и этот ветреный весенний вечер — весь мир показался Агабабе не стоящим одной черной копейки.

Потом Агабаба, медленно прохаживаясь по морскому берегу, много думал о людях, о мире, думал, что если мир такой бренный, то почему их завгар Кямалов такой мерзавец, стоит человеку вынуть руку из кармана, чтобы, извините, почесать спину, как он считает, что ты сейчас вынешь деньги и дашь ему взятку, и вообще, если этот мир такой бренный, если всем в конце концов — сырая земля, почему люди ссорятся друг с другом, ругаются, не ладят и даже пишут друг на друга заявления. (Зимой приходили двое, проверяли двор Агабабы, потому что в районный исполнительный комитет пришло анонимное письмо, будто Агабаба устроил в своем дворе парник, выращивает розы, отвозит и продает их в Москву на площади перед Ярославским вокзалом.) Агабаба подумал обо всем этом, ругнулся про себя, потом ему вспомнились две строчки из стихов, которые библиотекарь Наджаф читал на поминках, на свадьбах:

Он обманет тебя, этот старый колдун,
Этот молодой остающийся мир,—

и Агабаба вдруг увидел, что рядом с ним идет большой щенок.

Агабаба остановился. И щенок остановился. Мокрющий, с грязными от песка лапами, этот щенок дрожал от холода на пустынном морском берегу, и Агабаба прямо как ребенок подумал: о несчастный зверек, в чем твоя вина, что ты пришел в этот мир, пришел и остался совсем один, попал под дождь, и щенок как будто почувствовал, что его пожалело другое, единственное кроме него живое

существо в этой огромности моря, в этой огромности земли и неба в этот ветреный темный вечер, и щенок прижался к ногам Агагабы. Какое-то время они стояли так, потом Агабаба решил вернуться домой, вернуться к своим большим и малым детям, но щенок не отставал, путался в ногах, и, конечно, Агабаба в то время не знал, что этот щенок уже навсегда связан с его домом, этот щенок вырастет у них во дворе, станет их собакой, причем умной собакой, и имя у нее будет Кумган.

Поднимаясь в поселок, Агабаба хотел запутать щенка, но это было похоже на игру в кошки-мышки, причем кошкой был щенок, но запутать его оказалось невозможно, щенок не отставал ни на шаг.

Это был смешной щенок, и самым странным было то, что он совершенно освободил голову Агабабы от печальных мыслей, развеселил его своей малостью, упорством...

...Из-за скалы сначала послышался голос Амиргулу:

— Я знаю, где он прячется!

Потом показался сам Амиргулу — как будто в этот тихий день, в этот дневной зной дул сильнейший ветер, и этот ветер действовал только на Амиргулу: Амиргулу раскачивался, как белье на веревке, за ним показался птицелов и охотник Фазиль с ружьем в руке, потом садовник Асадулла, а с ним галдящие ребятишки.

Амиргулу, подняв руку вверх, говорил:

— Я знаю, где он пропадает! — причем, произнося эти слова, он смотрел себе под ноги, как будто потерялся не Алабаш, а обручальное кольцо Хейрансы и Амиргулу искал это кольцо в песке. (Хейранса иногда говорила Амиргулу: «В тот день, когда я надела твое обручальное кольцо, лучше бы мне на голову черный камень упал, о аллах, да ведь так и получилось!»)

Охотник Фазиль и все эти люди в этот тихий летний день искали Алабаша.

По поселку разнесся слух, что Алабаш прячется в скалах и сегодня утром чуть не укусил милиционера Сафара, а у милиционера Сафара в кобуре на боку не пистолет, а как обычно бутерброд на завтрак, поэтому он не мог застрелить пса. (Потихоньку занимавшаяся мелкой спекуляцией и больше всех в поселке ненавидевшая милиционера Зубейда, услыхав об этом, сказала: «Чтоб ему пусто было, проклятому!»)

Свое ружье садовник Асадулла оставил дома.

— У меня рука не поднимется убить Алабаша! — ска-

зал он и пошел к охотнику Фазилю, который любил такие вещи, и теперь все вместе поднялись на скалы и начали искать Алабаша.

Кумган внимательно посмотрел на этих людей. Он знал их всех, и знал, что это за длинная штука в руках охотника Фазиля.

Кумган посмотрел на этих людей, потом посмотрел на спокойное синее-синее море, на голубое чистое небо, на неподвижный желтый песок, снова посмотрел на людей и как будто не понял их, не понял, почему эти люди вместо того, чтобы купаться в море, лежать на этом песке, загорать под этим солнцем, полезли в скалы с шумом и криком.

Амиргулу, поднимая руку вверх, все говорил:

— Я знаю, где он! Знаю!

Голые скалы так раскалились под солнцем, что Кумган не мог устоять на месте и часто поднимал лапы. Несколько дней назад в такую вот жару небо внезапно нахмурилось — мгновенными переменами погоды и знаменит Апшерон! — пошел дождь, поэтому во впадинах скал, выбоинах все еще оставалась вода, и Кумган, как только видел эти лужицы, бросался туда, мочил лапы, а когда люди, заглядывая в расщелины, удалялись, снова бежал их догонять.

— Я знаю, где он! Знаю!

Охотник Фазиль поднял ружье и выстрелил в воздух.

От этого внезапного звука все вздрогнули, вздрогнул и тот одинокий кулик на морском берегу, вздрогнул и взлетел... Кумган, поджав одну лапу, сощурил свои черные глаза, посмотрел в небо и как будто удивился, раз с неба ничего не упало, значит, в небе ничего нет, а раз в небе ничего нет, тогда зачем направили в это чистое, спокойное небо эту длинную штуку и выстрелили?

Охотник Фазиль сказал:

— Из этого ружья я медведя свалил, э, что мне пес?! Сейчас у него только мозги брызнут!

Садовник Асадулла, шагая за охотником Фазилем, говорил про себя: «Чтоб ты провалился! И отец твой был такой же шакал. Этому негодяю как будто медаль дадут за убийство!»

Амиргулу, подняв руку, снова сказал:

— Я знаю, где он! Знаю! — Потом, сильно качнувшись, обеими руками подтянул брюки, потому что они как всегда сползали с него.

В это время из-за скалы впереди выскочила собака, и тут же Фазиль вскинул свое ружье, приложился, а садовник Асадулла отвел дуло в сторону, и пуля на этот раз улетела в море.

Садовник Асадулла закричал:

— Не видишь, это другая собака?!

Бежавший к людям Тавар испугался выстрела и, будто в него попали, повизгивая, помчался прочь; Тавар был в диком страхе.

Кумган посмотрел, как бежал Тавар, потом, часто поджимая лапы, снова двинулся за людьми, и тут внезапно послышались такие дикие звуки собачьей грызни, что у людей волосы встали дыбом. Все застыли на месте, словно пораженные неистовым собачьим визгом и лаем; у охотника Фазиля задрожали руки, и садовник Асадулла, посмотрев на дрожащие руки охотника Фазиля, подумал: «Вы только посмотрите на этого храбреца! Медведя убил! На тебе!.. Убил...»

Амиргулу сделал четыре шага вперед, причем он больше не качался, как будто произошло чудо, и в такое время дня, в полдень, Амиргулу оказался трезвым.

Охотник Фазиль и садовник Асадулла тоже потихоньку двинулись вперед. Дети, умолкнув, не трогались с места. Кумган, усевшись на задние лапы между детьми и взрослыми, открыл пасть и задышал часто-часто. Охотник Фазиль, обернувшись, посмотрел на Кумгана и удивился, что собака Агабабы даже не лает в сторону грызущихся псов.

Амиргулу еще немного продвинулся вперед, и тут из-за скалы выкатились клубком две собаки, Алабаш, оторвавшись от глотки Сарыбаша, бросился на Амиргулу. Несчастный Амиргулу мигом повернулся и побежал, издавая животные вопли.

Алабаша можно было узнать только по размерам, обрезанным ушам и хвосту, а так Алабаш больше уже не был Алабашем, за эти три дня он облысел, покрытые белым налетом глаза расширились, взгляд стал диким, изо рта шла пена.

Амиргулу мчался с этими животными воплями (дети потом пустили слух, что, когда взбесившийся пес садовника Асадуллы преследовал Амиргулу, Амиргулу бежал и со страху звал на помощь Хейрансу), и когда Алабаш уже почти настигал его, садовник Асадулла закричал прямо в ухо Фазилю:

— Слушай, ну стреляй же!

Охотник Фазиль, отведя взгляд от взвизгивающего и корчащегося на земле Сарыбаша, прижал ружье к груди, и одновременно с выстрелом Алабаш подпрыгнул и упал на землю, и садовник Асадулла на этот раз невольно подумал, что хорошо стреляет, сукин сын.

Алабаш поскреб когтями землю и, сильно вытянув задние лапы, испустил дух.

Сарыбаш, лизнув свой ободранный бок, покачиваясь, поднялся на ноги, посмотрел на лежавшего недвижно Алабаша, потом посмотрел на охотника Фазиля с ружьем в руках, и в полных ужаса и боли глазах пса вдруг сверкнула искорка радости, Сарыбаш, покачиваясь, оставляя за собой кровавые следы, поплелся к своему хозяину.

Все, отведя глаза от Алабаша, смотрели на Сарыбаша, тишина была полная.

Охотник Фазиль сказал:

— Из тебя больше собаки не выйдет! — и, нарушая традицию поселковых мужчин, очень неприлично выругался при детях, затем, прижав ружье к плечу, выстрелил Сарыбашу прямо в лоб.

Вот так четвертый выстрел охотника Фазиля нарушил тишину этого летнего дня, и Кумган, так и сидевший на задних ногах, после этого четвертого выстрела два раза тявкнул на охотника Фазиля.

Охотник Фазиль, проходя мимо Кумгана, хотел со злости пнуть ногой эту собаку, чтобы она завизжала, но вспомнил, что это как будто собака Агабабы, и подумал, что такие шутки с Агабабой кончатся для него плохо, он не ударил Кумгана, только плюнул в его сторону и на этот раз не громко, а тихонько, себе под нос очень неприлично выругался.

Охотник Фазиль, садовник Асадулла и дети направились в поселок: охотник Фазиль шел, чтобы посмотреть, на кого излить свою злость — на жену, на тестя или на другого человека, садовник Асадулла пошел за лопатой и киркой, чтобы вернуться и закопать собак, дети пошли, чтобы рассказать эту историю всем, кто не видел.

Все ушли. Только Кумган стоял там же, где стоял все это время.

Море как и прежде было синее-синее и спокойное. Небо — безоблачное, солнечное. Берег опять был пуст. Вдоль берега от песка поднималось легкое марево, и сей-

час в этой тишине, покое казалось, что недавно прозвучавшие четыре выстрела прозвучали давным-давно, как будто в этой тишине, в этой благодати ни стрельбы не могло быть, ни собачьей грызни.

Кумган снова посмотрел на небо, снова на море, снова на берег и снова увидел на берегу того же одинокого кулика, но теперь уже Кумган не стал играть с ним в догонялки.

Что же касается Амиргулу, то у Амиргулу недавно брюки спереди промокли, и Амиргулу устроился на скалах, чтобы снять брюки и высушить, а потом пойти и посмотреть, пораскинуть умом, что ему делать.

Амиргулу давно уже не был таким трезвым, и, понятно, терпеть такую трезвость было очень трудно.

Как говорится, такие вот дела.

3

Был вечер этого тихого жаркого летнего дня, вся немалая семья Агабабы собралась на веранде. Могло быть три причины для такого всеобщего семейного сбора: или Агабаджи приготовила что-нибудь вкусненькое, или скоро по телевизору начнется концерт Зейнаб Ханларовой, или пришло письмо от Балададаша либо Агагюля.

На этот раз это было письмо, и это письмо Агагюль написал Нухбале, и теперь Нухбала громко читал это письмо, а все внимательно слушали:

Агагюль написал такое письмо:

«Я тебе, мой брат, пишу
И тебя писать прошу.

Мой дорогой младший братик Нухбала, после привета, если ты спрашиваешь обо мне, то я жив и здоров, чего и тебе желаю.

Нухбала, ты теперь у нас в доме единственный брат, и ты теперь должен делать так, чтобы никто не втоптал в грязь и мою, и нашего старшего брата Балададаша папаху, присматривай за девочками, ты теперь должен сделать так, чтобы они были достойными девочками, как наша мама Агабаджи — достойная женщина. (В этом месте Агабаджи не выдержала и, вытирая слезы полотенцем, сказала: «Да буду я твоей жертвой, Агагюль!»)

Нухбала, ты теперь должен больше помогать нашему отцу Агабабе, потому что содержать такую большую семью очень трудно, к тому же наш отец Агабаба — на-

стоящий мужчина (тут Агабаба очень быстро отвернулся к окну, как будто кто окликнул его со двора, но и Агабаджи, и дети поняли, что он смутился, растрогался...).

Нухбала, когда человек далеко, он о многом думает. Когда вернусь, я тоже должен засучить рукава, начать зарабатывать деньги, потому что мы должны выдать замуж наших девочек достойно нашего имени.

Нухбала, остальное я напишу в следующем письме. Сократив расстояние, целую всех домашних. Передавай от меня приветы нашему отцу Агабабе, нашей матери Агабаджи, Наиле, Фирузе, Кямале, Амине, Дильшад, Беюкханум.

Нухбала, не забывай заботиться о Кумгане.

Подпись — я сам,
Конец — словам.

Твой средний брат Агагюль».

Агагюль вложил в конверт и фотокарточку, где он снят в военной форме, а на обратной стороне Агагюль красным карандашом провел на всю длину расчески три волнистые линии и на этих трех волнистых линиях написал:

«Мой дорогой младший брат Нухбала!
Не вспоминай, как посмотришь,
А как вспомнишь, посмотри!»

На этой веранде вечером этого тихого жаркого дня фотокарточка Агагюля в военной форме несколько раз перекочевала из рук в руки, и Агабаба, поглядывая на своих дочек, словно припоминал что-то, поднявшись с места и спускаясь с веранды во двор, он в первый раз с полудня заговорил с женой:

— Завтра сделай плов!

Это означало, что завтра рано утром, перед работой Агабаба вытащит из курятника двух кур, зарежет и под вечер все, собравшись на веранде, будут есть плов и Агабаджи положит порцию Агабабы в кастрюльку и отставит в сторону; когда ночью Агабаба придет с работы, Агабаджи разогреет кастрюльку, подаст Агабабе его порцию, а сама сядет рядом и, выкладывая одну за другой поселковые новости, будет смотреть, как Агабаба ест плов.

Агабаджи сказала:

— А ну-ка поскорее! Наиля, принеси рис! Фируза, принеси стакан! Дильшад, подай таз!

Когда Агабаджи готовила плов, она варила десять — двенадцать стаканов, потому что семья была большая, приправы было маловато, к тому же дети хлеб с рисом не ели, а так как риса было много, Агабаджи начинала его перебирать с вечера.

Наиля принесла рис. Фируза принесла стакан. Дильшад принесла таз. Кемаля, Амаля, Беюкханум тоже собрались вокруг стола. Агабаджи отсыпала из мешка двенадцать стаканов риса, высыпала его в таз и поставила таз на середину стола. Девочки и Агабаджи, каждая со своей стороны, взяли по горсти риса, высыпали перед собой на клеенку и стали перебирать рис, купленный Агабабой по сходной цене у Мкртыча, водителя маршрутного автобуса «Баку — Ленкорань».

Нухбала вложил письмо Агагюля в конверт и отнес конверт в то отделение платяного шкафа, где лежали самые ценные вещи дома — обручальное кольцо Агабаджи и еще ее кольцо с изумрудом, партийный билет Агабабы, письма Балададаша, квитанции об уплате за электросвет и другие подобные вещи, потом Нухбала поместил фотографию Агагюля в щель между рамкой и стеклом круглого зеркала, висевшего на стене рядом с фотографией Балададаша в военной форме, затем, выйдя из дома, забрался под навес посреди двора, снял брюки, рубашку, сел на постель, вынул из кармана брюк сигарету «Аврора», потихоньку закурил, держа сигарету в кулаке, чтобы Агабаба не видел, откинулся на подушку, посмотрел на луну, посмотрел на звезды, вдруг Нухбала увидел себя в военной форме, увидел, что он послал домой письмо и все, собравшись на веранде, читают его письмо, а мать, Агабаджи, вытерев слезы полотенцем, говорит о нем: «Да буду я твоей жертвой, Нухбала!», отец, Агабаба, из-за него растрогается, и завтрашний плов готовится из-за его письма, и сейчас такое же солдатское письмо Нухбалы читает и Наргиз, прячась от братьев, потихоньку. Наргиз тоже разделась и легла, и читает письмо Нухбалы в лунном свете. Нухбала увидел Наргиз, с которой учился в одном классе, в постели, и тут он очень глубоко затянулся сигаретой.

В нижней части поселка построили санаторий для военных, санаторий уже начал работать, и с этого года стало меньше комаров, потому что военные с вертолета

обсыпали камыши между скалами и поселком каким-то порошком, и после этого дело дошло до того, что Нухбала в эту знойную летнюю ночь лежал под навесом без всякого полога и, глядя на звезды, думал о Наргиз и вообще о том, что такое любовь.

Эта ночь была очень тихой и звездной, и луна, как обычно в такие тихие ночи, проложила по морю блестящую дорожку, и мелкие волны все гнали и гнали эту полоску света на берег. Поселок еще не спал, окна светились, горели электрические лампочки, висящие над воротами, на улицах было пусто, даже молодежь, юнцы не говорили о футболе, не пели, собравшись в привокзальном садике, перед клубом, из-за этого зноя все разошлись по дворам, тишину временами нарушали только гудки едущих в Баку и из Баку электричек, да еще по радио передавали концерт в исполнении Гаджибабы Гусейнова, из многих домов поселка доносился голос Гаджибабы Гусейнова; казалось, что несколько певцов тихонько поют хором.

А теперь Гаджибаба Гусейнов пел на слова Физули, и эта песня красноречиво рассказывала о том, что творится в сердце Нухбалы, но во всем поселке никто не знал об этом, никто в поселке об этом даже и не догадывался.

В этот вечер Агабаба, словно все время припоминая что-то, не мог найти себе места во дворе и, открыв калитку, вышел на улицу, может быть, там есть кто-нибудь, с кем можно парой слов перекинуться, хоть немного развеяться, но в этот вечер на Агабабу как будто кошка кашлянула, только он вышел на улицу, сразу на него пахнуло сивушным запахом, потом вывернулся из-за угла Амиргулу и, увидев Агабабу, остановился, покачиваясь, потом сказал:

— Жаль, тебя не было, Агабаба, сейчас я наелся верблюжьих кутабов, так наелся — больше некуда!

Агабаба произнес:

— Хорошо сделал. На здоровье!

И, сказав эти слова, Агабаба повернулся, снова открыл калитку и опять зашел к себе во двор.

Ясное дело, Амиргулу все выдумал, в этом поселке, да и вообще в этих краях последнего верблюда зарезали самое близкое двадцать — двадцать пять лет тому назад, и Амиргулу верблюжьи кутабы мог есть разве только во сне — это было совершенно ясно, но неясно было, что же

все-таки случилось с Агабабой? Вместо того чтобы радоваться тем прекрасным словам в письме Агагюля, снова внезапно сжалось сердце, хотя сыновья, что ж, сыновья, они — ничего, растут мужчинами, но вот дочери, дочери опять прошли поодиночке перед глазами Агабабы — и Наиля, и Фируза, и Кямаля, и Амаля, и Дильшад, и Беюкханум; они посмотрели Агабабе прямо в глаза, и — будто их так уж мало — еще одна готовилась-собиралась на белый свет, но откуда он знает, кто окажется на этот раз? Девочка или мальчик, ребенок есть ребенок, дело было не в этом. А в чем?

Поселок понемногу засыпал, гасли окна, выключались телевизоры. Вылетели на охоту летучие мыши. Задул легкий ветерок, и этот легкий ветерок, поколыхивая виноградные, инжирные листья, слегка отгибал их в сторону моря.

И в ту же ночь Агабаба перед тем, как погасить свет и лечь в постель рядом с Агабаджи, сказал:

— Ладно, делай, как знаешь, только чтоб люди были приличные.

Агабаба сказал эти слова, а про себя вроде усмехнулся — мол, где теперь приличные люди, потом лег в постель, нога Агабаджи коснулась его ноги, и на этот раз он подумал: что еще за разговоры, приличные люди, неприличные люди, в чем дело, что случилось?

Агабаджи вздохнула свободно — у женщины будто камень упал с души — и сказала:

— Да буду я твоей жертвой, Агабаба, большое спасибо!

Через некоторое время храп Агабабы разнесся по всему их двору — и не только по двору... (Однажды их соседка Хейранса пожаловалась женщинам в поселковой бане, что по ночам спать не может из-за храпа Агабабы, и Агабаджи, услыхав об этом, поскандалила с Хейрансой, лучше, мол, думай по ночам о своем несчастном Амиргулу, а какое тебе дело до моего мужа? Но это было давно, и уже давно Хейранса и Агабаджи помирились. И дети, и сама Агабаджи так привыкли к храпу Агабабы, что когда Агабаба не ночевал дома, работал в ночную смену, то есть когда не раздавался храп Агабабы, они не могли заснуть, будто весь этот дом, этот двор, без головы, без хозяина, был уже совсем не их дом, не их двор.)

В летнее время Агабаба и Агабаджи спали в малень-

кой пристройке к дому, девочкам же стелили палас на веранде. Мальчики с конца весны спали под навесом во дворе, и под этим навесом остался теперь один Нухбала, и Нухбала, как следует поразмыслив о том, что такое любовь, сейчас сладко спал. И уснули все девочки, улегшись рядышком на паласе. Агабаджи думала о своих будущих квартирантах до тех пор, пока не сморил ее сон.

Кумган, стоя под тутовым деревом, навострил уши, устремив глаза на дыру в нижней части забора. Сорвался с места, но заяц оказался проворнее собаки и скакнул в свою нору.

В последнее время, с одной стороны, совхоз на свои поля, с другой стороны, торговцы зеленью, цветами на свои личные участки высыпали столько ядохимикатов, столько удобрений, что зайцы переселились с полей во дворы. Как будто зайцы поняли, что хозяин этого дома, то есть Агабаба,— человек, живущий честным трудом, с ядами, химическими веществами дела не имеет. Агабаба не носил зелень на базар мешками, в зимние месяцы перед московскими, ленинградскими вокзалами не продавал роз. Агабаба ухаживал за землей в своем дворе по обычаям предков, и овощи с его огорода, инжир — виноград, гранаты, абрикосы, айву, миндаль видела только его семья. Конечно, тут была еще одна сторона, которой зайцы не понимали: прежде всего Агабаба брезговал заячьим мясом, он говорил, что заячьи ноги похожи на кошачьи и, чем есть заячье мясо, лучше пожарить картошку, а с другой стороны, Агабабе казалось, что убивать зайцев и разорять их норы — это все равно, что срубить под корень и вот это, к примеру, инжировое дерево или айву.

А Кумган знал свое дело, не подпускал зайцев близко к огороду позади дома, и зайцы уже тоже знали Кумгана, зайцы знали, что ночью, когда наступит тишина, уйдут люди, эта белая собака начнет здесь прогуливаться, и эта собака — не такая уж злая, не страшная, во всяком случае, с этой собакой во дворе жить можно.

Милиционер Сафар говорил, что какой характер у хозяина, такой характер и у собаки. Милиционер Сафар говорил, вот, например, легавая охотника Фазиля (тот самый Сарыбаш, который был сегодня в полдень укушен взбесившейся собакой садовника Асадуллы и застрелен охотником Фазилем) по характеру и даже по внешнему виду — как будто копия своего хозяина. (Поселковые ребята говорили, что охотник Фазиль отрезал у подстре-

ленных им птиц головы и давал Сарыбашу, и легавая так к этому привыкла, что как только находила добычу, не дожидаясь хозяина, отгрызала и съедала голову, а охотник Фазиль как ни в чем не бывало отвозил этих птиц в Баку и продавал их людям на базарах, и будто бы из-за этого кто-то заболел в Баку, и еще говорили, что легавая охотника Фазиля ест поганое мясо, потому что Сарыбаш с утра до вечера пил воду.) Милиционер Сафар говорил, вот, например, возьмем этого белого пса Агабабы, ясно, что он перенял характер своего хозяина, совсем не жадная собака.

На огороде опять лопнула дыня, и Кумган, навострив уши, посмотрел в сторону огорода. Садовник Асадулла привез из Узбекистана скороспелый сорт дыни; посадил у себя во дворе, и еще до сбора винограда эти большие желтые дыни уже поспевали. Садовник Асадулла в знак особого расположения дал и Агабабе семена этой скороспелой дыни, и в этом году в огороде Агабабы эти прибывшие из Узбекистана дыни выросли, пожелтели и созрели. По ночам, когда становилось попрохладнее, у этих дынь сама по себе с немалым шумом растрескивалась кожура. Кумган сначала не понимал, что это за треск, а потом все же разобрался, чьи это проделки.

Кумган в свете электрической лампочки, висящей на столбе у колодца, еле успел проводить глазами быстро пролетевшую летучую мышь, потом взобрался на широкий грабовый пень, на котором рубили дрова, оттуда махнул на крышу курятника, а с крыши курятника — на широкий каменный забор.

Некоторое время Кумган не отводил от моря своих посверкивающих в лунном свете черных глаз.

Может быть, Кумган вспомнил того одинокого кулика, может быть, у него были другие воспоминания, связанные с морем,— во всяком случае Кумган думал; по крайней мере, всей своей позой он выражал глубокую задумчивость, потом, отвернувшись от моря, посмотрел на спящие дома поселка и, навострив уши, прислушался — кроме храпа хозяина, кроме редких стуков падающих на землю еловых шишек да еще шороха листьев большого тутового дерева, других звуков не было, и Кумган, задрав голову, долго всматривался в сплошную темную массу шелестящих над ним ветвей и листьев.

В поселке говорили, что это тутовое дерево сто с лишним лет назад посадил человек по имени Мешади Мух-

тар и будто бы этот Мешади Мухтар — прадед жены милиционера Сафара; у Мешади Мухтара утонул в море девятилетний сын Ахмед, и Мешади Мухтар посадил тутовое дерево на улице, ухаживал за ним, вырастил, чтобы дух Ахмеда радовался, когда каждый будет класть себе в рот по ягодке. В поселке Ахмедово дерево называли обычно «поминальный тут». Конечно, Кумган обо всем этом не знал, но в эту пору лета, то есть в начале июля, под сенью этого дерева сидели на толстых ветках и лакомились тутовыми ягодами ребятишки, шумели, галдели, и, может быть, Кумган вспоминал сейчас об этом,— после того дневного шума и крика, выстрелов, суматохи и переполоха. Кумган отвернулся от поминального тута, словно нехотя посмотрел на скалы, и сразу же отвел от них взгляд, будто он был виноват в чем-то, связанном с этими скалами, будто сделал что-то не то; вслед за этим Кумган тихонько тявкнул дважды в сторону скал, сложил крестиком передние лапы, опустил на них голову и тихонько заскулил, как бы прощаясь навсегда в эту летнюю ночь с Алабашем и Сарыбашем.

Потом Кумган спрыгнул на крышу курятника, с нее — прямо на землю и побежал к своему огороду.

4

Сначала парень взмолился тонким визгливым голосом:

— Лейли! Лейли!

Потом девушка низко, чуть ли не баритоном спросила:

— Что, Меджнун?

Потом они запели вместе:

Что же нам делать?
Ибн Сина идет свататься,
О горе, горе!

И снова визгливо взвился голос парня:

— Мой цветок, моя пери!
Не могу без тебя!

Недаром говорят: лучше быть дураком, и пусть тогда у других голова болит, подумала Агабаджи. Агабаджи подумала это, но было неясно, чем она недовольна, этой пластинкой или своими квартирантами. Вчера ночью, ко-

гда они ложились спать и Агабаба сказал, что ему не по душе эти, что наверху, Агабаджи успокоила Агабабу: «Груша не бывает без червяка, а человек — без недостатков, спи, Агабаба...», но Агабаба уходил с утра, возвращался поздно и ничего не знал об этих делах.

Ровно пять дней продолжался этот концерт, ровно пять дней этот парень женским голосом взывал к Лейли, и девушка чуть ли не баритоном спрашивала: «Что, Меджнун?» — а потом они пели вместе.

Амина-ханум заводила эту пластинку в полдень и включала звук на полную мощность, затем, стоя у окна застекленной веранды, она принималась за черешню.

О аллах, разве можно есть столько черешни? Ведь говорят, что от черешни у человека живот болит, так почему же у нее с животом ничего не случается? Агабаджи очень старалась не сердиться на квартирантов, но это было совершенно невозможно. Агабаджи откровенно злилась на них, но по известной причине враждовала она с ними в глубине души, и такая вот тайная злоба превратила жизнь Агабаджи в ад (предки как раз в таких случаях говорили: нет ничего хуже, если огонь пожирает тебя изнутри; предки были отличные мужчины и обычно слов на ветер не бросали).

Вот уже пять дней, как Агабаджи с Агабабой сдали свои комнаты внаем, а сами перебрались в полуподвал и маленькую кладовку рядом с кухней (зимой здесь хранили дрова). Агабаба укрыл брезентом пространство под верандой. Агабаджи расстелила там палас, и девочки спали на паласе. Вчера ночью было так жарко, что Агабаджи и Агабаба не вынесли этой жары, выйдя из кухни, впервые в своей жизни, то есть впервые, когда оба они были дома, спали врозь, причем вместе с детьми: Агабаджи постелила Агабабе под верандой в одном конце, а себе — в другом, так что девочки спали между ними.

И вот уже пять дней, как Нухбала приходил домой поздно, приходил после того, как их жильцы гасили свет и засыпали, потому что Наргиз сказала Нухбале, поклянись, что никогда в жизни не полюбишь никого, кроме меня; и Нухбала поклялся жизнью своего старшего брата Балададаша, что в жизни не полюбит никого, кроме Наргиз, на другую девушку не посмотрит даже уголком глаза, и поэтому Нухбала приходил домой поздно, приходил поздно, чтобы не видеть из-за навеса в окне вто-

рого этажа, как Амина-ханум раздевается, не видеть ее грудь, похожую на полное молока коровье вымя, большой зад, не видеть, как эта женщина расхаживает по комнате перед мужем голая (Нухбала злился не только на Амину-ханум, но и на Башира-муаллима: «Этот сводник-муж почему свет не гасит или хотя бы занавеску не задергивает?!»).

Их было четверо, новых жильцов во дворе и в доме Агабабы, целых четыре новых человека: Башир-муаллим, лет пятидесяти, среднего роста, смуглый, с кудрявыми черными волосами, но потом обнаружилось, что и волосы, и свои тонкие усы он красит, Агабаба внимательно пригляделся и понял это, и после этого уже не мог смотреть на Башира-муаллима, и потом от Башира-муаллима всегда пахло духами или одеколоном; Амина-ханум, ей было меньше сорока, беленькая, как яйцо, каштановые волосы, светлые глаза, нельзя сказать, что некрасивая; сын их Адиль, они звали его Адиком, и этот Адик в этом году кончил школу; дочка Офелия, ее звали Офа, перешла в шестой класс и была, наконец, то, что всю эту семью объединяло, и отец был толстый, и мать была толстая, и дети были толстые, все были толстые (жена Амиргулу Хейранса, когда впервые увидела квартирантов своих соседей, чуть не покатилась со смеху, потому что, как только она увидела этих толстых людей, ей вспомнился один известный всему поселку разговор, над которым мужчины смеялись в чайхане, а женщины в бане: после того, как охранник Гасанулла вернулся из мест отдаленных, он некоторое время жил в поселке холостяком, потом решил жениться, и, когда один из аксакалов села мясник Ага-киши спросил, на ком охранник Гасанулла хочет жениться, охранник Гасанулла сказал: жените меня на ком хотите, только чтобы она была как можно толще! Мясник Ага-киши, сидя со своими сверстниками в поселковой чайхане и попивая чай, сказал: «Оказывается, этот несчастный хочет жениться на квашне или на бочке. Ему не жена нужна в дом, а товар для пользования». И когда эта весть разнеслась по поселку, ясное дело, ни одна женщина не пошла за охранника Гасануллу, и охранник Гасанулла в конце концов сказал: «Шайтан их всех возьми!» — и поехал в Баку, подыскал там себе вдовушку, причем это была очень полная женщина).

Да, так все четверо квартирантов Агабабы были полные, но на самом деле их было не четверо, а пятеро, по-

тому что у них был приятель, звали его Калантар-муаллим, и этот Калантар-муаллим каждый божий день бывал в доме Агабабы, то есть приходил к квартирантам, но Калантар-муаллим был худой и длинный, у него была очень длинная шея и очень большой кадык, в общем, он был очень тощий человек.

Девушка с мужским голосом теперь запела другую песню, и от того, что пластинка, на которой была записана эта песня, треснула посередине, певица будто запиналась, и на весь двор неслось:

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гани, Гани!
С золотыми зубами па-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задевай ме-е-еня,
Потому что я бессты-ы-ыжая, Гани, Гани!

«Чтоб ты провалилась! Чтоб ты сквозь землю провалилась,— Агабаджи с такой злостью поставила чайник на верх самовара, что чайник наклонился и кипящая вода ошпарила ей большой палец.— Так мне и надо!» — сказала Агабаджи.

Потому что я бессты-ы-ыжая, Гани, Гани!

Эта самодельная пластинка была записана на какой-то свадьбе, такие пластинки продавали с рук у кафе «Наргиз» в Баку по очень дорогой цене, и все же находились любители, у которых в карманах всегда полно; и Амина-ханум просила мужа покупать ей эти пластинки у кафе «Наргиз», и вообще Амина-ханум очень любила такие самодельные пластинки и с удовольствием слушала их с утра до вечера.

Потом снова завопил женским голосом парень:

Захмелел я, красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

Будь проклята маклерша Зубейда. Зубейда привела этих квартирантов к Агабаджи. «Хорошие люди,— сказала она,— очень культурные люди!» Чтоб черный камень упал на голову этой сводни за то, что нашла квартиру, аллах знает, сколько она с них взяла, чтоб она добра от них не имела, так ей было будто мало, что она их к Агабаджи привела, еще и с Агабаджи пять рублей сорвала, мол, я тебе квартирантов отыскала! Очень хорошо сделала маклерша Зубейда, отлично сделала, потому что у того, кто слушает такого человека, как Зубейда,

ничего путного не получится. Потом Агабаджи подумала, что в доме должен быть один мужчина, что мужчина сказал, то и должно быть; Агабаба говорил, что не надо квартирантов пускать, и был, конечно, прав.

На этот раз, когда девушка опять пробасила: «Гани, Гани!», Кумган, стоявший под тутовым деревом, раза три тявкнул в сторону веранды, и тут стало ясно, что и Кумган тоже недоволен.

Кумган еще в первый день, наблюдая, присматриваясь к этим новым людям, к их повадкам, слушая их разговоры, сумел определить свое отношение к ним, и, наверно, милиционер Сафар правильно говорил, что характер собаки похож на характер ее хозяина, потому что Кумгану тоже, кажется, с первого же дня эти новые люди не понравились и потом он уже на них не смотрел и даже отворачивался от них.

Конечно, эти новые люди не переживали, понравились они Кумгану или не понравились, и вообще они были не из тех людей, которые переживают, только Офелия хотела найти общий язык с Кумганом, но у нее ничего не получалось.

Офелия с изумлением смотрела на дочек Агабабы, на этих босоногих девчонок, бегающих по двору с непокрытыми головами, едящих когда вздумается, не едящих когда не хочется, пьющих сырую колодезную воду; девочки эти были будто из совсем другого мира, и Офелия, скучая, хотела подружиться хотя бы с Кумганом.

Офелия тоже начинала день с черешни, после черешни — шоколад, после шоколада — котлеты, после котлет — курица, рыба, уставая от всего этого, Офелия спускалась во двор, стояла в тени финиковой пальмы рядом с собачьей будкой или сидела на одной из сколоченных Агабабой деревянных табуреток и смотрела на Кумгана, изредка позвякивавшего своей цепью.

Кумган не обращал внимания на эту чисто одетую, аккуратно причесанную толстую девочку с красным бантом в волосах, а когда девочка подходила к нему поближе, Кумган лаял, и Офелия тотчас испуганно отступала, и видевшая это с веранды Амина-ханум говорила с чувством:

— Совсем спятила!

Амина-ханум говорила так потому, что Офелия выносила из дома и бросала перед Кумганом котлеты и целые куриные ножки, кюфту, долму без листьев бросала перед

Кумганом, но Кумган ничего этого не ел, и забредавшие во двор кошки вороватo растаскивали все и убегали. Офелия расстраивалась чуть не до слез. Ведь она так ласково разговаривала, так его обхаживала, но все равно ничего не выходило. Кумган не смотрел на Офелию и не дотрагивался ни до одного лакомого кусочка.

Амина-ханум любила готовить и готовила хорошо, вкусно — об этом можно было узнать по запаху, по аромату. С утра — хаш, мясные блинчики, тавакебаб, днем и вечером — долма, довга, плов, чихыртма, гызартма, бозартма, но больше всего удавались ей особые, как она говорила, «фирменные» котлеты. (Жена Амиргулу Хейранса все удивлялась: «Очень богатые люди у тебя живут!» «Богатые — для себя, мне-то что?» — отвечала Агабаджи и кляла себя: верно предки говорили, богач да глупая женщина делают что хотят...).

Уже больше недели они жили здесь, но за это время Амина-ханум ни разу не вышла со двора на улицу, если бы уборная не была в дальнем конце двора, эта злодейка, наверно, и с веранды не спускалась бы. Башир-муаллим каждый день приезжал из Баку на такси и по утрам уезжал в город на такси (Агабаджи говорила, раз у этого человека столько денег, пусть бы купил себе машину; а Хейранса говорила, да он, наверно, боится, зарплата маленькая, наверно, а так почему бы не купить?) И каждый раз, приезжая из города, Башир-муаллим вылезал из такси и шел по двору, держа по полной корзине в обеих руках, и Амина-ханум сразу же начинала готовить вкусные блюда из тех продуктов, что были в этих корзинах.

Нухбала весь день проводил на берегу моря, загорел дочерна и, несчастный, по известным причинам домой приходил поздно ночью, домашние, можно сказать, его почти не видели. Девочки, нанюхавшись кулинарных ароматов Амины-ханум, уходили каждая к какой-нибудь подруге, и Агабаджи, догадываясь о причине этих уходов, только стискивала зубы. Что она могла сделать? Нарезать и пожарить на сковородке картошку, нарезать и пожарить баклажаны... Агабаджи стала как будто стыдиться своих детей, до этого времени в доме Агабабы такого не было, и это было самое ужасное.

Офелия говорила:

— Кумган! Кумган! — и все еще не теряла надежды подружиться с этой белой собакой.— Возьми! — она бро-

сала перед Кумганом только что приготовленную Аминой-ханум фирменную котлету из телятины, но Кумган отказывался от этой дружбы, и все тут.

Однажды у Агабаджи волосы встали дыбом, женщине показалось, что Кумган отвел глаза от брошенной Офелией котлеты, отвернулся и заплакал.

Вечером Агабаджи сказала Агабабе, чтобы утром он зарезал трех кур, и назавтра, когда она приготовила из этих трех кур чихыртму и все поели, Агабаджи собрала кости в одну посуду, вынесла и поставила ее перед Кумганом. И Кумган все эти кости с хрустом перемолол за пять минут.

В общем, тысяча и одна ночь, как говорил Агабаба, приведи ишака и нагрузи его своими печалями.

5

Башир-муаллим и Амина-ханум этим летом далеко не уехали и сняли дачу потому, что сын их Адиль в этом году поступал в институт и Калантар-муаллим поэтому ходил сюда каждый день, так как было известно, что Калантар-муаллим преподает в институте; во всяком случае, Калантар-муаллим был человеком, как-то связанным с институтом.

У Калантара-муаллима была красная машина «Жигули», и когда эта машина останавливалась у ворот Агабабы, это означало, что Калантар-муаллим привез из города какую-то новость, он торопливо поднимался на веранду, тихонько шептался с Баширом-муаллимом, а когда Башира-муаллима не бывало дома, шептался с Аминой-ханум; иногда, посадив Адиля в машину, отвозил его в Баку или отвозил готовиться к экзаменам, или с кем-то знакомить; Агабаджи точно этого не знала, но было ясно, что ребенка устраивает в институт Калантар-муаллим.

Где работал Башир-муаллим, было непонятно, он ездил на работу, в общем-то, когда хотел, но однажды Нухбала услышал на пляже от ребят, будто Башир-муаллим — директор одного из рынков в Баку; во всяком случае, ни Агабаба, ни Агабаджи никогда об этом не спрашивали, потому что, где работал Башир-муаллим, их не касалось; Агабаджи в душе считала дни, когда наступит конец августа и когда эти квартиранты уедут. И Агабаба в душе считал дни, когда эта история кончится.

С тех пор как Агабаба женился на Агабаджи, он почти всегда спешил домой, и особенно в последние годы — то ли из-за возраста, то ли еще почему — в последние годы, сидя за рулем маршрутного автобуса Баку — Бузовны, за день шесть раз туда, шесть раз обратно. Агабаба, проезжая мимо своего поселка, с трудом удерживался, чтобы не бросить на произвол судьбы полный людей автобус, не пойти к себе домой, чтобы Агабаджи, набрав ведро прохладной колодезной воды, прямо в середине двора опрокинула это ведро Агабабе на шею и на спину, а потом — еще, и Агабаба, хорошенько умывшись, поднимется на свою веранду и, попивая крепкий чай из грушевидного стаканчика — армуду, будет смотреть телевизор.

Кто бы мог подумать, что в таком возрасте Агабаба не будет спешить к себе домой, наоборот, попросится в автопарке на дополнительные рейсы, а дома будет говорить неправду, говорить: Агабаджи, мой напарник заболел, поэтому надо еще одну смену отработать.

Агабаджи все понимала, но вида не показывала, она уже устала корить себя и утешалась лишь тем, что больше никогда-никогда и никому не сдаст комнаты летом.

Словом, это была действительно не очень приятная история, недаром предки говорили: выигрывает покупающий, а не продающий. И увенчивала эту историю суета с шашлыком.

Суета с шашлыком началась в тот августовский вечер, когда запахи и ароматы дневных блюд Амины-ханум улетучились со двора и девочки вернулись от своих подруг домой и собрались вокруг телевизора. Еще до того, как в доме поселились квартиранты, Агабаба отнес свой телевизор вниз, под веранду. (У Башира-муаллима было целых два транзисторных телевизора, один они поставили на веранде, и этот телевизор смотрела Амина-ханум, а другой телевизор — японский, Офелия носила с собой по двору, и, поскольку Кумган поворачивался к ней задом, Офелия оставалась одна на весь Апшерон; у нее не было другого выхода, кроме как смотреть телевизор под смоковницей; конечно, этот маленький переносной телевизор был чудо как хорош, и, сидя в тени финиковой пальмы, смотреть такой телевизор было интересно; однажды Офелия даже Иран поймала, но ни одна из дочек Агабабы не приходила и не смотрела вместе с Офелией; Адиль тоже не смотрел; положив перед собой тол-

стую книгу, он в эту апшеронскую жару сидел в комнате, проливал пот, он готовился к экзаменам, и верно, книга всегда лежала перед несчастным Адилем, но в мыслях он улетал аллах его знает куда, иной раз он приходил в себя, смотрел на льва на стене и снова уносился куда-то, что же касается Башира-муаллима, то Башир-муаллим терпеть не мог телевизор, не увлекался он также и газетами и журналами, потому что Башир-муаллим говорил, что человек должен жить «натурально» и точка!

Да, так вот, в этот августовский вечер и Агабаджи, и девочки собрались перед телевизором под верандой, правда, это был старый телевизор, не так уж хорошо показывал, и Агабаджи много думала о том, чтобы заменить этот телевизор, купить новый, с экраном побольше, да чтоб яснее показывал, а то в этом изображение дергается, действует на нервы, но теперь это было ни к чему, потому что через некоторое время должен был начаться концерт оркестра народных инструментов и, как говорили, будет петь какая-то девушка, и петь еще лучше, чем Зейнаб Ханларова.

Поднялся легкий ветерок.

Агабаджи, поудобнее усевшись перед телевизором и с большим удовольствием ожидая начала концерта, сказала:

— Да нет, что ты, нет!.. Не может быть! Қак бы они там ни убивались, до Зейнаб им далеко! Одна-единственная! Нету таких больше!

В это время красная машина Қалантара-муаллима остановилась перед воротами, и на этот раз из машины, кроме Қалантара-муаллима, вылезли еще четверо мужчин, и, как только они вылезли, начался переполох.

— Башир-муаллим! Ай, Башир-муаллим. Иди посмотри, кто приехал!

В своих широких полосатых пижамных брюках Башир-муаллим с необычным для его полноты проворством спустился по ступенькам веранды:

— Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать!

Гости вошли во двор, они, как видно, недавно где-то встали из-за стола, поели-попили и вот приехали, потому что распространяли вокруг себя запахи спирта и курдючного шашлыка, один что-то выкрикнул, другой громко расхохотался, третий сорвал гвоздичку, будто она ему мешала, четвертый, плешивый, подпрыгнул, чтобы со-

рвать тутовую ягодку, и при этом белую свою рубашку красным соком выпачкал и ветку сломал — Агабаджи под верандой только благодарила аллаха, как хорошо, что Агабабы нет дома; у Агабабы сердце бы разорвалось, не вынес бы он этого, тут бы кровь была, неизвестно, что бы он сделал.

Тем временем Калантар-муаллим за руку вытащил из комнаты Адиля, гости увидели его и спросили:

— Это наш герой? — Потом похвалили: — Сразу видно, храбрый парень! — Потом, показав на плешивого, сказали: — Завтра ты будешь сдавать экзамен вот этому преподавателю, уважаемому Джаббару-муаллиму будешь сдавать экзамен! Держись крепче! Не бойся, он тебя не съест!

Амина-ханум, спустившись вниз, заглянула под веранду, срочно потребовала у Агабаджи мангал, шампуры, щипцы, угли, и, услышав, что в доме нет ни мангала, ни шампуров, ни щипцов, ни угля, Амина-ханум искренне удивилась:

— Ой, ну что тебе сказать, женщина! Военное время сейчас, что ли? Вы что, шашлыков не делаете?

Однако долго говорить у Амины-ханум времени не было, и Амина-ханум, отвернувшись от Агабаджи, торопливо приблизилась к Калантару-муаллиму. Калантар-муаллим как близкий человек наклонил голову, поднес ухо к губам Амины-ханум, и Амина-ханум стала что-то быстро шептать на ухо Калантару-муаллиму; Калантар-муаллим, внимательно слушая Амину-ханум, посмотрел в сторону семейства под верандой Агабаджи, укоризненно покачал головой и, поспешно выйдя со двора, сел в машину, и красная машина помчалась к шашлычной серебряного Малика на берегу моря.

Через некоторое время по всему двору, по всей округе распространился аромат шашлыка, все заволокло шашлычным чадом и жена Амиргулу Хейранса высунула голову из окна, чтобы посмотреть, что случилось, потом поняла, в чем дело, и наглухо затворила окно, чтобы в дом не набивался дразнящий запах.

Калантар-муаллим на привезенном из шашлычной серебряного Малика мангале жарил шашлык посреди двора, и, так как баранина была очень жирная, жир с шипением капал на угли и чад заволакивал все вокруг; Калантар-муаллим со слезящимися от дыма глазами раздувал угли, размахивая крышкой большого бака, в кото-

ром Агабаджи варила белье. Адиль же носил готовые шашлыки на веранду, капая жиром по всему двору, по лестнице.

А на веранде пиршество было в разгаре.

Башир-муаллим говорил:

— Честное слово, это армянский коньяк! А это — чечено-ингушский коньяк! Честное слово, чечено-ингушский коньяк! А это — дагестанский! Горные орлы произвели его! Честное слово, так!

Джаббар-муаллим говорил:

— По-моему, вы — необыкновенный человек!

Сафтар-муаллим говорил:

— Выпьем за здоровье этого необыкновенного человека. Потому что, если бы не было таких необыкновенных людей, этот мир — слишком много бы потерял!

Алисахиб-муаллим сокрушался по поводу утраты добрых старых обычаев и говорил: «О, аллах, что со всеми нами будет, почему у нас так мало таких мужчин, их так мало — таких мужчин, что не сыщешь и днем с огнем, и как хорошо сделал Калантар-муаллим, что привел их сюда и посадил рядом с таким мужчиной, как Башир-муаллим».

— Вы только взгляните на стол! — говорил Алисахиб-муаллим.— Вы посмотрите, какой стол, причем буквально за пять минут! Этот стол, я бы сказал,— олицетворение нашей нации, да!

Только Фарман-муаллим ничего не говорил, потому что часто икал, лицо его пожелтело, и было ясно, что Фарману-муаллиму нехорошо, мутит его.

Башир-муаллим сказал:

— Амина-ханум, если нетрудно, принеси Фарману-муаллиму простокваши, ему будет легче.

Джаббар-муаллим сказал:

— Слушайте, этот человек — чудо, клянусь совестью, чудо!

Калантар-муаллим снимал с мангала шампуры и по одному давал их Адилю, и Адиль боязливо брался за них, он боялся обжечься. Калантар-муаллим был в отличном настроении, и, находясь в таком настроении, Калантар-муаллим потирал руки и говорил:

— Чего ты боишься, дурачок? Ты уже поступил в институт, поступил, клянусь твоим отцом! — Потом Калантар-муаллим, чтобы уж совершенно уверить Адиля, кивнул в сторону веранды: — Клянусь, поступил!

Адиль бодро ухватился за шампуры.

Калантара-муаллима тянуло к веранде, и на какое-то время он как будто забыл о шашлыках на мангале, потому что Амина-ханум поглядывала с веранды во двор, причем из расстегнутого ворота шелкового халата Амины-ханум ясно виднелась ложбинка между ее грудями; потом Калантар-муаллим все-таки взял себя в руки и снова занялся мангалом.

И Агабаджи в тот вечер пришла в себя только после того, как девочки разбежались кто куда от этого острого запаха шашлыка, шашлычного чада, и девушка в телевизоре пела только для себя одной, потому что в это время в этом дворе поющую по телевизору девушку никто не слушал; потом Агабаджи услыхала звяканье цепи, рычание Кумгана, и женщина заспешила — вышла из-под веранды и направилась к собачьей будке.

Кумган сидел на цепи, и легкий ветерок относил прямо на него шашлычные запахи и ароматы.

Кумган, словно забыл, что он на цепи, бросался в ту, в другую сторону, рычал. Шерсть на загривке Кумгана встала дыбом, из пасти текла слюна, в глазах появился безумный блеск.

Когда Агабаджи подошла к будке, Кумган зарычал совсем грозно, и Агабаджи испугалась, да и мудрено было не испугаться при виде обезумевшего пса, из пасти которого капала слюна, вдруг женщине показалось, что Кумган не рычит, а воет как раненый волк; наконец Агабаджи опомнилась, быстро отстегнула цепь от ошейника Кумгана. Кумган в три больших прыжка бросился к Калантару-муаллиму и внезапно, будто ужаленный, завертелся на месте.

Калантар-муаллим, раздувавший мангал крышкой от бака, топнул ногой и прикрикнул на собаку.

— Убирайся отсюда!

Кумган присел на задние лапы, поднял голову, посмотрел прямо в глаза Калантару-муаллиму, и Агабаджи показалось, что Кумган сейчас вцепится в Калантара-муаллима, укусит его, но, к счастью, Кумган только залаял громко, обежал вокруг мангала и стремглав выскочил в калитку на улицу.

Кумган понесся по направлению к морю, но берега не достиг, дал большой круг и, снова забежав в поселок, по той же улице вернулся обратно, влетел через калитку во

двор, остановился, высунул язык и посмотрел на Калантара-муаллима.

Шашлыки с шипением зажаривались на мангале.

Офелия закричала:

— Кумган! Кумган!

Кумган посмотрел на веранду.

Офелия, торопливо спустившись с веранды, замедлила шаги, не решаясь подойти совсем близко к собаке, и, взяв из тарелки, которую держала в руке, несколько теплых кусочков шашлыка, бросила Кумгану; Кумган понюхал эти кусочки, слюна пузырилась у него по краям закрытой пасти, поднял голову, посмотрел на Офелию и вдруг стал громко лаять, и Агабаджи испугалась, что Кумган действительно укусит эту девочку, или суетящегося вокруг мангала Калантара-муаллима, или кого-нибудь другого, но опять, к счастью, Кумган никого не тронул, выбежал на улицу, понесся к морю и на этот раз до самой ночи уже не возвращался.

Когда ночью Кумган вернулся во двор, гости давно уехали.

На мангал давно вылили ведро воды, девочки спали под верандой, в комнатах Башира-муаллима свет был потушен. Нухбала устал проклинать в душе могилу отца Башира-муаллима и, наконец, заснул под навесом. Только Агабаджи не спала в такую пору и лопатой перекапывала землю у забора. Давеча, когда гости уходили, Фарман-муаллим осрамился: несмотря на то, что он выпил много простокваши, его все же вырвало у забора, и теперь Агабаджи пришлось хорошенько поработать лопатой, чтобы Агабаба, вернувшись домой, не увидел этого безобразия; Агабаба вскоре должен был появиться после своей второй смены.

В эту ночь Агабаджи подумала, что на деньги, которые она получит от этих квартирантов, она ни колец для своих невесток не купит и для дочек ничего не сделает, потому что деньги таких людей пользы не принесут. Может быть, подумала Агабаджи, на эти деньги купить телевизор, только ведь на их деньги как назло плохой, неудачный телевизор купишь.

В эту ночь Кумган посмотрел на Агабаджи, послушал тихое бормотание женщины, воровато, уголком глаз посмотрел на второй этаж, потом между деревьями прошел в дальний конец двора.

И в эту ночь кошки обнаружили вкусные куски шаш-

лыка, брошенные Офелией Кумгану, и насладились ими. Кумган не прогнал кошек со двора и с зайцами не стал связываться, можно сказать, всю ночь просидел на каменном заборе, глядя на море и на скалы.

У этой истории с шашлыком оказалось продолжение. После этого дня чуть ли не каждый вечер на машине Калантара-муаллима приезжали гости, и приготовленные Калантаром-муаллимом шашлыки Адиль таскал на веранду; Калантара-муаллима не покидало превосходное настроение. (Однажды так получилось, что Калантар-муаллим в присутствии Агабаджи пошутил с Баширом-муаллимом, хотя Калантар-муаллим при других не разговаривал с Баширом-муаллимом и вообще Калантар-муаллим был неразговорчивый человек; Калантар-муаллим, показывая на свои красные «Жигули», сказал Баширу-муаллиму: «Маленькая машина, Башир-муаллим, гости не помещаются».

Калантар-муаллим сказал это и рассмеялся; когда Калантар-муаллим смеялся, у него на тонкой и длинной шее надувались жилы, а во рту зубы золотые блестели. «Ничего, аллах даст, скоро купишь «Волгу»... Честное слово, купишь! Пусть только мой ребенок сдаст экзамены...» — и Башир-муаллим тоже расхохотался, но Агабаджи не поняла, что тут смешного, вообще-то Башир-муаллим был человеком, который иной раз смеялся просто так.)

Запах шашлыка впитался в эти деревья, в этот забор, в эти стены. И казалось, вся округа пропахла шашлыком, и жена Амиргулу Хейранса в субботу в бане пожаловалась поселковым женщинам:

— Из-за этого шашлычного запаха по вечерам все окна-двери закрываю! Амиргулу, бедняга, в такой духоте дома сидеть не может.

Зубейда, натирая спину стоявшей перед ней секретарше поселкового Совета Сугре, не смогла удержаться, съязвила:

— Ну и ну! Вот, значит, почему твой пьяница дома не сидит!

Из-за этих слов разразился такой скандал, какого в это лето в бане еще не было, и женщины с трудом растащили Хейрансу и Зубейду. (Секретарь поселкового Совета Сугра с недотертой спиной закричала, что вызовет сюда милиционера, и Хейранса, а особенно Зубейда, хорошо знавшие секретаря поселкового Совета Сугру,

поняли, что пора кончать, обычно у Сугры слово не расходилось с делом.)

Агабаджи про себя сказала: «Вы-то чего не поделили... Никому и невдомек, что я, дура, терплю...»

Однажды вечером Нухбала распетушился по поводу квартирантов и сердито спросил у Агабаджи: когда они уберутся отсюда?

«Глупость я сделала, Нухбала! Без ножа меня зарежут, потом уберутся к себе в ад!» — это Агабаджи сказала про себя, а сыну ответила так:

— Больной торопится, хочет есть, но груша вырастает в свое время, Нухбала! Уж мало осталось, родной!

6

Насколько домоседкой была Амина-ханум, настолько непоседливым был Башир-муаллим, это был человек как ртуть, и, когда днем он бывал дома и никаких гостей не предвиделось, Башир-муаллим, надев полосатые пижамные брюки, часто спускался во двор, ходил на море, а дома расхаживал в широких трусах. У этого мужчины была привычка, стоя перед курятником, кормить кур хлебом, а каждый раз он прихватывал для этой цели большой свежий тендырный чурек.

— Цып-цып-цып-цып,— повторяя это, он разламывал, крошил хлеб, бросал курам и наблюдал, как они клюют крошки.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

— Слушай, ну что за куры теперь пошли! Клянусь тобой,— Башир-муаллим вытягивал полные мясистые губы, как будто кто возражал против этих слов Башира-муаллима.— Да будет весь мир твоей жертвой, у нас в районе были куры, прямо как павлины, все, какие есть на свете цвета, все были у этих кур. Клянусь! А теперь, куда ни приедешь, во всех дворах — белые инкубаторские! Слушай, разве так можно?! И почему так получилось?! Слушай, можешь ты мне это объяснить?

Иногда Башир-муаллим садился на скамейку под тутовым деревом и, широко разведя в сторону руки, прохлаждался в тени. У Башира-муаллима была еще одна своеобразная манера спасаться от жары, она состояла в том, что Башир-муаллим одним духом выпивал полный тонкий стакан водки, потом садился на скамейку во дво-

ре, потому что, говорил Башир-муаллим, в такую жаркую погоду у человека внутри должно быть так же горячо, как снаружи, и вот, после того, как температура внутри и снаружи уравняется, человек будто бы почувствует прохладу. Башир-муаллим много говорил, потому что если бы говорил меньше, то не смог бы усидеть на скамейке.

Башир-муаллим говорил Агабабе:

— Мой отец, да упокоит аллах твоих отца и мать, завещал мне, что надо прятать от людей три вещи. Клянусь, только три вещи! Первое, это — прячь деньги! Клянусь! Прячь, потому что деньги вызывают зависть, а кому какое дело, что у тебя есть?! Второе, клянусь тобой, прячь жену! А третье — не говори никому, куда идешь! Не говори — и все! Если едешь в Шемаху, скажи, еду в Шеки, пусть тебя ищут в Шеки, да, пусть тебя разыскивают в Шеки!

Агабаба не мог смотреть на Башира-муаллима, потому что, как уже было сказано, Башир-муаллим красил волосы и усы, и от него всегда пахло духами или одеколоном, а Агабаба такие вещи терпеть не мог; и все же красить волосы или не красить — это было личное дело Башира-муаллима, ему виднее, но было и еще одно обстоятельство, которое каким-то боком касалось и Агабабы, потому что Башир-муаллим и Амина-ханум жили в доме Агабабы и были они мужем и женой, то есть состояли в законном браке.

Агабабе, в общем, было все равно, где Башир-муаллим прячет свои деньги и почему скрывает свое местонахождение, но вот что касается его жены, то Агабабе совсем не нравилось, что Калантар-муаллим так часто ходит к Баширу-муаллиму. Конечно, было известно, что Калантар-муаллим каждый день бывает здесь потому, что устраивает сына Башира-муаллима в институт, навещает ради дружбы или ради чего другого, им самим виднее, это Агабабы не касалось, но то, как Калантар-муаллим иногда смотрел вслед Амине-ханум, Агабабе очень не нравилось и еще Агабабе очень не нравилось, что Амина-ханум и сама, кажется, понимала смысл этих взглядов Калантара-муаллима и судорожных движений его кадыка на длинной шее.

Агабаба и вообще все мужчины в поселке были такие люди, которые все могли бы вытерпеть, но в вопросах, касающихся чести, никому бы не спустили.

7

Адиль сдал два экзамена и оба, кажется, хорошо, потому что настроение у Калантара-муаллима не менялось. Как только красные «Жигули» останавливались перед воротами, Калантар-муаллим, вылезая из машины, перешагивая через три ступеньки, поднимался на веранду и через некоторое время выводил аккуратно причесанного Адиля в накрахмаленной Аминой-ханум рубашке и отутюженных брюках, сажал в машину и, сверкая золотыми зубами, говорил:

— Герой, ну герой! Просто молодец!

Потом красная машина трогалась с места, исчезала из глаз и возвращалась только вечером, и в машине опять оказывались гости, и после этого опять начиналось все сначала.

Дочери Агабаджи уже больше не разбегались куда глаза глядят из-под веранды, во-первых, потому, что смысла в этом не было, все равно запах шашлыка со двора не выветривался, а во-вторых, девочки уже к нему попривыкли, жена Амиргулу Хейранса по вечерам уже оставляла окна открытыми, а поселковым женщинам объясняла: деньги есть — и прекрасно, если бы и я каждый день могла покупать мясо на шашлык, ей-богу, в голову бы не пришло, хорошо ли моим соседям, не мешает ли им запах. Хейранса так говорила, но поселковые женщины знали, что Хейранса — не такой человек, и вообще в этом поселке нет таких людей, даже Зубейда так бы не поступила: если кто в поселке в кои веки, раз в год готовил шашлык, он обязательно всем близким соседям, независимо хорошим или плохим,— все посылал один-два шампура, потому что в поселке без детей жил только охранник Гасанулла, у всех остальных было по четверо-пятеро детей, и все они сразу чуяли запах шашлыка.

Агабаджи, как будто во всем была виновата маклерша Зубейда, больше с Зубейдой не здоровалась, встречая Зубейду, отворачивалась, и маклерша Зубейда выходила из себя: жена Агабабы на мне зло срывает, как будто я виновата, что они каждый день шашлык жарят, я-то при чем, слушай, я что — в карты заглядывала, будут они каждый день шашлык жарить или нет? Ты квартирантов просила, я тебе нашла, мать моя, сест-

ра моя, что тебе от меня надо? Когда Агабаба так храпит, кто еще будеть жить у вас в доме?

Агабаба все переживал про себя, вслух ни слова не говорил, потому что Агабаба видел, до чего дошла Агабаджи, и поэтому терпел и суету с шашлыком и песни, которые заводила Амина-ханум; терпел и этот шум, обрывки бумаги в своем всегда тихом и чистом дворе, и низкие дела Башира-муаллима. (Однажды в полдень Башир-муаллим сам развел во дворе огонь, согрел пять-шесть ведер воды, мол, Амина-ханум хочет искупаться, потом взял у Агабаджи большой таз для стирки, поднял его на веранду и ведра по одному поднял на веранду, попросил у Агабабы, сидевшего в тот день дома, большую кружку, чтобы набирать из ведра воду и поливать Амине-ханум на голову; Агабаба ничего не ответил, вышел со двора, хлопнув за собой дверью калитки; Башир-муаллим ничего не понял и попросил кружку у Агабаджи, и Агабаджи, сказав про себя: «Пепел на голову такому мужчине!», краснея от стыда, дала Баширу-муаллиму медную кружку, а Башир-муаллим, поднявшись на веранду, начал лить воду на голову Амине-ханум, раздевшейся и сидевшей в тазу для стирки белья.)

В общем, каждый терпел как мог, потому что, как предки говорили, плохой день когда-нибудь все-таки кончается.

Кумгану было, пожалуй, хуже всех.

За последние десять дней он совсем отощал, ребра можно было пересчитать, в глазах появился какой-то нездоровый блеск. Кумган, можно сказать, ничего не ел, и приготовленные Агабаджи ячменные лепешки и болтушка так и оставались нетронутыми. Неожиданно Кумган стал есть траву во дворе, и Агабаджи поняла, что Кумган заболел. Громко лая, пес не подпускал Офелию к будке, и она даже не могла теперь подходить к финиковой пальме; высовываясь из окна веранды, Офелия кричала:

— Кумган! Кумган! — и прямо с веранды кидала Кумгану куриное мясо, тавакебаб, котлеты.

Кумган рвался с цепи, громко лаял в сторону веранды, и Амина-ханум, высунувшись из окна, говорила:

— Совсем взбесился! — и стаскивала Офелию с окна.

И после этого Кумган успокаивался, тихо вытягивался в своей будке, высовывал голову наружу и смотрел вперед ничего не выражающими, потухшими глазами.

Кумган по звуку узнавал красную машину Калантара-муаллима и под вечер, как только раздавался этот звук, вставал и начинал метаться перед своей будкой, из пасти его текла слюна, и, как только Калантар-муаллим входил во двор, Кумган встречал этого человека лаем, потом он облаивал каждого из привезенных Калантаром-муаллимом гостей, но никто не обращал внимания на собачий лай.

Когда Калантар-муаллим, поглядывая на видневшуюся в окне веранды Амину-ханум, разжигал мангал серебряного Малика, пламя сразу же отражалось в черных глазах Кумгана. Кумган лаял, дергался на цепи, и, когда Агабаджи подходила и отвязывала его, Кумган бросался к мангалу, принимался бегать вокруг него и лаял, как будто не на Калантара-муаллима, а на обволакивающий все вокруг чад от шашлыка, потом выскакивал на улицу, покружив по поселку, снова залетал во двор и снова убегал со двора; Кумган не мог найти себе места.

Как-то ночью, когда Агабаба пришел со своей двухсменной работы, все спали и даже Агабаджи, утомленная зноем, улеглась одетая, не в силах дождаться Агабабы, сон сморил женщину; Агабаба вошел во двор, и вдруг ему показалось, что этот двор — не его двор, а совершенно другой двор; были те же деревья, тот же дом, тот же забор, но все это было как будто чужое, и Агабаба удивился: каждое дерево, каждый куст посажен его рукой, здесь он знает каждый камень, каждую щепку, почему же все стало чужим,— Агабаба не мог понять, он покачал головой, подошел к курятнику и увидел, что Кумган стоит на заборе и смотрит на него.

В ту ночь ярко светила луна и звезды, небо было абсолютно чистым, и в эту ясную ночь Агабаба и Кумган какое-то время смотрели друг на друга. И снова Агабаба удивился: глаза у Кумгана были какие-то жалкие, беспомощные, и, самое главное, что произвело наибольшее впечатление на Агабабу, глаза Кумгана словно извинялись за что-то, умоляли простить...

Одним словом, тоску нагнал пес на хозяина, и Агабаба в эту ночь спал очень беспокойно, а утром он сказал Агабаджи:

— Хорошенько присмотри за Кумганом,— и, вытащив из курятника трех кур, зарезал их. А потом ушел на работу.

В этот день и Агабаджи, и Нухбала, и Наиля, Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Беюкханум поняли, что эти куры зарезаны, в основном, ради Кумгана, и поэтому в обед они только слегка объели косточки, хрящи на них остались, шейки не разделали по позвонкам, ребрышки не вычистили по одному, и все эти вкусные остатки Агабаджи, с большой охотой собрав в железную миску, отнесла Кумгану, поставила миску перед Кумганом, и в этот момент произошло то, чего никто не ждал. Кумган не бросился радостно на куриные косточки с хрящами, с непонятным выражением посмотрел он в глаза остолбеневшей от изумления Агабаджи, потом неохотно поднялся, понюхал миску и, взяв из миски одну из куриных ножек, слегка надкусил ее.

Агабаджи была поражена.

Через некоторое время весь двор заполнил аромат жарившегося на сковородке мяса — Амина-ханум жарила на сковородке бараньи ребрышки; она жарила бараньи ребрышки и одновременно ела черешню, рассеянно поглядывая с веранды во двор (Амина-ханум, можно сказать, совсем не входила в комнату, весь день проводила на веранде, и дело было не только в том, что на веранде прохладнее, чем в комнате,— это само собой, но была и еще одна причина, и она состояла в том, что ей очень не нравилась картина на стене комнаты, и лев не нравился, и герой не нравился: «Подумать только, что это за бред нарисовали в доме!»).

Офелия с телевизором в руках бродила по двору между деревьями, и, когда Офелия подошла и остановилась под финиковой пальмой, Кумган не залаял на девочку, не зарычал, а спокойно улегся рядом со своей будкой. Офелия была просто ошеломлена и не знала, что делать, потом она заглянула в черные глаза Кумгана и увидела в этих глазах какое-то безразличие; так поняла это Офелия, но по существу в этот момент произошло нечто другое, и девочка почувствовала это; опустив телевизор под финиковую пальму, она бегом поднялась на веранду и, схватив с тарелки три-четыре зажаренных Аминой-ханум ребрышка, обжигая руки, спустилась вниз, подбежала к финиковой пальме и стала бросать Кумгану теплые бараньи ребрышки, с которых капал жир.

— Кумган! Возьми! Возьми! Кумган! Возьми!

Первый кусок упал рядом с правой передней лапой

Кумгана, и у собаки непроизвольно раскрылась пасть, слюна потекла.

Второй кусок, ударившись о грудь Кумгана, упал на землю.

Третий кусок не упал на землю, исчез в воздухе, и Офелия сначала не поняла, что произошло, но, когда увидела, что Кумган остервенело двигает челюстями, она бросила и последний кусок, и Кумган этот последний кусок тоже поймал на лету и съел.

Офелия в жизни еще так не радовалась, поскакала на веранду и там взяла полную тарелку жареного мяса.

Амина-ханум пожала плечами.

— Ты что, с ума сошла, куда ты несешь?

Офелия ничего ей не ответила.

С полной тарелкой снова прибежала она к финиковой пальме, и, пока ее не было, Кумган съел и те два куска, что лежали на земле. Пес поднялся на задние лапы и, задыхаясь, хватал в воздухе теплые бараньи ребрышки. Офелия постепенно подошла совсем близко к Кумгану, он ел с такой жадностью, с таким хрустом разжевывал косточки, что, когда мясо кончилось, Офелия поставила перед Кумганом пустую тарелку и Кумган старательно вылизал ее.

Агабаджи, сидя под верандой, раскатывала тесто для кутабов с зеленью, и, когда взгляд ее упал на Кумгана, она вдруг застыла со скалкой в руке, женщина на какое-то время замерла, уставилась на Кумгана, лизавшего дно тарелки квартирантов, потом горестно произнесла про себя: «Бедная собака!..»

С зеленой «Волгой» па-а-арень, Гани, Гани!
С золотыми зубами па-а-арень, Гани, Гани!
Смотри не задевай меня,
Потому что я бессты-ыжая, Гани, Гани!

Потом включился парень с визгливым женским голосом.

Захмелел я, красавица,
Ох, захмелел я, красавица!

И с этого дня Кумган, не обращая ни малейшего внимания на лепешки Агабаджи, на болтушку из ячменной муки, стал на лету ловить и пожирать то, что ему бросала Офелия — котлеты, тавакебаб, кюфту, жареное мясо.

С этого дня Кумган стал тенью Офелии, и с этого дня Офелия играла с Кумганом, как хотела, потом поссорилась с Кумганом, потом стала насмехаться над Кумганом, гнать его, издеваться над Кумганом, но Кумган все равно не обижался; когда Офелия сердилась, она не давала Кумгану есть, Кумган умолял ее черными глазами, просил, клянчил и каждый раз смягчал сердце Офелии и снова ловил на лету вкусные кусочки.

Кумган уже больше не лаял и на Калантара-муаллима, мало того, стал путаться под ногами у готовящего во дворе шашлык Калантара-муаллима, упрашивать Калантара-муаллима, и у Калантара-муаллима тоже иногда сердце смягчалось, и он стаскивал кусочек с конца шампура, бросал Кумгану, и Кумган, обжигаясь, хватал на лету скворчащее мясо.

Однажды Калантар-муаллим, колдующий, весь в поту, над пылающим мангалом, разозлился на Кумгана — ну, что он все время у меня под ногами путается — и Калантар-муаллим пинком отбросил Кумгана в сторону.

До сих пор Кумган ни от кого не получал пинков, и, повизгивая от пинка Калантара-муаллима, Кумган побежал к своей будке, некоторое время постоял там, посмотрел на Калантара-муаллима, на истекающие жиром шашлыки, которые Адиль носил гостям на веранду, потом подошел к Калантару-муаллиму и, наконец, поймал в воздухе два куска, брошенных ему Калантаром-муаллимом, и проглотил их, почти не разжевывая.

Кошки от страха перед Кумганом больше не осмеливались заходить в этот двор, а когда и заглядывали крадучись, то не находили ничего вкусного — все, что было вкусного, подъедал сам Кумган.

Зайцы делали что хотели на огороде Агабабы, потому что Кумган утром и днем поглощал то, что готовила Амина-ханум, а вечером ел шашлыки Калантара-муаллима и, отяжелев к ночи, не вылезал из своей будки.

За неделю Кумган поправился, начал набирать вес.

Агабаджи вела себя, будто ничего такого не случилось, но больше не делала болтушку из ячменной муки, лепешки не месила, потому что Кумган все равно до них не дотрагивался.

И Нухбала, и девочки словно закрыли глаза на это дело и друг с другом об этом не говорили, однако Нух-

бала в душе ругал теперь своих квартирантов семиэтажными ругательствами.

Правда, Агабаба днем, можно сказать, дома не бывал и всего этого своими глазами не видел, но какая разница, Агабаба все то, что не видел,— чувствовал, и все же, когда Агабаба впервые воочию увидел, как пресмыкается Кумган перед квартирантами, у него сердце зашлось, «что за мерзкий мир!» — проговорил он потом. Агабаба подумал, что ведь бедняжка Агабаджи беременна, ждет десятого ребенка Агабаджи, и это нехорошо, что Агабаджи столько нюхает шашлычных запахов. Не может быть, чтобы ей не хотелось поесть шашлыка, а ведь желание беременной женщины надо выполнять — об этом и предки говорили, то есть Агабабе надо купить мясо, найти мангал и приготовить шашлык, иначе действительно все это плохо кончится, но Агабаба не знал, что Агабаджи всерьез думает, что ее новый ребенок возненавидит шашлык, потому что этот несчастный ребенок так надышался им в материнской утробе, что будет брезговать им, и хорошо сделает, во всяком случае Агабаджи находила себе такое утешение.

Кумган жирел на глазах, он как Амина-ханум, можно сказать, и не выходил со двора на улицу, день и ночь торчал во дворе; правда, Офелия уже пресытилась Кумганом и ему не так уж часто доставалась вкусная еда — котлеты, тавакебаб, кюфта и прочее, однако Кумган не очень расстраивался, потому что ему доставались все кости, обрезки, недоеденные куски от вечернего шашлыка.

Каждый раз, когда во двор с двумя полными корзинами входил Башир-муаллим, Кумган тотчас выбегал ему навстречу, как будто Кумган догадывался, что вся эта снедь, эти шашлыки, эти чигыртмы, эти гызыртмы по существу исходят не от Офелии, не от Амины-ханум и не от Калантара-муаллима, все это исходит от этого вот толстого мужчины, черноволосого и черноусого, и в последнее время Кумган особенно пресмыкался именно перед Баширом-муаллимом.

Однажды, когда Башир-муаллим вошел во двор с двумя набитыми до отказа соломенными корзинами — зембилями и Кумган тотчас бросился к нему навстречу, Офелия не очень хорошо высказалась по поводу Кумгана, Кумгана, с которым она так хотела подружиться еще неделю назад!

— Очень назойливая, какая-то настырная эта собака!

Башир-муаллим вообще-то был доволен таким особенным вниманием со стороны Кумгана, сказал, милостиво улыбнувшись:

— Ах ты, божья тварь! — потом Башир-муаллим вытащил из соломенного зембиля круг полукопченой колбасы и бросил Кумгану.

Кумган как будто испугался, что ему кто-то может помешать, и в полминуты прикончил колбасу, а сидевшая под верандой и чистившая лук для постного супа Агабаджи видела, слышала все это и чувствовала, что ее душат рыдания, она сейчас заплачет, отчего заплачет? — этого она точно сказать не могла, но поняла, что сейчас заплачет, и, бросив недочищенную луковицу в тарелку, поднялась, вышла из-под веранды, а потом подалась со двора, даже не помнила зачем вышла.

Теперь Кумган откровенно избегал Агабабу, и, как только хозяин заходил во двор, Кумган исчезал, а иногда, стоя в сторонке, прятал свои черные глаза от Агабабы.

8

До конца августа оставалось мало, и теперь Агабаджи считала уже не дни, а часы, хотя в глубине души почему-то не могла поверить, что эти люди наконец уйдут отсюда, и снова в этом дворе не будет никого, кроме них самих, женщина не могла поверить, что отсюда выветрится когда-нибудь запах шашлыка, а эта паршивая девка с мужским голосом больше не будет звать Меджнуна и паршивец Гани со своим женским голосом провалится в преисподнюю.

И как будто всего этого было мало, однажды произошло нечто такое, что Агабаджи совсем растерялась, ну просто не знала, как себя вести, прямо, как говорится, хоть стой, хоть падай.

В тот день не слишком рано Башир-муаллим, как обычно, ушел, чтобы у клуба поймать такси и поехать на работу. Через некоторое время красные «Жигули» Калантара-муаллима остановились у ворот, и Калантар-муаллим, усадив Адиля в машину, как обычно, увез его в Баку; Амина-ханум, высунув голову в окно веранды, проводила красную машину взглядом своих светлых

глаз; а потом, как обычно, Офелия поднялась на веранду, чтобы получить в комнате свою порцию полуденного сна, но Амина-ханум, сама спустив с веранды вниз раскладушку, постелила Офелии под финиковой пальмой и сказала, что теперь днем Офелия будет спать здесь, потому что надо дышать свежим воздухом, и Офелия, очень довольная этим новым решением, с удовольствием заснула под финиковой пальмой. Прошло немного времени, и красные «Жигули» Калантара-муаллима снова остановились у ворот, и Агабаджи, стиравшая рубашки Нухбалы (девочки стирали свою одежду сами), поставив таз на деревянный табурет под верандой, сначала не придала этому значения. Адиля в машине не было, Калантар-муаллим был один, и, когда Калантар-муаллим вылез из красной машины, он как-то виновато огляделся по сторонам. Это было что-то новенькое, и Агабаджи почему-то почувствовала беспокойство, какое-то сомнение закралось ей в душу, потом, когда Калантар-муаллим проходил мимо спящей под финиковой пальмой Офелией, Кумган выскочил из будки навстречу этому худому длинному мужчине, но Калантар-муаллим тихо и сердито прошептал: «Убирайся! Убирайся!» и торопливо поднялся на веранду, после чего Амина-ханум, высунув голову из окна веранды, огляделась вокруг, и после этого с веранды донесся смех Амины-ханум, потом наступила тишина, причем это была такая тишина, которая говорила о многом.

Обе дрожащие руки Агабаджи так и остались в тазу...

Кумган, подняв голову, какое-то время смотрел на веранду, но на этот раз с веранды не пахло съестным, потом Кумган взглянул на спящую под финиковой пальмой Офелию, широко зевнул и улегся в тени своей будки и задремал.

С веранды донесся шепот, потом какой-то шорох, а потом с легким стуком закрылась задвижка на двери, выходящей на лестницу.

Агабаджи, стоя под верандой с колотящимся сердцем, говорила себе: «Ах чтоб вы сгорели! Чтоб сгорели! Мерзавцы! Так вот ты кто оказывается — шлюха!..» и хотела, поднявшись на веранду, опозорить эту толстозадую женщину, но у нее будто ноги отнялись, совсем Агабаджи растерялась, не могла двинуться с места и только за одно она благодарила небо, как хорошо, что

детей дома нет, если бы дома были девочки, они все бы умерли со стыда.

Назавтра Башир-муаллим опять, поймав такси, уехал в Баку, через некоторое время опять приехала красная машина, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим, опять усадив Адиля в машину, увез его. Амина-ханум опять для полуденного сна постелила Офелии под финиковой пальмой, и Агабаджи срочно услала всех девочек купаться в море (девочки не поняли, что же такое случилось и почему Агабаджи так усердствует?), потому что, действительно, через некоторое время красная машина снова подъехала, остановилась у ворот, и Калантар-муаллим снова, воровато оглядываясь по сторонам, поднялся на веранду и снова защелкнулась задвижка наверху...

Кумган на этот раз не бросился навстречу Калантару-муаллиму, как будто и Кумган понял, в чем тут дело; пару раз искоса взглянул на веранду, причем как будто с каким-то пониманием взглянул (или Агабаджи так показалось?), потом залез в свою будку.

Бесстыдные дела Калантара-муаллима с Аминой-ханум продолжались таким вот образом несколько дней, и Агабаджи думала-думала и смогла сделать лишь одно — перестала здороваться с Аминой-ханум, перестала отвечать на вопросы Амины-ханум, но такое отношение Агабаджи не произвело на Амину-ханум абсолютно никакого впечатления, прокручивая свои пластинки, она ела свою черешню, в полдень укладывала Офелию спать под финиковую пальму, после того, как красная машина возвращалась без Адиля, защелкивала задвижку на двери, а по вечерам, как ни в чем не бывало, когда Калантар-муаллим снова приезжал и привозил с собой гостей, накрывала для гостей стол.

Агабаджи каждый день под разными предлогами выставляла девочек со двора (Нухбала и без того утром уходил и ночью возвращался). Когда Калантар-муаллим, озираясь, шел по двору, Агабаджи старалась на него не смотреть, зато она часто поглядывала на веранду своих соседей, смотрит жена Амиргулу Хейранса из окна или нет; Агабаджи боялась, что весть об этом неслыханном позоре разлетится по всему поселку.

Как назло, но получилось то, что получилось: в один из таких дней открылась калитка и во двор вошла первейшая сплетница поселка маклерша Зубейда, причем

именно в такое время, когда Офелия спала под финиковой пальмой, а красная машина стояла у ворот и задвижка на двери веранды была защелкнута (как будто у маклерши Зубейды был нюх на такие дела). Маклерша Зубейда посмотрела в сторону веранды, потом прошла под веранду, к Агабаджи и, несмотря на то что Агабаджи с ней давно уже не разговаривала, спросила:

— Ну что, слушай, поступил их ребенок в институт?

— Не знаю,— ответила Агабаджи и сильно покраснела, она с ужасом прислушивалась к тому, что происходило наверху.

Маклерша Зубейда сочла нужным продолжить разговор.

— А-а-а... ты в баню в субботу пойдешь, да?

Агабаджи сказала:

— Да.

Маклерша Зубейда сказала:

— А-а-а... Может, и мне в баню сходить, слушай?

Агабаджи больше не отвечала и стала заниматься своим делом (она пришивала пуговицы к брюкам Агабабы).

— Слышала новость? У собаковода Гасануллы опять собака сдохла! (Жители поселка иногда называли охранника Гасануллу «собаководом Гасануллой», потому что охранник Гасанулла держал дома маленькую собачонку, кормил ее по-особому, купал каждый день; четыре года назад собака, которую держал охранник Гасанулла, заболела и отправилась на тот свет, и охранник Гасанулла, не стесняясь поселковых мужчин, громко всхлипывая, плакал, потом поехал и купил себе новую собаку: это была маленькая собачка с длинной шерстью, и название этой породы никто в поселке кроме библиотекаря Наджафа не мог запомнить — скотчтерьер, и теперь вот, как стало известно из сообщения маклерши Зубейды, у бедного охранника Гасануллы и эта собачка околела.)

Маклерша Зубейда сказала:

— Мужчины соберутся и пойдут собаководу Гасанулле сочувствие выражать, а, ты только послушай! — Маклерша Зубейда громко рассмеялась, но увидев, что у Агабаджи нет никакой охоты разговаривать, сказала: — Прощай! — и вышла со двора, чтобы найти себе другую женщину, которая уши развесит и с которой можно поболтать.

У Агабаджи так тряслись руки, что она два раза укололась иголкой.

И скоро наступил день, который был нерабочим днем Агабабы, и Агабаба весь этот день должен был пробыть дома.

Надо ли говорить, что Агабаджи уже несколько дней ждала этого дня и боялась его как страшного суда.

Всю ночь проворочалась Агабаджи, раздумывая, что завтра сделать, сначала она решила, что и сама вместе с девочками уйдет куда-нибудь из дому, потом подумала, может быть, Агабабу под каким-нибудь предлогом отослать, все равно плохо — и так, и этак, а в конце концов уже ближе к утру Агабаджи пришло в голову, что ведь и эти нечестивцы — все-таки тоже люди и если они увидят, что такой серьезный мужчина, как Агабаба, дома, как-нибудь сумеют сдержаться.

В этот день утром Башир-муаллим опять как обычно уехал на работу. Через некоторое время у ворот остановились красные «Жигули» и Калантар-муаллим, забрав Адиля, увез его в город, но, к сожалению, Калантар-муаллим не заметил Агабабу, потому что Агабаба дремал, сидя под верандой (он уже не выдерживал двухсменной работы), и поэтому Агабаджи три-четыре раза громко повторила остолбеневшим девочкам, тихо занимавшимся каждая своим делом, чтобы они не шумели, Агабаба сегодня дома, отдыхает, и девочки удивились этим словам Агабаджи, потому что они знали, что Агабаба дома, и никто и не шумел; Агабаджи для того говорила это громко, чтобы хотя бы Амина-ханум услыхала эти слова, но, когда через некоторое время Амина-ханум, опять спустившись во двор, стала стелить Офелии под финиковой пальмой, у Агабаджи сильно заколотилось сердце.

Хорошо, что девочки сами собрались и пошли на море.

Кумган спрятался в своей будке; когда Агабаба бывал дома, Кумган теперь почти всегда там отсиживался.

Агабаба, выйдя из-под веранды, подошел к колодцу и, доставая воду ведрами, стал наполнять небольшой бассейн.

Опять сначала парень взмолился тонким визгливым голосом:

— *Лейли! Лейли!*

Потом девушка чуть не баритоном спросила:

— Что, Меджнун?

Потом они стали петь вместе:

— Что же нам делать?
Ибн Сина идет свататься,
О горе, горе!

(Однажды, когда Амина-ханум с утра завела эту пластинку, Нухбала не удержавшись сказал Адилю, слушай, болван, пойди скажи своей матери, что не Ибн Сина, а Сам Шайтан посылает сватов.)

Красная машина остановилась у ворот в облаке пыли, и Агабаджи прошептала про себя: «О аллах, они в самом деле не считают нас людьми! За собак нас принимают! Сами вы собаки! На глазах у людей спариваются!» Потом Агабаджи зашла в кухню на первом этаже, затворила за собой дверь, чтобы не быть свидетельницей их позора при Агабабе.

Когда Калантар-муаллим вышел во двор и торопливо поднялся на веранду, Агабаба сначала не обратил на это внимания, то есть сначала Агабабе ничего такого не пришло в голову, и он обеими руками вытащил ведро из колодца, но когда щелкнула задвижка на двери веранды и этот звук достиг его слуха, Агабаба, как стоял у колодца с ведром, так и остался стоять неподвижно, только лицо у него сильно побледнело; наконец, он посмотрел на воду в ведре, поставил ведро на песок рядом с колодцем и направился прямо к веранде:

— Муаллим! Эй, муаллим!

При звуке голоса Агабабы у Агабаджи упало сердце: «Убьет! — сказала она себе.— Выпустит кишки из этого сукиного сына! Пропадем! О, Агабаба!.. Да умру я у твоих ног, Агабаба, не пачкайся ты кровью этого мерзавца, Агабаба!..» Потом Агабаджи хотела выбежать во двор, схватить Агабабу за руки, за ноги, закричать, позвать на помощь соседей, чтобы Агабаба не запачкался грязной кровью Калантара-муаллима, но Агабаджи не смогла выйти из кухни, потому что Агабаджи скорее умерла бы, чем показалась на глаза Агабабе посреди всей этой грязи и срама.

— Эй, муаллим!

Щелкнула задвижка на двери веранды, потом открылась сама дверь, потом Калантар-муаллим высунул в

дверь голову, и в этот момент волосы у Калантара-муаллима были растрепаны, рубашка расстегнута, виднелась волосатая грудь, болтался ремень на брюках.

Калантар-муаллим, вытаращив глаза, посмотрел на Агабабу, мол, чего тебе здесь надо, какие у нас могут быть с тобой дела?

Агабаба сказал:

— Выйди сюда на минутку...

Агабаба сказал эти слова спокойно, негромко, но таким образом сказал, так посмотрел Калантару-муаллиму прямо в глаза, что Калантар-муаллим как бы независимо от своей воли спустился по ступенькам и предстал перед Агабабой, Агабаба только этого и ждал, он схватил Калантара-муаллима за грудки и притиснул свой кулак к острому кадыку Калантара-муаллима; Калантар-муаллим чуть не задохнулся, открыв рот, он что-то хотел сказать, но не мог произнести ни слова; Агабаба, ведя Калантара-муаллима спиной вперед, толкнул калитку его тощим телом, от удара калитка, скрипнув, отворилась, но Агабаба, не выпуская из правой руки ворот Калантара-муаллима, вытолкал Калантара-муаллима на улицу, другой рукой открыл дверцу красной машины и запихнул в нее Калантара-муаллима, потом хотел с силой захлопнуть дверцу, но в этот момент Агабабе вспомнился мангал во дворе, он снова вытащил Калантара-муаллима из машины, поволок во двор, к мангалу и сказал:

— Возьми!

Калантар-муаллим, высвободившийся из рук Агабабы, мигом схватил мангал и умчался со двора, Агабаба не успел даже дать пинка под деревянный зад Калантара-муаллима.

Красная машина сорвалась с места и, поднимая пыль, исчезла из глаз, как будто и она, эта красная машина, испугалась Агабабы.

Амина-ханум, рукой придерживая ворот халата, высунулась в окно веранды.

— Эй, ты! Мало того, что ты храпишь...

Но Агабаба позволил себе прервать женщину:

— Если вы сегодня же не уберетесь отсюда, топором вас всех зарублю!

Амина-ханум, посмотрев сверху вниз на Агабабу, поняла, что Агабаба сделает, что сказал, то есть возьмет в руки топор и отрубит голову и Амине-ханум, и Баширу-

муаллиму и Калантару-муаллиму, и Амина-ханум захлопнула окно веранды.

Агабаджи прошептала:

— Слава тебе, аллах! Слава тебе! Слава!

Агабаба поразился собственному хладнокровию.

И вечером, когда Башир-муаллим, как обычно, вернулся из города с полными корзинами, что там ему Амина-ханум сказала — неизвестно, но Башир-муаллим пошел к клубу, взял такси, и Башир-муаллим, Амина-ханум, Офелия (Адиля Калантар-муаллим из города не привез), набившись в машину вместе со своими вещами, безо всякого «до свидания» уехали.

Кумган, наблюдая из будки все эти события, не издал ни звука, только один раз тихонько тявкнул — Агабабе показалось, что Кумган тявкнул на него.

9

Два дня Агабаджи выскребала весь двор, комнату на втором этаже, веранду, пристройку, мыла, чистила, и дело было не в том, что квартиранты оказались неаккуратными людьми, это было не так, но сколько ни вытирала, ни мыла Агабаджи полы, стены, перила, поверхность стола, внутренность шкафа, и все, абсолютно все, а особенно газовую плиту на веранде и маленький столик под плитой, этого ей казалось мало, ее передергивало при воспоминании о том, как Амина-ханум с Калантаром-муаллимом защелкивали задвижку и после этого с веранды слышалось как бы дыхание загнанной лошади, запыхавшейся собаки, и, представляя, что на этой веранде будут спать Наиля, Фируза, Кямаля, Амаля, Дильшад, Беюкханум, Агабаджи, с еще большим усердием продолжала все чистить и отмывать.

И в этот вечер семья Агабабы снова поднялась наверх, и старый телевизор Агабаба притащил на веранду, и в эту ночь каждый спал на своем месте: как было все эти годы, так было и теперь: Агабаджи, выбившись из сил, заснула рядом с Агабабой, храп Агабабы сотрясал всю округу, девочки спали на веранде, Нухбала с вечера залег под навесом и спокойно заснул и как будто улыбался во сне (вполне могло быть, что Нухбала улыбался во сне, потому что днем Наргиз села в электричку и поехала в Баку, мол, мне нужно купить книжки и тетрадки, а Нухбала сел в автобус и поехал в Баку, и Наргиз

с Нухбалой в Баку вместе сходили в кино, в кино Нухбала положил руку на плечо Наргиз, так они и просидели все кино, потому что в Баку их никто не знал, потом Наргиз снова села в электричку и приехала в поселок, а Нухбала сел в автобус и вернулся домой и после этой незабываемой поездки в Баку сладко спал под навесом, и поднявшийся ветер был ему нипочем).

Между тем ветер постепенно усиливался, в темноте зашелестели деревья, шишки со стуком стали падать на землю, и все явственнее слышался шум и плеск морских волн, набегавших на берег.

После полуночи ветер набрал силу, в эту темную ветреную беззвездную апшеронскую ночь Кумган сидел на заборе и слушал, как шумят волны, докатывающиеся до скальной гряды. Кумган отвернулся от моря и посмотрел в сторону дома садовника Асадуллы; дом садовника Асадуллы был выше всех домов в поселке, теперь и он растворился в темноте, потому что погасла электрическая лампочка перед его воротами, потом Кумган посмотрел туда, где должен был стоять дом охотника Фазиля, и как будто в эту безлунную, ветреную апшеронскую ночь вспомнил Алабаша, вспомнил Сарыбаша, будто вспомнил тот тихий, жаркий летний день, вспомнил игравшего с ним в догонялки кулика, вспомнил выстрелы, прозвучавшие в тот ясный, тихий, летний день.

Кумган за эти два дня опять похудел, от еды отказывался, даже воду не пил, бродил вокруг дома, останавливаясь на том месте, где Калантар-муаллим ставил мангал, нюхал землю, потом улегшись рядом с будкой, пожирал глазами веранду, будто надеялся, что сейчас выйдет Офелия, а когда слышался шум мотора, переводил взгляд на дорогу, словно высматривал красную машину.

Агабаба чувствовал, что Кумган тоскует по квартирантам, и то, что Кумган тоскует по таким недостойным людям, больно ранило Агабабу.

В этот день в полдень Агабаджи опять приготовила из ячменной муки болтушку и принесла, поставила перед Кумганом; но Кумган опять не дотронулся до болтушки, посмотрел на железную миску, посмотрел на Агабаджи и залаял на Агабаджи.

Агабаджи очень расстроилась.

— Ну что? Чего ты хочешь? — спросила она.

Кумган опять залаял на Агабаджи и с ненавистью, с

откровенной ненавистью посмотрел на болтушку в миске.

Агабаджи сказала:

— А-а-а... Я знаю, он шашлык хочет!

И в это время Наиля, стиравшая белье у колодца, сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Фируза, сидевшая с книгой под верандой, сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Кемаля сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Амаля сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Дильшад сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Беюкханум сказала:

— И я тоже шашлык хочу...

Агабаджи, оглядывая одну за другой своих дочерей, думала о своем еще не родившемся ребенке, эта кроха, наверно, тоже хочет шашлык, потом посмотрела на Агабабу, у которого сегодня был нерабочий день...

...А назавтра Кумган исчез.

ШАШЛЫК «СЮРПРИЗ»

(Вместо эпилога)

Серебряного Малика называли серебряным Маликом не потому, что намекали на его богатство, в таком случае его называли бы золотым Маликом, ибо, как говорила маклерша Зубейда (всем было известно, что нет ничего такого, чего не знает маклерша Зубейда!), золота у серебряного Малика было столько же, сколько в английском банке; серебряного Малика называли серебряным Маликом потому, что серебряный Малик беспрестанно повторял, что серебро — самая полезная вещь для здоровья, и дома у него все ножи и вилки, рюмки, и даже тарелки были серебряные, причем в доме серебряного Малика эти вещи ставились не только перед гостями, его двенадцать детей, он сам, жена, мать, теща, свояченица-вдова и семеро детей свояченицы-вдовы во время завтрака, обеда и ужина пользовались только серебряными вилками, ножами и тарелками, что поделаешь, у

каждого свой характер и, как говорится, одни живут для того, чтобы есть, другие едят для того, чтобы жить...

Шашлычная серебряного Малика располагалась довольно далеко от поселка, в самом конце пляжа, на песчаном холме и называлась «Гвоздика», потому что была якобы не шашлычной, а чайной и люди будто бы приходили сюда пить гвоздичный чай; конечно, что касается чая, то чай-то здесь пили, но не на голодный желудок, а после шашлыка из свежей осетрины и севрюги, шашлыка из молочного барашка, шашлыка из кур и индюшек, пили также после люля-кебаба, кутабов, душбере, кюрзы, хенгала, короче говоря, после самых вкусных блюд на свете. Когда речь заходила об этой шашлычной, библиотекарь Наджаф негодовал, говорил, посмотрите на него, устроил из государственной чайханы шашлычную, рыбу и все прочее покупает на свои деньги у спекулянтов, потом готовит и в десять раз дороже продает людям, как будто отец серебряного Малика амбал Исрафил завещал эту чайхану серебряному Малику и завещал грабить народ и ничего не бояться, ни ревизоров, ни контролеров, ни чего-либо другого; мясник Ага-киши, слушая эти слова библиотекаря Наджафа, говорил, слушай, ведь это дело добровольное, пусть не ходят, пусть не обедают в шашлычной серебряного Малика! Библиотекарь Наджаф так отвечал на эти слова мясника Ага-киши: те, кто ходят в шашлычную серебряного Малика, и сами такие же, как серебряный Малик...

У серебряного Малика шашлык готовил Гаджимамед-киши, люди называли его Мангалом, потому что он с самого утра разводил огонь в мангалах, стоявших рядами за шашлычной, нанизывал мясо на шампуры, и в чистые, безветренные летние дни с чердака дома Агабабы, если внимательно присмотреться, можно было увидеть дымок над шашлычной серебряного Малика.

В тот день у Агабабы был нерабочий день, и вообще Агабаба, как и прежде, работал только в свою смену, а в дни, когда не работал, ухаживал за своим огородом и двором, отдыхал в доме, одним словом, как он жил раньше, так и стал жить; все снова вернулось в свою колею, запах готовившихся Калантаром-муаллимом шашлыков, можно сказать, выветрился со двора, этот двор, этот дом, эти деревья понемногу забывали непри-

личные голоса с пластинок Амины-ханум и даже как будто не очень хорошо помнили совсем недавно здесь жившую белую собаку с черными глазами.

Ровно шесть дней и шесть ночей минуло с тех пор, как она пропала, и Агабаба даже думал, наверно, Кумган отправился в Баку, нашел там этих квартирантов и теперь живет у них; Агабаба подумал об этом и забеспокоился, потому что, если бы Кумган и разыскал их, те люди не стали бы держать Кумгана у себя; потом Агабаба пошел в скалы поискать свою собаку, может быть, Кумган в скалах живет, и поселковые ребятишки, увидев Агабабу, разбежались (поселковые ребятишки иногда днем потихоньку забирались в скалы и подсматривали за городскими парнями и девушками, которые, как будто в Баку им места мало, приезжали сюда и миловались, а бывало, что и больше, чем миловались, в этих скалах), но сколько ни искал Агабаба, Кумгана не обнаружил, и охотник Фазиль сказал Агабабе, что Кумган, наверно, вообще убежал из этих мест.

В этот ясный безветренный день в самом конце августа Агабаба, взяв молоток и гвозди, поднялся на лестницу, чтобы укрепить доски навеса и, увидев слабый дымок, поднимающийся над шашлычной серебряного Малика, внезапно понял, что должен сделать, причем сделать непременно, сделать сегодня же.

Агабаба спустился с лестницы, отнес в кухню молоток и гвозди, потом, поднявшись наверх, сказал Агабаджи и девочкам, занятым каждая своим делом на веранде.

— Собирайтесь, идем есть шашлык!

Причем Агабаба это сказал тоном, не терпящим возражений.

Наиля пошла к соседям, Амаля побежала, позвала Наилю, Дильшад, сбегав к берегу моря, позвала Нухбалу, Агабаджи достала из шкафа крепдешиновое платье, которое давно не надевала, погладила его, погладила белую рубашку Агабабы с короткими рукавами, девочки, набрав воды из колодца, вымыли руки и ноги, и после получасовой подготовки, впереди Агабаба, за ним Агабаджи с девочками, а в самом конце — Нухбала, выйдя из своей калитки, направились к шашлычной серебряного Малика.

Амиргулу опять где-то перебрал и опять, сидя под

тутовым деревом на улице, прислонился к толстому стволу спиной и напевал себе:

Я — на фронте, я — на фронте,
И уж вы со мной не спорьте,
Я палю из пулемета,
Подбиваю самолеты!

А Хейранса стояла на балконе своего дома, увидев Агабабу с семьей, смущенно спряталась за занавеску, от стыда за Амиргулу она даже не могла спросить, узнать, куда это в такую жару идет разряженное в пух и прах семейство Агабабы; правда, и без того завтра в поселке узнают, куда ходила семья Агабабы. Хейранса прошла в комнату, потому что вскоре должен был прийти мастер Мартирос для того, чтобы соскоблить рисунок со стены (в последнее время мастер Мартирос прилично зарабатывал, потому что теперь в поселке стало модно иметь голые стены и все спешили избавиться от рисунков на стенах комнат; завтра мастер Мартирос должен был прийти к Агабабе).

От жары все разбрелись по своим дворам, и на пустынной улице первым встретил семейство Агабабы охранник Гасанулла. Охранник Гасанулла широко улыбался, только крыльев ему не хватало, чтобы взлететь, он прижимал к груди двух щенков: это были маленькие, кудрявые щеночки кофейного цвета, и охранник Гасанулла сказал:

— Ты видишь, что я купил, а?!! Эта порода называется пудель! Брат и сестра! Видишь, какие красивые?!!

Было ясно, что охранник Гасанулла опять отдал все что имел, купил этих удивительных собак, кобеля и сучку, значит, рассчитывает на потомство...

— Да, очень красивые! — сказал Агабаба и добавил: — Молодец!

Потом они встретились с библиотекарем Наджафом, библиотекарь Наджаф, нацепив очки, сидел в тени инжирового дерева перед своим домом и читал свежие газеты, увидев Агабабу с семьей, поздоровался и спросил:

— К добру ли, куда это вы, Агабаба-муаллим? (Библиотекарь Наджаф ко всем мужчинам села обращался с этой уважительной приставкой к имени; однажды мясник Ага-киши даже рассердился, мол, я всю жизнь был мясником, зачем мне этот парень говорит «муаллим»? А садовник Асадулла объяснил, что библиотекарь Наджаф

для того говорит всем «муаллим», чтобы люди и его самого тоже называли «муаллим», объяснение садовника Асадуллы сразу до всех дошло.)

— Идем гулять.

— Ну что же, счастливо вам погулять,— сказал библиотекарь Наджаф и снова начал перелистывать газеты, во всех этих краях невозможно было найти второго такого читателя газет, как библиотекарь Наджаф, ведь библиотекарь Наджаф подписался даже на эстонскую газету на русском языке, чтобы знать, как там в Эстонии дела.

Конечно, если бы библиотекарь Наджаф знал, что Агабаба со всем своим семейством идет в шашлычную серебряного Малика, он бы этому не поверил, потому что Агабаба, по мнению библиотекаря Наджафа, был настоящим мужчиной, даже больше того — праведником...

Семейство Агабабы вышло к морю и двинулось по песку в сторону шашлычной серебряного Малика.

Задувал северный ветер — норд, волны бились о берег, и вдоль волнолома тянулась белоснежная полоса пены; на горизонте синее море переходило в синее небо.

Задувал норд, день был не субботний и не воскресный, поэтому берег был совершенно пуст, и Агабаба, шагая по этому пустому берегу, почему-то вдруг вспомнил тот дождливый и ветреный весенний день, вспомнил того смешного щенка, который увязался за ним и дошел до самого дома. Агабаба подумал, что многие тысячи таких дождливых и ветреных дней пережил этот морской берег и что значат перед этим переживания такого человека, как Агабаба? Они так же смешны, как тот маленький щенок.

Почтальон Фатош с полной сумкой писем и газет проехал мимо семейства Агабабы на своем старом велосипеде (во всех здешних краях никто, кроме почтальона Фатоша, не мог ездить по этому песку на велосипеде, почтальону Фатошу по документам было шестьдесят восемь лет, но мясник Ага-киши говорил, что почтальон Фатош как раз его ровесник, то есть получалось так, что почтальону Фатошу исполнился восемьдесят один год), поздоровался и спросил:

— Куда это вы, к добру ли?

Агабаба сказал:

— Идем гулять!

Почтальон Фатош сказал:

— Счастливой вам прогулки! — и уехал на своем велосипеде.

Несмотря на то что день был не субботний и не воскресный, в шашлычной серебряного Малика было полно народу, и не только внутри шашлычной, но и рядом с ней — в тени инжира, под широкими навесами, обвитыми виноградом, были расставлены столы, стулья, и приезжавшие из Баку клиенты ели, пили и наслаждались: кто с другом приехал, кто с компанией, кто привез гостя из Москвы, некоторые налегали больше на водку, чем на шашлык и быстро пьянели.

Серебряный Малик, увидев Агабабу, был немало удивлен:

— Добро пожаловать, братец! — потом разглядев, что Агабаба пришел со всем семейством, удивился еще больше (мужчины поселка не приводили в шашлычную своих домочадцев!): — Отлично сделал, что привел и сестрицу и детей! Проходите вот сюда. Сейчас все будет...

Серебряный Малик был мужчина крупный, дородный (говорили, будто за один присест он съедает яичницу из тридцати трех яиц!); он раньше, как и его отец — знаменитый амбал Исрафил, был грузчиком, но после женитьбы благодаря друзьям и приятелям тестя Алекпера он сначала стал чайханщиком в поселковой чайхане, потом устроился буфетчиком в бузовнинском привокзальном ресторане, а потом стал заведующим этой шашлычной, и дела серебряного Малика пошли в гору, теперь тесть его Алекпер в присутствии серебряного Малика не осмеливался закурить...

В шашлычной у серебряного Малика был кабинет, где он сидел и производил расчеты, говорил по телефону, а когда приходили самые уважаемые люди, он освобождал письменный стол, застилал его скатертью и усаживал здесь дорогих гостей, чтобы им никто не мешал.

Официант Джафаргулу, надевший кепку «аэродром» в такую жару, вошел, поздоровался с семьей Агабабы, спросил, как дела (официант Джафаргулу был двоюродным братом Хейрансы и терпеть не мог Амиргулу), и положил меню перед Агабабой.

В таких шашлычных на Апшероне дело обходится без

меню, однако в заведении серебряного Малика меню было, и все знали, что эту красивую обложку для меню серебряный Малик заказал в Чехословакии, внутрь этой обложки закладывался листок, написанный от руки, и на этом листке были обозначены названия блюд, но цена не проставлялась.

Агабаба посмотрел принесенное официантом Джафаргулу меню и увидел, что здесь первым номером идет шашлык «сюрприз», и Агабаба кроме зелени, помидоров, огурцов и сыра заказал всем по порции этого шашлыка.

Из окна кабинета серебряного Малика были видны мангалы Гаджимамеда-киши, и всю свою жизнь занимавшийся приготовлением шашлыков Мангал, весь день носясь от мангала к мангалу, один жарил шашлыки для такого количества людей (в поселке говорили, что Мангал каждый день глотает столько дыму, чада, что поздним вечером вынужден заглатывать кусочек сырого курдюка, обвязанный ниткой, потом за нитку вытягивать этот уже ставший черным от сажи кусок курдюка, и будто таким вот образом Мангал каждый вечер предохранял себя от болезни).

Официант Джафаргулу принес зелень, разложил на столе, принес помидоры, огурцы, принес сыр, принес для Агабабы двести граммов водки, принес пять холодных бутылок минеральной воды «Бадамлы» и сказал:

— Кушайте на здоровье! — ушел.

Семейство Агабабы отведало от всего, что было на столе, потом Агабаба, налив себе сто граммов, выпил за здоровье Balададаша и Агагюля, а потом все стали ждать шашлык «сюрприз».

Агабаджи сказала:

— Слушай, а что это за шашлык такой? Вдруг он не из баранины, а из чего-нибудь другого, а?..

Агабаба понял, что Агабаджи опасается, вдруг это свинина окажется, он рассмеялся, Агабаба в последнее время вообще не смеялся, и Нухбала, и девочки стали смеяться, и в это время донеслись звуки кларнета, донеслись звуки зурны, нагары, потом открылась дверь, вошел, приплясывая, официант Джафаргулу с большим блюдом, украшенным сверху помидорами и зеленью, а следом за официантом Джафаргулу вошли, играя на кларнете, зурне и нагаре, кларнетист Мухтар, зурнач

Арастун и нагарист Ибрагим, официант Джафаргулу поставил блюдо на середину стола, а Мухтар, Арастун и Ибрагим встали за спиной Агабабы и громко заиграли всегда модную «Невесту».

От неожиданности у Агабабы глаза полезли на лоб, и он спросил:

— Слушай, Джафаргулу, что это такое?

Официант Джафаргулу сказал:

— Так это же шашлык «сюрприз», братец, ешьте на здоровье! — и вышел.

Мухтар обратил кларнет к потолку, Арастун, раздувая щеки, изгибался всем телом, Ибрагим старался изо всех сил. Они в самом деле хорошо играли, от души играли, и Агабаджи не удержалась от того, чтобы не сказать про себя: «Молодцы!»

Агабаба понял, что, пока шашлык не будет съеден, музыканты не уйдут отсюда, потому что сюрприз «шашлыка «Сюрприз» в этом и заключался, музыканты должны были над головой клиента играть «Невесту», он протянул руку к блюду, положил шашлык на тарелку перед Агабаджи и девочкам тоже положил шашлык. Нухбала взял сам, каждый взял себе по одному запеченному помидору, Агабаба, налив остальные сто граммов, поднял рюмку за здоровье музыкантов во главе с кларнетистом Мухтаром, и стало ясно, что серебряный Малик действительно организовал для семейства Агабабы отличный шашлык.

Разрезая ножом в меру проперченный кусок шашлыка, Агабаджи вдруг подумала: интересно, поступил сын квартирантов Адиль в институт или нет? Агабаджи захотелось задать этот вопрос вслух, но она ничего не сказала, потому что в такой чудесный день не хотела портить настроение Агабабе и детям.

Когда семья Агабабы кончила есть и пить, вошел серебряный Малик, Агабаба выразил ему свою благодарность, потом серебряный Малик ушел и послал официанта Джафаргулу произвести расчет, и тут стало ясно, что Нухбале придется сбегать домой и принести еще денег.

Направляясь в шашлычную, Агабаба положил в карман пятьдесят рублей.

Квартиранты, вернее, Башир-муаллим дал Агабаджи сто пятьдесят рублей вперед, а пятьдесят рублей должен был дать в конце, но поскольку Агабаба прогнал семью

Башира-муаллима на пять-шесть дней раньше срока, остальные деньги остались при Башире-муаллиме, и Агабаджи о них не спрашивала.

Итак, Нухбала побежал домой, чтобы Агабаба рассчитался с шашлычной, то есть выплатил за шашлык «сюрприз».

Агабаджи даже не охнув, к своему удивлению, простилась в душе с новым телевизором.

Агабаба тоже как будто и ухом не повел, что такие большие деньги разошлись за два часа.

Как будто так и надо.

Сначала из шашлычной вышла Нухбала с девочками, потом Агабаба и Агабаджи, и когда они, обойдя шашлычную сзади, хотели спуститься к морю, чтобы пойти домой, Агабаджи схватила Агабабу за руку:

— Агабаба!

Агабаба сначала посмотрел на Агабаджи, потом посмотрел в ту сторону, куда смотрела Агабаджи.

Три собаки грызли кости позади шашлычной серебряного Малика, и одной из этих собак был Кумган.

Все беспризорные собаки в этих краях ошивались в окрестностях шашлычной серебряного Малика. Псы-попрошайки, они, стоя в сторонке, внимательно следили за столами и прямо в воздухе ловили кости от шашлыка, терпели пинки, ругань и даже камни, но далеко от шашлычной не уходили. Поселковые собаки близко не подпускали к себе этих псов-попрошаек. В летнюю пору шашлыков жарилось особенно много, потому что было много приезжающих из Баку клиентов, и в летнюю пору эти псы-попрошайки на глазах жирели.

Кумган с костью в зубах поднял морду и увидел семейство Агабабы.

Кумган некоторое время смотрел на семейство Агабабы. Потом Кумган, опустив голову, тихонько скуля, вошел во двор шашлычной.

И тут Агабаджи почувствовала первые слабые толчки своего ребенка, ребенок шевельнулся у нее в животе, и в этот августовский день, направляясь вместе с мужем к себе домой, она вспомнила совсем маленьких, только что родившихся Балададаша, Агагюля, Нухбалу, Наилю, Фирузу, Кямалю, Амалю, Дильшад, Беюкханум, представила их себе поодиночке и подумала, что чем больше у человека детей, тем лучше.

ЧУДЕСА В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ

1

И в это утро Адиля, как всегда, делала зарядку уже после того, как она прозвучала по радио. Теперь Адиля вполуха слушала последние известия и думала о том, что вчера, и позавчера, и позапозавчера диктор теми же словами и в той же интонации говорил те же или очень похожие вещи и что завтра, и послезавтра, и послепослезавтра она, делая утром зарядку, будет слушать то же самое, и не в ее власти изменить существующий ход вещей. Одно и то же изо дня в день, лишь зима сменяет осень, весна — зиму, потом приходит лето, и снова осень. И все чаще и явственнее чудилась ей сидящая в темном дальнем углу комнаты некая старуха, которая вяжет нескончаемые носки и бормочет под нос: «Четыре сына у меня — один родился зимой, другой весной, третий летом и четвертый осенью. Эти носки я вяжу моему старшему сыну. Он самый лучший мой сын. Самый сильный и смелый, быстрый, как огонь, горячий, как огонь...»

Весна... Весной привычное с детства ожидание чуда, жажда новизны и чего-то необыкновенного сменялось в душе Адили чувством тоскливой безысходности, и Адиля становилась злой и раздражительной.

Сегодня на рассвете Адиля сквозь сон с нарастающим раздражением слушала, как Халил, стараясь не шуметь, собирался на базар, как загрохотал лифт и захлопала дверь в подъезде, как за стеной в соседней квартире включили радио и пустили в ванной воду. Начинался новый день, не несущий в себе ничего нового, такой же, как вчерашний и завтрашний. Просыпаться не хотелось, но сна уже не было, и Адиля поднялась, включила радио, машинально раскинула в стороны руки и начала делать зарядку.

Диктор... в заключение о спорте. Вчера бакинец Ахмед Мамедов, преодолев стометровку за десять и одну десятую секунды, установил новый республиканский рекорд.

Адиля. Молодец!

Диктор. Вчера на первенстве страны по баскетболу «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом девяносто один — восемьдесят. За «Спартак» выступает самый вы-

сокий спортсмен страны Сергей Иванов. Его рост — двести тридцать сантиметров.

Адиля. Подумать только!.. Вот уж действительно полтора Ивана!.. Спросить бы у него, как дела там, наверху? А с меня хватит этой зарядки. Достаточно. Хорошенького понемножку.

Ленясь расстегнуть, она стала стягивать пижамную курточку через голову, когда раздался телефонный звонок. С робкой надеждой на чудо Адиля взяла трубку и разочарованно услышала знакомый голос.

— Алло! — сказала она.

— Здравствуй, Ада. Я тебя сразу узнал...

Адиля. А-а... Привет.

Голос. Ты тоже узнала? Видно, эти три года не сделали нас чужими. Как дела?

Адиля. Порядок.

Голос. Я слышал, ты замуж вышла. Поздравляю...

Адиля. Мерси.

Голос. Я тоже ведь женился, Ада.

Адиля. Молодец.

Голос. Ну, ты не меняешься, Ада...

Адиля. А зачем меняться?

Голос. Ты даже не спрашиваешь, откуда я знаю твой телефон?.. Ничего, увидимся — расскажу.

Адиля. А мы с тобой не увидимся.

Голос. Ого, вот это уже новость!

Адиля. Все. Привет.

Голос. Ада, Ада, ты ничего не хочешь мне сказать?

Адиля. Хочу: иди к черту!

Адиля сердито бросила трубку и включила радио.

Диктор. А сейчас прослушайте танцевальные мелодии. Исполняет на гармони Теюб Теюб-оглу.

Халил появился из кухни с первыми тактами музыкальной мелодии, словно только их и дожидался.

Халил. Ты уже встала? Почему так рано? Как дела, душечка? Иди посмотри, что я купил на базаре.

Адиля. Доброе утро.

Халил. Ну, здравствуй. Дай поцелую.

Раскрыв объятия и вытянув губы дудочкой, он двинулся на Адилю. Она попыталась избежать встречи с Халилом, но это ей не удалось.

Адиля. Ну, ладно, хватит...

Халил. Ах, ты моя сладкая! Прямо сахар!

Адиля. Хватит, сказала!..

Х а л и л. Не сердись, милая, не сердись... Хватит так хватит. Как говорится, хорошенького понемножку.

А д и л я. Опять целую гору укропа накупил?

Х а л и л. Конечно, душечка. Это витамин С, милая, чистый витамин С. А витамин С, ты же знаешь, для всего полезен. И даже для... Салим говорил, я тебе не рассказывал?

А д и л я. Не болтай глупости...

Х а л и л. Ах ты, милочка моя! Я ведь жду не дождусь отпуска, в Кисловодск поедем, ты увидишь тогда, каков Халил-петушок!

Д и к т о р. «Гайтагы». Исполняет на кларнете Шамси Иманов.

Х а л и л. На кухне я навел порядок. Помидоры жутко дорогие— рубль шестьдесят кило.

А д и л я. Так ты не купил?

Х а л и л. Купил, мамочка, полкило для тебя купил. Я съем одну штучку. Как говорится, хорошенького понемножку.

А д и л я. Ну ладно, я пошла, Халилушка.

Х а л и л. Куда?

А д и л я. На работу, куда же еще?

Х а л и л. Но ведь еще больше часа до начала твоей работы.

А д и л я. Значит, впритык.

Х а л и л. Как это — впритык, мамочка, тебе же десять минут ходу?..

А д и л я. Мне эта дорога надоела.

Д и к т о р. Прослушайте в том же исполнении танец «Ханчобаны».

А д и л я. Та же дорога, те же дома, те же углы, те же знакомые лица. Каждый день, каждый день... Сегодня пойду на работу по другим улицам...

Х а л и л. Ох, и фантазерка ты у меня! А помнишь, что у нас семьдесят лотерейных билетов? Чует мое сердце, выиграем машину... Салим говорит...

А д и л я. О господи боже, как ты надоел мне со своим Салимом! Салим сказал, Салим говорит... Я о чем тебе говорила, а ты — о чем?

Х а л и л. Я думал, до твоей работы мы немного посидим. Я не рассказывал тебе, вчера Салим из-за меня дал нагоняй бухгалтеру. Подумать только, какие-то вычеты накануне отпуска... Ну, Салим его отчитал...

А д и л я. Ради Салима замолчи... Я пошла.

Х а л и л. Ты хоть завтракала?

А д и л я. Кажется, да... Ну конечно! Ты приготовь что-нибудь, поешь хорошенько, потом иди на работу.

Х а л и л. Дай я провожу тебя.

А д и л я. Нет, Халилушка, ты садись поешь.

Х а л и л. Ну, позволь мне проводить тебя, моя душечка?

А д и л я. Я ведь сказала тебе — нет. О, как мне надоело одно и то же! Ну сколько можно видеть тебя — каждый день?! Прости... Не сердись, ладно? Поцелуй меня... Ну, теперь все... Как ты говоришь, хорошенького понемножку.

2

На почте самая горячая пора. Жужжат телетайпы, выдавая ленточки телеграмм, резко звонит междугородный телефон, щелкают кассы, принимая от граждан плату за квартиры и коммунальные услуги, мерно стучит штамп-молоточек в руках девушек, регистрирующих заказные письма и бандероли, вполголоса переговариваются клиенты.

Беспрерывно хлопает входная дверь. Только Адиля сидит без дела за окошком номер три, на котором написано «До востребования». Адиля вырезает ножницами полоску бумаги, закрашивает ее чернилами и приклеивает перед тройкой на стекле, получается 13.

Заведующий почтовым отделением, пожилой человек по фамилии Единственнов, следя за порядком, подходит к Адиле. Останавливается, смотрит на число 13 и произносит довольно спокойным тоном:

— Ну так же нельзя, товарищ Адиля! Сколько раз можно человеку говорить?!

А д и л я. А в чем дело, товарищ Единственнов?

Е д и н с т в е н н о в. Вы понимаете, что у вас получилось на стекле?

А д и л я. Тринадцать.

Е д и н с т в е н н о в. Вижу. Я спрашиваю, зачем это вам? Ведь это не в первый раз. На что вы намекаете?

А д и л я. Это символ нашей судьбы, товарищ Единственнов...

Е д и н с т в е н н о в. Глупости все это. Детство. До каких пор будете в куклы играть? Неприлично! Если повторится еще раз, выговор объявлю, так и знайте.



А д и л я. Строгий?

Е д и н с т в е н н о в. Да, строгий! Я не знаю и не хочу знать, что вы имеете в виду, подставляя к тройке единицу. Но ведь что получается? До востребования — в окошке номер тринадцать. Тут что-то не то... Вряд ли это понравится нашим клиентам. Да и не только клиентам. Неужели вы не понимаете? Вдруг начальство заглянет... Или кто-нибудь сверху...

А д и л я. Вы имеете в виду товарища Иванова?

Е д и н с т в е н н о в. Кто это — Иванов?

А д и л я. Да так... Один человек...

Е д и н с т в е н н о в. Он что, из министерства?

А д и л я. Нет, выше... Понимаете, выше...

Е д и н с т в е н н о в. Так... И вы с ним знакомы?



Адиля. Да. Сегодня утром познакомились.

Единственнов внимательно смотрит на нее. Потом переводит взгляд на часы, висящие на стене, и вдруг кричит, и крик его покрывает шум почтового отделения.

— Ибрагим!

Ибрагим, заместитель начальника почтового отделения, маленький, лысый, кругленький, подскакивает от окрика, как мячик от стенки, и мгновенно оказывается перед Единственновым...

— Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Не видишь, что ли? Время перерыва.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственнов!

Ибрагим подходит к двери и, не пуская на почту посетителей, приговаривает:

— Перерыв, товарищи. Нельзя, товарищи, перерыв. Неужели непонятно, товарищи?.. Пе-ре-рыв!

Ему доставляет удовольствие маленькая, кратковременная, но власть над людьми! Его лысина розовеет и начинает лосниться, голос обретает металлическое звучание, но глазки... Глазки остерегаются — они бегают, прячутся, они все время в движении и подобны дыркам на телефонном диске: словно кто-то внутри Ибрагима все время набирает номер, и в дырках мелькают пустота и знаки, пустота и знаки...

Единственнов садится за стол, надевает очки и углубляется в газету. Помещение постепенно почти пустеет, уходят клиенты, разбегаются на обеденный перерыв служащие. Лишь Адиля остается на месте. Она сидит неподвижно, устремив взгляд в одну точку, когда появляются подруги Адили, женщины лет тридцати, вызывающе одетые. Они останавливаются перед прикрытой дверью.

Ибрагим. Нельзя!

Гюльзар. Ой... Вы нас не узнали, Ибрагим-муаллим? Здравствуйте!

Ибрагим. У нас перерыв.

Зулейха. Адиля, скажи этому типу, пусть нас пропустит.

Адиля. Ибрагим, ну что это такое? Товарищ Единственнов! Почему...

Ибрагим. Ну, ладно, ладно. Проходите.

Зулейха и Гюльзар подходят к Адиле и говорят вместе.

— Привет.

Адиля улыбается, придвигает им стулья. Девушки садятся.

Зулейха. Ой, Ада, в универмаг такие пальто-джерси привезли, такие пальто! И красные, и болотного цвета, и мышиного...

Адиля. На что мне джерси...

Гюльзар. Что с тобой творится в последнее время... На что мне то, на что мне это, зачем кино, зачем гулять?

Зулейха. Были бы у меня деньги... Купила бы себе джерси... Не помнишь, почем они были с рук? Послал бы мне аллах такого, как Халил...

Адиля. Дался тебе Халил, сказала же — не трогай его...

З у л е й х а. Я же ничего плохого не говорю...

Г ю л ь з а р. Эх, а я уж ни о чем таком и не мечтаю!

З у л е й х а. Не ври, пожалуйста. Вот был бы у меня муж... Пусть даже самый никудышный. Какой-нибудь поэт непризнанный.

Г ю л ь з а р. На поэтов надежда плохая, помечтай о ком-нибудь другом.

З у л е й х а. Почему? Это на них наговаривают. Вот со мной по соседству живет поэт Фикрет Садыг — святой, да и только.

Г ю л ь з а р. Раз святой, значит, жениться не может. Эх, недавно шли мы с Зулей, видим, Салех...

З у л е й х а. Да, Ада, знаешь, какой он теперь стал? Такой представительный — с ним не шути!

Г ю л ь з а р. У него сын уже в школу ходит. Так вот, остановился Салех, поздоровался с нами. Спросил, как дела. Говорю, все по-прежнему, отлично. А про себя думаю: пусть моим врагам будет так же хорошо... Тебе привет передал, Ада.

З у л е й х а. Подумаешь, большое дело: привет передал... С нами водились и нас любили, дрались, чтобы только потанцевать с нами, хвастались друг перед другом...

Г ю л ь з а р. ... в смысле, мы тоже мужчины.

З у л е й х а. ... да фасонили, а как пришло время жениться, нашли себе других девушек. Не таких веселых и свободных, как мы. С папами...

Г ю л ь з а р. А мы-то, дуры...

А д и л я. Да хватит вам, ради бога. Не начинайте все сначала, не расстраивайте меня, я и так с утра не в себе.

З у л е й х а. Она права... Пусть все мужчины катятся к чертовой матери! Интересно, Фира одолжит мне денег?

Г ю л ь з а р. Фира теперь не здоровается со старыми знакомыми, а ты хочешь, чтобы она тебе деньги дала?

Единственнов поднимается с места, подходит к двери. Задумчиво смотрит на улицу. Ибрагим приближается к нему.

— Какая мерзкая погода...

Е д и н с т в е н н о в. И погода хорошая, и жизнь превосходная, и люди прекрасные, и если есть еще у нас жулики, то ты — один из них!

Ибрагим обижается и отходит к своему столу.

Г ю л ь з а р. Ада, кажется, этот ваш заведующий опять не в духе.

З у л е й х а. Что это с ним?

А д и л я. Наверно, опять с женой поссорился... Хотите я вас снова познакомлю?

Г ю л ь з а р. Сколько раз можно знакомиться? Ты уже трижды нас к нему подводила.

З у л е й х а. Неважно, от скуки чего не сделаешь. Пусть. Давай снова знакомь нас, Ада, зови его сюда.

А д и л я. Товарищ Единственнов, Зуля и Гуля уже целый год изводят меня: познакомь да познакомь.

Единственнов медленно подходит к ним. Он не знает, как держать себя с этими насмешливыми и дерзкими женщинами.

З у л е й х а. Какая у вас романтическая фамилия, товарищ Единственнов!

А д и л я. Это не совсем так, Зуля. Фамилия нашего уважаемого заведующего — Гульмамедов, а Единственнов — псевдоним.

Г ю л ь з а р. Как интересно! Значит, вы один-единственный на свете человек?

Е д и н с т в е н н о в. Да.

З у л е й х а. Ваше лицо мне очень знакомо. Где-то я вас видела.

Е д и н с т в е н н о в. Возможно.

З у л е й х а. И я вас откуда-то знаю...

Е д и н с т в е н н о в. Очень может быть.

А д и л я. Четырнадцать лет назад на Восьмое марта в газете была фотография товарища Единственнова. Его сфотографировали, когда он покупал подарок своей супруге. Наверно, там вы его видели.

Г ю л ь з а р. Нет, я тогда была слишком мала, чтобы газеты читать.

З у л е й х а. Товарищ Единственнов, а вы в кино не снимались?

А д и л я. Да нет... Товарищ Единственнов — ветеран почтового дела. Сам министр знает товарища Единственнова, он даже упомянул о нем однажды в своем докладе.

Г ю л ь з а р. А-а-а, вспомнила, где я вас видела! Здесь, на почте. Неделю назад!..

Е д и н с т в е н н о в. Все прекрасно, все хорошо, но еще не известно, кто кого разыгрывает!

А д и л я. Товарищ Единственнов, я и не знала, что у вас есть чувство юмора...

Е д и н с т в е н н о в. Хватит, товарищи! Ибрагим, где ты там, Ибрагим!

И б р а г и м. Я здесь, товарищ Единственнов, я здесь!

Е д и н с т в е н н о в. До конца перерыва осталось пять минут. Ты меня понял?

И б р а г и м. Да, товарищ Единственнов. У меня к вам маленький вопрос.

Е д и н с т в е н н о в. Ну, давай свой вопрос, Ибрагим.

Единственнов с Ибрагимом отходят в сторону, и подруги вновь остаются одни.

З у л е й х а. Да они просто горят на работе. Откуда только такие берутся?

Г ю л ь з а р. Эти два остолопа?

З у л е й х а. Всюду такие остолопы, и поэтому, как говорит моя бедная мама, мы остались ни с чем.

Г ю л ь з а р. Чтоб им всем мурдешир[1] лица вымыл!

А д и л я. Тише ты, Ибрагим услышит.

Г ю л ь з а р. Ну и пусть услышит, мне-то что?

А д и л я. Как что? Ведь Ибрагим — мурдешир и есть.

Г ю л ь з а р. Что?

А д и л я. Ибрагим — мурдешир.

З у л е й х а. То есть как это?

А д и л я. Ну, обыкновенно, мурдешир... Подрабатывает... Как выдается свободное время, бежит в мечеть, помогает обмывать покойников.

Г ю л ь з а р. Ой, мама!..

З у л е й х а. Ада, как ты работаешь вместе с таким человеком?

А д и л я. Обыкновенно.

Г ю л ь з а р. Не боишься?

А д и л я. А чего бояться?

Г ю л ь з а р. Нет, я тебя не узнаю. Где прежняя Ада?

А д и л я. Это потому, что не боюсь Ибрагима? А почему я должна его бояться? Что, другие лучше, что ли? Десять лет назад испугалась бы. Потому что я ничего о жизни не знала, мы порхали себе как бабочки...

З у л е й х а. И не задумывались даже, что осень не за горами...

А д и л я. Вы думаете, все здесь могут разыгрывать этого Единственнова? Да все дрожат перед ним. Знаете,

---

[1] М у р д е ш и р — человек, занимающийся ритуальным обмыванием покойников у мусульман.

как его боятся?! Он такой вредный, а передо мной заискивает...

Гюльзар. А-а-а. А почему это он перед тобой заискивает?

Адиля. Через два года он уйдет на пенсию. Так вот, уже сейчас стелется передо мной, чтобы потом Халил помог ему с пенсией. Иногда он у меня спрашивает: «Адиля, ваш муж по-прежнему работает в министерстве социального обеспечения?»

Гюльзар. Бедняга.

Адиля. Все мы бедняги.

Гюльзар. Не говори...

Единственнов. Ибрагим! Перерыв кончился.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственнов.

Гюльзар. Ну, ладно, Ада, мы пошли.

Адиля. Хорошо, привет.

Гюльзар. Да, забыла сказать, я ведь опять документы в институт подала... На заочное. Помоги, аллах.

Адиля. Аллах поможет, дожидайся...

Зулейха. До свидания, Ада. Куплю джерси, вечером принесу показать.

Адиля. Хорошо.

Почтовый зал постепенно заполняется людьми, вновь начинают шуметь аппараты. Единственнов, понаблюдав за Адилей со стороны, подходит к ней.

— Так вы говорите, сегодня утром познакомились с товарищем Ивановым?

Адиля. Да-а-а...

Единственнов. Вы говорите, он откуда-то... сверху?

Адиля. Да. А что?

Единственнов. Вы сегодня с утра не в духе, товарищ Адиля. Может быть, еще что-то произошло? Вы знаете, я всегда близко к сердцу принимаю ваши заботы...

Адиля. У меня, кажется, свекор помер, товарищ Единственнов.

Единственнов. То есть как это — кажется? Официально скончался?

Адиля. Нет, официально нет.

Единственнов. Опять вы меня разыгрываете. Я прошу вас, товарищ Адиля... И когда вы только повзрослеете...

Обидевшись, Единственнов удаляется. Адиля механи-

чески обслуживает посетителей. И вдруг происходит что-то необычное для почтового отделения: какой-то человек во фраке со скрипкой проходит к нише в стене, устраивается там и начинает играть. Никто его не видит и никто не слышит его игру. Единственнов щелкает на счетах, Ибрагим ставит сургучные печати на посылках, все прочие тоже заняты своим делом,— Адиля одна слышит музыку. И никто, кроме нее, не видит мужчину в черном костюме и белой рубашке, который возник ниоткуда и подошел к Адиле. И остались для нее в почтовом отделении только он и она.

— Здравствуйте,— сказал он.

— Здравствуйте, добрый день...— ответила она.

— Есть ли письмо для меня?

— Для вас?.. Сейчас посмотрим.

И Адиля начала торопливо перебирать конверты «до востребования».

— Нет, для вас нет письма...

Между тем никому не видимый скрипач стал играть все громче. И сердце Адили забилось в ритме его мелодии.

Мужчина. Нет... Нет и нет, и никто мне не поможет...

Адиля. Вы не грустите. Вы будете приходить за письмом каждый день... И спрашивать его у меня... Только у меня, не правда ли?

Мужчина. Да.

Адиля. Я знаю, что значит для вас письмо. Но даже если оно запоздает, вы не рассердитесь, не разочаруетесь, вы будете ждать его и разговаривать со мной... Вы и сейчас никуда не уйдете... Мы... мы станем друзьями... Очень близкими друзьями... Или я ошибаюсь?..

Мужчина. Нет, не ошибаетесь.

Адиля. Мы доверимся друг другу. Я все вам расскажу. Даже то, что никому на свете не сказала бы. Даже то, что скрываю от себя. Я не скрою от вас ничего. А вы будете меня слушать. И будете говорить:

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Вы ведь будете это повторять, не так ли?

Мужчина. Так. В горах — туман...

Адиля. Упал на колени...

Мужчина. Альпийский луг...

Адиля. Достался оленю... Вы знаете, почему я до конца откроюсь вам? Потому что никто больше не сможет меня понять... Потому что люди стали мне чужими... Потому что я стала сама себе чужой... Я стала пустой... Равнодушной...

Мужчина. Я знаю...

Адиля. Знаете? Конечно, конечно, вы знаете. Вы все знаете. Вы ответите на все мои вопросы. Вы не боитесь вопросов... Мы с вами будем путешествовать! Ведь правда? Мы побываем везде! Где мы только не побываем! Но больше всего нам понравится в горном лесу. Вечерами, сидя в палатке, мы будем вслушиваться в шум дождя. Мы забудем, что пройдет время и мы умрем, станем землей, а лес этот останется, и дождь никогда не кончится. Мы забудем, мы забудем обо всем — и о наших заботах, и о наших тревогах, и о наших страхах. Забудем о людях несчастных и о людях счастливых. Мы, только мы будем в нашем мире: вы, я и еще лес... и еще темнота лесная... и деревья... наша маленькая палатка... и дождь... Невдалеке от нас будет горная речка. Мы будем слушать ее... Потом наступит тишина, эта тишина принесет нам счастье, мы растворимся в этом счастье и станем по-настоящему свободны. Утром, проснувшись, мы будем купаться в горной реке. Соловьи будут петь: «Цветок, цветок! Раскройся!» И мы будем радоваться, радоваться... ведь так?

Мужчина. Конечно. Ведь мы будем часто видеться...

Адиля. Правда? Вы правду говорите? Ну, конечно, вы говорите правду. Конечно, правду. Я больше не буду сомневаться в этом. Мы будем видеться часто, очень часто. Потому что иначе невозможно. Так больше невозможно, вы понимаете? Невозможно так! Я не могу больше так жить! Может ли быть на свете столько бессмысленного, однообразного? Может ли жизнь быть такой пустой? Сколько может человек разговаривать сам с собой? До каких пор он может быть счастлив только в мечтах, в мире, который он сам себе вообразил,— в несуществующем мире? Ну до каких пор можно задавать один и тот же вопрос: «Ну и что?» До каких пор? Ведь больше невозможно это выносить! Невозможно, понимаете?

Мужчина. Понимаю.

Адиля. Понимаете, конечно, понимаете. Вы все понимаете.

Мужчина. Мы еще не раз будем беседовать с вами. Пока я не получу письмо. Мы будем видеться, пока я не получу письмо.

Адиля. Пока вы не получите письмо. А потом — все?! Конец?! О, не спешите получать это письмо, прошу вас, не спешите. А вдруг оно придет завтра? Нет, и после того, как вы получите письмо, мы будем видеться, потому что в нем будут хорошие вести, я это чувствую, знаю...

Мужчина. Нет, после того, как придет это письмо, мы больше не будем нужны друг другу. Не будет уже необходимости в наших встречах...

Адиля. Я не хочу этого! Не хочу!

Мужчина. Все будет хорошо, вот увидите... Все будет хорошо...

Адиля. Вы... уходите?

Мужчина. Я еще приду... Приду... Обязательно приду...

Мужчина исчезает. Адиля закрывает глаза, а когда открывает их, перед окошком стоит старик в очках, с палкой в руке.

Старик. Барышня, милая, красавица моя, который раз я уже говорю, что моя фамилия Алигулузаде, к тому же я — профессор, а вы опять что за письмо мне даете? Это письмо Гам-бар-гу-лу-заде! Детка, что мне за дело до Гамбаргулузаде?! Я ведь Алигулузаде, профессор. Сначала дала мне Мартиросяна, а теперь Гамбаргулузаде!..

Адиля. Что вы говорите? Как ваша фамилия?

Старик. Это уже явное издевательство! Да это просто безобразие! Где тут у вас заведующий? Позовите заведующего!

3

Гюльзар и Зулейха с юных лет тянулись к Адиле, негласно признавая ее превосходство. Им необходимо было видеть ее, и на почту они являлись почти каждый день.

Адиля сидела задумавшись. Весна незаметно переливалась в лето, и старуха, отмеряющая время, казалось Адиле, вязала и приговаривала: «Этот носок я вяжу моему второму сыну. Первый мой сын — неверный. А вот

второй — самый лучший сын. Я его больше всех люблю. Он — как родник. Как родник чистый, как волна мягкий, как волна ласковый...»

Лето теснило весну, а Адиля еще не приняла решения...

Зулейха. Не знаю, Ада, что с тобой последнее время...

Адиля. А что?

Гюльзар. Ты стала какая-то такая...

Адиля. Какая такая?

Зулейха. Вот мы у тебя и спрашиваем, какая ты сейчас. Ведь прежней Адили нет...

Адиля. Но ведь и ты не прежняя, Зуля... Ты так же шутишь, смеешься, но все больше по инерции, а может быть, ты играешь, кто знает?.. Прежней Зулейхи больше нет. И прежней Адили — тоже. И прежней Гюльзар.

Гюльзар. Все это понятно. Ада, конечно же я — не прежняя. Мне теперь тридцать четыре, как же я могу быть двадцатилетней? Разве я могу теперь смеяться так, как раньше? От всего сердца, весело, бездумно? Вот в том-то и дело, что бездумно. Ни о чем не думала двадцатилетняя Гюльзар, попусту тратила время, влюблялась в Жана Маре, в Рашида Бейбутова, и не только в них, к сожалению. Любила веселые компании, ну, да вы все это знаете не хуже меня... И вот результат! Не знаю, винить мне теперь двадцатилетнюю Гюльзар или хвалить — что в молодости жила не кривя душой, в свое удовольствие. Но где эта молодость? У моих ровесниц уже дочки чуть ли не на выданье, а я? Осталась ни с чем. Кто на мне женится? Никто. Я уже седею... Скоро не помогут ни пудра, ни краска, буду я старая кокетка. Но у тебя ведь по-другому, Ада...

Адиля. А чем это я от тебя отличаюсь?

Зулейха. Я, конечно, понимаю, Ада. Халил — не тот, о котором ты мечтала, совсем не тот... Но все же...

Адиля. Я сказала, не трогай Халила. Не твое это дело!

Зулейха. Ладно, не буду, не сердись...

Гюльзар. А по-моему, любовь — это все пустое. Это для двадцатилетних, потом все проходит... Чего уж тут горевать.

Адиля. Да что вы напали на меня?! Я знаю это не хуже вас. Любовь — как пустая консервная банка!

Жизнь — вечные похороны неисполнившихся желаний! Я знаю это получше вас всех. Но почему? Почему это так?

Зулейха. Вот видишь, ты спрашиваешь — почему? Потому что ты не можешь смириться с этим. И напрасно. Ты опять думаешь, как прежняя Адиля, вместо того чтобы смеяться над прежними мечтами, причем смеяться так же беззаботно, как раньше. У тебя есть все, Ада. Завидую тебе. Сейчас только и мечтаю, чтобы у меня появился такой мужчина, как Халил, поженились бы мы и жили себе потихоньку. Это и есть счастье.

Гюльзар. И не говори.

Адиля. Если вы еще раз вспомните про Халила, я вам больше не подруга...

Гюльзар. Ну, хорошо, давай поговорим о чем-нибудь другом. Надо же как-то развеяться...

Зулейха. А о чем другом? Вчера звоню Фире — денег одолжить, туфли на платформе появились. А она мне: клянусь Аликом, нет ни копейки.

Гюльзар. Она только и клянется Аликом, когда врет... Накличет, что этого завмага Алика вытянут из магазина за ушко да на солнышко...

Единственнов, сидевший все время над бумагами, поднял голову, посмотрел на часы и крикнул:

— Ибрагим!

Дремавший с открытыми глазами Ибрагим подпрыгнул, как мячик.

— Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Перерыв окончен!

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственнов!

Зулейха. Ладно, мы пошли, Ада.

Адиля. Привет.

Гюльзар. Привет. Не растравляй себя. Что наша жизнь — игра...

Зулейха. Прощайте, Ибрагим-муаллим.

Гюльзар. Спокойной ночи, Ибрагим-муаллим.

Польщенный Ибрагим берет Гюльзар за руку.

— Заходите, девушки, заходите.

Гюльзар вспоминает, что он мурдешир, вздрагивает от омерзения, пытается вырвать у него свою руку и громко кричит:

— Ой! Убери свою руку. Ну!

Единственнов. Что случилось, товарищи?

З у л е й х а. Эй, мурдешир проклятый, чего живых людей хватаешь? Сейчас получишь...

И б р а г и м. Ох, была бы моя воля!.. Я бы ей показал... Я бы ее... Я бы их... Стервы, пробы негде ставить!

Единственнов подходит к Ибрагиму и что-то говорит ему тихо. Ибрагим, потирая покрасневшую лысину и подскакивая на месте от возмущения, выкрикивает:

— Девушки! Ха, девушки! Они уже лет двадцать как не девушки. Шайтаны в юбках, да еще в коротких!

Е д и н с т в е н н о в. Брось, не связывайся. Эта кошка Адиля их в обиду не даст. Ты с ней поосторожнее, у нее любовник новый, товарищ Иванов.

И б р а г и м. А кто такой этот Иванов?

Е д и н с т в е н н о в. Думаю, важная птица... Оттуда...

Единственнов многозначительно воздевает палец к небу. Ибрагим замирает, весь словно худеет и бледнеет на глазах. В тревожном молчании они расходятся по своим местам. Адиля сидит с отсутствующим видом. Появляется скрипач, встает в свою нишу и начинает играть... Вскоре возникает мужчина в черном костюме. Адиля обрадованно вскакивает.

А д и л я. Спасибо, что пришли.

М у ж ч и н а. Здравствуйте.

А д и л я. Я боялась, что вы не придете.

М у ж ч и н а. Но я обещал вам. Мне письма нет?

А д и л я. Нет, еще не получено... Дайте-ка посмотрю еще раз... Нет...

М у ж ч и н а. Не беда. Собственно, я пришел вас пригласить.

А д и л я. Пригласить меня? Куда?

М у ж ч и н а. Куда хотите.

А д и л я. Куда я хочу?.. Идемте... поедем в Кисловодск... Нет, в Джидырскую степь... Пусть ударит нам в нос запах чабреца, ничего, вынесем! В детстве нас всегда на лето возили в Шушу. Тогда отец был еще жив... А я смотрела на горы, мечтала скорее подрасти, хотела обнять эти горы, разделить со всеми свою радость... А теперь... А теперь я хотела бы снова стать ребенком... Но больше не будем об этом... Мы поедем в Джидырскую степь!.. Поехали?

М у ж ч и н а. Поехали.

А д и л я. Вы ощущаете запах чабреца? Какой силь-

ный запах... Посмотрите на эти горы... Туман расходится...

Мужчина.

В горах туман
Упал на колени,
Альпийский луг
Достался оленю.

Адиля. Мы на самую вершину поднимемся!.. Смотрите, сколько здесь цветов!.. Я бывала в этих местах, но никогда не было так хорошо... Это потому, что я с вами. Вы слышите крики удодов? Знаете, что они кричат? Одного зовут Иса, а другого — Муса. Один спрашивает: «Иса, нашел?» Другой отвечает: «Муса, нет»... Говорят, было двое братьев-чабанов. Однажды у них пропала любимая овца. Искали-искали, так и не смогли ее найти. Тогда они обратились к аллаху с просьбой сделать их птицами, чтоб они увидели наконец свою овцу. Аллах превратил их в птиц. А они все равно овцу не нашли... Может быть, овцу унес волк? Ведь здесь полно волков... Нет, нет, не будем сегодня говорить о волках, лисах, шакалах... Как сильно пахнет чабрец! Этот запах всем нравится, а я бы хотела, чтобы плохие люди не выдерживали запаха чабреца. Чабрец — только для самых лучших...

Мужчина. Значит, на свете нет плохих людей...

Адиля. Нет плохих людей? Почему?

Мужчина. Потому что все выдерживают запах чабреца.

Адиля. Нет, это неправда, я не так хотела сказать. У нас по соседству жил один слепой, Мамадбагир-киши. Он говорил, на свете нет плохих людей, самое трудное — узнать человека близко, а после того, как близко, очень близко его узнаешь, поймешь, что нет плохих людей. Так ли это на самом деле? Ну вот, взяточнику какое оправдание? Как он может быть хорошим человеком? Как может быть хорошим человеком подхалим? Или вор? Правда, всем им нравится запах чабреца, но один вдыхает его, думая о хороших делах, а другой — о плохих... Послушайте, как вы объясните, почему многие хорошие люди несчастны? Слышите кузнечика? Вы слышите, как он поет? Так вот, несчастный человек никогда не почувствует прелести этого стрекотанья.

Мужчина. Почему же?

Адиля. Потому что я часто бывала в этих местах. И совсем не так давно вместе с Халилом. Нюхали чабрец, смотрели на туманные горы, слушали, как журчит речка Дашалты, слушали песню кузнечика, и все это пробудило во мне не радость, а грусть, потому что я опять задумалась о себе, о своей неудавшейся жизни. Даже эта красота наводит на меня только печаль.

Мужчина. А почему вы, созерцая эту красоту, не задумались о том, чтобы распроститься с вашей неудавшейся жизнью? Изменить ее?

Адиля. Потому что это невозможно.

Мужчина. Своего рода утешение, не так ли? Это ведь утешительно: сказать себе «невозможно» — и продолжать.

Адиля. Нет, это не утешение, это — истина. Все так думают. По крайней мере, те, с кем я встречаюсь каждый день. Для них это тоже невозможно. Хотите, я познакомлю вас с ними? И тогда вы увидите, права я или нет. Хотите?

Мужчина. Ну что ж...

Адиля. Правда? Вы хотите с ними познакомиться? Я знаю, вы делаете это для меня... Может, чтобы лучше меня понять... Помочь мне разобраться в самой себе. Но как познакомить их с вами?.. Знаете что, пусть они расскажут о таком событии в их жизни, которое они считают для себя самым важным, самым значительным. Только все вопросы задавайте вы. Ну, будто вы судья. А с кого мы начнем?

Мужчина. С товарища Единственнова.

Адиля. Договорились! Товарищ Единственнов! Товарищ Единственнов! Если вам нетрудно, подойдите сюда на минуточку. С вами хочет поговорить один товарищ...

Единственнов. Здравствуйте.

Мужчина. Вы Алмамед Ахмед-оглы Гюльмамедов. Единственнов — ваш псевдоним. Вам пятьдесят девять лет. Вы женаты. У вас трое детей. Два внука. Вы заведующий почтовым отделением.

Единственнов. Да...

Мужчина. Расскажите, пожалуйста, какое событие своей жизни вы считаете самым значительным?

Единственнов. Самое значительное событие в моей жизни?

Мужчина. Да, пожалуйста.

Единственнов. Самое главное событие в моей жизни? Сейчас... Однажды меня вызвали в министерство и командировали в Кедабек — проводить кампанию подписки на газеты. Ибрагим тоже был со мной. Мы ходили по селам, агитировали... Кедабек, вы же знаете, горный район, выдали нам лошадей, чтобы мы объехали все села. И вот спускались мы в дождь из большого села Гара-Мурад. Вдруг конь споткнулся, и я вместе с ним покатился с обрыва... Очнулся через десять дней в районной больнице. Весь в гипсе. Открыл глаза, рядом Ибрагим на стуле сидит. Мои первые слова были... Нет, лучше пусть сам Ибрагим скажет. Ибрагим, эй, Ибрагим!

Ибрагим. Я здесь, товарищ Единственнов.

Единственнов. Ну-ка, расскажи товарищам, пусть они услышат. Когда я в больнице через десять дней открыл глаза, что я сказал тебе прежде всего?

Ибрагим. Вы сказали: «Ибраги-им». А я сидел около вас и плакал. А вы говорите: «Ибрагим, в каком состоянии колхозный конь? Он не убился?»

Единственнов. Да, как только я пришел в себя, я в первую очередь поинтересовался состоянием упавшего вместе со мной колхозного коня!

Мужчина. Значит, это и есть самое главное событие в вашей жизни?

Единственнов. Думаю, что да!

Ибрагим. У товарища Единственнова на первом месте стоят общественные интересы!

Мужчина. Почему во время войны вы, товарищ Единственнов, симулировали болезнь и не пошли на фронт?

Единственнов. Я... нет... Это было так давно... У меня есть справки... Я... Я...

Ибрагим. Не может быть... Это просто не может...

Мужчина. Вы Ибрагим Гасым-оглу Азизов. Вам тридцать восемь лет. Женаты. Трое детей. Работаете заместителем заведующего почтовым отделением.

Ибрагим. Да...

Мужчина. Вы должны сейчас же рассказать, какое событие было самым значительным в вашей жизни.

Ибрагим. Я должен?

Мужчина. Пожалуйста!

Единственнов. Говори, не бойся.

Ибрагим. Самое главное событие в моей жизни...

Какое событие в моей жизни было самым главным, товарищ Единственнов?

Единственнов. Сам подумай...

Ибрагим. Да! Самое главное в моей жизни то, что судьба свела меня с товарищем Единственновым! В результате отеческой заботы товарища Единственнова я поднялся от грузчика до заместителя заведующего! Вы сделали меня человеком, товарищ Единственнов! Вы воспитали меня по принципам Макаренко! Я этого никогда не забуду!

Единственнов. Это мой гражданский долг...

Мужчина. По какой цене, Ибрагим, вы продаете нижнее белье покойников, которых обмываете?

Ибрагим. Нет... Что вы... Да я... Никогда...

Мужчина. Почему вы постоянно желаете смерти товарищу Единственнову? Надеетесь стать заведующим?

Ибрагим. Я... Я... Нет...

Мужчина. Можете идти.

Единственнов. И я тоже, товарищ ээ-э-э?..

Мужчина. Да, и вы тоже.

Адиля. Ну, что вы скажете?

Мужчина. Давайте следующего.

Адиля. Халил! Хали-ил!

Халил. Что, мамочка, что, душа моя?

Адиля. Иди сюда на минутку.

Халил. Что такое, мамочка?

Мужчина. Вы Халил Юсуф-оглу Керимов. Вам сорок семь лет. Вы работаете в министерстве социального обеспечения. Женаты. Детей нет.

Халил. Да, это так... Адочка не виновата, виноват я...

Мужчина. Вы должны рассказать сейчас о главном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Халил. С чего это вдруг?

Мужчина. Говорите.

Халил. Если вы настаиваете, пожалуйста... Мамочка, ты и без того знаешь, какое событие главное в моей жизни. Но я могу повторить. Самое главное, самое главное событие всей моей жизни — это женитьба на Адиле.

Мужчина. А другое событие вы не вспомните?

Халил. Другое? Могу, конечно, в моей жизни было много чего... Но...

Мужчина. Не стесняйтесь, говорите.

Халил. Ладно... Это было примерно год назад. Меня вызвал к себе начальник отдела Кязимов и говорит: «Халил, мы с тобой уже двадцать четыре года работаем вместе. Я считаю тебя своим другом. С этой минуты называй меня просто по имени, я для тебя — Салим». С тех пор я и при сотрудниках зову его по имени. Потому что мы друзья. Потому что он такой замечательный человек, потому что он...

Мужчина. Вы любите Адилю?

Халил. Я не могу без нее жить.

Мужчина. Вы пожертвуете ради нее своей жизнью?

Халил. Я... Когда до нее дотрагиваюсь, весь дрожу...

Мужчина. Отвечайте на вопрос. Пожертвуете ли вы ради нее своей жизнью?

Халил мнется: все так необычно, вдруг на самом деле ему придется расстаться с жизнью. Адиля такая... Не знаешь, чего от нее ожидать. Он избегает смотреть на Адилю и не знает, что отвечать.

Халил. Я... Я сказал же...

Мужчина. Можете идти.

Адиля. Даже забыл со мной попрощаться... Испугался, что ли? Ладно. Ушел — и хорошо. Зуля! Зуля! Где ты?

Зулейха. Что, Ада?

Адиля. Иди сюда, дело есть.

Зулейха. Здравствуйте.

Мужчина. Зулейха Али-гызы Халилова. Вам тридцать шесть лет. Незамужем. Работали секретаршей, уже месяц, как не работаете вовсе.

Зулейха. Что делать, он был страшный бабник.

Мужчина. Вы должны нам рассказать о самом, на ваш взгляд, значительном событии в вашей жизни. Прошу вас.

Зулейха. Если вы всерьез, тогда и Гюлю позовите, вместе будем рассказывать.

Адиля. Гюля, Гюльзар!

Гюльзар. Привет. В чем дело?

Мужчина. Гюльзар Ахмед-гызы Мамедова. Тридцать четыре года. Незамужем. Работаете телефонисткой — в ночную смену.

Гюльзар. Вы из статуправления?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, по вашему мнению, событии в вашей жизни.

Зулейха. Слышала, Гюля, мы должны рассказать о самом главном событии в нашей жизни! Расскажем!

Гюльзар. Расскажем.

Зулейха и Гюльзар берутся за руки словно на эстраде и поют.

Самое главное?
Это просто смешно.
Потому что нам главного
Не дано.

Уж так получилось.
Такая судьба.
А раньше мы думали —
Не беда.

Мы такие красивые,
Чего же еще?
Мы такие счастливые!
Официант, счет!

За границу не ездили,
Проси не проси.
Тебя по уху съездили?
Эй, такси!

Заморочили головы
И себе и другим,
Раньше мы были молоды
И теперь — хотим.

Раньше мы были щедрые —
Ветер в голове.
Дуры мы несусветные.
Обе. Две...

Гюльзар. Ну, что? Достаточно?

Зулейха. Как вам наш репертуар?

Гюльзар. Вы довольны нами?

Зулейха. Пошли, Гюля. Привет.

Гюльзар. До свиданья! Мы поплыли.

Мужчина. Стойте.

Зулейха. Что еще?

Мужчина. Вы любили Салеха, и он любил вас. Он хотел ребенка. Почему вы сделали аборт?

Гюльзар. Ой... Я ничего не знала!

Адиля. Я знала.

Зулейха. Потому что... я была так молода, а он —

студент, я думала, все еще впереди, зачем нам ребенок? А потом уже было поздно... Он женился на скромной чистенькой девушке. Он даже не знает, что творит сейчас эта скромная чистенькая девушка у него за спиной!.. А я бы этого не делала! Нет! Нет! Не делала!!!

Гюльзар. Успокойся, Зуля... Успокойся... Не надо больше ее спрашивать...

Мужчина. Хорошо. Я обращаюсь к вам. Почему вчера вечером вы подняли руку на вашу старую мать?

Гюльзар. Верно... Вы правы. Я вчера подняла на маму руку, толкнула ее. Причем это не первый раз... Потому что... потому что она еще больше, чем я, виновата в том, что мне теперь уже все равно, я никому не нужна, у меня и желаний даже никаких не осталось. А все потому, что, когда я в шестнадцать лет приходила домой в двенадцать ночи, она не наказывала меня, а сладко спала... Ее больше интересовало, сколько она денег получит с проданного пива... И все-таки я очень люблю мою маму...

Мужчина. Можете идти.

Адиля. Вы рассердились на них? Ведь они честно ответили на ваши вопросы. Не соврали. Они такие, как есть, только и всего. И поэтому...

Мужчина. И поэтому?

Адиля. И поэтому они несчастны! Самые несчастные на свете! Нет желаний... Никакой радости впереди... Самые несчастные на свете, потому что уже примирились со своим несчастьем... Наверно, так легче жить. Кто знает, может быть, это и правильно...

Мужчина. Значит, вы счастливее Зулейхи и Гюльзар, не так ли? Вы ведь не примирились со своим несчастьем. Вы ведь страдаете постоянно. Даже если захотите, не сможете примириться, потому что это не в вашем характере.

Адиля. Нет, нет. Мы все несчастные: и Зулейха, и Гюля, и я... Потому что жизнь проскользнула у нас между пальцами... Ну, что из того, что я каждую ночь твержу себе перед тем, как заснуть: «Так жить нельзя! Ты все делаешь не так. Почему? Почему ты не начинаешь жизнь сначала? Это ведь не жизнь, то, что ты делаешь...» И я даже даю себе слово, что так больше не будет. А утром просыпаюсь и... весь день проходит так же, как предыдущие. Все то же самое. Снова Халил, его мелкие радости, желания, не стоящие ржавой копейки...

Снова лицемерные речи Единственнова, омерзительное лицо Ибрагима... Снова нерадостное житье Зули и Гюли... А перед тем как заснуть снова, несбыточные мечты. Обманчивые надежды...

Мужчина. Может быть, еще кого-нибудь позовете?

Адиля. Кого? Хватит, наверно. Да больше никого знакомых и нет... Салима, что ли? Меня от него тошнит. Давайте лучше посмотрим на эти горы... Вы видите облака? Пойдет дождь. Потом перестанет. Мы промокнем, но это ничего. Зато радугу увидим. Потом послушаем кваканье лягушек... Давайте ни о чем не думать, просто смотреть. Видите, мне на ладонь села божья коровка. В детстве распевали мы, а теперь поют нынешние дети:

Божья коровка, улети на небо,
Там твои детки кушают конфетки.

Мужчина. Вы Адиля Мелик-гызы Керимова. Вам тридцать пять лет. Три года замужем. Детей нет. Работаете в почтовом отделении.

Адиля. Да...

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Хорошо... Понимаете, мы все умрем... Сколько ни есть людей на земле, все умрут... Их заменят новые люди. И они умрут. Я умру, и моя мама умрет. Если бы у меня был ребенок, и он бы умер. И Зуля умрет. И Гюльзар. И вы, я думаю, тоже умрете...

Мужчина. Верно.

Адиля. Так почему же вы не приходите в ужас? Зачем вам это письмо, если вы все равно умрете?

Мужчина. Вы должны рассказать о самом значительном, на ваш взгляд, событии в вашей жизни.

Адиля. Простите... Простите меня. Я сейчас... Самое значительное событие в моей жизни — это осознание собственной смерти. Однажды ночью, холодной ночью, я поняла, что будь ты счастливым или несчастным — все равно умрешь. Это и есть самое страшное. Смерть!

Мужчина. Это — не самое страшное.

Адиля. Я бы очень хотела вам поверить...

Мужчина. Ну, так поверьте.

Адиля. Может, и вы скажете, что вокруг бурлит радостная жизнь и нельзя отрываться от коллектива? Может быть, и вы скажете, что надо быть волевым, стой-

ким, еще бог знает каким? Не говорите мне этого! Я не хочу, чтобы вы говорили эти холодные слова! Я много слышала таких слов. По радио, в газетах... Я все это знаю.

Мужчина. Я вам и не говорю о том, что вы знаете.

Адиля. Хорошо... А что же тогда, по-вашему... Что, по-вашему, самое страшное?

Мужчина. Представьте себе одного артиста. Он всю жизнь провел на сцене. Состарился. Его уважают, он знаменит, многие его любят. Все привыкли к нему, не представляют себе сцену без него. И никому не придет в голову, что он бездарен. Всюду пишут, что он талантлив, все говорят, что он большой актер. Но вот однажды он пришел домой после спектакля. И вдруг, внезапно, неожиданно он осознал, что бездарен, что нет в нем настоящего таланта. Осознал, что всю жизнь был бездарен, что известность — мнимая, и уважение — выдуманное, и любовь — только видимость, а ежедневные девичьи письма с любовными признаниями — бред собачий. Никогда ни одну из этих девушек он не сделал и не сделает счастливой, потому что бездарен, потому что обманывал не только других, но и себя самого. Он играл Отелло, срывал аплодисменты, но никогда не испытывал чувств истинного Отелло. Он играл Гамлета и снова срывал аплодисменты, но гамлетовские переживания были ему всегда чужды... Все это я вам рассказываю для того, чтобы задать следующий вопрос. Почему вы вышли замуж за нелюбимого человека?

Адиля. Сказать правду? Хорошо... Я вам признаюсь... Потому что не было любимого и потому что я не смогла бы выйти за лучшего. Я была уже тридцатидвухлетняя старая дура. Люди, которых я любила, существовали только в моих мечтах, в жизни они мне не встретились.

Мужчина. Да. Вы вышли замуж за нелюбимого человека потому, что вам уже было все равно. К тому времени вы уже примирились с вашей неудавшейся жизнью. Стали равнодушны к своей судьбе...

В их беседу врывается звонок, раздается голос Единственнова, призывающего Ибрагима. Адиля вздрагивает и видит себя сидящей за рабочим столом в почтовом отделении. Ее собеседника нет, он исчез. Ибрагим стоит у дверей и никого не пускает внутрь. Единственнов встает и подходит к Адиле:

— Я объявляю вам благодарность, товарищ Адиля.

Адиля. Что вы говорите?

Единственнов. Я объявляю вам благодарность.

Адиля. За что? За то, что вчера этот смешной старик профессор жаловался на меня?

Единственнов. Нет. Вы прислушались к справедливой критике. Сделали надлежащие выводы из моих замечаний, ведь вы больше не изображаете цифру «13» на окошке.

Адиля. А-аа-а...

Единственнов. Да! Я ценю, когда к моим замечаниям прислушиваются!

Адиля. С занесением в личное дело?

Единственнов. Непременно!

4

Адиля в своей квартире лежит на диване, просматривая иллюстрированные журналы, и снова чудится ей старуха, которая сидит на старом стуле, вяжет носки и приговаривает: «Эти носки я вяжу моему третьему сыну. Первые два никудышные получились. Вот третий у меня — самый хороший, самый любимый. Он для меня как воздух. Он всех умнее, всех добрее, такой красивый, такой высокий, светлый, как небо...»

Адиля отбрасывает журналы, встает, включает радио и сразу его выключает. Снова устраивается на диване. Входит Халил.

Халил. Купил наконец подарок для дочери Салима. Ну, и народу было за хрусталем! Дай я тебя поцелую!

Адиля. Ну, пожалуйста, не надо!

Халил. Хорошо-хорошо, мамочка, не сердись. Видишь, хрустальная ваза, мамочка, и всего за двадцать рублей. Посмотри, какая вещица! Я сейчас распакую...

Адиля. Не нужно, не разворачивай.

Халил. Почему же, посмотришь, какая красота.

Адиля. Я же сказала, не разворачивай, не хочу.

Халил. Двадцать рублей, конечно, тоже деньги, особенно перед отпуском...

Адиля. Ради Салима, кончай эти разговоры.

Халил. Что с тобой, Адиля?

Адиля. Ничего, что может быть?..

Халил. Ну, тогда собирайся, пора уже, неудобно опаздывать к Салиму.

Адиля. Прости, Халил, настроения нет, я устала. Не пойду, пожалуй. А ты иди, а то Салим на тебя обидится... Скажи там что-нибудь, почему я не пришла... А ты знаешь, галстук тебе идет...

Халил. Ты же его сама выбирала...

Адиля. А? Да-да. Надо было пару купить. Теперь модно один разрезать и в карман вместо платочка... Очень красиво.

Халил. Неудобно получится... Мы уже три года ходим с тобой на день рождения дочери Салима. Если теперь никто из нас не придет, будет нехорошо...

Адиля. Ну, конечно, нехорошо...

Халил. Ладно... Я зайду и от твоего имени поздравлю, скажу, что ты больна, и быстренько вернусь. Отдыхай. И все-таки хотя Салим мне друг, но все же перед курортом тратить двадцать рублей на подарок — не дело, откровенно говоря... Правда, Салим не такой человек, чтобы обращать особое внимание на подарки, но и с пустыми руками тоже ведь не пойдешь... Слышишь, звонок? Кто это к нам, интересно? Пойду открою.

Зулейха. Здравствуйте, Халил-муаллим.

Гюльзар. Добрый вечер.

Халил. Здрасьте, здрасьте. Проходите, пожалуйста, Адочка дома.

Гюльзар. Привет!

Зулейха. Ее высочество отдыхает...

Адиля. Здравствуйте.

Халил. Хорошо, что вы пришли. Когда я уйду, Адочка не будет скучать.

Зулейха. Куда вы уходите, Халил-муаллим?

Халил. На день рождения дочери моего друга Салима.

Гюльзар. Ада не пойдет?

Адиля. Останусь с вами.

Зулейха. Что это, в гости не хочется?

Халил. Сколько ни зову — не идет. Заварить вам хорошего чаю?

Гюльзар. Большое спасибо, мы сами, Халил-муаллим.

Халил. Ладно, мамочка, уже пора, я пошел. До свидания. Я скоро вернусь.

Гюльзар. Нет на свете человека лучше, чем Халил-муаллим!

Адиля. Сколько раз я говорила — не называй его «муаллим».

Гюльзар. А как называть?

Зулейха. Халилушка...

Адиля. Какие вы жестокие...

Зулейха. Ладно, ладно... Ты даже не спрашиваешь, какую отметку получила Гюля?..

Адиля. Да, правда, сегодня же у тебя экзамен. Сколько?

Гюльзар. Двойку!

Зулейха. Сколько раз я ей говорила, что ничего не выйдет у нее с институтом, говорила: не трать зря время, кому это надо?

Гюльзар. Мне надо. Летом подам на очный.

Зулейха. Девочки, что вместе с тобой заявление подадут, матерью тебя будут звать!

Гюльзар. Знаешь, Ада, меня злит не то, что я срезалась, а что именно Саодат-ханум меня завалила. Тридцать лет мы соседи. А когда я ей отвечаю, так она будто первый раз меня видит, как залепит двойку! А Солмаз, другой соседке, поставила пять. Я говорю: «Саодат-ханум, почему вы мне двойку поставили, а Солмаз — пятерку, неужели Солмаз знает лучше меня?» А она: «Гюльзар, разве ты не знаешь, как я тебя люблю? С Солмаз я даже не здороваюсь при встрече, а тебя всегда обнимаю и целую». Я говорю: «Саодат-ханум, лучше бы вы Солмаз обнимали и целовали при встрече, а мне бы поставили пятерку».

Адиля. А она что?

Гюльзар. Да ничего, улыбается.

Зулейха. Эх, если бы у тебя был такой отец, как у Солмаз.

Гюльзар. Чтоб они все поскорей в руки мурдешира попали!

Зулейха. Тихо, Ибрагим услышит.

Гюльзар. Ада, а как жена Ибрагима с ним спит?

Адиля. Откуда я знаю?

Зулейха. Эх, ну их всех к шайтану! Вставайте, пойдем в кино. Хорошая картина идет, Ада, называется «Чушь на постном масле». И погода отличная — моросит потихоньку.

Гюльзар. Одевайся, Ада, одевайся, пойдем. Совсем как прежде. Хоть посмеемся от всего сердца. Подумаем, что нам снова по семнадцать лет. Обо всем забудем.

Зулейха. Может, мне после этого перестанет сниться пальто-джерси.

Гюльзар. Слушай, ради аллаха, забудь про это пальто-джерси. Вставай, Ада, вставай, одевайся.

Адиля. Нет, я не пойду.

Зулейха. Ну, Ада...

Гюльзар. Мы ведь не на день рождения дочери Салима идем...

Адиля. Нет, не хочется, вы идите. Только не упрашивайте.

Зулейха. Ада, давай поговорим серьезно.

Адиля. Серьезный разговор тебе не идет. И мне не хочется говорить серьезно.

Гюльзар. Ну конечно! Зачем это нам?

Зулейха. Ради аллаха, брось ты паясничать!

Гюльзар. Вспомните, что сейчас где-то далеко, в пустыне Атакама, прекрасная девушка мечтает о глотке воды — и благодарите свою судьбу. Вспомните, что сейчас где-то в далеких краях, на острове Ньюфаундленд, прекрасная несчастная девушка готова на все ради куска хлеба — и благодарите судьбу. Вспомните, что...

Адиля. Не смешно.

Гюльзар. Конечно, кто будет смеяться над какими-то словами, когда можно над нами самими? Старые кокетки...

Зулейха. Ада, меня злит, что ты никогда ничем не бываешь довольна. Я уж тебе говорила, для меня самым высшим счастьем было бы вот так, как ты, устроить свою жизнь и сидеть в своей хибаре. А к тебе, когда ни придешь, ты вместо того, чтобы радоваться, дуешься на весь белый свет. А нам больше некуда ходить, кроме как сюда... Что с тобой, Ада?

Адиля. Я сказала, прекратите эти разговоры! Надоело!

Зулейха. Вставай, Гюля, пойдем отсюда! В кино или еще куда...

Гюльзар. Пойдем! Представим, что нам снова по семнадцать лет. Пофлиртуем с детишками, что первый пушок над губой холят! Обхохочешься, на них глядя!

Зулейха. Вряд ли ты будешь смеяться от души, подруга. Губы раздвинешь — и ладно...

Гюльзар. И вправду! Мы ведь не лошади, чтобы ржать! Привет, Ада. Передай Халилу-муаллиму наши

сожаления по поводу того, что чрезвычайной важности дела не позволили нам его дождаться.

Адиля. Непременно.

Когда подруги уходят, Адиля поднимается с дивана, смотрит в окно, включает радио, снова выключает, потом подходит к дивану, садится. Скрипач в черном фраке со скрипкой в руке возникает в комнате, приближается к Адиле, останавливается и начинает играть совсем рядом с ней. И вдруг появляется Мужчина. Увидев его, Адиля вскакивает с места.

Адиля. Вы пришли? Я знала, что вы придете. Я ждала вас. Знала, что и домой ко мне придете. Заходите. Заходите, садитесь.

Мужчина. А вы приветливы как настоящая хозяйка дома.

Адиля. Правда? Ну, что же... Сварить кофе? Может, чаю хотите? Или откроем шампанское? Давайте отпразднуем еще раз Новый год! Да, встретим вдвоем Новый год, послушаем музыку, потанцуем, а?.. Хотите, вы будете Дедом Морозом? Вы не обиделись! Может быть, вы расстроены, что не приходит ваше письмо?

Мужчина. Нет, письмо придет рано или поздно. И тогда мы больше не увидимся. Потому что мы больше не будем нужны друг другу.

Адиля. Нет, нет. Не хочу. Я не хочу расставаться с вами. Если вас не будет... когда вы не придете, все будет кончено.

Мужчина. Ну что вы...

Адиля. Я не отдам вам это письмо. Я спрячу его от вас. Я его порву.

Мужчина. Нет, вы не порвете это письмо и не спрячете его, потому что вы знаете, что я его жду.

Адиля. Правильно...

Мужчина. А теперь одевайтесь. Одевайтесь, пойдем гулять. Я приглашаю вас на прогулку.

Адиля. Правда? Сию минуту... Где мой плащ? Вот он. Пойдемте. Пойдемте. Представим себе, что мы и на самом деле гуляем. Дождь моросит. Такой мокрый весенний вечер... Мне кажется, я всю жизнь ждала такой дождливый весенний вечер. Когда обычно в такую погоду я смотрела из окна на улицу, то думала, что и мокрые тротуары, и эта пустынная каменная улица тоже ждут... Они ждут наших шагов... Будем гулять до утра, не так ли?

Мужчина. До утра?

Адиля. Конечно, ведь нас-то никто не ждет. Мы никому не нужны. И нам никто не нужен. Не будем вспоминать, что наша прогулка может кому-то показаться смешной, для кого-то бессмысленной...

Мужчина. А почему эта прогулка должна кому-то казаться смешной?

Адиля. Почему? Почему... Не знаю. Я чувствую это... Как вам сказать?.. Вы помните, по телевизору показывали футбол,— с мирового чемпионата. Когда футболисты играли, у нас было уже утро, поэтому игру сняли на пленку, а вечером показывали по телевизору. Люди откладывали из-за футбола свадьбы. Город будто вымер — ни одного мужчины, словно война прошла. Все смотрели телевизор. Артисты не знали, что делать — театры пустовали. Все сидели у телевизора. Но не волновались, потому что знали, что мяч в ворота не влетит. Нам был известен счет. Мы знали, на какой минуте в чьи ворота влетит мяч, сколько их будет забито всего, кто будет их забивать. Об этом было в вечерней газете, ну и, конечно, по радио... А игроки ничего не знали. Забив мяч в ворота, они обнимались, бухались на колени и молились, а мы знали, что они все равно проиграют. Мы знали, что их ждет. Знали, что отчаяние, слезы на глазах их противников — неуместны, потому что они выиграют. А они ничего не знали, они понятия не имели, что их ожидает... Я это запомнила навсегда. Я чувствую это постоянно, непрерывно. Мне все время кажется, что все наши радости, все печали — мнимые, бессмысленные. Десять лет мы проживем, или двадцать, или тридцать — не все ли равно? Но сейчас забудем обо всем... Забудем обо всем, будем гулять по мокрым улицам и радоваться.

Мужчина. Почему бы вам не взглянуть на эти десять, двадцать, сорок лет как на вечность?

Адиля. Вечность? По правде сказать, я никогда не понимала, что это такое... Если всерьез...

Мужчина. Есть одна легенда. Стоит алмазная гора высотой в тысячу верст, вершины ее не видно. Раз в тысячу лет на гору садится маленькая пташка и долбит ее своим клювом. Потом снова улетает. Улетает с тем, чтобы вернуться через тысячу лет. Вернуться, чтобы снова потюкать своим крохотным клювиком. Когда эта пташка продолбит алмазную гору до основания, пройдет лишь один миг вечности...

А д и л я. Один раз каждую тысячу лет... Двадцать лет тоже могут быть своего рода вечностью? А если эти двадцать лет живешь рядом с таким человеком, как Единственнов, или с таким, как Ибрагим или Халил? А что желать несчастливицам, подобным Зулейхе и Гюльзар?.. А на что им эти годы? Зачем им вечность? Ни к чему... Так же, как и мне. Ведь вам они все о себе рассказали. И я тоже рассказала...

М у ж ч и н а. Вы могли бы позвать и других людей.

А д и л я. Других людей? Кого это? Может, надо было позвать Салима, начальника отдела, где работает Халил? Было бы то же самое. Каждый раз он смотрит на меня так, что кроме Халила все понимают смысл его взглядов. Или учительницу Саодат-ханум? Эту взяточницу... Или Салеха, которого жена обманывает. Вы что, открыли бы ему на это глаза? Надо их было вызвать?

М у ж ч и н а. Нет.

А д и л я. А кого же еще?

М у ж ч и н а. Вызвали бы своего соседа Фазиля. День и ночь работает, содержит такую семью, а дома шутки, смех не прекращаются. Мы бы спросили у него, в чем секрет. Или вызвали бы учительницу Месьму, которую вы помните еще по средней школе. Совсем состарилась уже, но школу не оставляет. Мы бы спросили у нее, в чем дело? Наконец, вызвали бы вашего отца.

А д и л я. Моего отца нет в живых. Он погиб на войне.

М у ж ч и н а. Я знаю. Мы бы спросили у него, почему, раз все так пусто и бессмысленно, вы, тридцатипятилетний мужчина, пошли на войну? Наверно, он ответил бы...

А д и л я. Может быть... Может быть, он и ответил бы... Но разве изменилась бы наша жизнь от одного этого ответа?

М у ж ч и н а. Нет, от одного этого ответа ваша жизнь не изменилась бы. Потому что вы сами этого не хотите. Вы их забыли — и отца, и учительницу Месьму... Они вам не нужны. Нет, вы меня не прерывайте. Сегодня я должен вам сказать все... Они вам не нужны, потому что вы — сама по себе. Взгляните из вашего окна на город, так надоевший вам. Подумайте, что вы смотрите на него впервые. Подумайте о людях, живуших под этими крышами. Почему вы решили, что их существование бессмысленно? Вы думаете, зачем эти люди строят дома, заводы и фабрики, закладывают буровые? Для чего они так стараются? Вы ведь этого не знаете?

Адиля. И вы повторили эти холодные слова... Эти слова как лед холодные, очень холодные...

Мужчина. Потому что вы боитесь этих слов. В глубине своей души вы чувствуете, что эти слова правдивы, чувствуете, что повсюду жизнь продолжается и эта жизнь, со всеми ее радостями, со всеми печалями, интересна, богата, но проходит мимо вас. А вы не осмеливаетесь в нее включиться...

Адиля. Вы стали вдруг таким резким!.. Я не хочу, чтобы вы были таким резким, таким беспощадным. Я не хочу с вами расставаться. Я хочу, чтобы мы с вами до утра бродили по этим улицам...

Мужчина. А утром? Ведь утро не будет таким, как этот дождливый весенний вечер. Утром вы снова встанете и пойдете на работу. С работы снова вернетесь домой. Ночью, когда уляжетесь спать, еще до того, как уснете, снова поднимет голову ваш внутренний голос. Вы снова уснете под упреки этого голоса. И снова утром встанете и пойдете на работу. Так пройдут годы. И малая пташка своим крохотным клювиком сковырнет вашу алмазную гору...

Адиля. Ничего. Я больше не боюсь этого. Я больше не боюсь этого, потому что есть вы. Мы каждый день будем встречаться. Снова отправимся в Джидырскую степь. Мы с вами поедем в Кедабек, разожжем костер чуть пониже селения Большой Гара-Мурад, где упал вместе с колхозным конем мой начальник, испечем в золе картошку и навсегда забудем о моем начальнике...

Мужчина. Ну что вы притворяетесь? Зачем вы лжете?

Адиля. Я... Не понимаю вас...

Мужчина. Разве вы о нем забудете? Вспомните, утром вам придется поздороваться с ним... Или я не прав?

Адиля. Какой вы безжалостный, жестокий!.. Не будьте таким! Прошу вас... Вы мой единственный друг. Я могу обидеться на вас... И тогда уже все будет кончено. Ведь мы с вами еще много раз будем встречаться. Много-много раз, до глубокой старости... До тех пор, пока птичка не продолбит алмазную гору своим крохотным клювиком.

Мужчина. Нет, это невозможно...

Адиля. Невозможно! Почему? Неужели для вас есть невозможные вещи?

М у ж ч и н а . Я жду письмо. Когда придет это письмо, мы больше не увидимся.

А д и л я. Но ведь вам, наверно, и другие письма будут приходить?

М у ж ч и н а. Те письма я буду получать у других...

А д и л я. Понимаю... У других, таких, как я, похожих на меня... Я понимаю, вас везде ждут... Это наша последняя встреча?

М у ж ч и н а . Возможно...

А д и л я. У меня будто что-то оборвалось внутри... Никогда в жизни не было подобного ощущения... Не знаю, что это такое? Я будто лечу в самолете... А самолет то падает, то взлетает, падает, взлетает... Почему эти улицы так пусты, безлюдны?

М у ж ч и н а . Вы ведь этого хотели. Вы хотели забыть про всех, никого не хотели видеть.

А д и л я. Нет, теперь безлюдье меня пугает... Думаете, я не понимаю, зачем вы приходили ко мне? Чтобы уйти навсегда. И тогда мне поневоле придется искать других людей — тех, что под крышами... А вы исчезнете...

Вдруг из коридора раздается голос Халила:

— Вот я и пришел, мамочка, ты не скучала, родная?.. Ну и компания была!.. Жаль, что тебя не было, мамочка, я так расстроился. Салим сам поднял тост за тебя. Он так хорошо говорил, мамочка, у меня прямо сердце сжалось... Что это с тобой, мамочка? Отчего ты такая бледная?

А д и л я. Что со мной? Ничего со мной. А что должно быть?

Х а л и л. И в самом деле — что может быть... На улице такой дождь, ужас! Хватайся за дождинку, лезь на небо. Ты у меня все-таки умница, что не пошла, промокла бы насквозь!

Адиля смотрит на него, потом оглядывается, словно видит комнату впервые, вынимает из шкафа плащ, повязывает непромокаемую косынку, снимает домашние туфли и надевает сапожки.

Х а л и л. Куда это ты, мамочка?

А д и л я. Я иду гулять.

Х а л и л. В такую погоду идешь гулять?

А д и л я. Да. В такую погоду иду гулять.

Х а л и л. Тогда и я пойду с тобой.

Адиля. Нет, я буду гулять одна.

Халил. Но, мамочка...

Адиля. Я сказала, я хочу гулять одна...

5

А время идет. Тянется нить в руках старухи, которая не устает приговаривать: «Эти носки я вяжу моему младшему сыну. Все остальные не очень надежные оказались, и старший мой сын, и второй, и третий... Младший — мой самый любимый. Он для меня — все, не могу без него, он самый добрый, щедрый, как земля...»

Лишь в почтовом отделении все по-старому. Посетителей мало. Каждый занимается своим делом. Адиля сидит за своим окошком № 3. Единственнов наблюдает за ней, потом встает и подходит.

Адиля. Я вас слушаю, товарищ Единственнов.

Единственнов. Опыт показывает, что можно сломить волю даже таких стойких людей, как я.

Он опускает палец в чернильницу и рисует перед тройкой на стекле единицу.

Адиля изумленно смотрит на товарища Единственнова.

Единственнов. Увы, товарищ Адиля. Вы удивлены, почему товарищ Единственнов так пессимистично настроен?.. А вы знаете, сколько лет я работаю в почтовой системе? Ровно сорок один год. Сорок один год! Я прошел славный путь от сельского почтальона до заведующего городским почтовым отделением!.. Ну и что? Я говорю, ну и что? А мое будущее?.. Только вы можете мне помочь, товарищ Адиля...

Адиля. Я? Пожалуйста, чуть яснее, товарищ Единственнов.

Единственнов. Совершенно верно. Говорить надо всегда ясно, открыто. В министерстве связи освободилось одно местечко, товарищ Адиля, место товарища Меликова. Товарищ Меликов вчера неожиданно скончался.

Адиля. То есть скончался официально?

Единственнов. Да. И в газетах писали. А я, вы и сами отлично это знаете, опытный и способный почтовый работник. Так вот, я говорю... Может, вы шепнете обо мне на ушко товарищу Иванову?

Адиля. А-а-а... Я подумаю, товарищ Единственнов.

Единственнов. Вы подумаете?

Адиля. Да.

Единственнов. Обо мне?

Адиля. И о вас тоже...

Единственнов. Большое спасибо, товарищ Адиля, большое спасибо! Обратите внимание, к вам посетитель.

К окошку Адили подходит старик профессор.

Подходит поближе Ибрагим и прислушивается.

Старик. Здравствуйте. Я — Алигулузаде. Есть для меня письмо?

Адиля. Сейчас посмотрю... Минуточку... Нет. Нет вам писем.

Старик. Нет? Не может быть. Категорически не может быть!

Адиля. Нет, в самом деле, нет. Ну, если хотите, я еще раз посмотрю... Так... А-ли-гу-лу-за-де... Нет!

Старик. У жены склероз! Целых шесть дней, как я приехал из Гянджи, а она все не пишет. Сказал ведь, пиши, чтобы я не беспокоился, так она до сих пор не написала! Я подам на развод!

Единственнов. Пожалуйста, не нервничайте, уважаемый товарищ Алигулузаде, не волнуйтесь. Придет письмо. Может, только сейчас пришло? Пойду посмотрю свежую корреспонденцию.

Старик. И я с вами.

Ибрагим. Еще раз здравствуйте, товарищ Адиля. Как дела?

Адиля. Неплохо, товарищ Ибрагим.

Ибрагим. О, товарищ Адиля, никто, кроме вас, не называет меня товарищем. Товарищ Единственнов всех называет товарищ, всех, кроме меня... Я так ценю ваше уважение. Товарищ Адиля... У меня к вам большая просьба. Я очень прошу вас помочь... Стесняюсь сказать... В общем, поговорите обо мне с товарищем Ивановым... Я оправдаю ваше доверие, товарищ Адиля!

Адиля. Знаешь, Ибрагим, мне почему-то кажется, что сейчас произойдет какое-то необыкновенное событие...

Ибрагим. Что произойдет?

Адиля. С утра у меня трепещет сердце в ожидании...

В почтовом отделении появляется Скрипач в черном фраке. Он идет прямо к Адиле. На этот раз его все видят, смотрят на него с изумлением. Он поднимает скрип-

ку, собираясь играть. Адиля оглядывается, удивленно смотрит на Скрипача.

Ибрагим. Эй! Что такое?! Кто вы? Что это вы делаете? Товарищ Единственнов! Товарищ Единственнов!!

Единственнов. В чем дело? Что случилось? Что вы делаете здесь со скрипкой? Кто вы такой? Кто знает этого товарища?

Ибрагим. Артист, что ли?! А чего ему тут делать?

Единственнов. Сюда посторонним вход воспрещен. На каком основании вы здесь появились?

Скрипач. Ну что же, если меня видят, значит, я больше не нужен. Я сделал свое дело и могу удалиться.

Единственнов. Ну вот. Все в порядке. Продолжайте работу, товарищи! Возьмите, товарищ Адиля, это свежие письма. Может быть, есть и уважаемому товарищу Алигулузаде.

Адиля просматривает письма. Она не видит, как некий мужчина входит в дверь. Этот человек хотя и похож на знакомого Адиле Мужчину, но все же чем-то отличается: и одет по-другому, и двигается не так. Он садится за стол, вынимает авторучку и задумывается над бланком телеграммы.

Адиля. Вот так письмо! Первый раз такое вижу! На конверте ничего не написано! Не написано, кому предназначается! Абсолютно чистый конверт, видите? Я, кажется, догадываюсь...

Единственнов. О чем догадываетесь, товарищ Адиля?

И тут Адиля видит мужчину, сидящего за столом, и бросается к нему.

Адиля. Пришло ваше письмо!

Мужчина. Мое письмо? Что за письмо?

Адиля. Да, ваше! Пожалуйста! Это ваше письмо, не видите разве, что на конверте ничего не написано!

Мужчина. При чем тут я? И откуда вы меня знаете?.. Странно... С какой стати мне должны писать безымянные письма? Разве у меня нет имени?

Адиля. Простите... Простите... Я, кажется, совсем потеряла голову... Я приняла вас за другого. Простите...

Мужчина. Что все это значит? Кто мне может это объяснить?

Единственнов. Товарищ Адиля, что с вами?

Адиля. Ничего...

Старик. Наверно, это мое письмо... Вскройте, взгляните, оно должно начинаться с «Алигулу-джан».

Единственнов. Сейчас. Дайте, пожалуйста, письмо, товарищ Адиля.

Адиля. Пожалуйста.

Единственнов. Да, тут написано: «Алигулу-джан, здравствуй».

Старик. Видите, мое! Я же говорил, у жены склероз, забыла на конверте имя написать! До свидания, спасибо вам, до свидания...

Единственнов. Товарищ Адиля, как вы себя чувствуете? Вы не больны?

Адиля. Нет, не больна.

Единственнов. Я понимаю... Переволновались немного из-за этого странного письма?.. Что это вы пишете?

Адиля. Я больше не волнуюсь. Все в порядке.

Единственнов. Тогда не буду вам мешать. Так вы подумайте, помните, о чем я вам говорил?

Адиля. Нет, я ухожу.

Единственнов. Уходите? Домой? Ну что ж, я вам разрешаю. Пойдите домой, хорошенько отдохните. Что это? Заявление? По собственному желанию? Почему? Что случилось?

Адиля. Я так решила.

Единственнов. Куда вы уходите? Не будете больше работать?

Адиля. Буду, конечно. Буду работать, но только не с вами, товарищ Единственнов.

Единственнов. Ха! Может, пойдете на завод?

Адиля. Почему бы и нет? Не вы ли без конца твердите, что общественные интересы превыше личных?

Единственнов. Я... Да! Но...

Адиля. Привет!

Ибрагим. Что?

Адиля. Прощайте!

Единственнов. Клянусь жизнью, вот это фокус!

Ибрагим. Да психованные они все, товарищ Единственнов.

Единственнов. Нет. Хитрюга она! Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Знаешь, почему она уходит?

Ибрагим. Понятия не имею...

Единственнов. Потому что ей предложили жир-

ное местечко, понял?! Может, даже сам товарищ Иванов! Кто такую душку упустит?

Ибрагим. Вах! Хороша штучка, клянусь здоровьем!.. Я и сам не прочь!..

Единственнов. Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Не забывайся!

Ибрагим. Есть, товарищ Единственнов!

6

Адиля, поджидая Халила, сидит у себя дома на диване и курит сигарету. Рядом на полу стоит чемодан. Входит Халил.

— Что так рано, моя душечка? Дай я тебя поцелую!

Адиля. Нет. Не нужно, Халил.

Халил. Хорошо, мамочка... Ой, ты опять куришь?! Это же так вредно... Ради меня, пожалей свое здоровье.

Адиля. Слушай, Халил...

Халил. Ради Халила поменьше кури, мамочка... Наверно, рано пришла и заскучала, да? А я так спешил, хотел что-нибудь приготовить для тебя, придешь с работы, поешь... Что это за чемодан? А, уже готовишься к отпуску? Ах ты, моя умница! Ну, дай я тебя поцелую!.. Ну, просто не терпится твоему петушку!..

Адиля. Слушай, Халил, я ухожу.

Халил. Это... Как понять?.. Куда уходишь, мамочка?

Адиля. Навсегда ухожу, Халил.

Халил. Как?.. Почему?

Адиля. Я больше не хочу изменять, Халил.

Халил. Если... если ты мне... изменила... я... я... прощу тебе это...

Адиля. Подумай, что ты говоришь! Ты же мужчина, в конце концов. Я себе не хочу изменять, понимаешь ты? Себе! Я больше так жить не могу и не хочу, Халил. Ведь я не люблю тебя, совсем не люблю, и ты об этом знаешь.

Халил. Но нам, мамочка, тебе... тебе...

Адиля. Я больше не хочу этого, Халил. Я не хочу больше. Мы должны разойтись. Чтобы хоть чуточку уважать себя, мы должны разойтись. И ты не расстраивайся, Халил.

Халил. Как это не расстраивайся?.. Как не расстраиваться... А ты... А зачем ты выходила за меня? Зачем?

А д и л я. Прости, Халил. Такую, как я, ты всегда найдешь.

Х а л и л. Найду, конечно, а через три года она меня оставит.

А д и л я. Дело не в тебе, Халил. Дело не только в тебе...

Х а л и л. Что я тебе плохого сделал, а?.. Всегда заботился о тебе, всегда о тебе думал, делал все, что ты говоришь... Мы ведь даже не ссорились по-настоящему, почему же ты теперь так поступаешь? Пожалей меня, не спеши. Какие хочешь условия создам тебе, Адочка, какие хочешь условия! Все куплю тебе, все сделаю. Смотри!.. Вот видишь сберкнижку? Ты об этом даже не знаешь, я тебе не говорил до сих пор, скрывал от всех!.. Тут у меня ровно три тысячи, Адочка, ровно три тысячи рублей. Всю жизнь собирал по копейке, все на тебя потрачу, все! Возьми, хочешь, прямо сейчас возьми, положи в свой чемодан!

А д и л я. Отпусти мою руку, Халил, отпусти. Ты унижаешь себя еще больше.

Х а л и л. Нет! Не пущу, не хочу, чтобы ты ушла! Не пущу! А я? Мне что делать? Может... может, у тебя есть другой? Я на все согласен, Адочка, на все согласен! Хочешь... хочешь... два дня в неделю не приходи домой...

А д и л я. Пусти меня! Пусти!..

Адиля отталкивает Халила, хватает чемодан и уходит. Халил, прислонившись головой к спинке дивана, сидит, закрыв глаза... Время словно остановилось.

С т а р у х а. Ну и ну!.. Нитки кончились, не смогла довязать носок. Может, и хватит?.. Только это и делаю весь год... Лучше уж пойти сыновей навестить. Пойду всех четверых проведаю. Матерью зовусь, а раз в год их вижу. Двенадцать внуков у меня. Пойду-ка навещу всех разом. Прямо сейчас встану и пойду!..

Халил открывает глаза, лихорадочно что-то ищет. Обшаривает карманы брюк, пиджака, обыскивает диван. Шарит по столу. Наконец видит сберегательную книжку на полу, поднимает ее и кладет в нагрудный карман пиджака...

7

По улице неторопливо, с достоинством, с папкой под мышкой движется Единственнов. Его догоняют Зулейха и Гюльзар.

Зулейха. Товарищ Единственнов! Товарищ Единственнов!

Единственнов. Вы ко мне, товарищи?

Зулейха. Да! Я к вам, товарищ Единственнов!

Гюльзар. Здравствуйте, товарищ Единственнов.

Единственнов. Здравствуйте.

Зулейха. У меня к вам просьба, товарищ Единственнов.

Единственнов. Я никогда не оставался равнодушным к просьбам моих сограждан. Слушаю вас.

Зулейха. Возьмите меня работать на место Адили.

Гюльзар. Говорят, в вашем почтовом отделении происходят таинственные явления. Просто чудеса.

Зулейха. Может, и мне повезет, увижу кое-что и я.

Единственнов. В наше время разве можно верить в чудеса? Ай-яй-яй... С вами надо бы разъяснительную работу провести... Жаль, времени нет... А где сейчас товарищ Адиля?

Гюльзар. Она живет у матери.

Единственнов. И где работает?

Зулейха. Где-то работает. Мы пока не знаем. Ну как, товарищ Единственнов? Берете меня на место Адили?

Единственнов. А вы... вы тоже знакомы с товарищем Ивановым?

Зулейха. С Ивановым?..

Гюльзар. Говори, что знакома!

Зулейха. Ах, вы о товарище Иванове. Ну, конечно, а как же? Адиля успела меня с ним познакомить...

Единственнов. Правда?

Зулейха. Зачем мне врать?

Единственнов. Ну, тогда завтра выходите на работу! Для меня не может быть лучшей характеристики... А пока — всего вам доброго, товарищи!

Зулейха. Пошли, Гюля. Может, мне повезет, а потом и твоя очередь настанет.

8

Почта. Каждый занят своим делом, и все по-прежнему. Только на месте Адили сидит Зулейха. Лениво перебирает письма. Появляется Скрипач в черном фраке и сразу направляется к Зулейхе. Его, как и прежде, никто не замечает. Он поднимает скрипку и начинает играть.

Мужчина в белой сорочке, черном костюме и черном галстуке подходит к Зулейхе.

Мужчина. Здравствуйте...

Зулейха. Здравствуйте.

Единственнов. Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Время перерыва.

Ибрагим. Сию минуту, товарищ Единственнов! Перерыв, товарищи, нельзя... Перерыв...

Мужчина. Есть письмо для меня?

Зулейха. Для вас? Сейчас посмотрю... Нет, вам нет письма...

В дверях почтового отделения появляется профессор Алигулузаде. Ибрагим не пускает его.

— Нельзя, обеденный перерыв.

Профессор. Нельзя? То есть как нельзя! Я профессор Алигулузаде! Через некоторое время начнется моя роль! Как это нельзя?

Единственнов. Ибрагим!

Ибрагим. Да, товарищ Единственнов!

Единственнов. Впусти уважаемого товарища Алигулузаде.

Ибрагим. Есть, товарищ Единственнов!

Единственнов. Через некоторое время начинается роль уважаемого профессора Алигулузаде. Его спутают с Гамбаргулузаде, дадут ему его письмо. Уважаемый товарищ Алигулузаде снова придет ко мне жаловаться. Впусти его.

Ибрагим. Входите, пожалуйста, уважаемый товарищ Алигулузаде.

Старик входит и садится на стул в ожидании своей роли.

Мужчина между тем говорит Зулейхе в окошко:

— Смотрите внимательнее, прошу вас.

Зулейха снова начинает перебирать конверты. А Скрипач в черном фраке играет все громче...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА НА АЛМАЗНОЙ ГОРЕ

— А почему вы, созерцая эту красоту, не задумались о том, чтобы... изменить вашу неудавшуюся жизнь?

— Потому что это невозможно... Все так думают... Птичка не продолбит алмазную гору своим клювиком.

Эльчин. Чудеса в почтовом отделении.

Все видят у него — птичку. Крошечную, нежную, трогательную. Из сказки, из фантазии. Может быть, она есть, а может, только мерещится. Может быть, это сон. Впрочем, скорее чудо. Эльчин любит чудеса, он легкий и добрый сказочник, он грустный волшебник, он импрессионист, предпочитающий мерцающие, золотистые, серебристые краски — что-то искрится в его прозе, что-то трепещет... ах, да, птичка, где-то там, вдали, вверху, в холодной выси. Все видят в прозе Эльчина серебристый слой фантазии; одни растроганы, другие раздражены (я про критиков), одни говорят: что за прелесть эти оттенки; другие говорят: ради оттенков незачем мобилизовать столько чудес [1].

Интересно, стали бы мы вглядываться в леденящую высь, если бы не птичка?.. Интересно, а что она там делает? Тысячеверстую гору долбит клювиком — зачем? Вы думаете, продолбить надеется? А может быть, другое? Может быть, это она нам так на гору указывает? Может быть, это сказочное мерцание оттенков в прозе Эльчина — только ореол и отсвет, а суть — в этой алмазной тверди, в этой каменной горе, в этой непроходимой, неодолимой, рассекающей мир стене?

Легенда о птичке на алмазной горе появилась у Эльчина сравнительно недавно, в одной из поздних повестей,— но ведь и в ранних рассказах, попавших в круг внимания читателей на рубеже семидесятых годов,— что-то подобное. Помню читательское ощущение от этих рассказов и вообще от прозы Эльчина времен «Первой любви Балададаша»: что-то мерцает, дрожит, трепещет, а что-то незыблемо проглядывает, проступает сквозь чудесное кружево... стена.

Стена — ключевой образ первых рассказов, с которыми вошел в литературу молодой азербайджанец.

Стена может быть и прозрачная: сквозь нее видишь, а пройти не можешь. Стена из воздуха. По эту сторону — ты. Это реальность. По ту сторону — твоя мечта.

---

[1] См. полемику Аллы Марченко и Владимира Новикова по поводу книги Эльчина «Серебристый фургон». «Литературная газета», 1979, 1 августа, стр. 5.

Смешной Балададаш в кепке величиной с аэродром влюбляется в дочь приехавших на лето дачников. Он ее видит, но она несбыточна, бесконечно недостижима для него.

Бесконечно далеки от маленького Абили пассажиры больших поездов, проносящихся мимо его селения.

И точно так же, как студент Джаваншир сказочно недостижим для девочки Дурдане,— сам Джаваншир безнадежно влюблен в недостижимую, словно «из того, другого мира» вышедшую красавицу Медину-ханум... Если же недостижимая Медина-ханум оказывается (в реальности) более чем доступной, так это-то как раз и убивает у Джаваншира всякое чувство — герой Эльчина должен томиться по недоступному идеалу. Жар-птица хороша в небе, за серебристой стеной воздуха — в руках царственная птица съеживается в обыкновенную серенькую пташку: мечту убивает обыкновенность.

Любопытно, что прекрасные видения отнюдь не составляют в прозе Эльчина объекта преимущественного интереса; просто птичка первым делом попадается на глаза. Его чудеса — это чудеса в почтовом отделении. Прекрасное у него окаймлено бытом, и быт прописан вполне прозаичными штрихами, выдающими в Эльчине весьма зоркого реалиста, хорошо знающего и жизнь бакинских квартир, и жизнь апшеронских поселков нашего времени. Однако среди гомона и шума, которым полнится жилой к в а р т а л, Эльчин все-таки любит поставить ч е т ы р е с т е н ы и в стенах поселить старого (впрочем, можно и молодого) холостяка, человека одинокого, до которого будет о т т у д а доноситься шум чужой жизни, крик детей, топот ног, стук молотка.

Жизнь, в которую оказываются заперты герои Эльчина, кажется им ненастоящей, призрачной, хотя они знают, что она реальна. Подлинной жизнью видится им та жизнь, что за стенами,— пока она за стенами... за проносящимися стеклами вагонов... за волшебной линией театрального занавеса. Переступить линию? «Это невозможно...» У Эльчина какое-то удивительное умение раздвоить быт и мечту на полюса бытия: если тихая Дурдане дождется своего Джаваншира и он заключит ее в свои объятия — в этом окажется для них мало реальности... ибо бытовой интерьер такой сцены (холодная тесная комнатенка в ветхом доме где-нибудь «напротив старой мечети», керосинка на табуретке, шалью прикрытые ноги) станет для героев воплощенным Раем, которого уже нельзя будет коснуться руками. Уход возлюбленной из этого Рая покажется предательством, и вы напрасно стали бы доказывать герою рассказа «Напротив старой мечети», что молодой женщине, может, плохо в ее скудной послевоенной клетушке с чадящей керосинкой у ног, что для этой иззябшей души уход к жениху в «квартиру с ванной» есть, плюс ко всему, еще и реальный уход от одиночества, нужды и холода,— герой этого не услышит, не почувствует, потому что для него реально совсем другое: мир его чувств, его грез, его воображения.

Рассказы Эльчина — это психологические этюды, словно написанные акварелью по грубому натуральному холсту. Можно увидеть в этих рассказах влияние поздних русских классиков, в частности Чехова и Бунина; можно — воздействие русских писателей двадцатых и тридцатых годов, может быть, Зощенко и Булгакова: мечта и быт, тончайшие оттенки по грубому грунту, чертовщина, возникающая на этом контрасте. Русскому читателю эти аналогии небесполезны, потому что помогают воспринять стиль Эльчина, но, конечно, генезис этого стиля надо определять из более близких ему сфер.

Надо искать азербайджанскому послевоенному поколению, вошедшему в сознательную жизнь в пятидесятые, а в литературу в шестидесятые годы, соответствующие параллели в братских литературах. В русской городской «исповедальной» повести, расцветшей на рубеже тех десятилетий, и в русской же «деревенской» лирической прозе, которая на исходе шестидесятых стала реакцией на «исповедальность». В литовской школе «подводного видения». В «лабораторной прозе» молодых эстонцев. В прозе грузинских «шестидесятников», с их теплотой и сочувствием «просто человеку». В полуироническом эпизме Гранта Матевосяна — включая и ту сентиментальность, ответом на которую явилась его ирония...

В Азербайджане эта волна сформировалась относительно поздно, когда первые острые схватки «идеалистов» и «догматиков» были уже позади, когда уже и первые иллюзии молодых были изжиты, и радость первого самоутверждения окрасилась горечью некоторого опыта, и претензии объять целый мир сменились трезвым пониманием меры сил. От этого, наверное, в Азербайджане у «новой волны» были особые краски: этюдный психологизм, апология чувствительного сердца, страдающего от соприкосновения с низким, «мещанским» бытом, чудеса, воспарение души. Условность и этюдность вовсе не казались формой самоограничения; напротив, это была форма решения «глобальной» человеческой задачи, как и во всех молодых литературах того времени. «Микроскоп, введенный внутрь души» (Иса Гусейнов); повествование «от собственного лица», а не от имени «проблемы» (Акрам Айлисли); «неоднозначность» отношения к предмету (Анар) — это могли бы сказать о себе и Слуцкис, и Шукшин, и Ветемаа... В пределах столь широкого круга надо, однако, понять специфику именно азербайджанской «новой прозы», ее особенный вклад — тот специфический аспект, в котором она стала решать проблему человека.

Взглянем изнутри. Определяя свои творческие координаты (и отдавая необходимую дань всеобщим литературным поветриям от Ремарка до Гарсиа Маркеса и от Бунина до Булгакова), азербайджанские прозаики «новой волны» дружно называют в качестве своего предтечи Моллу Насреддина — знаменитого прозаика, публициста и драматурга начала века, одного из основателей азербайджанской советской литературы Джалила Мамедкулизаде. Любопытно, однако, что именно они берут у него. Акрам Айлисли воспринимает Мамедкулизаде прежде всего как певца благородной крестьянской души (в противовес всем тем, кто крестьянину мешает). Анар видит в нем преимущественно исследователя души обыкновенного, «маленького» человека (в противовес выспренности и абстрактности). А Эльчин? Эльчин, называя Мамедкулизаде в качестве первейшего духовного авторитета и ища, как «двумя словами» обозначить суть его заветов, далее всех отходит от социальных характеристик и ближе всех приближается к психологии «как таковой»: Эльчин у великого предтечи избирает для себя «честность и самоотверженность».

В сущности, перед нами три самохарактеристики.

Акрам Айлисли — знаток крестьянской души, певец Дома и Порядка в доме, противник плоской прагматики и «взгляда извне», убежденный, что «крестьянин тем лучше делает свое дело, чем меньше у него советчиков и подсказчиков», писатель, для которого «крестьянский» угол зрения есть не ограничение и не сужение взгляда на мир, но знак внутренней естественности, крепости и прочности этого мира.

Анар — другое. Анар — широкий строитель: вширь, ввысь, вдаль, камень к камню; видеть звезды, но не терять и опоры; традиционалисты пусть наращивают здание по горизонтали, новаторы — по вертикали; всем можно найти место; да здравствует сложность, да здравствует многозначность, да здравствует думающая личность. Анар — рационален (далее я выделяю те характеристики, какие дает своим соратникам Эльчин, мне это необходимо для характеристики самого Эльчина). Герои Анара современны, и эту современность души Анар сталкивает с властью житейской рутины; у него человек заключен в «круг», в кольцо, в плен мертвящего быта, он — пленник этого быта; если же героиня бунтует, освобождается, «эмансипируется», как, например, героиня повести «Круг», то становится пленницей своей свободы, и в том, как мучительно, судорожно, надрывно переживает она эту свою «свободу», видна у Анара восточная женщина, азербайджанка, так и не научившаяся быть свободной без тайной истерики, без искреннего страдания.

Попробуем связать эту замечательную характеристику, данную Эльчином Анару, с тем вековым духовным контекстом, который Эльчин совершенно справедливо связывает с восточной традицией, а в другом месте (говоря о прозе Максуда Ибрагимбекова) — с «мусульманскими особенностями характера». Это важный контекст, без которого многое в азербайджанской прозе непонятно, как непонятны, скажем, вне тысячелетнего христианского контекста, самоотвержение любящей души у Валентина Распутина, или сжигающий самоанализ у Энна Ветемаа, или мотив свободы и расплаты у Нодара Думбадзе... Исламская этика, как известно, делала упор не на красоту любви, не на добрый риск свободы и не на истину индивидуального пути; здесь отправными были другие ценности; у этой культурной вселенной был иной этический центр, вокруг которого все обращалось: красота верности, добровольная покорность миропорядку, ощущение простой истинности нерелятивного, прочного бытия.

В какой-то степени этот традиционный контекст помогает нам почувствовать внутреннюю тему азербайджанской молодой прозы шестидесятых — семидесятых годов, решившей испытать силы и возможности «отдельного человека». Человек ощущает вокруг себя твердь: твердь вещей, твердь отношений, твердь душ. Эта твердь вовсе не обязательно противостоит человеку в качестве тупой стены, она может кружить ему голову замысловатыми лабиринтами — не этот ли крайний случай, когда пробует человек поколебать сложнейшую сеть устоявшихся отношений, его опутывающих, воплощен в ажурной, резной, головоломной прозе Чингиза Гусейнова? А смертная, вязкая, цепкая власть выпавшей человеку судьбы над его несвободной волей — не это ли определяет стиль Максуда Ибрагимбекова (далее я выделю слова Эльчина о повести «И не было лучше брата»): национальный код этой повести М. Ибрагимбекова — упрямая верность безлюбовному браку, полная надменности «честная бедность»... мистика возрастной и служебной иерархии — прочная власть душевной архаики над человеком, пытающимся освободиться...

Теперь попробуем найти в этом кругу место самому Эльчину. «Импрессионист», «истый романтик», у которого герои действуют как бы «помимо обстоятельств»,— эти ходкие определения, прилепившиеся к Эльчину в критике с тех пор, как он в начале семидесятых

годов вошел в круг ее внимания, отражают только часть правды. Это только птичка, трепещущая на вершине горы, трепетанием своим притягивающая взгляд. Надо ощутить и гору, которую долбит клювом птичка. Когда продолбит до основания — «пройдет лишь один миг вечности»... Есть в этом свое величие, правда? Ощутить извечную, несдвигаемую твердыню миропорядка — это тоже Эльчин... (Акрам Айлисли сказал бы: «Дом и Порядок»; Анар сказал бы: «Круг вещей, Контакт мироздания»; Максуд Ибрагимбеков сказал бы: «Судьба, верность судьбе, покорность судьбе»)...

Так что герой Эльчина действует отнюдь не «помимо обстоятельств» — просто его герой примеряется к обстоятельствам, сила и власть которых несоизмерима с его очевидными возможностями. Здесь истинная суть поставленной Эльчином проблемы, и здесь истинная причина его слабостей. Первый импульс: от стены, вдоль стены... или так: по горизонтали, вокруг горы, в облет. Или перепрыгнуть, перелететь; фантастическим скачком свести ближнее и дальнее, «это» и «то», обыденное и прекрасное, наличное и недостижимое. В рассказах Эльчина это «дальнее» проходит иногда буквальным фоном, скользящей линией горизонта. Абили живет в селении, а мимо селения проносятся на железнодорожных платформах тракторa и комбайны, проносятся на север цистерны. Это простейший, «горизонтальный» метод прорисовки масштаба. Бывает вертикаль: в глубь памяти. Вот старик пенсионер: все в прошлом. Надевает старую шубу; шуба пахнет нефтью, потому что проработал человек всю жизнь на промыслах — у него была большая жизнь... Другой старик надевает шинель — она у него с войны осталась...

Однако скачок из «обыденной» реальности — лишь простейшая форма разрешения конфликта, вернее, форма эмоциональной разрядки в рассказах Эльчина. Бежит по перрону красный плюшевый медвежонок, меняет цвет пиджак, отскакивают бандитские пули от героя рассказа... Или сюжет разрешается отъездом: едет Абили в далекий университет, едет Балададаш служить в далекий Амурский край и в поезде в последний раз вспоминает нереальную, несбывшуюся свою любовь...

Конечно, вы понимаете, что такой выход из положения несет печать лирической условности. Ибо, переезжая на новое место, человек все равно несет в себе самого себя, свою душу, свои проблемы. До тех пор, пока воспринимаешь Эльчина в качестве «импрессиониста» и мастера психологического этюда, это горизонтальное «сдваивание» реальности еще подходит как прием. Но не больше. Достаточно выйти за пределы этюда, и ограниченность импрессионистского письма становится очевидной. Недаром критика, столь ласково принявшая рассказы Эльчина, немедленно сменила интонацию, как только он опубликовал в журнале «Юность» повесть «Серебристый фургон». Рискну поделиться моим тогдашним мнением об этой повести — думаю, что моя реакция была характерна для момента, когда затрагиваемые «универсальные» нравственные проблемы впервые явно разошлись у Эльчина с условной манерой их решения.

...В апшеронское село Загульба прибыл фургон с пневматическим тиром. Местный шофер, напившись пьяным, захотел пострелять. Фургонщик, сославшись на инструкцию, отказал. Шофер стал буянить, ударил милиционера и был отправлен под арест. Жена арестованного, продавщица местного овощного ларька, бросилась выцарапывать глаза фургонщику...

Я точнейшим образом излагаю события повести Эльчина, а между тем уверен, что читатель не узнает это произведение в таком пересказе.

Потому что в сущности там нет ни продавщицы, ни фургонщика. А есть Лейли и Меджнун, которые увидели друг друга под звездным небом на берегу пустынного моря. И почувствовали зарождение любви. Говоря стилем повести, они ощутили, что на них упала тень царственной птицы, живущей у скал Янаргая близ сказочного Соленого озера.

Вот по пейзажу Янаргая в свете восходящего солнца, по этим звездам, по этой птице руку Эльчина узнает каждый, кто читал этого автора. Узнает именно это соединение бедной реальности и волшебной сказки. Когда в ее фиолетовом мерцании едва угадываются очертания быта, но они есть. Когда отпускает продавщица помидоры, скандалит с покупателями, а на самом деле происходит не это; на самом деле она волшебница, она умеет разговаривать с морем, и на нее пала тень царственной птицы.

Тот факт, что Эльчин ищет в обыкновенном человеке идеальное начало,— это прекрасно. Это сейчас вся наша литература делает; если бы не это, если бы человек оставался погружен в одну только тяжесть работы, в прагматику и необходимость, вряд ли такой подход к человеку вызвал бы сегодня интерес. Все дело, однако, в том, какой выстроить мостик между идеальным и реальным,—в обоснованности скачка. Эльчин тщательно ищет обоснований: там, где не находит, смягчает текст самоиронией. Каждый раз, когда прекрасная Месмеханум воспаряет от своего прилавка в волшебную страну грез, Эльчин с извиняющейся улыбкой напоминает нам, что вкус прекрасной Месмеханум сложился под влиянием индийских и арабских фильмов. Каждый раз, когда фургонщик Мамедага, подняв глаза к звездному небу, начинает рассуждать о тщете всего земного, Эльчин мягко добавляет от себя: подумать только, Мамедаге впервые в жизни захотелось пофилософствовать! Такие оговорки смягчают текст; читается все это легко; а все-таки мне не верится, что это фургонщик Мамедага, недавний бакинский таксист, философствует: «Ему казалось, что он не по земле идет, а в какой-то черной пустоте, проникнутой смирением и печалью...» По-моему, это все-таки Эльчин философствует. С помощью переводчика Г. Митина.

Обычно в таких случаях на переводчика и сваливают: на русском-де языке чересчур красиво, а в оригинале, надо думать, естественно. Но поскольку я читал все, написанное Эльчином, что переведено на русский, причем разными переводчиками, то рискну предположить, что Генрих Митин тут ни при чем. Это именно Эльчин — такое вот острое соединение реальности и феерии. Это его стиль, и этим определилось в свое время его место в литературе. Именно такое лирико-философское вторжение в повседневность позволило молодой азербайджанской прозе шестидесятых годов преодолеть тяжелую инерцию чистой описательности, и Эльчин наряду с Анаром, Акрамом Айлисли, братьями Ибрагимбековыми был одним из творцов этого стиля. Тогда аналогичные процессы шли во многих республиках. В Грузии в этом ключе работали Т. Чиладзе и А. Сулакаури, в Молдавии И. Друцэ и В. Василаке, в Эстонии Э. Ветемаа и М. Унт. Если брать русскую литературу, то и тут нетрудно найти нечто близкое: брали какую-нибудь замороченную бытом фигуру с дорожной обочины или из барака и — сразу — в неземное сияние ее, на лунную дорожку булгаковскую, в серебристый лайнер, в волшебную

сказку. И герой знает, что это несбыточно, и автор знает, и читатель знает,— и щемит душу от самой этой несбыточности, и в этой игре вся суть...

Так плохо ли? — спрашиваю я сам себя. Разве не имеет право писатель работать в такой манере? Вогнать в эту скудную красотой жизнь, полную печали, серебристый фургон мечты?

Имеет право. Более того, Эльчин делает это хорошо, и есть своя прелесть, своя подкупающая нота в его прозе. Есть в ней возвышение, воспарение, очищение от повседневного. И есть поэзия — поэзия многолюдных кварталов, где в послевоенные годы колобродили голодные, едва выжившие, осиротевшие бакинские ребята,— те самые, которые теперь выросли.

Но чего-то мне не хватает сейчас — не просто в повести «Серебристый фургон», а в самом этом художественном принципе. Момент не тот. Все-таки: ушли мы или так никуда и не ушли от прекрасных мечтательных шестидесятых годов?

У нас, в русской прозе, властители дум начала шестидесятых годов тоже поднимали задавленного необходимостью, остервенелого от быта и забот человека в серебристую высь, в несбыточную сказку, в печально-надмирную даль. Но интересней другое. Мечтатель, нашедший в душе «идеальность», должен биться об углы реальности, искажаться, проваливаться в злость, преодолевать ее или не иметь сил преодолеть: мечтая, он должен ощущать ежесекундно тяжесть бытия, тогда я, может быть, этому поверю. Интересно почувствовать духовный импульс не в герое, воспаряющем в мифологические выси, а в человеке, сотканном из реальности. Любой озлобившийся шукшинский «чудик» — в сущности мечтатель, сорвавшийся идеалист, голубая душа, но в нем одновременно высвечен и жесткий контур реального характера: этого мечтателя действительность цепко держит, не дает ему оторваться... Это трезвей, трудней, страшней. Но это, я уверен, тот самый передний край, который завоеван и выстрадан нашей прозой семидесятых годов.

Видите, я не против поэтичной повести Эльчина самой по себе. Я задумываюсь о принципе.

Эльчин пишет в финале повести:

«Покупатели требовали выбирать помидоры получше, протягивали деньги, получали сдачу, и никто из них не знал, что в эту ночь, когда они сладко спали, в небе Загульбы летала царственная птица и тень этой птицы упала на девушку в бязевой куртке, которая сейчас, как всегда, продавала помидоры».

А я говорю: помидоры-то остаются! Покупатели-то никуда не денутся! И завтра ей стоять, и послезавтра. А не ей — так кому-то еще.

Царственная птица! Ты красиво летаешь. А не можешь ли помочь с помидорами? Да-да, вот с этими ящиками, которые она ворочает руками. С этими покупателями, которые кричат на нее, потому что хотят поскорее? С тем, что у нее муж пьет и дерется? С тем, что фургон приехал и уехал, а от работы никуда не уедешь. И легче она не станет. Потому что реальность есть реальность, и человеку именно в этой «юдоли» надо быть человеком...

Так я воспринял «Серебристый фургон» в момент его появления. Теперь, три года спустя, я думаю: а ведь недаром даже сквозь слепящий серебристый блеск почувствовал реалиста! Все-таки жизнь многолюдного квартала, из которого вышли и Месмеханум, и Мамедага, и милиционер Сафар, и славный солдат

Балададаш, и его младший брат Агагюль, и старая ведьма Зубейда, о которой мы сейчас поговорим подробнее, ведь и эту жизнь, где в послевоенные годы колобродили голодные бакинские ребята, сверстники Эльчина, он все равно дает почувствовать!

Эту реальную, многолюдную жизнь Эльчин пишет с любовной иронией. Зная, что именно скажет жена мясника Аганаджафа, когда она, лузгая семечки, станет судачить с соседками у ворот; и какие именно вирши по очередному поводу сочинит местный поэт-графоман Алигулу, сын продавца на бензоколонке, и какую именно гадость сделает эта старая спекулянтка Зубейда... Ирония, с какой Эльчин повествует об этих тысячекратно повторяющихся, безусловно предсказуемых, почти ритуальных действиях, интонация сказочника (или сказителя), знающего наперед все действия своих героев, тонкое пародирование эпоса — все это тоже черта «новой прозы», и нам есть что вспомнить в этой связи.

В Эстонии Энн Ветемаа пародирует «Калевипоэг» чуть не с издевкой; в его романах эпический рассказчик дан без всякой мягкости, почти злорадно, он и впрямь дергает героев за ниточки, он «Великий Дергатель».

В Армении Грант Матевосян пародирует эпос с горьким ощущением утраченных навсегда ценностей.

У Эльчина нет ни рациональной жестокости, свойственной эстонской «лабораторной прозе», ни эпической скорби «армянского Фолкнера» (как иногда в полушутку называют Матевосяна). Мягкий и тонкий штрих Эльчина любовно очерчивает реальность, не споря с нею и ничего ей не навязывая: ни новой логики, ни старых традиций. Если у Матевосяна реальность прочна, потому что за ней — сила предания (пропадает предание — рассыпается реальность), то у Эльчина она прочна потому, что за ней инерция большинства: все так думают, стало быть, иначе невозможно. У Ветемаа этот довод («все так думают») вызвал бы, конечно, ярость и злость, у Эльчина он вызывает понимание. Алмазная гора перед птичкой... лучше отлететь, лучше перепорхнуть — не расшибаться же о твердь... но ведь и этот опыт ценен: осознать твердыню вечности. Алхимик из «маленьких романов» Ветемаа тоже не стал бы расшибаться; скорее всего он вывел бы химическую формулу алмаза и оставил бы нам для раздумий, надписав: «графит». Высокогорный житель Матевосяна, ведущий свое родословие с библейских времен, скорей всего основал бы на алмазной вершине символическую «республику пастухов» — ему на такой высоте в самый раз... Но сопоставить такую высоту с силами обыкновенного человека, причем бытового человека, не «формулами разума» живущего, а так, «как все», предсказуемо, «тысячекратно»,— это Эльчин.

Раз в тысячу лет садится пташка на гору, и когда продолбит гору до основания...

Где взять человеку силы перед такой громадой и перед такой далью?

Это и есть самое интересное у Эльчина. Краткий миг и вечное бытие. Ведь на какие полюса разведено...

А контакт все-таки есть. Контакт почти немыслимый, головоломный. В отличие от Анара, автора повести «Контакт», где ищет человек логики у космических пришельцев, у Эльчина, при таком же «перепаде высот», проблема убрана из космических далей и помещена в «бакинский квартал», в «селение на Апшероне». Только

одно условие: не отлетать от реального, не замещать ее сказкой, искать «вечное» в самом обыденном. Вглядываясь в его усталые глаза. Это в тысячу раз труднее, чем сотворить чудо. Но именно это — лучшие мгновения Эльчина-прозаика.

Его лучшая вещь — повесть «Смоковница» — тем и сильна, что контакт смысла и факта ударом тока проходит через реальность, пусть даже по инерции и прикрытую легендой.

Вот флер легенды: в тени дерев, среди благоухающих кущ Меджнун ласкает Лейлу... То есть Агагюль в кепке величиной с аэродром целуется с Нисой, которая прислонила свой портфель к смоковнице.

А старая карга Зубейда, сплетница и сводня, подглядев эту сцену, готовится разнести новость по всему кварталу.

Эмалевая ясность рисунка, как везде у Эльчина, предполагает, казалось бы, полную четкость отношения. Да и определенность социальной характеристики не оставляет никаких вариантов: спекулянтка, тунеядка, перекупщица... С тем и является раздосадованный Агагюль к Зубейде, чтобы подкупить ее и побудить к молчанию: курочку приносит в подарок.

И тут — нечто странное. Удар тока. Глядя на ненавистную стерву, на рыхлую, дряблую, отечную старуху, одиноко стоящую посреди пустого двора, Эльчин вдруг ощущает — и заставляет нас ощутить — удивительное чувство: эту ведьму становится жалко.

Я подчеркиваю: не ту прекрасную гурию, которую можно было бы вообразить на месте ведьмы, и не ту трогательную бабушку, какая «могла бы» быть на ее месте, сложись в ее жизни все иначе, а именно э т у: некрасивую и недобрую.

Впрочем, гурия все-таки возникает. Мгновенным монтажным стыком Эльчин по обыкновению «удваивает» фигуру и подставляет на место «ведьмы» ту молодую красавицу, какой еще помнят Зубейду старожилы квартала; хороша она была в военные годы: черные огромные глаза, мраморная грудь, осиная талия, журавлиная походка, стан как кипарис и т. д.

Наверное, если бы повесть Эльчина-прозаика анализировал Эльчин-критик, искавший, как мы помним, «национальный код» у Анара и Максуда Ибрагимбекова, он должен был бы и тут признать «восточное» происхождение приема. Исламский рай, населенный прекрасными гуриями, кажется сугубо «материальным» по сравнению, скажем, с потусторонним раем христианской традиции, где прекрасное охотно уходит от образа «мира сего». В одном случае весьма важен в н е ш н и й о б л и к прекрасного, в другом, напротив, прекрасное утвердится скорее в облике жалком, униженном и некрасивом. К примеру, я решительно не помню, да, наверное, и не должен помнить, красива или некрасива внешне Настена у Распутина в повести «Живи и помни»,— настолько несущественна и даже кощунственна мысль о такой красоте в свете душевного страдания, на которое обрекает себя героиня, свободно избирающая в любви жертвенный путь неправоты и даже унижения, готовая жизнью расплатиться за свой выбор.

Эльчин работает в магнетическом поле иной традиции — «восточной». У него человек не свободен сделать выбор и расплатиться за ошибку — он словно бы бессилен перед властным, роковым ходом времени. Память удерживает при нем не правоту или ошибку, а красоту, причем «пластичную», не сокровенно душевную, а явную, «для всех» бесспорную: «все помнят», какая у молодой Зубей-

ды была журавлиная походка. На мнение «всех» и Адиля сошлется... А вот распутинская Настена пойдет против «всех». Путь гибельный, но она пойдет. Героиня Эльчина — никогда, даже если будет знать, что это путь правый. Пленница. Не уйти за грань данного. Только «по горизонтали» — на стык «двух внешних обликов». Между гурией и фурией — одно компенсирует другое.

Вот почему так странна в этой системе неожиданно возникающая жалость. Она тут вне логики. Чтобы эмоционально уравновесить парадокс, Эльчин опускает другой конец коромысла: он описывает безнравственную жизнь молодой красавицы Зубейды: как в тяжелые военные года она «купалась в грязных деньгах» и «пила вино с этим золотозубым», и не хранила верности честному солдату Закиру... Я понимаю, что с помощью этих подробностей автор помогает мне, читателю, совладать с неожиданным сочувствием старой «тунеядке». Как школьник, воспитанный в свое время на категориях «типического», я, конечно, справляюсь с задачей и, прочно сцепляя образ молодой тунеядки 1943 года с образом старой тунеядки 1973 года, завершаю дело назидательной формулой: сама виновата. Но как человек, воспитанный на Толстом, на Достоевском, на всей русской культурной и духовной традиции, я откликаюсь в этой сцене вовсе не на назидательный пласт, а именно на ту нелогичную, странную жалость, которую Эльчин и пытается вогнать обратно в равновесие: раз фурия вызвала сочувствие, тогда гурия пусть вызовет омерзение...

«Купалась в деньгах...» Назидательность этого мотива не оттого, что показано дурное поведение, а оттого, зачем оно в этой ситуации показано. Мне не нужно «компенсировать» сочувствие, как не нужно и «подкреплять» его, ибо оно от другой линии отсчета. Я сочувствую несчастной старухе не потому, что она когда-то была хороша (с этой схемой Эльчин борется), но и не вопреки тому, что она когда-то была дурна (эту схему Эльчин выдвигает в противовес прежней). Я сочувствую старухе независимо от того, дурна ли она была или хороша, а просто по милосердию, «нелогично», вернее, по какой-то иной логике, независимой от логики «мира сего».

Более того, я именно это ощущение улавливаю и у Эльчина, когда гляжу вместе с ним и с Агагюлем на одинокую старуху, просящую о помощи, боящуюся опять остаться одной в этом пустом дворе и ищущую зацепки («Агагюль, дорогой, устала я очень... полей немного грядки»), я ловлю себя на том, что жалею ее тем острее, чем более она была грешна и несчастна и чем сильнее она теперь наказана — эта погасшая, обрюзгшая, обессилевшая, бесплодная, как смоковница, ведьма. Никакой «логики», но когда они стоят друг перед другом — перепуганный Агагюль с курицей в руках и старая Зубейда над тяжелым шлангом, как они согласно раскладу ролей друг друга боятся и ненавидят, а потом, вразрез с ролями, вдруг начинают друг друга жалеть и сами не понимают, что с ними, вот тут-то я и ощущаю, сколь близок мне Эльчин в какой-то потаенной глубине своей и сколь родственны человеческие души, взращенные даже и в разных традициях. И еще я ощущаю, как... поддается алмазная гора клюву маленькой птицы. Потому что гора — мертвая, а птица — живая.

Несколько слов о повести «Чудеса в почтовом отделении», из которой я беру эту легенду о горе и птичке. Повесть характерна для круга мотивов «новой прозы» Азербайджана и ассоциируется все с тем же символом круга, в котором бьется душа, бессиль-

ная изменить свою жизнь. Смысл повести Эльчина — томление души здоровой красавицы Адили, вышедшей замуж по расчету за старого сластолюбца Халила. Со временем Адиля превратится, наверное, в тетушку Зубейду, а пока она в полном соответствии со старыми канонами азербайджанской «новой прозы» бьется в тенетах быта, в рутине «почтового отделения», в кольце своей бессчастной судьбы.

Стараясь помочь героине, Эльчин по обыкновению вводит чудо. Является загадочный Скрипач в черном фраке. Является загадочный Мужчина и задает Адиле тот самый вопрос, с которого мы начали: почему у вас нет желания изменить вашу незадачливую жизнь? Она отвечает: это невозможно — все так живут, все так думают.

Загадочный Скрипач меня, разумеется, не трогает, чудеса в почтовом отделении — тоже. А вот довод «все так думают» я нахожу реальным и весьма существенным. Во всяком случае, я вижу, что «обыкновенный» человек, выдвинутый в свое время на авансцену молодой азербайджанской прозой, уже не только отлетает от рутины быта в выси и дали, чтобы ощутить высокую жизненную задачу, но и ощущает реальный масштаб задачи.

Масштаб нелегкий. Но хочется сказать Адиле: окончательной и полной ведьмой ты все равно не сделаешься: тебе жалость помешает. А раз так, раз неистребимо в человеке человеческое, не сдавайся, птичка, не унывай, пташка, не умирай, пичужка.

Не складывай крыльев!

Лев АННИНСКИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

ЭЛЬЧИН

(Эфендиев Эльчин Ильяс оглы)

СМОКОВНИЦА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1981, 432 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Т. Васильева**

●

А06449. Сдано в набор 1/X-80 г. Подписано в печать 19/III-81 г. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Латинская». Печать высокая. Печ. л. 13,5. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 24,02.

Зак. 260. Тираж 235 000 экз.

Цена 1 руб. 70 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Отпечатано на Киевской книжной фабрике республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР, Киев, ул. Воровского, 24.

В 1981 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Бакунц — Альпийская фиалка. Повести. Рассказы. Перевод с армянского.

Я. Брыль — Стежки, дороги, простор... Повести. Перевод с белорусского.

В. Гейдеко — Горожане. Роман. Рассказы.

П. Загребельный — Евпраксия. Первомост. Романы. Перевод с украинского.

П. Кадыров — Звездные ночи. Роман. Перевод с узбекского.

В. Личутин — Повести.

П. Нилин — Знакомство с Тишковым. Повести.

В. Орлов — Гамаюн.

Молдавские повести.

А. Рыбаков — Тяжелый песок. Роман.

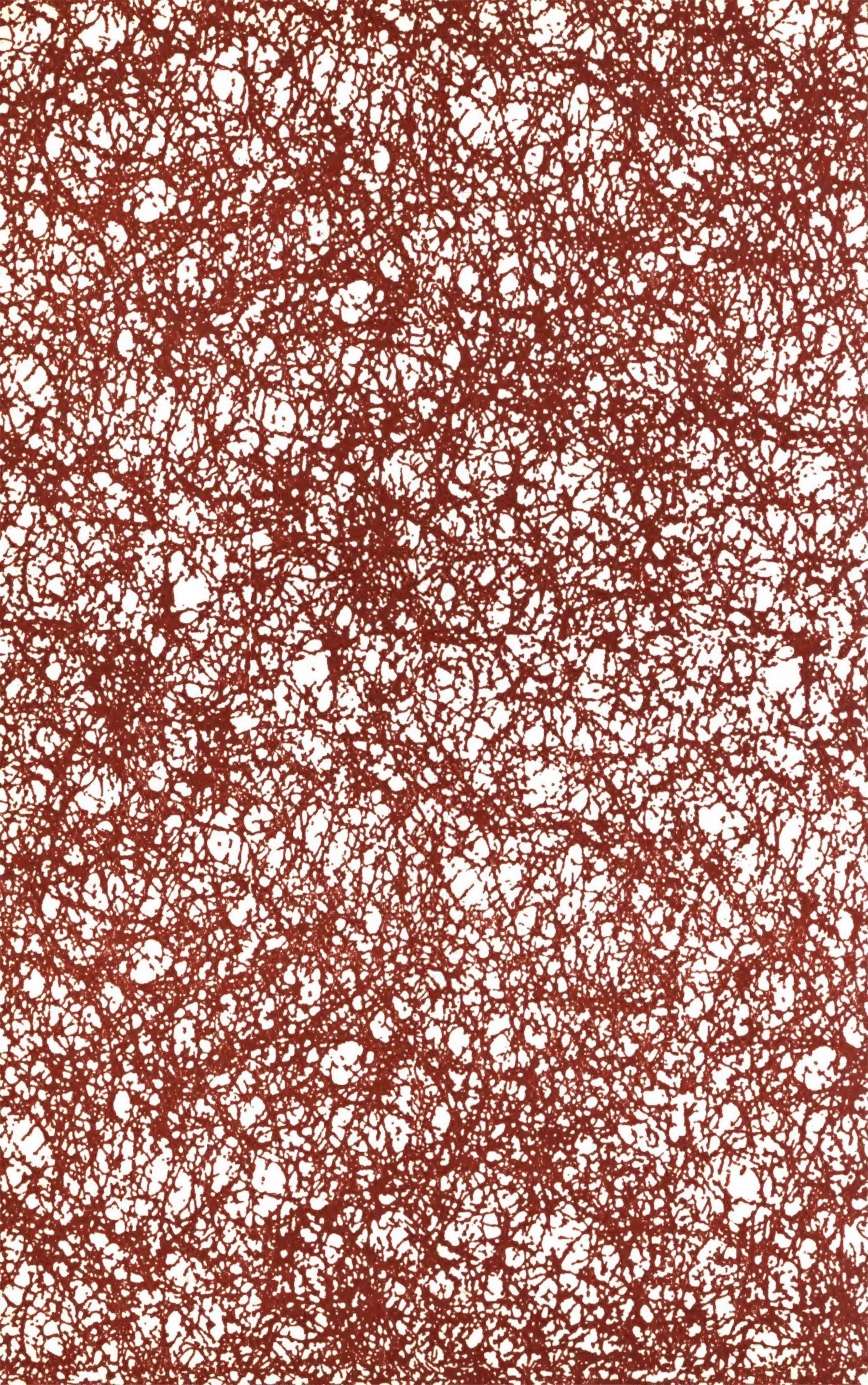
К. Симонов — Разные дни войны. Дневник писателя. Том 1.

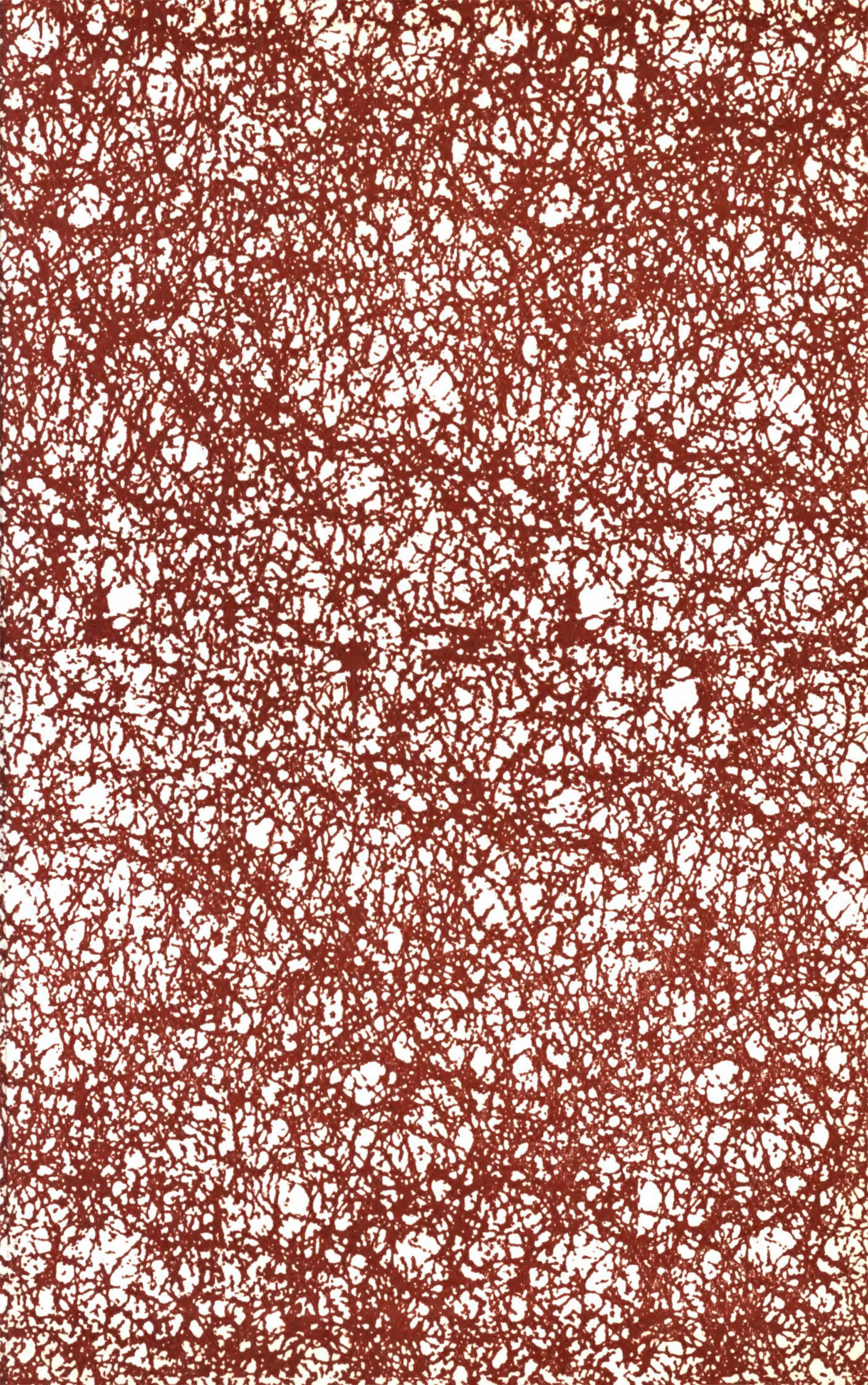
К. Симонов — Разные дни войны. Дневник писателя. Том 2.

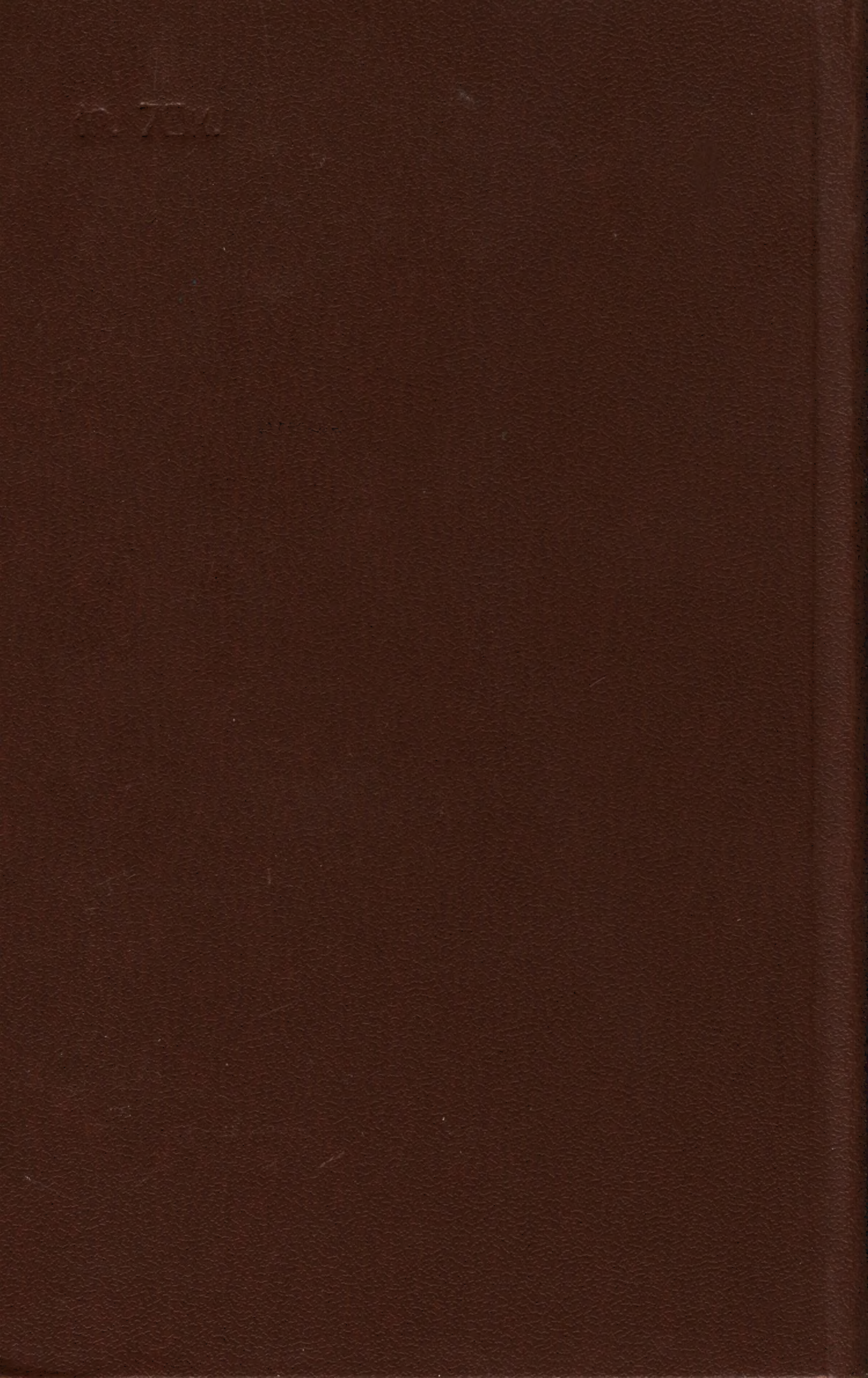
Г. Тютюнник — Повести и рассказы. Перевод с украинского.

И. Чигринов — Плач перепелки. Оправдание крови. Романы. Перевод с белорусского.

Эльчин — Смоковница. Повести. Рассказы. Перевод с азербайджанского.








ЭЛЬЧИН